

ИВАН
ФРАНКО

ИВАН ФРАНКО

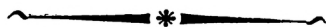
БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

Советская
печать



©

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА
М. ГОРЬКИМ



*Большая серия
Второе издание*



Л Е Н И Н Г Р А Д * 1 9 6 0

ИВАН ФРАНКО

СТИХОТВОРЕНИЯ
И
ПОЭМЫ



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

Вступительная статья
А. Белецкого.

Составление А. Гозенпуда.

Редакция переводов
Н. Брауна и А. Прокофьева.

Примечания В. Сахновского-Панкеева.

ИВАН ФРАНКО — ПОЭТ

Всемирный Конгресс Мира в 1956 году призвал все прогрессивное человечество отметить столетие со дня рождения великого украинского писателя Ивана Франко, тем самым утверждая его место в ряду самых выдающихся людей всех времен и народов.

И в самом деле, размах деятельности Франко необычаен. Европейские литературы второй половины XIX — начала XX века знают много великих писателей, но среди них трудно указать писателя, который совмещал бы в себе поэта, беллетриста, драматурга, литературного критика, историка литературы, фольклориста, экономиста, философа, публициста, переводчика старых и новых зарубежных писателей, библиографа, текстолога... Франко был человеком, который буквально «на все отозвался... сердцем своим, что просит у сердца ответа». Так говорил Баратынский о Гете.

Мы не думаем ставить знак равенства между Франко и Гете. Мы не станем сопоставлять Франко с деятелями эпохи европейского Ренессанса, хотя те же черты универсальности и отзывчивости на все человеческое, какие были присущи и Гете, и деятелям Возрождения, имеются и у Ивана Франко. В России XVIII века эти черты были присущи гениальному «архангельскому мужику» — Ломоносову. Пушкин когда-то сказал о Ломоносове: «Он был первым нашим университетом». Франко, не допущенный преподавать в университете польско-шляхетскими властями и украинскими реакционерами, тоже был если не университетом, то целым «отделением гуманитарных наук».

Вся деятельность Ивана Франко — красноречивое свидетельство могучих творческих сил, живущих в украинском народе и проявляющихся издавна, несмотря на неблагоприятные до крайности условия народного развития в XIX веке.

В XIX веке, как известно, большая часть нынешней территории Украинской ССР входила в состав Российской империи; меньшая — принадлежала Австро-Венгрии. Иван Франко родился (в 1856 году) и жил в этой меньшей части — в Галиции, как она тогда называлась. Бесправная колония Австро-Венгрии в годы детства Франко, Галиция была областью и экономически и политически крайне отсталой. Украинское население в ней было представлено крестьянством, жившим в постоянной нужде, ремесленниками, мещанами и небольшой группой так называемой интеллигенции, состоявшей из духовенства, учителей, чиновников и журналистов.

Если царская Россия была «тюрьмой народов», то Австро-Венгрия была, может быть, еще горшей тюрьмой. В России с начала XIX века нарастала волна революционного движения и шла безостановочная борьба демократических сил против царского правительства. Австро-Венгрия, к 1849 году ставшая «конституционной монархией», на самом деле, по словам Франко, была

Меж стран Европы мертвое болото,
Подернутое плесенью густою!
Рассадник тупоумия и застоя...

Под конституционной вывеской господствовал режим самой черной реакции, вытравлявшей всякие следы революционного движения 1848—1849 годов. В основу правления был положен старый принцип: «разделяй и властвуй». В частности, украинцы («рутенцы», как их называли официально, «руські», как они сами себя называли) были поставлены в полную зависимость от крупной польской шляхты, которая владела большей частью земли и облагала сельское население дополнительными налогами, сверх общегосударственных, господствовала на выборах в парламент. Юридически крестьяне были освобождены после 1848 года от крепостной зависимости; экономически же они целиком зависели от помещиков.

Другим бедствием для трудового народа был натиск промышленного капитала, с которым не могли конкурировать кустарные промыслы, официально якобы поощряемые правительством. В начале 50-х годов у северного подножия Карпат, в районе Борислава, который тогда был селом, и местечка Дрогобыча была открыта нефть и залежи горного воска (озокерита). Вскоре вся местность превратилась в промышленный центр, куда ринулись в надежде на скорое обогащение капиталистические хищники разных национальностей, а за ними толпы обезземеленного голодного крестьянства, постепенно формировавшегося в новый для Галиции класс — индустриальный пролетариат.

Недалеко от этих мест, в селе Нагуевичи Дрогобычского уезда, в семье сельского кузнеца родился Иван Яковлевич Франко. Первые впечатления будущего писателя были связаны с горами, видневшимися на горизонте, лесами и пастбищами, и прежде всего с отцовской кузницей, куда нередко собирались соседи пожаловаться друг другу на тяготы жизни и послушать, что скажет авторитетный и разумный Яць (Яков), отец Ивана Франко.

В отцовской кузнице И. Франко впервые услышал о Бориславе, и в его воображении возникли страшные картины подземной работы голодного люда и образы хищных предпринимателей. Вспышки огня в кузнице стали для Франко символом активного, страстного отношения к жизни, а искры — зернами протеста против неправды, которую он остро ощущал с детских лет. «И мне кажется, что запас его (огня.— А. Б.) я взял с детства в свою душу, отправляясь в далекий жизненный путь, и что он не погас во мне и доселе»,— писал И. Франко.

Исключительные способности «хлопского» (мужицкого) сына позволили ему, пройдя нелегкий путь начального образования, в 1875 году добраться до высшей школы, философского факультета Львовского университета. Среди студенчества, в массе своей косного и темного, у него нашлись друзья и единомышленники — первые критики и читатели его литературных опытов в стихах и в прозе.

Студенческая молодежь, так же, как профессора и вся галицкая интеллигенция, делилась на две группы. Одни назывались (неофициально) «москвофилами», другие — «народовцами». Москвофилы считали, что они «русские», пытались писать по-русски, хоть на самом деле пользовались смесью церковнославянского, русского, украинского и польского языков, ни с чем не сообразным «язычием». Заявляя о своих верноподданнических чувствах по отношению к австрийской монархии, москвофилы в то же время тайно заискивали перед русским царизмом, ориентировались на русских реакционеров. «Народовцы» были сторонниками «народного» языка, а в общем, как и «москвофилы», равнодушно относились к подлинным нуждам украинского трудового народа.

Молодой Франко не сразу разобрался в вопросах о языке и о направлении литературы. Но и по своему происхождению, и по знанию народной жизни он был ближе к народу, чем все представители этих «партий». Разобравшись, он отрицательно отнесся и к «москвофилам», и к «народовцам».

Известную роль в этом просветлении сознания Франко сыграл бывший киевский профессор, а затем политический эмигрант,

М. Драгоманов, публицист и критик, объявивший непримиримую войну косной и замкнутой в своей национальной исключительности галицкой интеллигенции. Но Драгоманов не был единственным проводником И. Франко на пути к передовой революционно-демократической мысли. Несмотря на все препятствия, которые встречала в Австро-Венгрии передовая русская литература, И. Франко все время общался с нею и не раз впоследствии вспоминал громадную роль, которую играла эта литература в духовном развитии его самого и его единомышленников. Эстетические воззрения Франко уже в ранних его критических выступлениях явно созвучны эстетике русской революционной демократии.

Нет надобности пересказывать факты биографии Франко, в общем представляющей собою трагедию гениального несчастливца. Ему мечталось изобразить народную жизнь во всех ее слоях и разрезах, создать нечто подобное «Человеческой комедии» Бальзака, но ему удалось создать только фрагменты задуманной эпопеи. Его влекла наука, но кафедра украинской литературы осталась для него неприступной. Он мечтал о парламентской трибуне, но силы реакции систематически проваливали его на выборах. На всех путях он встречал неодолимых врагов — в виде материальной нужды, неожиданных арестов, заключений в тюрьму, высылки по этапу, тупого и враждебного непонимания тех, кто стоял у кормила «общественной мысли». Подозрительный в глазах австрийских властей, он казался не менее опасным и для органов русского царского правительства, которое всячески не допускало распространения его произведений в пределах России. Он был жертвой капиталистического строя, для которого человеческая личность — ничто. И однако, он отнюдь не был бессловесной жертвой. Это был деятель, который один (с малым количеством соратников) вызывал на бой и украинскую буржуазную интеллигенцию — попов, гимназических «профессоров», москвофильских и народных журналистов, — и польскую шляхту, и русских реакционеров. Он своим примером доказал, что и один «в поле воин». Он знал минуты сомнений, внутренних противоречий, он ошибался и сам себя корил за эти ошибки, падал и снова вставал. Он боролся до конца своей жизни, и перед этой необычайной активностью даже «мать-природа» — медленно, но упорно нараставшая болезнь — оказывалась бессильной.

И. Франко оставил большое и значительное наследие в области художественной прозы, но, пожалуй, ближе всего мы можем его понять и почувствовать, знакомясь с его поэтическими произведениями.

Писать стихи Франко начал в ранней юности. Его первое напе-

чатанное стихотворение «Народная песня» относится к 1874 году, и с тех пор, до последних дней жизни, Франко не расстается со стихами. Поэзия стала для него и формой выражения общественно-политических взглядов, и оружием борьбы с врагами трудового народа, и дневником, отразившим его интимные переживания, философские раздумья, а вместе и выражением его ненасытных интересов к человечеству во все эпохи его истории, во всех странах мира.

Песнь любая моя —
Повесть дней моих

(«кожна пісня моя — віку мого день»), — писал И. Франко. И в то же время его поэзия — это история украинского народа, неотрывной частью которого он себя сознавал, с мыслью о котором он творил и которому отдавал все свои силы. С полным правом И. Франко мог бы сказать о себе самом то, что говорит герой его поэмы, «Монсей», обращаясь к своему народу:

Ты мой род и мое ты дитя,
Ты вся честь моя, слава,
Дух в тебе мой, грядущий мой день,
И краса, и держава.

Я ж всю жизнь, всё упорство тебе
Отдал, сил не жалея, —
И пойдешь по дорогам веков
Ты с печатью моею.

В годы, когда И. Франко начинал свою поэтическую деятельность, украинская поэзия переживала период кризиса. В 1861 году умер великий Тарас Шевченко. «Он унес с собою, — писал И. Франко, — целый период нашей литературы, целую особую манеру поэтического творчества.

Тою дорогою, которую он первый проложил и по которой прошел до конца, идти дальше было некуда; тот особый стиль, который внес он в поэзию, был присущ только ему, был его индивидуальным стилем». А потом началась пора эпигонов, когда «почти обязательно было смотреть на мир и на людей глазами поющего селянина, подчеркивать селянскую наивность, начинать стихотворение со звезд, ветра, солнца, туч или соловья, а затем более или менее *ex abrupto* (внезапно. — А. Б.) перескакивать на индивидуальное «горе» или «счастье» поэта». Как ни легко казалось подражать этому стилю, но в руках эпигонов он «становился бумажным цветком, а порою сбивался на карикатуру».¹

¹ И. Франко. Михаил Петрович Старницкий (1884).

Разорвать этот заколдованный круг одних и тех же тем и мотивов, вывести родную поэзию на простор тем, имеющих актуальное значение, заговорить новым языком — было трудной, но почетной задачей, которую поставил перед собой Франко.

Его статья «Литература, ее назначение и важнейшие черты» (1878) со всей прямоотой и отчетливостью выразила разрыв Франко с эпигонами и старой, слагавшейся под влиянием немецких идеалистов эстетикой: «Тысячи эстетических правил возникали и исчезали на протяжении столетий, — для нас они пропали совсем и стали пустой формой; главное дело — жизнь». Для нас «ваши вечные законы эстетики», — говорит И. Франко, обращаясь к сторонникам «литературы, стоящей над партиями», — это «старый хлам, который спокойно догнивает на свалке истории и который пережевывают только некоторые наемные ослы литературы, сочиняющие построочно повести и фельетоны для немецких и французских газет. У нас единственный эстетический кодекс — жизнь. Что она свяжет — то и будет связано...»

Франко слагает песни борьбы и мужества, веры в близкую и неизбежную победу. Эти произведения составили впоследствии сборник «Вершины и низины» (первое издание — 1887 г., второе — 1893 г.). Выход в свет этого сборника был крупнейшим событием, после «Кобзаря» Шевченко, в украинской поэзии XIX века. Поэт хотел отразить в своей книге годы, которые сам он назвал «зарей социалистической пропаганды» в Галиции.

Слово «социализм» было еще непонятно не только правительственным чиновникам, но и большинству так называемой галицкой интеллигенции. Еще не окончив университета, с небольшой группой единомышленников, И. Франко увлекается произведениями русских революционных демократов, вступает в переписку с Драгомановым; в 1877 году подвергается первому аресту и выходит из тюрьмы, по собственным словам, «социалистом по убеждению», как ранее был «социалистом по симпатии». Он начинает издание боевых журналов, объявляющих войну галицкому консерватизму, ханжеству и мракобесию. От Белинского, Чернышевского и Добролюбова он переходит к изучению К. Маркса и Ф. Энгельса, переводит отрывки из «Капитала» и «Анти-Дюринга», надеясь опубликовать их. Его не страшат ни бойкот со стороны «интеллигенции», ни тяжелая материальная нужда.

Поворот от ранних стихов к новой «энергической дикции», которую И. Франко считал обязательной для поэтов-современников, прежде всего наметился в стихотворениях «Батрак» (1876), «Камне-ломы» (1878), «Товарищам из тюрьмы» (1878). Вместе с позднее

написанными — «Челном» (1880), «Гимном» (1880), «Беркутом» (1883)—их можно считать программными для всего сборника. Самым популярным из первой группы стали «Камнеломы», из второй — «Гимн», в окончательной редакции книги поставленный в ней «вместо пролога» на первых страницах.

«Камнеломы» — поэтическая аллегория, форма, к которой особенно часто обращался Франко и в этом, и в последовавших за ним сборниках стихов. Законность аллегории — поэтического иносказания — бывала нередко предметом споров в художественной критике. «Аллегория — это смерть поэзии», — писал, например, Драгоманов. Еще раньше аллегории, излюбленные русскими либеральными стихотворцами эпохи «обличительного жара», высмеивал Добролюбов. Однако существуют разные типы аллегорий. Иногда аллегория — своего рода маскарадный костюм, прикрывающий идею; образ не живет в ней реальной жизнью и только притворяется поэтическим. Примерами могут служить аллегории средневековых поэтов и церковных ораторов, некоторые аллегории Данте и Гете. Есть такие аллегории и в «Смерти Каина» Франко.

Но бывают аллегории и другого рода, близкие к так называемому «психологическому параллелизму». Они проходят через всю поэзию XIX — начала XX века. Борьба весны с зимою, ночи с днем, приближение грозы, которая развеет духоту и освежит воздух, сеятели, бросающие живительные зерна в распаханную их упорным плугом землю, мореходы, смело вступающие в борьбу со страшной стихией, воины, выступающие против угнетателей и готовые на доблестный подвиг, камнеломы, бурильщики, лесорубы, пролагающие широкий, вольный путь через непроходимые и дремучие леса, — все эти образы, и по настоящее время живущие в поэзии, не всегда сохраняют уже силу воздействия, но в период, когда пролетариат еще находился «в очень неразвитом состоянии», когда он жил еще представлениями, возникшими из «первого исполненного предчувствий порыва пролетариата к всеобщему преобразованию общества»,¹ они звучали могучими тонами и превращали стихотворения демократических поэтов в революционные гимны, любимые песни молодежи, зажигали ее энтузиазмом, будили волю к победе. Так случилось, например, в русской поэзии, где традиция такого рода иносказаний идет от песни «Пловец» («Нелюдимо наше море...») Языкова до Плещеева («Вперед, без страха и сомненья...»), Некрасова («Сеятелям») — и далее, вплоть до знаменитых «Песни о Соколе» и

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4. М., 1955, стр. 456.

«Песни о Буревестнике» Максима Горького. В украинской поэзии второй половины XIX века наиболее яркие образцы этого жанра дал Иван Франко. Именно такой аллегорией являются «Камнеломы». Герои этого стихотворения, прокладывающие путь к правде и прогрессу, осознают себя частью целого, верят в то, что у них много единомышленников, которые подхватят их молот. Сам автор осознал себя одним из многих рядовых работников прогресса.

Время героев-одиночек кончилось. В стихотворении действуют не «я», а «мы»: сила не в отдельной личности, а в группе, проникнутой единым стремлением. Именно это сознание общности с коллективом было новым в украинской поэзии, и в этом подлинная идейно-эстетическая заслуга Франко.

По-иному звучит написанный двумя годами позже «Гимн» («Вечный революционер»). Вечный революционер — это «дух», стремящийся тело бойца в бой, живущий бессмертно, вопреки всем козням врагов: и поповским пыткам («тортурам»), и царским казематам, и вымуштрованным войскам, и шпионам. Голос этого духа все сильнее звучит и в мужичьих избах, и у рабочих станков, и везде, где страдают и плачут. Он непобедим, этот вечный дух протеста. Что он такое? Это идея, становящаяся материальной силой по мере того, как она овладевает массами.

В сборнике «Вершины и низины» можно найти немало случаев переклички с Тарасом Шевченко. Франко неоднократно называли преемником и учеником Шевченко. Это требует пояснения. Действительно, как и Шевченко, он продолжал традицию революционно-демократической поэзии. Оба поэта высоко ценили народное творчество. Но не трудно увидеть, что по всему характеру своего дарования Франко отличается от Шевченко. Шевченко — по преимуществу поэт чувства, которое в процессе своего поэтического выражения переходит в мысль, не теряющую эмоциональной окраски и приобретающую от нее особую силу воздействия. И. Франко критика не раз определяла как «поэта мысли», идущего в своих стихах от идеи. Шевченко по природе своей поэт песенного, мелодийного склада. Франко ближе к типу ораторскому, декламационному. Для Франко характерно тяготение к строгим строфическим формам. Он первый ввел в украинскую поэзию терцины, октавы, очень часто обращался к форме сонета. Он стремится дисциплинировать свою поэтическую мысль, продумывает композицию не только отдельных лирических стихотворений, но и целых сборников. Пример тому — книга «Вершины и низины».

О некоторых стихотворениях книги мы говорили уже выше. В целом ее настроение — это радостное ощущение близости новой

эпохи, декларация «крестьянской демократии», только что пробудившейся в Галиции от векового сна и почувствовавшей свою силу.

Долгое время критика отказывалась считать эти стихи Франко поэзией. «Идеологизм,— писал один из таких критиков,— не воплощен в безукоризненное художественное слово, не подчинен законам поэтики». «Эстетам» была вообще неприятна гражданская лирика, законность которой декларировал еще Белинский:

«Отнимать у искусства право служить общественным интересам — значит не возвышать, а уничтожать его, потому что это значит — лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев».¹

Невзирая на враждебную критику, такие стихотворения первой части сборника, как «Гимн», «Гремит!», «Дай мне, земля, твоей силы глубинной. . .», «Vivere memento!», «Батрак», «Беркут», «Камнеомы», глубоко вошли в сознание читателей, остались навсегда жемчужинами украинского поэтического слова. Одно из значительных поэтических обобщений — стихотворение «Батрак». Этот батрак — весь украинский народ, закованный в цепи тьмы и нищеты, но это титан, и поэт знает, что необорима сила его духа.

Так — то в аллегорических образах, то в прямых высказываниях — намечаются основные темы всего сборника. Первая — это рождение нового героя. В неоконченной поэме «Новая жизнь» говорится о том, как поэт понял, что не Баярд, «борец непобедимый» (герой средневековой феодальной поэзии), не Дон-Жуан, покоритель женских сердец, является подлинным героем наших дней, а «продуцент» (производитель), рабочий. У Франко слово «рабочий» означает и крестьянского батрака, и рабочего недавно зародившейся нефтяной промышленности Борислава. Именно с ними заодно чувствует себя поэт. Сам поэт не отрекся от своего «я»: он не скрывает от читателей своих колебаний и «ночных дум», мгновений усталости, грусти, неуверенности. Но не они являются доминантой сборника. Побеждают воля к борьбе и настойчивая вера в жизнь.

Всюду слышу дивный глас.

Жизни зов могучий. . .

Свет, весна, люблю я вас,

Горы, реки, тучи!

Люди, люди! Брат я вам,

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 10. М., 1956, стр. 311.

Вам отдам все силы,
Сердца кровь свою отдам,
Чтобы горе смыла.
А что кровь не сможет смыть,
Пусть горит в огне то!
Лишь бороться — значит жить
Vivere memento!

Высокая лирика первой части сборника сменяется едкой сатирой второй части, которая называется «Профили и маски». От широких идейных обобщений, от социальных предвидений поэт переходит к окружающей его галицийской действительности. Здесь муза Франко перекликается с Щедриным, автором «Истории одного города», и с Гейне, автором «Зимней сказки», прославленной сатиры на реакционную Германию.

С наибольшей силой сатирическое негодование И. Франко развернулось в цикле «Тюремные сонеты», входящем в третью часть книги «Вершины и низины». Поэзия других народов, пожалуй, не знает ничего подобного этому циклу. Форма сонета — четырнадцатистрочного стихотворения с определенным порядком строф и рифм — конечно, сама по себе еще не предугадывает того или иного содержания. Франко знал, разумеется, сонеты Данте, обращенные к Беатриче, сонеты Петрарки к Лауре — произведения «высокого стиля», прославлявшие идеальных возлюбленных. Знал он и «панцирные сонеты» немецкого поэта-романтика Фр. Рюккерта, полные воинственного пыла эпохи борьбы с Наполеоном. Но еще никто из поэтов не дерзал в сонетной форме дать картины самой «низкой», отвратительной действительности, картины мрачного ада австрийской тюрьмы, в котором неоднократно приходилось томиться самому поэту. Это в известной мере аналогия «Запискам из Мертвого дома» Достоевского, только лишенная относительного спокойствия последних.

Мы знаем тюремные рассказы И. Франко, написанные на основе тех же впечатлений, что и данные сонеты. Но картины, развертывающиеся в стихах, еще резче и беспощаднее.

Следующие за тюремными сонетами «Галицкие картинки» изображают тяжелые будни галицкого крестьянства и еврейской бедноты. Сборник «Вершины и низины» писался в пору молодого увлечения Франко произведениями русских революционных демократов. Чтение Маркса и Энгельса, к которому Франко обратился, помогло ему понять исторические перспективы рабочей солидарности, и эти перспективы внушали ему, невзирая ни на что, оптимистические построения.

Как не похож И. Франко, поэт — «камнею», поэт — «лесоруб» (см. стихотворение «Лесоруб», написанное в 1880 году), колеблющийся, но не падающий духом, — на И. Франко, автора следующих по времени сборников: «Увядшие листья» (1896), «Мой Измарагд» (1898), «В дни печали» (1900).

... в этих песнях — боль, печаль, работа.

Так жизнь сошлась, дорога ведь крута...

Да, так сложилась жизнь. Мы знаем по письмам, по автобиографическим документам, что почти вся она проходила в непрерывной борьбе с материальной нуждой, в необходимости отражать нападения и справа, и слева, иногда скрепя сердце прибегать к компромиссам, за которые он сам же себя жестоко корил. Разве не трагичны сообщения И. Франко в письмах о том, как его гнали этапным порядком в родное село, или о том, как после тяжелой работы в поле, на скотном дворе по вечерам он брался за перевод «Фауста» Гете или за чтение диалогов Платона, со страхом думая, что близится зима, будет рано темнеть, а купить керосиновую лампу не на что...

Неудачными оказались попытки издавать собственные журналы «Свет», «Жизнь и слово». Пришлось перенести свою работу в польскую прессу. Но когда в 1897 году в одном из немецких журналов была напечатана полемическая статья И. Франко о Мицкевиче под заглавием «Поэт измены» — статья, направленная не против великого польского поэта, а против «валленродизма» (двурушничества, практикуемого якобы для «высоких целей»), то есть изменнической и соглашательской тактики реакционного польского шляхетства, — консервативная польская печать начала яростно преследовать Франко, организуя против него демонстрации, угрожая ему физической расправой.

В 1889 году — третий арест и снова тюрьма. Несколько раз Франко выдвигался в депутаты австрийского парламента, но его кандидатура неизменно проваливалась: помещикам неугодно было видеть депутатом мужицкого избранника. Не получил Франко, как уже сказано, и кафедры при Львовском университете: клерикалы и буржуазные националисты были едины в своем нежелании видеть в качестве наставника молодежи одни — безбожника, а другие — человека, который ходит в «потертом сюртуке».

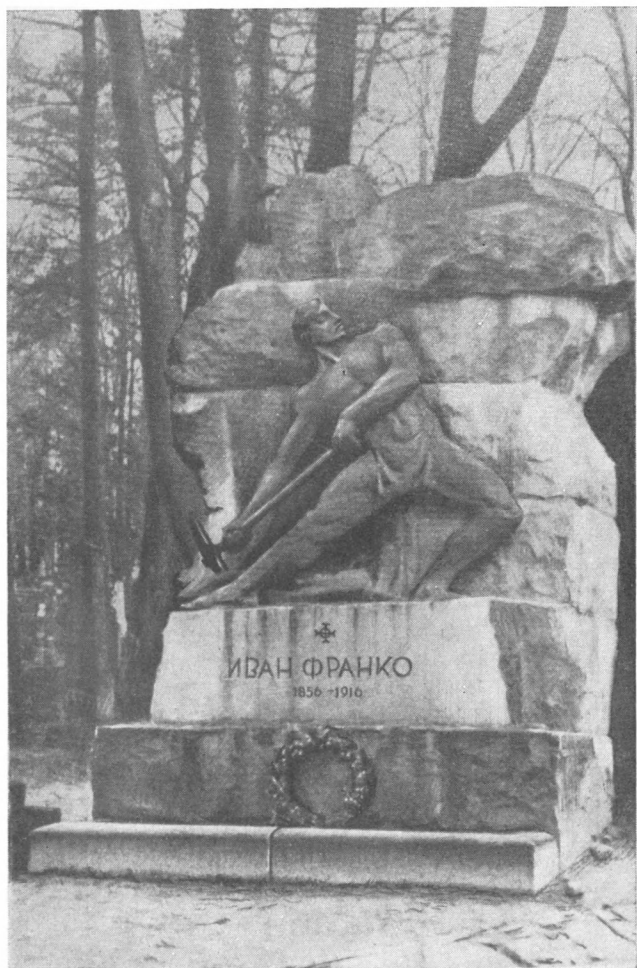
Вот в каких условиях создавалась «лирическая драма» «Увядшие листья», стихи, о которых Коцюбинский писал: «Это такие легкие, нежные стихи, с такой широкой гаммой чувства и пониманием человеческой души, что, читая их, не знаешь, кому отдать предпочтение: поэту борьбы или поэту-лирику, певцу любви и настроений».

Однако не сразу был понят и оценен этот лирический цикл. Некоторых критиков нашего времени смущала пессимистическая окраска сборника, и они всячески пытались «оправдать» И. Франко, то доказывая, что в этой «лирической драме» нельзя видеть отображение его личных переживаний, то утверждая, что в этих стихах дело вовсе не в трагедии неразделенной любви, а в настроениях, порожденных натиском реакции. Но не странно ли требовать от писателей прошлого, чтобы они, невзирая на обстоятельства личной жизни и на общественные условия, жили всегда в состоянии оптимистического «предвидения», чтобы поэт-борец при всяких обстоятельствах оставался рыцарем без страха и упрека, не имея права на художественное выражение своей личной тоски и даже отчаяния. Конечно, «Увядшие листья» — не автобиографический документ, но в то же время это попытка исцелить свой «болящий дух» «таинственной властью гармонии» (см., например, стихотворение Баратынского «Болящий дух врачует песнопенье. . .»). В целом это преодоление пессимизма путем глубокого и разностороннего изображения пессимизма, нечто подобное «Вертеру» Гете, в котором также много личного и который для самого автора был средством освобождения от «вертеризма», достижением того катарсиса (душевного очищения), в котором древние греки видели цель и смысл своих трагедий.

Следующими по времени являются книги «Мой Измарагд» (1898) и «В дни печали» (1900).

«Мой Измарагд» в значительной мере связан с занятиями Франко старинной украинской и русской литературой. «Измарагдом» в древней Руси назывались сборники рассказов, притч, поучений, частью переводных, частью оригинальных, в целом составлявших кодекс правил личного и общественного поведения человека. В «жесткие времена» борьбы партий и общественного разброда поэту захотелось, как он сам говорит в предисловии, противопоставить им спокойную, устоявшуюся, доброжелательную к людям мораль.

Сборник не отличается цельностью композиции. Первый раздел его — «Поклоны» — это частью рефлексивная, частью полемическая лирика («Седоголовому», «Декадент»); два последних — «По селам» и «В Бразилию» — продолжение тех поэтических очерков убогого крестьянского житя, которые мы встречали уже в сборнике «Вершины и низины» (цикл «Галицкие картинки»). Только вторая, третья и четвертая части — «Парнетикон» («Поучения»), «Притчи» и «Легенды» — в известной степени соответствуют заглавию книги. Но и здесь мы в сравнительно редких случаях находим простое изложение в стихах старинной книжной мудрости. Чаще всего она по-



вернута в сторону той морали, которую Франко проповедовал уже в первой своей большой книге стихов.

Христианскую мораль отречения от жизни Франко заменяет проповедью гуманистической любви и братства и утверждением вечного «стремления к высотам чистых сфер», — «стремления», которое выше всех добродетелей прославил Гете в «Фаусте». Так Франко остается, по существу, тем же, что и в предыдущих книгах, — борцом против всякого мракобесия, против всякого угнетения свободного человеческого духа.

Книга кончается, как уже было сказано, реалистическими картинами убогих крестьянских хат, напоминающих толпу нищих под забором, хат со слепыми узкими окнами, со стенами, похожими на калек, подпирающихся костылями, с вопиющей бедностью населения, измученного безземельем и податями и тщетно пытающегося найти выход в эмиграции за океан — в Бразилию. Картины, невольно приводящие на память образы народного горя у Некрасова и у польской поэтессы Марии Конопницкой (см. ее поэму «Пан Бальцер в Бразилии»). В украинской поэзии тут прямым предшественником Франко был Шевченко. Но исторические условия изменились, хоть экономический гнет оказался не менее тяжким, чем ярмо крепостничества.

Казалось, нет выхода из этой страшной жизни. Вот откуда в следующей книге стихов «В дни печали» — новые варианты интимной лирики сборника «Увядавшие листья», снова раздумья над неудавшейся жизнью, которая и не может быть иной в условиях народного горя и глухого равнодушия панских усадеб.

Проблема поэта и поэзии всю жизнь волновала Франко. С молодых лет он принимал поэзию как общественное служение. Ни французские парнасцы, ни русские представители «чистого искусства» не сбили его с этого пути. Он не противопоставлял поэта толпе. Он не знал (в принципе) границы между поэтом и гражданином и не сказал бы, как Некрасов: «Мне борьба мешала быть поэтом, песня мне мешала быть борцом». Он остро чувствовал свой долг — всегда быть поэтом-борцом, и если отклонялся от него в область интимной лирики, то мучился и карал себя за такие отклонения. Поэт, с его точки зрения, отнюдь не человек, возвышающийся над прочими людьми. Что такое поэт? Всегда «новобранец» («Semper tigr»), всегда школьник в училище жизни, не уверенный в своей власти над словом и над человеческим сердцем. В последнем сборнике своей лирики («Semper tigr»), опубликованном в 1906 году, Франко обращается к братьям и к самому себе с такими словами:

Мечтой не возносись, в союз вступая с лирой!

Когда в душе твоей теснится песен рой,

Служи богине честно и порфирой
Не думай заменять наряд простой...

Это предостережение против культа формы. Никакой «порфиры»! Никакого искания эффектных поэтических «средств», которые могли бы отвлечь читателя от идейного существа, убеждений, обличений, негодования, жалоб, высказанных в «честных» стихах. На своего друга-читателя Франко никогда не смотрит сверху вниз. И если он говорит о поэте как о «пророке», он не забывает о горестной доле этого пророка. На рубеже двух столетий (XIX—XX) в украинской критике послышались голоса в защиту творчества без «тенденций». Украинская буржуазия, задержанная в своем развитии, потребовала от поэзии отдыха. Представитель этих «голосов» поэт Микола Вороний заявил об этом в стихотворном послании к Франко. Поэт-революционер категорически отверг эстетическую программу украинских модернистов. Поэзия, отвечал он М. Вороню (в посвящении незаконченной поэмы «Лесная идиллия»), не может оторваться от жизненных бурь и сует и превратиться в спокойное эстетическое созерцание, стать усыпляющим опиумом или легкой забавой. Современная песня — это страсть, желание, огонь, тревога. Быть поэтом — это значит болеть чужим и собственным горем, откликаться на все голоса окружающей жизни. Так,

Мякина — слово,
Но искра в нем огня такого
Бессмертного, который фея
Зажгла от искры Прометея.

Нарастание революционного движения в России, с судьбами которой, по убеждению Франко, была неразрывно связана судьба Украины, внушило ему бодрость, вдохнуло силу в слабеющие от тяжелой болезни руки. Вот откуда мажорный тон стихотворения «Конквистадоры», вот откуда символическое название — «Дыхание весны в России», которое дал Франко одной своей статье. «Весь цивилизованный мир,— обращается он к русскому народу,— ждет от тебя первого подлинно мужественного решительного «*Sic volo*» («я так хочу».— А. Б.)».

Есть в поэтическом наследии Франко большая группа произведений, которые иногда условно называют поэмами. Сюда входят и близкие к подлинному эпосу «Панские забавы», повествующие о жизни глухого галицкого села в конце 40-х годов, накануне отмены «панщины» в Галиции; к этой большой поэме примыкает и ряд меньших по размеру стихотворных повестей, рассказов и очерков о современной Франко крестьянской жизни, составляющих почти

непременную часть каждой книги стихотворений И. Франко («Галицкие картинки» — в сборнике «Вершины и низины»; «По селам» и «В Бразилию» — в сборнике «Мой Измарагд»). Сюда же относятся и «Еврейские мелодии», замечательные по глубоко гуманному отношению поэта к еврейской бедноте (среди них особенно выделяется «Сурка», напрашивающаяся на сопоставление с «Катериной» Шевченко).

Замечательна сатирическая поэма «Ботокуды». Ботокуды — это старинное наименование одного из самых отсталых в культурном развитии племен Южной Америки. «Ботокуды» Франко — это представители реакционной галицкой интеллигенции, считающие себя опорой «порядка и веры».

Ботокуды — это квинтэссенция галицкого мракобесия, тупоумия и застоя. Где-то в мире уже проснулась правда, народилось новое, пламенное требование прав, хлеба, свободы и просвещения для народных масс. Ботокуды не слышат и не желают слышать всего этого. Они храпят в глубоком сне, не думая о голодных и оборванных «хлопах» (мужиках), о народных слезах. На них нельзя даже негодовать. Они заслуживают только презрительной иронии.

Казалось бы, что за дело читателю наших дней до этих туполобых ботокудов, копошившихся в глухом закоулке Европы, на которых обрушиваются сатирические стрелы Ивана Франко? Давно отошли они в прошлое, уступив место другим врагам украинского народа. Имеют ли их образы такое же обобщающее значение, какое приобрели, например, щедринские глуповцы или немецкий Михель, заклеянный в поэзии Гейне? Да, в процессе исторического развития все они стали мелким мусором. Но справедливы слова Ломоносова о том, что «малой вещи знак являет естества устав». Формы, принимаемые силами реакции и застоя, меняются, но «естество» их остается прежним. И до сих пор в мире еще не перевелись черви — идеалисты, слагающие поэмы про свою чудесную, счастливую жизнь в болоте («Идеалисты»), проповедующие «покой» во время войны и боя («Покой»), мечтающие обнести Украину непроницаемой китайской стеной («Осы»), поучающие своих детей насчет того, как полезно и выгодно сидеть на двух стульях («Послушай, сын...»), не перевелись трусы, лицемеры, мелкие душонки. Но, пожалуй, всего гнуснее даже не они, а те «добрые, искренние, чистые» люди, которые, вольно или невольно, становятся орудием эксплуататорского строя — Пилатами, умывающими руки перед тем, как послать на казнь невинного, соглашателями, ссылающимися на «требования благоразумия», на бесполезность борьбы с сильнейшими врагами. Сколько их и в наши дни в странах капиталистиче-

ской Европы, этих постепенцев, сторонников выжидательной тактики, умеренности и осторожности!

Поэмами являются и «легенды», к которым Франко особенно пристрастился с 90-х годов и которые так важны для понимания его философских и этических воззрений. К жанру поэм относятся и обработки восточных сказок и сказок западно-европейских народов, предназначенные преимущественно для юных читателей («Лис Микита», «Кузнец Бассим», «Башмаки Абу-Касима» и др.).

Немногочисленные поэмы исторического характера («На Святоюрской горе») большей частью остались незаконченными. Наиболее значительна в идейно-художественном отношении группа поэм, разрабатывающих философскую и этическую тематику («Смерть Каина», «Иван Вышенский», «Похороны» и особенно «Моисей»).

Поэма «Похороны» (1899) создавалась почти одновременно с названной выше статьей Франко о «Конраде Валленроде» Мицкевича, вызвавшей, как уже сказано, бурю негодования против И. Франко в польской реакционной печати. Конрад Валленрод изменяет усыновившему его чужому народу, чтобы освободить собственный народ. Мирон в поэме И. Франко предает свой народ для того, чтобы поднять его нравственные силы. С его точки зрения, повстанцы, победив, остались бы теми же рабами, какими были раньше. Теперь они погибли геройской смертью, и эта смерть разбудит сознание народных масс.

Поэма «Похороны» — плод размышлений Франко над тактикой буржуазно-националистической интеллигенции, нередко оправдывавшей свое соглашательство и измену народным интересам разными, якобы высшими, соображениями. Суть поэмы (и из эпилога это совершенно ясно) в решительном осуждении всякого рода «валленродизма», изменничества и двурушничества.

Иная проблема ставится в поэме «Смерть Каина». Франко очень высоко ценил драматическую поэму Байрона «Каин» и перевел ее на украинский язык, снабдив перевод своим предисловием. Байроновская поэма казалась Франко исключительным по силе, в пору жестокой реакции, выступлением против всякого застоя покорной традициям мысли. Некоторые черты героя Байрона свойственны и герою украинского поэта. Но «вечный конфликт» между жизнью и знанием Франко снимает и превращает этот идейный конфликт в часть конфликта социального. Одиноким бунтарь становится гуманистом, отрекающимся от индивидуализма ради служения людям. Одинокая личность только тогда обретает силу духа и смысл жизни, когда она осознает себя частью большого целого, когда на смену «я» появляется «мы».

К этой идее сводится и наиболее целостное по исполнению произведение Ивана Франко — поэма «Иван Вышенский» (1900). Об известном украинском полемисте XVI—XVII веков, борце против религиозного и национального гнета Иване Вышенском Франко написал ряд исследований и научно-популярных статей. В поэме Вышенский — уже старец, живущий отшельником на горе Афон, куда к нему приезжают по морю посланцы с Украины, убеждая его вернуться на родину, вернуться к борьбе с угнетателями. Вышенский обуреваем раздумьем, но в конфликте между личным и общим побеждает стремление отдать последние силы освободительной борьбе родного народа.

И наконец, самая сложная по идейному содержанию, последняя большая поэма «Моисей» (1905) — крупнейший вклад Франко не только в украинскую, но и в мировую литературу.

Снова использован книжный источник — библейская легенда о Моисее, который вывел еврейский народ из египетского рабства и после сорокалетнего скитания по пустыне подвел его к пределам «земли обетованной», но сам не вошел туда, наказанный Иеговой за сомнения и колебания.

Как всегда, обращаясь к легендарному сюжету, Франко стремится разработать его в плане реалистического изображения. Готовясь к выполнению своего замысла, Франко не только внимательно изучал Библию, учитывая достижения так называемой библейской критики, но изучал и географию Аравийской пустыни, географию Палестины, историю еврейского народа.

Ему знакомы были попытки сделать историю Моисея достоянием искусства — от статуи Микеланджело до сочинений Гердера, посвятившего Моисею вдохновенные страницы своей книги «О духе древнееврейской поэзии», набросков Гете, стихотворений венгерского поэта-революционера Петефи, поэмы французского романтика Альфреда де Виньи. Не приходится, однако, говорить о каких-либо прямых влияниях предшествовавшей литературы на поэму Франко.

Герой Альфреда де Виньи — великий одиночка, вождь, обессилевший от чувства превосходства и одиночества. Моисей Франко — это конденсация лучших стремлений народной массы, а одновременно ее сомнений и колебаний. Колебания самого Моисея вызваны не тем, что народ начал роптать на него, а тем, что ему самому не удастся противостоять тем настроениям массы, которые со всех сторон хлынули на него, грозя затопить его волю. Не проблема «героя» и «толпы» ставится и решается в поэме, а проблема соотношения между народом и его вождем — аккумулятором и трансформатором духовной энергии, скрытой в массах.

Моисей думает о будущем своего народа, и ему дано понять это будущее. Прогресс, с его точки зрения, не в возрастании материальных благ, а в развитии духовных сил, заложенных в самом народе. Долог путь к лучшему будущему, но идти вперед — это обязанность всех и каждого. В прологе к поэме Франко говорит — очевидно, под влиянием революционного пробуждения в России в 1905 году — о времени, когда исстрадавшийся, искалеченный испытаниями истории украинский народ дожидается той свободы, за которую всю жизнь боролся сам поэт:

Но время близко — ты, с лицом открытым,
Сияя, вступишь в вольный круг народов,
Тряхнешь Кавказ, повяжешься Бескидом,

Покатишь Черным морем шум свободы,
Окинешь, как хозяин домовитый,
Свой дом и землю, позабыв невзгоды.

Поэма «Моисей» — это, до известной степени, тот философско-поэтический синтез, которого Франко упорно добивался в своих художественных исканиях, это итог и самооценка его личной деятельности.

* * *

В украинском издании сочинений Ивана Франко (1950—1955) стихотворения и поэмы занимают четыре больших тома, и это еще далеко не все оригинальные поэтические произведения поэта.

Замыслы не покидали его, он мучился ими, слыша голоса своих «неродившихся детей», невоплотившихся образов, которые зывали к нему:

Отец! Отец! Отец!
Мы — света не увидевшие дети!
Мы — не пропетые тобою песни,
Безвременно погибшие в трясине!
О, глянь на нас! О, протяни нам руку!
Зови на свет нас! Дай скорее солнца!
Там весело — зачем же здесь мы чахнем?
Там хорошо — зачем мы гибнем?

Незаконченными остались и поэма «Марийка», из быта галицкого духовенства, и поэма «Новая жизнь». В сборнике «Semper tūro» были напечатаны только две песни поэмы «Лесная идиллия» со знаменитым «посвящением», направленным против «жрецов чистого искусства». Не разыскана до сих пор поэма «История левой руки», из жизни украинского духовенства. Ненасытным был творческий

дух И. Франко. И ему хотелось разбудить в своих современниках такую же бессонную работу мысли, такую же неутолимую жажду знать, какая обуревала его самого. Он вычерпал бы весь океан знания, если бы не ограниченность человеческой жизни.

Подчеркиваем эту последнюю мысль. Универсальность интересов Ивана Франко отнюдь не имеет характера эклектизма, характерного для многих поэтов, выступивших во второй половине XIX века. Это отнюдь не блуждание по «странам, векам и народам» в поисках поэтических тем или экзотических декораций. Франко выбирает из сокровищницы человеческого духа то, что в какой-то мере созвучно его мыслям и чувствам, что, по его убеждению, может пригодиться родному народу в его духовном росте и освободительной борьбе. Перерабатывая старинную буддийскую легенду или житие христианского святого, народную сказку или библейский рассказ, он никогда не уходит от своей современности и так же переключается с нею, как в стихах, изображающих тюремный быт или жизненные мытарства галицкого крестьянства. Его творчество всегда целюстремленно, даже когда он обращается к поэтическим переводам.

Переводы в стихах проходят через всю литературную деятельность Франко. Собранные вместе, они составили бы большую антологию всемирной литературы, начиная от древнего Востока — Вавилона, Египта, древней Индии, — продолжая античными литературами Европы, народной поэзией славян, Англии, Шотландии, Скандинавии, Румынии, литературами России, Германии, Англии, Франции, Италии, Венгрии, Польши, Чехии. Больше всех других украинских писателей XIX века Франко сделал для ознакомления западно-украинских читателей с произведениями Пушкина (стихотворения и драматические произведения) и Некрасова, не говоря уже о представителях русской художественной прозы. Переводя, Франко не просто решал задачу — средствами родного языка освоить чужую мысль, преодолеть трудности чужой, иногда изысканной поэтической речи. Он раздвигал кругозор своих читателей, он учил их международной солидарности.

«Если правда, — говорил он, — что главное значение поэзии заключается в том, что она расширяет нашу индивидуальность, обогащает душу такими впечатлениями и чувствами, каких она не узнала бы в обыденной жизни или не узнала бы в такой силе и ясности, то я думаю, что передача чужеземной поэзии, поэзии разных веков и народов, родным языком обогащает душу целой нации, присваивая ей такие формы и выражения чувства, каких она не имела дотеле, созидавая золотой мост понимания и сочувствия между нами и далекими людьми, давними поколениями».

Отделенный от нас десятилетиями, изнемогавший в неравной борьбе против галицкого мракобесия, против украинского и польского национализма, против полонизации и русификации украинского народа, проводимых польскою шляхтой и русским царизмом, против австрийской бюрократии, против всяческого обскурантизма, национального и социального угнетения, часто колебавшийся и не понимавший перспектив исторического развития,— Франко нередко являлся созвучным нам в своих конечных идеалах и в известной мере стал нашим соратником. Ему глубоко ненавистно угнетение одной нации другою. Любовь к родине, по его убеждению, не противоречит любви ко всему человечеству.

И разве ты, моя любовь,
Враждебна той любви высокой
Ко всем, кто льет свой пот и кровь,
В оковах мучимый жестоко?

Нет, кто не любит всех равно,
Как солнце — горы и долины,
Тому любить не суждено
Тебя, родная Украина.

Бессмертные творения Франко входят в сокровищницу всемирной поэзии, помогают народам в их борьбе за мир, за взаимное понимание и дружбу. Когда-то, в минуту грустных раздумий, Франко мечтал:

В моря из слез — от горя, от заботы —
Пусть каплей и мое войдет страданье,
Когда возводят храм борьбы, работы,
И мой кирпич пусть ляжет в основанье!
Когда ж, миллионов купленный слезами,
Свободы день и радости настанет,
То кто-нибудь в большом и новом храме
Пусть добрым словом и меня помянет.

«Свободы день и радости» настал, и тогда началась вторая жизнь поэта — жизнь в сознании прогрессивного человечества всего земного шара. Люди разных стран и народов чтут в лице Франко великого поэта и пламенного революционера, из темных глубин своего мрачного времени приветствовавшего «пламенеющий расцвет» новой, социалистической эпохи.

Александр Белецкий.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ КНИГИ
«ВЕРШИНЫ И НИЗИНЫ»
(1893)

ГИМН

(ВМЕСТО ПРОЛОГА)

Вечный революционер —
Дух, зовущий тело к бою
За победу, счастье, волю,
Он живет, живым пример.
Ни тюремные ограды,
Ни солдатские приклады,
Ни орудия, ни раны,
Ни поповские обманы,
Ни шпионов ремесло —
В гроб героя не свело.

Он не умер, он живет!
В глубине веков рожденный,
Он восстал освобожденный,
Силой собственной идет.
И туда, где рассветает,
Не сгибаясь, он шагает.
Кличет словом, как трубою,
Миллионы за собою,—
Вслед идут они за ним:
Голос духа слышен им.

Всюду голос клич ведет:
У соломенного крова,
У станка мастерового,—
Там, где горе слезы льет.
Всюду, где он окликает,
Вмиг недоля исчезает,

¹ Из глубины (лат.).— *Ред.*

Крепнет сила, призывая,
Чтоб восстали, добывая
Детям, если не себе,
Долю лучшую в борьбе.

Вечный революционер —
Дух, наука, мысль и воля,
Не уступит мраку поля,
Мужества подаст пример.
Развалилася руина,
Покатилася лавина, —
Разве есть на свете сила,
Чтоб ее остановила,
Чтоб затмила, словно тень,
Разгорающийся день?

1880

ВЕСНЯНКИ

I

Удивлялась зима:
Отчего тает снег?
И покров почернел
Льдом окованных рек?

Удивлялась зима:
С каждым днем — меньше сил.
Что за странный озноб
Всю ее охватил?

Удивлялась зима:
Отчего с каждым днем
Оживает земля,
Наливаясь теплом?

Удивлялась зима:
Сквозь покров ледяной
Как посмели цветы
Выйти стайкой живой?

И подула на них
Ветром уст ледяных,
И метать принялась
Горы снега на них.

Опустили цветы
Сразу венчики вниз,
Но лишь стихла метель —
Вновь они поднялись.

Всего больше зима
Сокрушалась о том,
Что бессильна она
Перед слабым цветком.

27 марта 1880

II

Гремит! Благодатная ближе погода,
Роскошною дрожью трепещет природа,
Живительных ливней земля ожидает,
И ветер, бушуя, над нею гуляет,
И с запада темная туча летит —

Гремит!

Гремит! И народы объемлет волнение:
Быть может, прекрасное близко мгновенье...
Счастливых мы ждем перемен. Эти тучи —
Виденье грядущей эпохи могучей,
Которая мир, как весна, обновит...

Гремит!

15 мая 1881

III

Греет солнышко!
Улыбается
Небо ясное,

Песня слышится
Жавороночка,
Утопая там,
В глубине небес,
Вечно синего
Океана...
Встань,
Встань же, сеятель!
Злобный ветер стих,
Отскрипел мороз,
Отошла зима!
Теплым веяньем
Воздух полнится;
Как у девушки
Пробудившейся
Подымает грудь
Кровь кипучая,
Молодая кровь,
Так и грудь земли
Дышит-движется
Силой дивною
И живительной.
Встань же, сеятель!
Сей ты в добрый час
Зерно-золото!
С лаской-трепетом
Мать сыра-земля
Обоймет его,
Кровью теплою
Напоит его
И взрастит его,
Сберегаячи.
Эй, друзья мои!
Сердца чистые,
Руки сильные, мысли честные,—
Просыпайтесь!
Встаньте, слушайте
Зов весны людской,
Всемогущий зов!
Сейте вы в умах
Думы вольные,
А в сердцах людских —

Братолюбие,
И огонь в груди ---
Чтоб идти на бой
За добро, любовь
И за волю всех!
Сейте! В рыхлую
Пашню свежую
Семена падут
Вашей истины!

28 марта 1880

IV

Уж солнышко вновь по лугам
Начинает с весною работу;
И вновь по широким полям
Льются реки крестьянского пота.

По тихой реке голубой
Серебристая рыба играет;
По тесной толоке нагой
Вновь скотина худая блуждает.

А лес птичью песню поет,
Стон кукушки звенит по дорогам,
И снова телега ползет —
Сборщик едет в село за налогом.

1 мая 1881

V

Свет мой, Земля, ты всего нам роднее,
Так много силы в твоей глубине;
Каплю ее, чтоб в бою быть сильнее,
Дай в долю мне!

Дай мне тепло, что в груди вечно будет
Чувства чудесно тревожить и кровь.
Что безграничную в сердце разбудит
К людям любовь!

Дай и огня, чтоб наполнить им слово,
Дай над сердцами могучую власть
Правде служить, жечь неправду сурово.
Дай эту страсть!

Силу мне дай, чтоб с неволею биться,
Разуму — ясность, чтоб кривду убить,
Дай мне трудиться, трудиться, трудиться,
Дай всё свершить!

1880

VI

Распускайся, развивайся,
Роща молодая!
Помертвелая природа
Снова оживает.
Оживает, разрывает
Зимние оковы,
Обновляясь новой силой
И надеждой новой.

Зеленей, родное поле,
Украины нива!
Поднимайся, распускайся,
Дозревай счастливо!
И чтоб доброе навеки
Семя ты растила,
И чтоб миру доброй службой
Ты всегда служила!

1880

VII

Не забудь, не забудь
Дней весны, юных дней,—
Жизни путь, темный путь,
С ними ярче, ясней.

Снов золотых и утех,
Светлых слез и любви,

Чистых замыслов тех
Не стыдись, не губи!

Ведь пройдут. . . Дальше труд
Одинокий, тоска, —
Огрубеют, замрут
И душа, и рука.

Лишь кто знает любовь,
В ком волнуется кровь,
В ком надежда — навек,
Кто в бою не дрожит,
Вместе с братом скорбит
И на помощь спешит, —
Только тот — человек.

Если жизни пути
Человеком таким
Ты не можешь пройти, —
Будь хоть чуточку им.

А в ненастные дни,
Непогожие дни,
Когда чувство замрет
И мечта отцветет

И с широких дорог
Битв, любви и тревог
Ты сойдешь для иной
Тропки — узкой, крутой,

Кровь остудит беда
И померкнут огни, —
Добрым словом тогда
Жизни май вспомяни!

Вот тогда эти сны
Скрасят трудный твой путь. . .
Юных дней, дней весны,
Не забудь, не забудь!

5—10 июня 1882

VIII

Лицо небес яснее стало
И блеском утра засияло,
Надежд румянцем пламенеет,
А я в тюрьме, но сердце млеет.

И вдруг я вижу — на просторе,
Как парус в неоглядном море,
Нежданно тучка вырастает
И тихо, тихо наплывает.

Но что-то в ней дрожит такое,
Как будто в сердце молодое
Ворвется тень печали скрытой,
Тревоги тучкою повита.

Но солнце тучку ту сквозную
С лица небес вот-вот сцелует,
И на ресницах золотистых
Лишь две-три капельки повисли.

О небо, небо, ты — как море.
Что ж в сердце у тебя такое
Вдруг защемило? Иль земное
Большое, тягостное горе?

29 марта 1880

IX

Ой, поет в саду, щебечет соловей
Песню вольную весенних ясных дней,
Он щебечет, как и прежде щебетал,
Вёсны красные напевами встречал.

Да не так теперь, не то теперь у нас:
Всё село гудит, бывало, в этот час,
А девчата на гулянке — словной рой,
А на вишне — соловейка молодой.

Ой, не то теперь, что было! Вечерком
Не пройдут девчата с шуткой, с говорком,
Не выводят они песен на весь двор,
Молодому соловью наперекор.

Изнуренные с полей они спешат,
Руки, ноги, как отбитые, болят,
Не до песен тут, видать, не до затей,—
Им, сердечным, отдохнуть бы поскорей!

Грустно даже соловейке щебетать,
Грустно, тяжело дни весенние встречать,
Славить радостными песнями простор,
Словно горю человечьему в укор.

Еще жаль ему соперниц, что гурьбой
Пели с ним по вечерам наперебой.
Что-то ждет их? .. Муж постылый, плач дегей,
Брань свекрови да попреки от людей.

25 апреля 1881

Х

Время весеннее, делось куда ты?
Что ж ты, голубка-весна, не идешь?
И почему к люду бедному в хаты
Голод и холод, нужду и утраты
В гости ты шлешь?

Май, ты пришел, но какой-то суровый,—
Будто мертвец, ты свершаешь поход.
Пусто везде — на полях и в дубровах.
Только скрывается в тучах свинцовых
Весь небосвод.

Косит детишек кругом скарлатина,
Стонет по селам измученный люд.
Сена охапки не сыщешь в овинах.
Гибнет скотина. В широких долинах
Воды ревут.

«Гибнем,— все шепчут.— Беда не отстанет,
Раз уж придет. Или мор нападет,
Или злой пан на нас снова нагрянет...»
Вот как весну ожидают крестьяне
Нынешний год.

6 мая 1883

XI

Рад бы, весна, я порою отрадной
Радостной песнею встретить тебя,
Чтоб утонуть в красоте ненаглядной,
Слиться с тобою, забыть про себя.

Рад бы, как ястреб, я в небе кружиться,
Травкою нежной расти на земле,
В скалы волною безудержной биться,
Мошкой виться в вечернем тепле,

С жизнью проститься и выплыть на волю,
В милой земле бы от слез отдыхать,
Чтобы сердечной не чувствовать боли,
Муки людской бы вокруг не видеть!

3 мая 1881

XII

Что за дым клубится в поле?
Иль орлы крылами бьются?
Иль судьба копает грядки,
Красоту сажает, сеет
Светлый разум, припевая:
«Красота, всходи до солнца,
Цвети, разум, спозаранку!
Красота, будь мне по пояс,
Разум, будь меня ты выше!
Красота, с людьми живи ты,
Разум, ты иди к народу!
Красота, кляни сурово
Всех, готовящих оковы!

Не давайся тем ты в руки,
Кто тебе готовит муки!
Если ж попадешь в неволю,
Расплывись слезой горючей
И засохни без потомства!

Разум, разум быстрокрылый,
Рви оковы вековые,
Что людскую мысль сковали!
На свободу люд рабочий,
Разум, выведи скорее!
Мысли светлые зажги в нем
И стремленье к вольной жизни.
В братьях вырасти согласие,
Чтоб единая их сила
Вместе, разом, дружно стала,
Счастье, волю добывала!»

23 июня 1880

ХIII

Песни доли вешней,
Ночи вешней сны,
Что так безутешны,
Что вы так грустны?

Или вам не встретить
Зелени в лесах,
Или вам не светит
Солнце в небесах?

Иль для вас веселый
Не цветет цветок,
Что лишь горе в селах
Взор заметить мог?

Ах, дубравы живы,
Ясен солнца свет,
Лишь любви счастливой
В наших душах нет!

Птиц щебечут стаи,
Гомон, песни, крик...
Только пропадает
С голоду мужик.

Долы, горы, поле
Ярко так цветут,—
Только тьма с неволей
Кровь народа пьют.

Лучше бы для моды
Распевать порой
О красе природы,
Чем о доле злой.

Только не для моды
Запеваю я
И тоской исходит
Песенка моя.

3 августа 1882

XIV

Думы, песни мои,
Думы, дети мои!
Улыбнитесь, маня
Из печальной тюрьмы!

Точно запах весны,
Прилетаете вы,
Сердце скорбное вмиг
Утешаете вы!

И туда вы, где ржа
Точит сердце, кроша,
Где в тяжелой борьбе
Истомилась душа,

Где шатается лишь,
Сомневается лишь
Ум, где новая мысль
Разгорается лишь,—

Вы несите привет,
Исцеленье от бед,
Где сомненья и мгла —
Лейте радостный свет!

6 апреля 1880

XV

VIVERE MEMENTO ¹

Ты в груди моей, весна,
Чудо сотворила!
Ты ль призывом ото сна
Сердце пробудила?
Тлел вчера, как Лазарь, я,
Как в гробу, в кручине,—
Что ж за новая заря
Мне блеснула ныне?
Чудный зов манит опять. . .
К жизни то — не в плен то:
«Встань, проснись, довольно спать!
Vivere memento!»

Ветер теплый, брат родной,
Ты ль мне молвил слово?
Иль дубрава над горой
Зашумела снова?
Травка, то, быть может, ты
Сердце приласкала.
Как от зимней мерзлоты
Снова к солнцу встала?
Или, может быть, рекой,
Серебристой лентой,
Смыт мой сумрачный застой?
Vivere memento!

Всюду слышу дивный глас,
Жизни зов могучий. . .
Свет, весна, люблю я вас,
Горы, реки, тучи!

¹ Помни, что живешь (лат.).— *Ред.*

Люди, люди! Брат я вам,
Вам отдам все силы,
Сердца кровь свою отдам,
Чтобы горе смыла.
А что кровь не сможет смыть,
Пусть горит в огне то!
Лишь бороться — значит жить,
Vivere memento!

14 октября 1883

Тернополь

ДУМЫ ПРОЛЕТАРИЯ

I

НА СУДЕ

Судите, судьи, вы меня
Не милостью фальшивою!
Не думайте, что брошу я
Дорогу «нечестивую»,
Не думайте, что голову
Сейчас склоню в смирении,
Что вверюсь вашей доброте
Хоть на одно мгновение.

Судите безбоязненно,—
Ведь вы сильны, вы знаете!
Судите без стыда,— ведь стыд
Вы с цепи не спускаете;
Судите, как закон велит,
Еще добавьте тяжести;
Одной машины колесо —
Закон и вы: куда ж идти?

Но об одном прошу я вас,
Скажите ясно, смело вы:
В чем я и те, кто здесь со мной,
Виновны, что мы сделали?

Скажите ясно: «Это всё
Изменники! Они хотят
Переменить, преобразить,
Разбить общественный уклад!»

Еще скажите, а зачем
Хотят разрушить этот строй?
Затем, что властвует богач
И гнется труженик немой;
Еще затем, что честный труд
Унижен вами, оскорблен,
Хоть весь общественный уклад
Содержит, оживляет он;

Затем, что тунеядцы пот
И кровь рабочую сосут;
Затем, что с кафедр, с алтарей
Тьму, а не свет, веками льют;
Затем, что льют живую кровь
Для прихоти царей, господ;
Живут, как боги, палачи
И хуже пса — бедняк живет.

Еще скажите, как ваш строй
Решили переделать мы?
Не силою оружия,
Огня, железа и войны,
А правдой, творческим трудом,
Наукой. Если же война
Кровавая поднимется —
Не наша будет в том вина.

Еще скажите, кто из вас
Посмеет отказать нам в том,
Что правду все мы говорим,
Что прямо, честно мы идем
За правдою. . . Скажите всё,
Мы всё сумеем вынести, —
Тогда «закона» именем
Вершите суд без милости!

30 апреля 1880

II
МИЛОСЕРДНЫМ

Пусть это так, что, как червяк,
В болото жизни втопан я,
Пусть я унижен, оскорблен
И умираю, всех кляня;
Пусть это так, что, как бедняк,
В отрепьях жалких я стою,—
И все ж непрошенный ваш дар
Глубоко ранит грудь мою.

Пускай вы искренни, честны,
Пусть вы добры от всей души
И сердобольно бедняку
Даєте медные гроши;
Но не молил и не просил
От вас я никаких щедрот.
В подачке не нуждаюсь я,—
Она мне только руку жжет.

И кто вам право это дал —
С живым сочувствием подчас
Смотреть на каждого, чей взгляд
Не так уж светел, как у вас?
Чье изможденное лицо
И горе, скрытое в груди,
И чьи заплаты говорят:
Вот — пролетарий! Погляди!

А этот, может быть, бедняк
От вас не хочет ничего
И подаянье богача —
Лишь оскорбленье для него?
Кто знает,— может быть, бедняк
Ждет просто дружеских утех
И взор сочувственный, без слов,
Ему богатств дороже всех?

Дадите милостыню вы,
Своею щедростью хвалясь,

А это только бедняка
Еще сильнее втопчет в грязь.
И, может быть, за этот дар,
Что из богатых рук идет,
Он милость вашу навсегда
И руки ваши проклянет.

12 июня 1880
Стрый

III

SEMPER IDEM! ¹

Вопреки теченью
На рожон идти,
Крест свой от рожденья
До смерти нести!

С правдой — за свободу,
В битву против зла!
Сеять средь народа
Вольности слова!

С факелом науки
Бейтесь против тьмы,
Трудовые руки,
Светлые умы!

Нет еще такого
Острого железа,
Чтобы правду-волю
Мог тиран резать!

Нет костра такого,
Чтобы сжечь навеки
Вместе с утлым телом
Дело человека!

3 апреля 1880

¹ Всегда тот же, неизменный! (лат.) — *Ред.*

IV
ИДЕАЛИСТЫ

Под пнем перегнившим, в разросшейся тине,
Пигмеев-червей копошатся клубки.
В трясиине рожденные, гибнут в трясиине,
Их телом другие живут червяки.

И снится им, бедным, во тьме бесконечной,
Что солнце сияет над их головой,
Что, солнцем согретые, в радости вечной
Они веселятся беспечной гурьбой.

И сны свои черви сложили в системы
С таким заключением: «Нет доли светлей»;
Читали доклады, строчили поэмы
О жизни болотной счастливой своей.

Но люди однажды тот пень повалили,
И солнце, сверкая, возникло вдали,
И разом подошли рожденные в гнили,
И злое светило, кончаясь, кляли.

1882

V

Всюду преследуют правду,
Всюду неправда одна,
Только в сердца ваши, братья,
Пусть не проникнет она!

Там для святой вашей правды
Мощный создайте оплот,
Там пусть огонь вашей мысли
Неугасимо растет!

Крепче преграды из стали,
Тверже гранитной стены —
Чистого сердца твердыня
Против грозящей волны.

Пусть от потомков к потомкам
Правда пребудет цела
В сердце, пока не утихнет
Буря коварства и зла.

Правда — как дерево в стужу:
Сверху без листьев, мертво,
Но под замерзшей землею
Ширятся корни его;

И, как струя ключевая
Рвется в проломы скалы,—
Так же прорвет все преграды
Правда живая земли!

6 апреля 1880

VI ПОКОЙ

Что ж, покой — святое дело,
Если мирно день идет;
Кто же в час войны и боя
Стал глашатаем покоя —
Трус или предатель тот.

Если мирные народы
Трудятся, чтоб у природы
Вырвать тайну не одну,
Ту, что свет во тьму вливает,—
Горе тем, кто начинает
Самовольную войну.

Но когда порой рабочей
Вор забраться к нам захочет,
В доме шарить, в кладовой,
Нас имущества лишая,
Цепи нам приготавлиая,—
Разве свят тогда покой?

Если, нашу скромность видя,
Дух наш, род наш ненавидя,

Он нас топчет нипочем —
Горе, горе миротворцам,
Тем, кто к топору не рвется,
Не отвечает мечом!

15 июля 1883

VII

ТОВАРИЩАМ

И вас от шумных сборищ оттолкнут
Порядков старых рыцари надменно,
И вас и ваше дело проклянут,
Вскричат: «Мечты опасные! Измена!»
И обесславят, клеветой зальют,
В преступники зачислят несомненно;
Истерзанных, вас напоят отравой,
Цель светлую пятная желчью ржавой.

На суд потащат вас, все тюрьмы вами
Набьют и всё поднимают против вас —
Людей и бога. Делом и словами
Не позабудут уколоть подчас
Живое сердце ваше, как шипами.
Подумаешь: «И это жизнь!» Не раз
Друзья от вас откажутся в испуге...
Да так ли жить нам нужно, братья-друзи?

Не в этом жизнь! Чтоб истину нашли
И братьями униженных назвали,
За это вы в неравный бой пошли,
Во имя правды против лжи восстали...
Боритесь же! Смелей! Для всей земли
Путь правды расчищайте! Где взрастали
Бурьян и терн — за вашею тропой
Пусть вырастает колос золотой!

19 апреля 1880

VIII

Не люди нам враги, о нет,
Хоть люди судят нас и травят,
В тюрьму бросают, застят свет,
Гнетут, высмеивают, дают.

Ведь люди — что? Каменьев горсть,
Какие раннею весною
Несет, швыряя вкривь и вкось,
Волна могучая с собою.

Не в людях зло, а в путях тех,
Какие тайными узлами
Скрутили слабых, сильных — всех,
С их мукою и с их делами.

Лаокооном среди змей
Народ в незримых путях бьется...
Дождемся ли счастливых дней,
Когда петля на нем порвется?

9 апреля 1880

IX

Не долго я на свете жил,
Не слишком жизнь меня ласкала,
Не слишком щедрою была,
Но всё же я узнал немало.

Дала мне жизнь познать добро,
Дала увидеть свет науки,
И жажду правды мне дала,
И эти трудовые руки.

Дала и дружбу, и любовь,
Хоть и не так она счастлива,

Сказала: «Сей, хоть не твоей
Рукою сжата будет нива!»

Врагов послала, что меня
Клянут, теснят своею силой,
Друзей послала мне таких,
Которым лишь свое и мило.

Но выше всех ценю я ту
Скупую меру мук и боли,
Что в этой жизни принял я
За правду, за добро и волю.

1 апреля 1880

Х

Вы плакали фальшивыми слезами
Над горестной судьбой моей, жалели
Меня, печально разводя руками,
Но помощи, увы, не видел я на деле.

«Жаль малого! Сойдя с пути прямого,
Погиб! Заранее мы это знали!
Пустыми бреднями увлекся бестолково,
И вот куда его фантазии загнали!»

Иные ж благодетели, надменно
Плечами пожимая, возглашали:
«Смотрите, до чего доводят неизменно
Нелепые мечты об идеале!»

Решили так и удалились, строги,
Тот — на обед, тот — к карточным партнерам,
А тот — судить томящихся в остроге,
А я остался гибнуть под забором.

31 мая 1880

I

БАТРАК

Склоненный над сохой, тоскливо напевая,
 Встает он предо мной;
 Заботы и труды, и мука вековая
 Избороздили лоб крутой.
 Душой младенец он, хоть голову склонил,
 Как немощный старик,—
 Ведь с детства трудится и не жалеет сил,
 К невзгодам он привык.
 Где плуг его пройдет, где лемехами взроет
 Земли могучий пласт,
 Там рожь волнистая поля стеной покроет,
 Земля свой клад отдаст.
 Так отчего на нем рубаха из холстины,
 Заплатанный армяк?
 Зачем, как нищий, он прикрыл отрепьем спину? —
 Работник он, батрак.
 С рожденья он — батрак, хоть вольным прокричали
 Властители его;
 В нужде безвыходной, в смиренности и печали
 Сам гнется под ярмо.
 Чтоб как-нибудь прожить — он жизнь, и труд, и волю
 За корку хлеба продает,
 Но горький этот хлеб его не кормит вволю
 И новых сил ему не придает.
 Тоскует молча он и с песней невеселой
 Землицу пашет — не себе,
 А песня — кровный брат, снимая гнет тяжелый,
 Не хочет уступить судьбе;
 А песня — как роса, живящая растенья,
 Когда сжигает зной;
 А песня — как раскат, как гул землетрясения,
 Растущий под землей.
 Но всё ж, пока гроза не грянет, полыхая,
 Томится он, не смея глаз поднять,

¹ Всё выше! (лат.).— *Ред.*

И землю пестует, как мать свою лаская,
 Как сын — родную мать.
И что ему с того, что над чужою нивой
 Он пот кровавый льет,
И что ему с того, что, страдник терпеливый,
 Он власть хозяевам дает?
Ведь лишь бы те поля, где приложил он руку,
 Вновь дали урожай,
Ведь лишь бы труд его, ему несущий муку,
 Другим дал — светлый рай.
Батрак тот — наш народ, чей пот бежит потоком
 Над нивою чужой.
Душою молод он, в стремлении высоком,
 Хоть обойден судьбой.
Он счастья своего ждет долгие столетья,
 И всё напрасно ждет;
Татарский плен изжил, Руину, лихолетье
 И панщины жестокий гнет.
И все-таки в душе, изнывшей от невзгоды,
 Надежда теплится, горда,—
Вот так из-под скалы, из-под крутого свода
 Бьет чистая вода.
Лишь в сказке золотой, как будто сон прекрасный,
 Он видит счастье лучших дней,
И, тяжкий груз влача, он, хмурый и бесстрастный,
 Живет мечтой своей.
В глухие времена одна его спасала
 К родной земле любовь;
Толпа его детей в страданиях погибала —
 Он возрождался вновь.
Любовью этой тверд, он — как титан былого,
 Непобедимый сын земли,
Который, падая, вставал опять и снова,
 И снова шел в бой.
И что с того — кому, под песню вековую
 Взрыхляет он поля,
И что с того, что сам нужду он терпит злую,
 Хозяев веселя.
Паши и пой, титан, опутанный в оковы
 И нищеты, и тьмы!
Исчезнет черный мрак, и бремя гнета злого
 Навеки уничтожим мы!

Недаром в оны дни, униженный врагами,
Ты силу духа воспевал,
Недаром ты легенд волшебными устами
Его победу прославлял.
Он победит, сметет преграды роковые,—
И над землей один
Ты плуг свой поведешь в поля, тебе родные,
В своем жилище — властелин!

10 октября 1876

II

БЕРКУТ

Из скрытого гнезда в горах, в глухой теснине,
С размахом тяжким он рванулся к туче синей,—
Так в яром гневе мысль из недр сокрытых рвется,
И облетит весь мир, и в небосвод упрется,
Тяжелым бьет крылом и всюду, там, где сможет,
Зовет: «Где правда? Где? Где ты, великий боже?
Я всю насквозь, до звезд, природу обыскала,
Все атомы ее, тебя ж не отыскала».

Недвижно распростерт, повис он в синей тверди —
Неотвратимый, грозный образ смерти,—
Как будто к небесам навек прибит гвоздями.
Но вот он ринется, чтоб жертву рвать когтями,
Ты это чувствуешь, и страх тебя пронзает,—
Ведь это над тобой тот беркут повисает!
Не промахнется он, когда удар направит,
И много ли минут в живых тебя оставит?

Вот тронулся. Плывет, крылом не двинув даже,
Он, как челнок судьбы, ткет жизни нашей пряжу,
Спокойно кружится, снижаясь, вновь срываясь,
Мелькнув за тучами, в лазури расплываясь.
Лишь резкий крик звучит, как весть, что он голодный,—
Так в тишине не раз прорвется плач народный.
И в душах у вельмож возникнет боль сомненья,
Как под землю гром, как весть землетрясения.

Ты ненавистен мне за то, что ты такое
В груди своей таишь, о беркут, сердце злое,
За то, что низших всех и слабых кровь ты пьешь,
Что смотришь свысока, хоть ими сам живешь;
За то, что слабая тебя боится тварь;
Ты ненавистен мне навек за то, что — царь!
И вот блестит ружье — прицел, удар гремучий,
И пуля, смерть неся, взлетит до самой тучи.
Не ты на землю смерть пошлешь из бездны ясной,
Ты сам отыщешь смерть под тучами, несчастный.
И не как божий суд, но словно труп бездушный
Ты упадешь, суду свинцовых пуль послушный,
И не последний ты! Нас есть стрелков сто сот.
Всё, что, как беркут злой, полощет кровью рот,
Всё, что среди живых страх и тревогу сеет,
От пули не уйдет, как час его приспееет,
А труп бездушный мы без жалости, без слова
Ногою оттолкнем, не прерывая лова.

22—24 октября 1883

III ХРИСТОС И КРЕСТ

Среди поля у дороги
Стародавний крест стоит,
А на нем Христос распятый
Тоже с давних лет висит.

Время расшатало гвозди,
Долго ветер крест качал,
И Христос, вверху распятый,
С древа на землю упал.

Тотчас же трава степная,
Что росла вокруг креста,
В свежие свои объятья
Нежно приняла Христа.

Незабудка и фиалка,
Что синели меж травы,

Обвились венцом любовно
Вкруг Христовой головы.

На живом природы лоне,
Отдохнув от ран и слез,
Меж цветочных благовоний
Мирно опочил Христос.

Но недолго почивал он,
Пустовал сосновый шест:
Чьи-то руки Иисуса
Снова подняли на крест.

Но, как видно, не сыскали
Для распятого гвоздей:
Ко кресту жгутом соломы
Был привязан назарей.

Так ханжи и суеверы,
Видя с ужасом в глазах,
Как с гнилого древа смерти —
С алтарей, несущих страх,

Из церковных песнопений,
Из обмана, крови, слез —
Словом, как с креста былого
Сходит на землю Христос

И как, ставши человеком,
Человечностью своей
В царство света и свободы
Увлекает нас, людей,—

Все стараются над миром
Вознести опять Христа,
И, хоть лжи соломой, снова
Пригвождают у креста.

1880

Не всегда бушует море, иногда молчит оно,
И утешься: в бурю сгинуть далеко не всем дано!
А кто знает — только ты лишь и спасешься, может быть,
И до пристани удастся одному тебе доплыть!»

13 июня 1880
Стрый

V

КАМНЕЛОМЫ

Я видел дивный сон. Как будто предо мною
Простерлись широко пустынные края,
А я, прикованный железной цепью злою,
Стою под черною гранитною скалою,
А дальше — тысячи таких же, как и я.

Невзгоды каждому чело избороздили,
Но взгляд у каждого горит любви огнем,
А цепи руки нам, как змеи, всем обвили
И плечи каждого из нас к земле склонили,—
Ведь все мы на плечах тяжелый груз несем.

У каждого в руках железный тяжкий молот,
И, как могучий гром, с высот к нам клич идет:
«Ломайте все скалу! Пусть ни жара, ни холод
Не остановят вас! Пусть жажда, труд и голод
Обрушатся на вас, но пусть скала падет!»

Мы встали как один, и, что б нам ни грозило,
В скалу врубались мы и пробивали путь.
Летели с воем вниз куски горы сносимой;
Отчаянье в те дни нам придавало силы,
Стучали молоты о каменную грудь.

Как водопада рев, как гул войны кровавой,
Так наши молоты гремели каждый раз,
И с каждым шагом мы врубались глубже в скалы,

И хоть друзей в пути теряли мы немало,
Но удержать никто уже не смог бы нас!

И каждый знал из нас: ни славы нам не будет,
Ни памяти людской за этот страшный труд,
Что лишь тогда пройдут дорогой этой люди,
Когда пробьем ее и выровняем всюду,
Когда и кости наши здесь, в камнях, сгниют.

Но славы этой мы совсем и не желали,
Себя героями никак не назовем,—
Нет, добровольно мы свои оковы взяли,
Рабами воли мы, невольниками стали,
Мы камнеломы все — и к правде путь пробьем.

И все мы верили, что нашими руками
Скалу повергнем в прах и разобьем гранит,
Что кровью нашею и нашими костями
Мы твердый путь проложим, и за нами
Придет иная жизнь, иной день прогремит.

И знали твердо мы, что где-то там на свете,
Который нами был покинут ради мук,—
О нас грустят отцы, и матери, и дети,
Что всюду лишь хулу порыв и труд наш встретил,
Что недруг их клянет и ненавидит друг.

Мы знали это все. Не раз душа болела
И горя злой огонь нам сердце обжигал,
Но ни печаль, ни боль израненного тела
И ни проклятья нас не отвлекли от дела,—
И молота никто из рук не выпускал.

И так мы все идем, единой волей слиты,
Мы молоты несем, пристывшие к рукам.
И пусть мы прокляты и светом позабыты,—
Но к правде путь пробьем, скала падет разбитой,
А счастье всех придет по нашим по костям.

ИДИЛЛИЯ

Давно то было. Двое малых деток,
Взяв за руки друг друга, по цветистым
Лугам Подгорья, узкою тропинкой
Через поля днем летним и погожим
Шли из селенья.

Старший мальчик был
Такой беловолосый, синеглазый,
С «лошадкой» — прутиком лозы в ручонках.
За пазухой у мальчика — краюшка,
И полевой цветок — за тульей шляпы.
А девочка, хоть и была поменьше,
Вела его за ручку. А глазенки
У ней, совсем как угольки, искрились
И бегали кругом. Как хвостик мышки,
Косичка за спиной болталась, в ней
Была цветная лента вплетена.
В подоткнутой запаске у девчушки
Картошек горсть печеных, и стручки
Зеленого гороха шелестели
За пазухой.

Но неохотно мальчик
Шел и оглядывался боязливо,
А девочка немолчно щебетала,
Товарищу отваги придавая.
«Ну, постыдись! Такой большущий вырос,
А плакать хочет! Мальчик, а боится!
Чего бояться? Если я сказала,
Так, значит, это правда. Уж моя
Бабуся нас обманывать не станет!
Ты погляди, неужто так далеко?
Вот бугорок, а там и Дил близенько,
А там, горой, всё выше да всё выше —
На самый верх! И всё! Там отдохнем мы,
А может, мы и отдыхать не станем,
Совсем ведь будем близко!.. Крикнем: «У!»
Да сразу прямо так и побежим
К столбам железным, что подперли небо,
А там схоронимся за столб и тихо,
Тихонечко до вечера пробудем,

Но чтобы ты не смел мне даже пикнуть,
Не то что плакаты! Слышишь? А не то
Задам тебе! Когда ж настанет вечер
И солнышко домой вернется на ночь,
В ворота постучится,— мы тихонько,
Тихонечко прокрадемся за ним.
А знаешь, что бабуся говорила?
У солнца дочь пригожая такая,
Что просто страх! Она и отворяет
Отцу ворота вечером и утром.
А уж детей она так крепко любит,
Что просто страх! А солнце не пускает
Детей к дочурке, чтобы вместе с ними
В мир не ушла. Но мы с тобой тихонько
Подкрадемся и — шмыг, и схватим вдруг
Ее мы за руки, и ничего
Не сделает нам солнце. Только ты
Не плачь, не бойся! Ведь совсем уж близко,
И на дорогу хватит нам еды,
А дочка солнца нам всего подарит,
Всего, что только у нее попросим.
А ну, чего б ты попросил?»

Тут глянул

Мальчонка и, засунув палец в рот,
Сказал:

«Ну, мозет, луцсего коня?»

— «Ха-ха, ха-ха!» — девчушка рассмеялась.

— «А мозет, сляпу новую еще?»

— «Проси, что хочешь, а я знаю, знаю,
Чего просить я стану!»

— «Что — скажи?»

— «Нет, не скажу!»

— «А ну скажи, а то

Заплацу!»

— «Ну и плачь, а я одна

Пойду и не возьму тебя с собою».

— «А поцему не скажешь?»

— «Глупый ты,

Вот что! А мне бабуся говорила:

Есть золотые яблочки у ней.

Кому она то яблочко подарит,

Тот будет век и счастлив, и здоров,

З ВЕРШИН І НИЗИН.



ЗБІРНИК ПОЕЗІЙ

Івана Франка.

НАКЛАДОМ АВТОРА.

ЛЬВІВ 1887.

З друкарні Товариства ім. Шевченка,
під зарядом К. Беднарського.

Красив-пригож тот будет, всем на диво.

Лишь девочкам те яблочки дают».

— «И мне бы яблочко!» — захныкал мальчик.

— «Не плачь, глупыш, ты попроси об этом,—
Я уж скажу, чтоб и тебе дала.

А как по яблочку себе достанем,

Тогда домой вернемся и не скажем

Ни слова никому. Ты тоже?»

— «Тозе».

— «Ну, помни же! А скажешь — отберут.

Ну, так?»

— «Да, так»,— сказал он.

И пошли.

Немало лет прошло уже с тех пор.

Несхожею с надеждами детей,

Тяжелой вышла длинная дорога

К палатам солнечным. Луга, и нивы,

И свет, и небо — всё, всё изменилось

У мальчика в глазах. Не изменилась

Лишь та подруга, спутница его.

Ее приветливый, веселый лепет,

Улыбка, озаренная надеждой,

Живой струей соединяют в сердце

День нынешний с вчерашним и грядущим.

Их цель не изменилась с той поры,

Лишь выросла, окрепла, прояснилась.

И вот большой дорогой многолюдной,

Среди толпы, и ссор, и толчен,

Идут они, в своей груди скрывая,

Как клад чудесный, детские сердца.

Минует их глупец надутый, гордый,

С усмешкою; пройдет вельможа пышный,

Но и не взглянет; встретится мужик —

Даст им воды студеной в знойный день

Напиться, и укажет им тропинку,

И пустит у себя заночевать.

Они же, взявшись за руки, спокойно,

С надеждой, без оглядки и тревоги

Идут навстречу солнцу золотому.

ИЗ ЦИКЛА «ПОЭТ»

I

ПЕСНЯ И ТРУД

Песня, подруга моя, ты больному
Сердцу отрада в дни горя и слез,
Словно наследство, из отчего дома
К песне любовь я навеки принес.

Помню: над малым парнишкой порою
Мать запоеет, и заслушаюсь я:
Только и были те песни красою
Бедного детства, глухого житья.

«Мама, голубка,— я мать умоляю,—
Спой про Ганнусю, Шумильца, Венки!»
— «Полно, сыночек! Пока распеваю,
Ждет неотступно работа руки».

Мама, голубка! В могилу до срока
Труд и болезни тебя унесли,
Песни ж твои своей правдой высокой
Жаркий огонь в моем сердце зажгли.

И не однажды та песня, бывало,
В бурях житейских невзгод и тревог

Тихий привет, будто мать, посылала,
Силу давала для трудных дорог.

«Будь же настойчивым,— ты мне твердила,—
Ты ведь не паном родился, мой сын!
Труд, отбирающий все мои силы,
Выведет в люди тебя лишь один».

Верно, родная! Совет твой запомнил!
Правду его я не раз испытал.
Труд меня жаждою жизни наполнил,
Цель указал, чтоб в мечтах не блуждал.

Труд меня ввел в тайники вековые,
В глуби, где песен таится родник,
С ним чудеса прояснились земные,
С ним я в загадку всех бедствий проник.

Песня и труд — две великие силы!
Им до конца обещаю служить,—
Череп разбитый, как лягу в могилу,
Ими ж смогу и для правнуков жить!

14 июля 1883

II

ЧЕМ ПЕСНЯ ЖИВА?

Песня — доля моя,
Жизни день моей,
Ею жил только я,
Нет ее милей.

В ней строка таит
Сил душевных часть,
Думы — нервы мои,
Звуки — сердца страсть.

Что вам дух потрясет . . .
То моя печаль,

В ней горит, живет
Слез моих хрусталь.

Как струна, дух мой
Жжет сердца огнем,
И удар любой
Будит отзвук в нем.

И пускай плывет
В нем добро и зло,—
В песне то лишь живет,
Что в житье цвело.

7 марта 1884

III

ПЕВЦУ

Будь ты, певец, словно в поле пшеница,
Песня твоя — золотое зерно!
Скоро в скорлупке созреет оно —
Колос уже начинает клониться.

Стебель и колос дышали и жили
Лишь для зерна, для него и росли.
Соки живые добыв из земли,
Все их в него без остатка вложили.

Стебель от корня до самой вершины
Знает: созрело зерно, а потом
Стебель безжалостным срежут серпом.
Значит, в зерне его смерти причина.

Стебель, во тьме оболочки лелея
Сочные зернышки, знает одно:
Будущей жизни несет он зерно,
В лоне своем и питая, и грея.

Так вот и ты — мозг, и сердце, и голос
В песню, певец, не жалея, вложи,

Счастьем ей, болью и жизнью служи,
Так же, как зернышку стебель и колос.

4 июня 1888

IV РОДНОЕ СЕЛО

Я вижу вновь тебя, село мое родное,
Где жить я начинал, где детство золотое
Текло, как ручеек, что робко отжурчал
По мелким камешкам, лугами и лесами.
И я утех немало тут узнал,
Утех и радостей, разбавленных слезами.
Тогда еще я мир всем сердцем принимал,
Не знал, что дальше там, за хатами, полями,
За лесом, что шумит так смутно. И не раз
У речки спрашивал, куда бежит от нас.
И за струями сам я мыслями стремился
В неведомую даль чуть видимых дубрав.
Дуб-исполин стоял, задумчив, величав,
В чужом саду, и я не раз ему дивился:
Как вырос он такой — широкий да разлогий?
И каждый из людей родным и милым мнился,
И тропы все я знал и все вокруг дороги!
Лишь изредка душа летела в свет иной —
В широкий, вольный свет.

А часто ли бывал я
В ту пору счастлив? Детскою душой
Ударов первых зла еще ли не узнал я?
Метели злые не срывали
Тех первых золотых надежд, не заматали
Весенних тех цветов? Порывов молодых
Докучные укоры не душили
И смех бездушный не топтал ли их?
И первых лучших слез глаза мои не лили
Под тяжким бременем уже не детских мук?
И душу мне тоска порою не щемила?
Не здесь ли и душа впервые ощутила
Прикосновение нечистых, грубых рук?
Не тут ли начала мне сердце жечь отравя,

Отрава, что с тех пор в крови моей горит,
И я узнал, что жизнь — труд тяжкий, не забава,
Борьбу за жизнь узнал?

Так отчего болит

Душа моя, когда злым вихрем занесло
Меня опять сюда, в родимое село,
Спустя так много лет? Стоишь ты, как стояло,
В сторонке от дорог — дитя, что убежало
В зеленые поля, укрылось с головою.
А лес вокруг гудит, — печальный шум ветвей,
Напев, носившийся над люлькою моей,
Как будто опахнул тебя своей полою.
И речка плещется внизу, под крутизною,
И вербы наклонились над водой,
И дуб, дуб-великан, шумит своей листвою,
Как некогда шумел. . .

Что ж болью вдруг такой

Заныла грудь моя, родимое село?
Жаль стало утлого покоя жизни скудной,
Той жизни, что плыла, куда несло,
По руслу тихому, — привычной, хоть и трудной?
Улитки-счастья жаль, что век под скорлупою
Хоронится в неведеньи слепом?
Или мне стало жаль, что в мир пошел пешком
Я в дождь, в грозу, сквозь град, искать ключей

с живою

Водою знания?

О нет, совсем

Мне не того сегодня жаль, — не тем
Занемогла душа под кровлею родною,
А тем, что вижу, как забота тут с бедою
Живут, как горе тут все головы склоняет,
Как под пятой его вся радость замирает,
Немеет дружба, никнет головою
Любовь, чье семя тут на сердце мне упало.
Вот потому-то мне так горько, горько стало.
Прощай, село мое! Что здесь меня держало —
Прошло; что держит здесь опять —
Так тяжело, что легче бы поднять
Мне гору. Ухожу — и плачу над тобою.

14 июня 1880

Нагуевичи

МОЯ ЛЮБОВЬ

Так хороша она и так
Сияет чистой красотой,
И так слились в ее чертах
Покой с любовной добротой.

Так хороша, но так грустна,
Так много ведала кручины,
Что тихой жалобой полна
Любая песня Украины.

Как смог бы я, ее узнав,
Не полюбить ее сердечно,
От праздных не уйти забав,
Дабы служить любимой вечно?

А полюбивши, мог ли я
Прекрасный, чистый образ милый
Стереть в душе, боль бытия
Не вытерпеть вплоть до могилы?

И разве ты, моя любовь,
Враждебна той любви высокой
Ко всем, кто льет свой пот и кровь,
В оковах мучимый жестоко?

Нет, кто не любит всех равно,
Как солнце — горы и долины,
Тому любить не суждено
Тебя, родная Украина!

23 июня 1880

СВОБОДНЫЕ СОНЕТЫ

I

Сонеты — как рабы. На них оковы,
Свободное смиряющие слово.
Как рекрут, мысль измерена сурово,
Как рекрут, втиснута в мундир готовый.

Сонеты — господá. Им знатность рода
В границах мысль держать велит, а мода
Для них важней достатка и дохода,
Их пышный цвет бесплоден год от года.

Две крайности встречаются несмело.
Рабы еще своей не знают силы,
Еще неясны им и цель, и дело.

Постройся! Сдвой ряды! Гляди в затылок!
И вот стоят могучие атлеты —
Живые, злые, грозные сонеты.

1880

II

«Зачем, мужик, ты к знатным затесался?
Небось пугает блеск насмешек яркий?
Иль прежний молот тяжек показался,
Что в руку ты берешь резец Петрарки?»

Ты от борьбы с царями отказался,
Уйдя под поэтические арки,
Несчастный, ты с поэзией спознался,
Как с чаркою хмельною у шинкарки!»

— «Нет, с тяжким молотом каменотеса
Я не прошусь, не брошу я мой молот.
Пусть насмеются, пусть смотрят косо!

Гремит утес, моей рукой расколот,
И грохот камня в сердце отдается,
И отклик тот из сердца песней льется».

1881

III

КОТЛЯРЕВСКИЙ

Орел могучий на вершине снежной
Сидел и дали озирал. Потом
Поднялся в синий океан безбрежный
И мелкий снег слегка задел крылом.

И покатился долу снежный ком,
С собой снежок захватывая смежный.
Минуты не прошло, и, словно гром,
Ревел обвал стихиею мятежной.

Так Котляревский, время одолев,
Запел в ту пору украинским словом,
И шуткою казался тот напев,

Но в нем была могучих сил основа.
И огонек зажженный, нас согрев,
Пылает, души согревая снова.

1873

IV

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Взгляни на ключ, что из камней гробницы
Бежит по степи чистою слезой,

В нем солнце блещет днем и бирюзой
Сияет ночью месяц яснолицый.

Из недр земли бежит-поет водица,
Струится бесконечною стезей,
Детей весны живит своей красотой
И щедростью, не знающей границы.

Родник с его волшебною струей—
Народная душа, что и в печали
Пробьется к людям песнею живой.

Как этот ключ, таящийся вначале,
Из недр глубоких возникает песня,
Чтоб чистым пламенем сердца пылали.

1873

У

Слепцы клянут наш век напрасно, веря,
Что в нем над правом торжествует сила,
Что честной мысли спутаны ветрила
И что свободу травят, словно зверя.

Но сила — право; право — это сила,
Гласят природы вечные законы.
Лишь силой прорываются препоны
И мощно наполняются ветрила.

А разве пламя ваших юных лет
И мысль, миры творящая доньше,
Не сила? Или сила в карабине?

А воли вашей светлые ветрила,
А непреложной правды яркий свет,—
Скажите прямо — это ли не сила?

1880

VI

О сердце женщины! Ты лед студеной
Иль ты цветок, что солнцем напоен?
Луч месяца иль пламень раскаленный,
Губящий все вокруг? Иль тихий сон

Невинности? Иль кровью обогранный
Победный стяг? Заветный твой закон —
Шипы иль розы? Демон разъяренный
Иль ангел ты, что светом озарен?

Что любишь ты? Чем хочешь ты гореть?
Во что ты веришь? Что обожествляешь?
Что вечное и что на миг? Ответ!

Ты океан,— влечешь и поглощаешь,
Ты рай, где суждено цепям греметь,
Ты — лето: нежа, громом убиваешь.

1875

VII

Страшитесь вы той огненной стихии,
Когда из всех сердец, как божий гром,
Вдруг грянет правда и слова живые
Оковы мира сокрушат огнем?

Бойтесь вы, что, кровью налитые,
Затопят волны ваш священный дом,
Что уничтожат вихри огневые
Движенья мысли в бешенстве слепом?

Не бойтесь! Не грозит пучина крови
Ни истине, ни правде, ни добру,—
Они вздохнут вольней, родившись внове.

Не бойтесь! Только ветхую кору
Разрушит буря, чтобы жизнь живая
Мужала и росла, преград не зная.

1880

VIII

Мы ищем в юности нетерпеливо
Прямых путей, и молодым умом
Мы видим жизнь простою и красивой
И так отважно боремся со злом.

Потом, как спяну в давке торопливой,
То здесь, то там толкают нас плечом,
Кой-как смолчим, но привыкаем живо;
Глядишь, и сами кой-кого толкнем.

Оглянемся. — где всё, о чем мечтали?
Жизнь, как мираж изменчивый, смутна.
Спасибо, коль совсем не заплутали!

Пучина жизни! Ты темным-темна,
Но где пробились мы, где устояли, —
Земля живую силою полна.

1880

IX

Когда железо силою живую
К железу тянется, такая сила
Зовется магнетизмом. Нет покоя
В той тяге, что одно из них таило.

А коль разъедено железо ржою,
Она в нем тяготенье угасила.
Вот так и сердце, где печаль стрелою
Вонзилась, замыкается уныло.

Лишь труд сгоняет ржавчину, что гложет
Нам сердце, и лишь труд единый может
Зияющую рану заживить,

И лишь в труде мы силу обретаем,
Трудом творится мир, где обитаем,
Лишь для труда на свете стоит жить.

1880

Х

Смешон мне этот мир. Еще смешней поэт,
Признавший этот мир для всех пригодным,
Он смысла ищет там, где смысла нет,
Стремясь неясно к целям благородным.

Смешон мне мир, где равноправья нет,
Где труженик не смеет быть свободным,
Объедки, что швыряет дармоед,
Грызет он в исступлении голодном,

Чтобы живот наполнить чем попало.
Смешон мне мир, где малое число
Бездельников хозяевами стало

И нагло управляет целым светом.
Смешон поэт, что не одно лишь зло,
А правду хочет видеть в мире этом.

1881

ХІ

СИКСТИНСКАЯ МАДОННА

Кто смел сказать, что не богиня ты?
Где изувер, что, на тебя взирая,
Не трепетал, в молчаньи замирая,
Не тронулся сияньем красоты?

Ты божество! Царица, роза рая,
Глянь на меня с небесной высоты!
Я прежде думал: небеса пусты,
Но пред тобой колени преклоняю.

В богах и духах сомневаться можно,
И рай и ад считать лишь сказкой ложной,
Но ты царишь не в сказке, не во сне.

И час придет, когда весь мир забудет
Богов и духов, и тебя лишь будет
Благоговейно чтить на полотне.

1881

ХII

Вот спит дитя, невинный ангел чистый,
Во сне смеется — ангел с ним играет,
Во сне всплакнет, что ангел, тучкой мгlistой
Расплывшийся, манит и исчезает.

И этот сон свой отсвет серебристый
Навек в душе ребенка оставляет, —
То ангел детских снов, пришлец лучистый,
Печаль и нежность в сердце пробуждает.

Отца и мать покинув, сын уходит,
Чего-то тщетно ищет на чужбине. . .
«Ко мне!» — взывает ангел в горной сини.

А юноша, блуждая одиноко,
То спелый плод, то цвет пустой находит. . .
«Иди!» — взывает ангел издалека.

12 апреля 1884

ХIII

ПЕСНЯ БУДУЩЕГО

Настанет час — стряхнешь ты, негодую,
Презренный прах, чтоб засиять звездой,
И люди устремятся за тобою,
Почуя сердцем правду вековую.

Настанет час решающего боя,
Когда в борьбе за волю дорогую
Ты поведешь народы и, ликуя,
Разрушишь ветхий храм живой грозою.

И в обновленном вольном мире этом,
Над чистым братством, что возникнет там,
Ты разгоришься новым дивным светом.

Настанет час — мы им живем и дышим,
Его шаги мы за спиною слышим,
Дождаться же его — не нам, не нам.

1880

ЛIV

Долой пустые словосочетанья,
Где под личиной блеска и покоя,
Как змеи под блестящей чешуею,
Скрываются и слезы, и страданья!

Приходит врач. . . И ни к чему скриванье
Смердящих струпьев. Смелою рукою
Их надо обнажить и всё гнилое
Из тела удалить без колебанья.

Докажем, что гуманность возмужала,
Свое предназначение познала
И от забав ребячьих отреклась,

Что снеговая вьюга улеглась,
Пора пустых порывов миновала,
Пора свершений зрелых началась.

11 апреля 1880

XV

Нет, не любил доселе никогда я,
Как надлежит живым живых любить,
Чтоб, самому себе не изменяя,
Войти другому в душу, разделить

Его мечты, его страстями жить,
Своей заслугой это не считая,—
И неприметно ближе подводить
К высокой цели, что манит, сияя.

Быть сразу господином и слугою,
Забить себя и быть самим собою,—
Я так еще доселе не любил.

Быть может, самолюбие мешало,
Быть может, сил живых не доставало,
Иль, может быть, мой путь неверным был.

2 октября 1889

ХVI

И довелось же мне узнать страданье!
Где лишь любовь правдивую искал я,
Где к жертвам был готов без колебанья,
Там лишь притворство жалкое встречал я:

То в гордом панцире, то в одеяньи
Слащавой речи конвенциональной,
То слез и вздохов плач сентиментальный
Скрывал его пустое прозябанье.

Лишь там, где не искал любви, где даже
Я был жесток, чтоб оттолкнуть вернее,
Там я нашел любовь. И вот меня же

Пронзает жало медное; вдвойне я
Плачу за зло, что в грех себе вменяю,
И за добро, что даром принимаю.

2 октября 1889

ХVII

Когда в сонетах Данте и Петрарка,
Шекспир и Спенсер прелесть воспевали,—
В искусства формы, как в резную чарку,
Огонь души хмельным вином вливали.

Ту чарку немцы в меч перековали,
Лишь бой национальный вспыхнул жарко.
Их «панцирный» сонет, как унтер, гаркал,
Любя лишь крови цвет и отблеск стали.

Мы открываем новую страницу.
Нам, хлеборобам, нет в мече корысти,
Перекуем его для лучшей доли.—

На плуг — вспахать им будущего поле,
На серп, чтоб жать обильную пшеницу,
На вилы — стойла Авгиевы чистить.

1889

ТЮРЕМНЫЕ СОНЕТЫ

I

Се дом печали, плача, воздыханья,
Гнездо болезни, горести и муки!
Сюда вошедший, стисни зубы, руки,
Останови и мысли, и желанья!

Бурьян здесь вырывают, как ведется,
Но в то же время новый засевают;
Параграфами правду отмеряют,
Но выше меры здесь неправда льется.

Основы стерегут здесь, но готовы
Презреть и мысль, и чувство — все основы.
Здесь вспоминаешь строки итальянца;

Вам, что, попавши в западню, хотели
Найти в ней некий смысл и даже цели,
Дант говорит: *Lasciate ogni speranza*.¹

10 сентября 1889

II

«Узка и тяжела к добру дорога», —
Так говорит священное писанье,
Но я готов перечить в этом богу,
Узнав тюрьму — дом скорби и страданья.

И лязг ворот, и вонь сеней острога,
Как будто первый знак и указанье,
Что ты идешь крутым путем изгнания,
А дальше двор, как мрачная берлога.

А во дворе охранники толпятся,
В сенях стоят понуро часовые,
И арестанты, словно тень, плетутся.

¹ Оставьте всякую надежду (итал.). — *Ред.*

И тем путем к добру нам устремляться?
Спроси у тех, кто за дверьми стальными,
Сочти те слезы, что в остроге льются!

16 сентября 1889

III

Впрямь, как скотину, всех тут описали:
Обличье, возраст, имя — и так дале,
Глаза и волосы. . . — ну, право слово,
Теперь хоть в Вену на базар готовы!

Нас, как бандиты, обыскали снова,
Во все карманы нагло залезали,
Ножи, табак и деньги — всё забрали,
Хоть к Магомету в рай веди любого!

Обчистили до нитки при аресте!
Эх, глупые! Ведь всё-то наше с нами,
Его не взять вам грязными руками!

И развели нас по апартаментам
Казенным. Тут не место комплинтам:
Салон, альков, отхожее — всё вместе.

16 сентября 1889

IV

Сижу в тюрьме я, как стрелок в кустах,
И разный зверь передо мною мчится,
Меня не видит он и не боится
Быть уличенным в воровских делах.

Лиса — разбойник здесь, а не монах,
И волк — не музыкант, простой убийца,
Медведь здесь не шутник, а кровопийца,
Не пляшет с бубном — нагоняет страх.

Здесь без прикрас, здесь голым виден всякий,
Они свой человеческий образ даже
Утратили, мундиры сняв и фраки.

И я точку в своей засаде стрелы,
Натягиваю лук, всегда на страже,—
Смотрите, звери! Я стрелок умелый!

9 сентября 1889

V

Хотите знать, как время мы проводим
В своей тюрьме? Весьма патриархально!
Как дети барские, мы спать уходим
Одновременно с курами... Печально

Молчим, не спим, раздумьями объаты.
Всё сказано давно... Иной случайно
Вздыхнет... Проходит час восьмой, девятый...
Вдруг Гёрсон¹ в стену постучится тайно:

«Ты спишь, Судья, в своем апартаменте?»
— «Нет!» — «Так подай-ка знак ты Розпоряке,
Wir wellen erres machen düll den Mentel!»²

Стук, стук по стенке. Шепчутся кругом...
Пост на сторо́же к двери стал лицом...
«Понюхай табачку!» — раздался крик во мраке.

<1893>

VI

«Ах, вы шуметь?» — охрана закричала
И вправо понеслась, где крик раздался...
«Рахмил! Рахмил!» — крик слева отозвался,
Бранится стража — небу стало жарко!

«Ужо дождетесь, будет вам наука!»
Да вот пока до места добежали,
Стал Герсон справа кошкою мяукать,
А слева «кукарёку» закричали!

¹ Конокрад, дальше кличка арестантов.

² На воровском жаргоне: «Нужно немного подразнить вояк».

Со всех сторон посыпалось, как град:
«Козел! Заноза! Rich da'n Tat'n arani!»¹
Пост замер, как подрезанный баран.

И сразу стихло всё, как в доме смерти. . .
Кто? Где кричал? Зачем? Нельзя узнать.
. . .Вы на вечернем побыли концерте.

17 сентября 1889

VII

Ночь. Камера уснула. Там и тут
Храпят во сне. «Волчок» подслеповатый
Исподтишка во тьме глядит, проклятый,
Подмигивая злобно: «Все вы тут!»

На петлях где-то форточки поют,
И плещет дождь, и капли бьют по скату
О водосток, чьи дребезжат заплаты,
Стуча о стену,— вырваться б из пут!

Не вырвешься! Железные затворы
Тебя здесь стерегут, как злые своры,
И часовой шагает под окном.

Не вырвешься! И гложут стоны муки,
И падают в бессилье тяжком руки. . .
Заснуть, заснуть — хотя бы смертным сном!

17 сентября 1889

VIII

Едва лишь сон начнет смыкать нам очи,
Его ночная тут же сгонит стража.
Гремит щекóлда, ключ в замке грохочет,
И сквозь дремоту звон пожарный даже

Послышится спросонья. . . Вскочишь — нет!
Пан ключник ходит с лампою в дозоре.

¹ Черти твоему отцу (жарг.).— *Ред.*

Войдет и на решетку бросит свет,
На печь, на топчанЫ,— и сгинет вскоре.

Вот снова шум: теперь уж за стеною
Охранники во мгле забушевали,—
Тюрьму, как видно, спутали с войною. . .

Сон у людей измученных украли,
Забуться не дают на миг короткий,—
Им что? Лишь были б целыми решетки!

17 сентября 1889

IX

Нет и пяти, а утренней порою
Вновь войско лопотовское грохочет:
У них поход с «парашами», а впрочем,
Не знаю сам я, что у них такое.

«Ага, ага! — эстеты разом взвоют.—
Вот до чего дойти теперь он хочет —
Всё то, что в мире грязно и порочно,
В свои сонеты он решил пристроить.

В гробу перевернулся бы Петрарка!»
Пускай. Недурно ведь жилось поэту,
Ходил с мечом он и в одеждах ярких,—

Так и любых красот в его сонетах
Достаточно. А мы живем в клоаке,
Где ж красок взять для декораций всяких?

17 сентября 1889

X

Давным-давно, в одном почтенном доме,
В дни юности, в дни счастья и расцвета,
Читали мы «Что делать?» — и беседы
Шли о грядущих днях, о переломе.

Хозяйки дома всякий раз упрямо
Мои уничтожали дифирамбы:
«Фи, общий труд! Тогда пришлось и вам бы
Клоаки чистить, выгребные ямы!»

Не знали дамы, что вопрос подобный,
Сложнейший, Австрия уже решила:
Тюремная «параша»! Что за сила!

Горшок и мебель вместе! Как удобно:
Берешь ее, выносишь,— ну и прямо
На ниву лей иль для компоста в яму.

17 сентября 1889

XI

Встаем с рассветом, лица умываем,
Спешим одеться, койки застелить,
И камеру с песочком подметаем,—
Да и давай ходить, ходить, ходить...

Шести шагов достаточно, чтоб жить...
Чтоб не кружился свет, мы средство знаем:
Два ходят — третьему умерить прыть;
Встал третий — тотчас место уступаем.

Однажды в Бориславе так: землю
Рабочих двух засыпало; над ними
Крепленья встали кровлею косою.

Вода слезилась, трубка чуть дымила...
И жили: капелькой одной да дымом...
Тюрьма и нас тому же научила.

18 сентября 1889

XII

ПРОГУЛКА

Прогулка — не крестьянина на грядки,
Не пана в садик, не философична
По-шиллеровски, а гигиенична
Прогулка в арестантском распорядке.

Зимой иль летом, в зной, в ненастье даже
И в злой мороз раз в сутки неуклонно,
Как будто бы скотину, заключенных
Во двор тюремный выгоняет стража.

Деревья там — сосновая ограда,
На небо лишь со дна колодца глянешь,
А зелень за забором ищешь взглядом,

А грудью только свежий воздух втянешь —
Так голову хмельным закружит ядом,
Что сам еще грустней, бессильней станешь.

16 сентября 1889

ХІІІ

Нет, иногда тюремные порядки
Непостижимы! Посудите вот:
Идет уборка и обед идет,—
Издевка это или неполадки?

Капусты вонь и смрад от нечистот,
Карболка в лужах и еды остатки!
Тут — хлеб несут, там — плещут грязь из кадки:
Всё арестантский вытерпит живот.

О, Австрия счастливая! Нетленной
Достоин славы ум тот несравненный,
Что выдумкой такой блеснул отличной!

Пред ним склонившись, с места я не тронусь:
Не аппетитно, да зато практично;
Minus de genus, si constructio bonus.¹

19 сентября 1889

¹ Не важен род, если речь хороша; нужно «Minus de geneve, si constructio bona» — «Если речь хороша, то не важен род». Это плохая школярская латынь.

XIV

Берут дыру, железом обкуют,
Курок прицепят, мушку установят —
И самопал готов. Вот так же тут
Похлебку нам тюремщики готовят.

Берут котел воды и горстку круп —
Вот вам и суп. Швырнут щепотку тмину —
Вот тминный суп; кусок печенки кинут —
То значит суп с печенкой; с хлебом —
хлебный суп.

Говядина с капустой в день воскресный
Дается арестантам на второе, —
Там больше жил, чем мяса, всем известно...

Горох с фасолью — в будни (всё гнилое),
Дают и каши — гречневой, «дубовой» —
И вот меню тюремное готово.

19 сентября 1889

XV

Да высшая, не думайте вы, власть
Так дело не оставит без надзора!
Она блюдет права в любую пору —
И оскорбить параграфы не даст!

.....

Когда обед готов, то выбирают
Получше мясо, хлеб, — и наполняют
Тарелку саламахою густою;

Ее несут к начальнику без страха,
Он пробует и хвалит саламаху.
А уж для нас потом дольют водою.

19 сентября 1889

XVI

Когда, как рыба, что попала в сети,
Мой вольный дух в тюремных стенах бьется,
Смертельный холод в душу мне крадется,
И некому утешить и приветить,—

Лишь ты одна осталась мне на свете,
Народа песня. . . Слышишь, плачут люди?
Болят душа. Ей, верно, легче будет
Страдать с народом, вместе быть в ответе.

О вы, кристаллизованные стоны,
Вы, слезы, превращенные в алмазы,
Печальный вздох, в напеве сохраненный!

Молю, чтоб вы в беде со мною были!
Придайте сил, чтоб эти муки сразу
Рассудка моего не помutilи!

8 сентября 1889

XVII

Замолкла песня. Не взмахнет крылами
Рожденная на вольной воле птица
В ловушке хмурой, за семью замками,
Где человек растоптанный томится.

И петь об этом даже не годится,—
Как шарит стражник медными руками
В моих карманах, сапогах, в тряпицах,
Как занят он и складками, и швами.

Бумагу, спички, карандаш, табак
Внимательная власть найти желает
И в душу лезет — вот и не поется.

Так соловей свое гнездо бросает,
Своих птенцов он оставляет так,
Чуть только человек к ним прикоснется.

16 сентября 1889

XVIII HAUSORDNUNG¹

Снаружи, за тюремною стеною,
Есть, вроде, конституция, закон. . .
Они нам сказкой кажутся пустою:
Был, дескать, звон — да вот откуда он? . .

Вся конституция, законы тут
Предельному подверглись упрощенью:
Один лишь кодекс читится в заключеньи,
Hausordnung — так у нас его зовут.

Сей кодекс, не записанный никем,
Лишь в устной передаче существует,
Из практики он здесь известен всем.

Статьи его несутся эстафетой.
Директор, ключник, страж в темнице этой
Их знают, исполняют и толкуют.

15 сентября 1889

XIX

Велят, чтобы в тюрьме мы не курили,
Книг не читали, свечек не светили,
Чтоб мы через глазок не говорили
Да чтобы деньги стражникам платили.

Владеть бумагой и карандашами —
Для узников большое прегрешенье,
Нельзя и нож хранить без разрешенья:
Хлеб надо рвать зубами и ногтями.

Тюремщик каждый миг из коридора
Ворваться может, всё разрыть, обшарить
Вас до сорочки, плеткою ударить

¹ Домашний порядок (нем.).— *Ред.*

И языком честить напропалую.
А то отправят в камеру «густую»,
Где избыют и оберут вас воры.

15 сентября 1889

XX

КЛЮЧНИКИ И СМОТРИТЕЛИ

Нет, вас забыть — то был бы грех великий,
Смотрители и ключники! Признаться,
Как от похвал вам можно отказаться,
Коль властвуют над всеми ваши крики!

Вы продались, и за людские муки
Назначена вам годовая плата.
Готовы шкуру драть вы с друга, с брата —
Попался бы он только в ваши руки.

Приниженный до уровня собаки
Законом нашим, жаждет стражник всякий
Принизить и другого, сколько может.

Стук, стук! «Дед» входит. Хлеб он не положит,
А на пол бросит и пихнет ногою,
Чтоб понял я: есть власти надо мною!

16 сентября 1889

XXI

Что мне шумит, что мне звенит, как в туче
Гром? Строжей засуетилось стадо.
Стучат дверями, сор сгребают в кучи,
Метут, скребут и чистят до надсады.

«Комиссия, комиссия! — гудит
Тюрьма, как шум листвы, как бури злоба.—
Высокая чиновная особа
Сама нас контролировать спешит!»

И — духа дуновение господня
Над океаном — пронеслось сегодня:
Превосходительство в тюрьму явилось.

Идет — шагами коридоры меря. . .
«Закреть окно!» — нам сторож крикнул в двери,
Чтобы особа вдруг не простудилась.

20 сентября 1889

XXII

Вошла особа. «Имя?» Отвечаю.
«Как? Стáнко?» — «Франко!» — «Стáнко, записать!
Давно тут?» — «Месяц». — «Ты?» — «Семь дней,
я чаю».
— «А ты?» — «Да выпускают нынче в пять!»

Увидел книжку, подошедши ближе.
«Читать дозволено?» — «Да!» — «Гм! Опять —
Гм, гм! — я вентилятора не вижу;
Поставлен?» — «Нет». — «Гм! Чудно, записать!»

Тут сторож подлетел: «Уж мы купили
Два вентилятора!» — «Два? Записать!
А вы пока хоть бы окно открыли».

(И поспешил сановник нос зажать!)
— «У нас окно открыто день и ночь! . . .»
— «Ага! гм! . . . Записать!» — И вышел прочь.

19 сентября 1889

XXIII

ТЮРЕМНАЯ КУЛЬТУРА

Хоть всюду здесь решетки, стены хмуры,
В железе дверь, не считаешь стражи —
Чтоб меж собой мы не общались даже, —
Но и сюда проник наш век культуры!

Тут телеграф есть свой — и совершенный!
Весь аппарат — стена да гвоздик малый,

И раздаются в камерах сигналы
(Культуры плод — австрийской, несомненно).

Тут почта от окошка до окошка
Табак и хлеб во мгле несет бесплатно,
И письма — это всякому понятно. . .

Бывает, что и мусора немножко
Взамен «подарка» кто-то в щель просунет,
Слепой Фемиде злобно в очи плюнет.

20 сентября 1889

XXIV РАЗГОВОРЫ

А после разговоры здесь начнутся:
Тот всех своей историей изводит,
Тот шутки шутит — все вокруг смеются,
А тот опять в воспоминаньях бродит.

Кто сказку молвит, кто тоску, бессилье
В себе глушит, по камере шагая.
Порой на всех печаль найдет такая,
Что сразу станет тихо, как в могиле.

«Сдуреешь тут!» — и злобные проклятья
Из чьих-то рвутся уст.— «А ну-ка, братья,
Что приуныли? Пусть тоска над панской

Висит башкой! Скорей забудем лихо!
На голоса разделимся и тихо
Зальемся нашей песней арестантской!»

21 сентября 1889

XXV АРЕСТАНСКАЯ ПЕСНЯ

Кто любит месяц, — я без солнца вяну,
В тюрьме про волю и не вспоминаю!
Свою судьбу бранить не перестану,
Сиюж — врагов постылых проклиная.

Позвали в суд — чинить расправу, что ли.
Судья сердит, так и вцепился в глотку...
«Скажи нам правду, если хочешь воли!»
Сказал я правду — взяли за решетку.

Вот приговор. Отец и мать-старуха
Стоят, обнять не смеют, плачут глухо...
«Глянь, непокорство-то куда заводит!

В цепях хозяин, в бурой куртке ходит,
Колодки на ногах, обритый волос,
А в поле никнет, осыпаясь, колос».

20 сентября 1889

XXVI КТО ЕЕ СЛОЖИЛ

«Умна ведь, — молвил Герсон, — и пригожа
Песнь арестантов старая. Сложил
Ее холоп, простой холоп, — а кто же!
Не знаю, чем он кару заслужил.

Сидел он долго, десять лет... Ему
Еще лет пять пришлось бы здесь томиться.
Но как-то раз надумала в тюрьму
Какая-то комиссия явиться.

А он в окно глядит и запеваёт
Вот эту песню — а поёт чудесно
И плачет так, что сердце разрывает!

Тайком паны переписали песню
И в Вену увезли. А через пару
Недель сам Франц-Иосиф сбавил кару».

21 сентября 1889

XXVII

Народ наш видел беды... Весть худая
Его пугать и удивлять не может.

Не зря он молит: «Пусть нас минет, боже,
Господский гнев и ненависть людская!»

Та ненависть — безжалостное горе
Для каждого, кто к обществу причастен;
Он, как былинка, станет вдруг несчастен —
Ее любой ведь топчет на просторе.

С людским презреньем — карою лихою,
Что жизнь срезает, словно бы косою,—
Стоит лишь гнев господский наравне,

Тот гнев, что шумно так себя возносит,
Как будто он — Атлант, который носит
Мирской уклад на собственной спине.

16 сентября 1889

XXVIII

Нет, вы не знали власти надо мною!
Хоть прямо вы глядеть в глаза робели,
Хоть правду мне свою сказать не смели,—
Я вашей хитростью сражен без боя!

Чуть слабому явить вы захотели
Свой нрав звериный, вы порой ночью
Напали на меня и, в дружбе с тьмою,
Как волк в засаде у крыльца сидели.

Вы — щит закона! Но закон сейчас
Лишь щит, чтоб беззаконию прикрыться!
Я под судом, но будет суд на вас!

Что ж, пусть бессильно в стены станет биться
Мой крик, но вырвись он за них хоть раз,—
Придется вам навеки сна лишиться.

7 сентября 1889

XXIX

Раз мне во сне явились две богини.
Лицо одной светилось блеском чистым,
Сияло счастье глаз бездонной синью,
И кудри были нимбом золотистым.

Лицо другой — под черной кисеею,
Глаза — как из-за тучи молний пламя,
Струились косы черными крылами,—
Она была как утро пред грозою.

«Не плачь, сиротка бедный, полно, светик
(Был голос первой ласкою зовущей),—
Вот на тебе мой дар, чудесный цветок!»

И мне дала подсолнечник цветущий.
Другая молча терн вложила в руку —
И радость я почувствовал и муку.

18 сентября 1889

XXX

И первая сказала: «Я любви!
Я для людей свет солнца не вечерний,
Подсолнечником к солнцу вновь и вновь
Тянуться будешь ты, не зная терний.

И светлой стороной — кто ни злословь —
Мир обернется, и в житейской скверне
Отыщешь ты не только боль и кровь,
Отсеяв зло, чтоб стать добру безмерней.

Мой дар тебе — сердца людей, не злато,
И в современниках своих честнейших
Друзей ты встретишь любящих, вернейших.

Так береги, дитя, сей дар мой свято!
Любовь людей, как хлебных зерен реку,
Сбирай, чтоб жить тебе любовью к человеку!»

18 сентября 1889

XXXI

«Я ненависть,— другая говорила,—
Сестра любви, товарищ неотступный.
Неправда, лицемерье мне постылы,
Я ненавижу этот мир подкупный.

Мне ненавистна та дурная сила,
Что человека в путь ведет беспутный,
Что в душах зависть, подлость поселила,
Захлестывая свет волною мутной.

Не в человеке зло! А зла основа
Лишь глупость и устройство мира злого,—
Создание людей, что их же губит.

Вот зло, что до костей разъест всё тело,
Чтоб в гневе стал ты с ним бороться смело.
Кто с ним не борется — людей не любит!»

18 сентября 1889

XXXII

Сидел пустынный старый возле скита
Среди лесов безлюдных, бесконечных
И слушал голоса пичуг беспечных
И как шумит под ветерком ракита.

И вот к нему голубка прилетела,
Что двое суток где-то пропадала,
И крылышками вдруг затрепетала,
И тихо на его колени села.

Погладил он вернувшуюся вновь —
И обомлел: на крыльях голубиных
Краснеет человеческая кровь.

И вскрикнул он: «О, время дел звериных!
Будь проклят час, когда из мира слез
На крыльях голубь кровь людей принес!»

13 сентября 1889

XXXIII

Россия, край печали и терпенья,
В какие времена живешь ты ныне?
В тревоге в себялюбия пустыне
Все старшие укрылись поколенья,

Всё сильное дрожит — страшна расплата...
А в это время на борьбу за волю
Неоперившиеся голубята
Летят, костями ложатся в снежном поле.

Россия, вся ты в крайностях жестоких!
Спит витязь Святогор в глухой пещере,
Казачья воля спит в степях широких,

А девушка-голубка на бульваре
Платочком, а не рыцарской трубою
Дает сигнал к пролитью крови, к бою.

13 сентября 1889

XXXIV

Как я вас ненавижу, вы — машины,
Что сердце рвут и раздирают кости;
Вы, мучая людей в порыве злости,
Бормочете потом: «Ведь мы безвинны,

Мы, словно заведенные пружины,
Так поступать должны! Вся наша суть, ах,
Противится... Что ж сделаешь? Не будь, ах,
У нас оков, чинов, родни единой...»

Добры, усердны, все-таки вы — звери!
Служа неправде, подло вы живете,
Вы преданы лихой иль доброй вере?

Коль вы к добру таким путем идете,
Мне все вы ненавистны в большей мере,
Чем рабские оковы в позолоте.

9 сентября 1889

XXXV

Что волк овцу ест — жалко, да не диво,
На то он хищник, злобы воплощенье.
Но вдруг кусаться б начал в исступленьи
Вол травоядный, нравом незлобивый?

Коль поп наводит сумрак заблужденья,
Палач во фраке цедит кровь, как пиво,
Коль фарисей основы от подрыва
Спасает,— зло для злых не преступленье.

Но если злу земному честный служит
И подлость меднолобую скрывает
Своею честью, а украдкой тужит,—

Того презренье высшее пятнает,
Ведь как Пилат он, что Христа на муки
Послав, умыл перед народом руки.

9 сентября 1889

XXXVI—XXXVIII

ЛЕГЕНДА О ПИЛАТЕ

Сказал Пилат, предав Христа на муки:
«Ведь не моя же воля исполнялась. . .
В чем грешен я? При людях вымыл руки,
Пошел обедать — разве что, мол, случилось?»

А случилось так: как будто от гадюки,
Его увидев, всё бежать пускалось:
Рабы, прислуга. . . Даже заметалась
Душа у зверя-воина в испуге.

Взошел на кровлю, где жена встречала,—
Та вскрикнула, всплеснула лишь руками
И, вниз упав, разбилася о камень.

Пошел в покои, где дитя лежало,—
Оно безумным взором посмотрело
И в ужасе пред ним окоченело.

9 сентября 1889

И Бог клеймом отметил грудь Пилата,
Жизнь, тело, смерть и дух его прокляв,—
Ведь даже Каин, погубивший брата,
Кровь не смывал, вину свою признав.

А этот, выдав правду в руки ката,
Хотел уйти, расплаты избежав,—
Но сам лишился правды без возврата,
Всё, чем он жил и горд был, потеряв.

Семья его исчезла, словно тень,
И кесарь от себя его прогнал,
И город от родных отринул стен.

Он у дороги, стар и слаб, стоял,
На хлеб просил. Тянулись дни за днями,
В него кидали путники камнями.

9 сентября 1889

Когда он умер, труп его убогий
Столкнули в яму, камнем завалили. . .
Но утром вновь лежал он у дороги —
Отвергнутый могилой, в клубах пыли.

Тогда зажгли сухой терновник люди
И труп швырнули в пламень нестерпимый.
Костер погас, но в почерневшей груди
Мертвец лежал, как прежде, невредимый.

Тогда к рукам, к ногам его и шее
Подвесили по жернову и в море,
В тьму преисподни бросили злодея.

Но тут веревки лопнули в тумане,
И труп Пилата, всей земле на горе,
Плывет поныне где-то в океане.

9 сентября 1889

XXXIX—XLIII
КРОВАВЫЕ СНЫ

В темнице жуткие мне снятся сны,
Да сны ли это — я и сам не знаю:
Так явственны и так они ясны,
И боль от них бессонная такая.

Мучения, каких снести нет силы,
Каким людей лишь люди обрекали;
И те, что в этих муках умирали,
Толпятся в камере моей унылой.

Святой герой, убийца окаянный,—
Неисчислим теней кровавый причет,
Как наяву, их созерцаю раны.

Из этих ран в душе призывно кличет
Как гром: «И нам частицу состраданья,
Хоть звук один за муки умиранья!»

22 сентября 1889

Христос, исполосованный бичами,
С крестом, на спину взваленным, стоит,
С кистями рук, пробитыми гвоздями,
«Се человек!» — чуть слышно говорит.

Джордано Бруно, на костре стоящий,
Он, с языком, уж вырванным клещами,
Глядит, истерзанный, кровоточащий,
На пламя, пышущее под ногами.

На дыбе изнывает Кампанелла:
В двадцатый раз ему терзают тело
И пятки жгут железом раскаленным.

И, словно в поле ветер, стон за стоном
По камерам летит, от свода к своду:
«То муки за прогресс, добро, свободу!»

19 сентября 1889

«За что ж нам бремя суждено такое? —
Толпа другая стонет издалека.—
Мы — перегной истории жестокой,
Что ж, тело наше разве не людское?»

Вот Дамиан, погибший в муках многих
За то, что ранил блудного владыку!
Ему жгли руку, смелому, и дико
В испанском сапоге ломали ноги.

Горячими клещами тело рвали
И олово расплавленное в раны
И серу лили — и четвертовали!

«Я целый час кончины ждал, тираны.
Я сед от боли! . . .» Это — не химера,
В Париже это было, в век Вольтера.

22 сентября 1889

Вот Гонта, почерневший от побоев,
Без языка, с отрубленной рукою.
Он на стальном, на раскаленном ложе,
И палачи с него сдирают кожу.

И тысячи таких же обступают
Меня теней кровавых вновь и вновь.
Их бьют, их колесуют, их сжигают,
И в яме пыточной клокочет кровь.

Несчастных тени, прочь! Спокойно спите
В могилах темных под травой высокой,—
Иль людям мало ваших мук жестоких,

Иль муки горше нам послать хотите?
Ведь пыткам и аутодафе пришел конец!
Не трогайте ж чувствительных сердец!

22 сентября 1889

Прошло то время? Ложь! Забыт ли час,
Как гибли Пестель, Каракозов, Соня?
Страдали Достоевский и Тарас?
Или кандального не слышно звона?

Иль розги не свистят у вас опять?
Иль селами крестьян в тюрьму не гонят?
Иль пушки медных жерл своих не клонят
Над городом, готовы всех пожрать.

Мяжки вы сердцем, ибо вы трусливы!
А зверь презренья к людям, и наживы,
И тьмы растет и властвует над вами!

Мы, жертвы, мы зовем вас из могилы:
Держитесь стойко! Закаляйте силы!
Зверей гоните, рвите их зубами!

22 сентября 1889

XLIV

Меж стран Европы мертвое болото,
Подернутое плесенью густою!
Рассадник тупоумья и застоя,
О Австрия! ты — страшный символ гнета,

Где станешь ты ногой — там стон народа,
Там с подданных сдирают третью шкуру.
Ты давишь всех, крича: «Несу свободу!»
И грабишь с воплем: «Двигаю культуру!»

Ты не сечешь, не бьешь, не шлешь в Сибирь,
Но соки сердца пьешь ты, как упырь,
Болотным смрадом души отравляя.

Лишь мразь и гниль несут твои порядки,
В твоей могиле гибнет мысль живая.
Или бежит отсюда — без оглядки!

4 октября 1889

Тюрьма народов, обручем из стали
 Сковала ты живые их суставы
 И держишь — не для выгоды и славы,
 А чтоб клеветы жиром заплывали.

Коня с конем так связывают в поле:
 Нога к ноге, хоть три ноги свободны,
 Но убежать старанья их бесплодны,—
 И ржут, грызутся братья поневоле.

Вот так и ты опутала народы,
 Им внешний признак подарив свободы,
 Чтоб перессорились они вернее.

Хотя из твоего и рвутся круга,
 Но лишь напрасно дергают друг друга:
 Ты от возни такой — еще сильнее. . .

4 октября 1889

ЭПИЛОГ

(ПОСВЯЩАЕТСЯ УКРАИНСКИМ СОНЕТИСТАМ)

Украинские милые поэты,
 Нет образцов пред вами неужели,
 Что возводить, друзья, вы захотели
 Четырнадцать случайных строк в сонеты?

Ямб — словно медь, катренов параллели
 И рядом с ними парные терцеты,—
 Их спаянные рифмами куплеты
 Приводят нас к сонету, то есть к цели.

Пусть содержание с формой будет схоже:
 Конфликты чувств, природы блеск погожий
 В восьмерке первых строк пускай сверкают.

Страсть, буря, бой, как тучи, налетают,
 Блеск затемняя и грозя оковам,
 Чтобы в конце пленять согласьем новым.

6 мая 1893
Преров

ИЗРАЗДЕЛА
«ГАЛИЦКИЕ КАРТИНКИ»

I

В ШИНКЕ

Сидел в шинке и пил хмельную,
А возле сердца что-то жгло.
И вспомнил он жену больную,
Детей и счастье, что ушло. . .
Да, был хозяином и он,
Его любили все соседи,
Ему — и ласка, и поклон,
И слово доброе в беседе.
Но дальше. . . дальше ни к чему
И вспоминать! . . Беда настала!
Зачем не промолчать ему,
Когда вся община молчала?
Когда село обидел пан,
Зачем вступился он ретиво
И встал за правду, за селян,
Хоть не своя пропала нива?
Как он ни бился, ни старался,
Да только — наша не взяла:
И правды панской не дождался,
И разорился сам дотла.
Скотину, хату, поле, сад —
Всё отсудили, всё забрали. . .
И в белый свет, как будто в ад,
Со всей семьей его погнали.
Родные дети в наймах мрут,
Горячка бьет жену больную,
А где отец? . . Известно, тут —
Сидит в шинке и пьет хмельную.

1881

IV
МИХАЙЛА

Добрый был мужик Михайла,
Тихий человек:
По-соседски, мирно, ладно
Жил да жил свой век.
Самого пусть горе гложет,—
Всех он веселил.
«Заживем еще, быть может!» —
Часто говорил.

Да пришла пора крутая,
Где уж там зажить:
Гнись, трудись, не отдыхая,
Чтоб долги платить.
И Михайла, хоть смеялся,—
Смех-то был не тот:
С арендатором встречался —
Так бросало в пот.

От беды не схорониться:
Тяжкий срок настал,
С молотка пошла земляца,
Пить хозяин стал.
Что ни день, с тоскою злою
К шинкарю он шел,
Пел, смеялся сам с собою,
Не понять — что плел.

Шинкарю земли остаток
Вскоре пропил он,
И жену с детьми из хаты
Вытолкали вон.
В голос плакала, рыдала,
Идя с узелком,
Горько мужа проклинала,
Стоя пред шинком.

А Михайла, головою
Свесившись на стол,

Плел, смеялся сам с собою,
Не понять — что плел.
Допил чарку, встал и вышел,
Больше не ходил:
Шинкарем чуть свет под крышей
В петле найден был.

1881

VI

ГАЛАГАН ¹

«Мамочка! — зовет Иван,
Мальчик с виду лет шести.—
Погляди-ка, погляди:
Вот монетка, галаган!»

— «Где ж ты взял его, родной?
Отчего ты так дрожишь?
Боже, да ведь ты босой,
По снегу босой бежишь!»

— «Это мне паночек дал...
Я с ним шел вперегонки:
Я — босой за ним бежал,
Он — обутый в сапожки.

«Догони, монетку дам!» —
Мне сказал — и наутек.
Я... догнал его... ма...мам...»
— «Что с тобою, мой сынок?»

Весь дрожмя дрожит Иван,
Зубы стиснул, посинел,—
Выронил свой галаган,
Повалился и сомлел.

Миновала неделя —
Горько мать зарыдала:

¹ Медная австрийская монета — 4 крейцера.

Косы в травах пропели,
И травинка — завяла!

Тихо спит в гробу Иван,
Не мечтая ни о чем,
А в ручонке галаган,
Подаренный паничом.

1881

VI ЖУРАВЛИ

Журавли ключом летят
В поднебесьи где-то,
Дети радостно кричат,
Пляшут кругом, как велят
Старые приметы:

Курлы, курлы, журавли!
Опускайтесь до земли! ¹

Любопытство, страх берет —
Не собьется ль стая?
Будет ли лететь вперед
Или свой прервет полет,
Верный путь теряя?

Курлы, курлы, журавли!
Опускайтесь до земли!

Пролетели журавли,
С дороги не сбились,
Долго мальчики с земли
Наблюдали, как вдали
Косяки их скрылись.

¹ Существует народное поверье: когда весной журавли летят из теплых краев, можно свернуть с дороги целый журавлиный ключ, если воткнуть нож острием в землю и кружиться вокруг него, держа руками за ручку ножа и напевая песенку, употребленную здесь в виде рефрена.

Курлы, курлы, журавли!
Опускайтесь до земли!

Как поверить мы могли
Бабушке убогой?
Ведь от песни журавли
Не снижались до земли,
Не сбились дорогой.

Курлы, курлы, журавли!
Опускайтесь до земли!

Правда, дети, не всё так,
Как вам бабка скажет,—
Светлых знаний первый знак,
Первый опыт — не пустяк,
Правду он покажет.

Курлы, курлы, журавли!
Опускайтесь до земли!

А пропустите урок —
Будет хуже, дети:
Сказки (вам и невдомек)
Мысль запутают в клубок,
Ум поймают в сети.

Курлы, курлы, журавли!
Опускайтесь до земли!

Вы малы, вам из оков
К правде не пробиться,
Журавлем средь облаков
Из-за сущих пустяков
Будете кружиться...

Курлы, курлы, журавли!
Опускайтесь до земли!

1881

VIII
ДУМЫ НА МЕЖЕ

1

Змея эта всюду, зеленая, жадная,
Вдоль тощих посевов снует;
То — Терminus наш, то — межа беспощадная,
То — знак, где «мое» и «твое».
Вон с краю — четыре полоски Трофимовы,
А здесь вот — Михайловы три:
Живи на своем и плати за «родимую»,
Чужого ж — вершка не бери!
Кто помнит о том, что с Михайлой Трофим
На этих полосках кроваво бедуют,
Хоть рук от работы бедняги не чувят,—
С весны голодать уж приходится им?
Кто помнит о том, что скотина у них
«С чего-то» не держится, чахнет, тощает,
Земля же с годами всё меньше рожает,
Хоть бьются над нею не меньше других?
Кто помнит о том, что иною порою
У них уже руки в тоске опускаются?
«Ой, мало землицы! С такой теснотою
И в двери и в окна долги пробираются.
Погибель приходит... Как рыба в сетъ —
Так бьемся в нужде и в неволе!»

Ну что им сказать? Где таятся пути
К иной, человеческой доле?
А станешь средь поля вот так у межи:
Ведь вместе у них семь полосок — имение!
Надел не из худших — живи, не тужи,
Прокормит, пожалуй, душ восемь, не менее...
А душ у них шесть! Так какая ж причина
Мешает им полем сложиться вдвоем,
Сложиться домами, орудьем, тяглом?
Ведь, может быть, в этом и выход единый!
Да вот ведь — межа! Посреди залегла,
Их слабую силу расторгла на части,
И где бы их вместе беда не взяла,
Там их в одиночку задавят напасти.

Мальчонкой, когда-то, все мѣжи я знал:
 В полях каждодневно я с мамкой бывал —
 Для дойной коровы за свежей травой
 Она вечерами ходила со мной.
 И помню — на каждой меже без труда
 Мы по два мешка нажинали тогда.
 Свободно ступал я босыми ногами,
 Широкие межи стелились пред нами!
 А ныне посмотришь — и нивы всё те ж,
 Но нет стародавних, просторных тех меж.
 Едва их заметишь: как тонкая нить, —
 Чужой бы, наверно, не смог различить.
 Тот здесь их подрезал, тот там обкорнал,
 Рад каждый, что лишнюю долю достал.
 Зачем же любой над землею дрожит?
 Какая причина, что тягостно жить?
 Иль слишком уже расплодился наш люд?
 Иль, может, потребности наши растут?
 Нет, нужды всё те же у бедных людей,
 Народу ж не больше, а меньше скорей, —
 Его обступили и грабят чужие,
 Как жадные трутни, слетелись к поживе.

Иной неразумный толкует у нас:
 «Война бы ударила, что ли, сейчас,
 Всех лишних побила, и стало б опять
 На свете вольнее и жить, и дышать».
 Вольнее! Но, кроме несчастий и мук,
 Мы лучших для дела лишились бы рук,
 А горе в народе как было — так было б,
 Лишь к старому новое зло привалило б!

Не может притиснутый к мѣжам народ
 Постигнуть начало всех бед и невзгод,
 Увидеть, откуда растет это горе,
 Что все его силы повысочет вскорее.
 Ой, межи вы межи, ой, цепи земли,
 В какую трясиину народ завели!
 Уперся во тьму он глазами, голодный!
 Кто ж путь нам укажет прямой и свободный?

Ко мне за советом пришел человек:
 «Что делать, как быть, научите!
 На этом вот поле мой дед прожил век,
 Хоть жить тут, по правде, и нечем,—

взгляните:

Полоска! Но прежде, наверно, не так
 Теснились люди, как ныне;
 Ни сладко, ни горько, тишком, кое-как
 Прожить довелось старичине.
 Дед вырастил двух сыновей, поженил,
 Но жили все хатой одною.
 Говаривал он: «Я бы вас разделил,
 Да поле у нас небольшое.
 Теперь оно худо, но может кормить,
 А что будем делать раздельно с клочками?
 Нет, я на беду вас не стану делить!
 Не смею с сумою по свету пустить.
 Умру — вот тогда и делитесь уж сами».
 Случилось же так, что от тифа весной
 И дед и сыны отошли на покой,
 Осталось четверо нас, малолетних.
 Мне три миновало, и был я — старшой,
 А дядькину хлопцу шел только второй.
 Девчатки ж грудные совсем. У бездетных
 Богатых соседей пристроили нас,
 Мальчишек, чтоб с голоду мы не пропали.
 Они, мол, за всё, что получают от вас,
 Отслужат, как вырастут,— вдовы сказали.
 И мы испытали, что значит беда!
 Скончались и матери. Мне уж тогда
 Исполнилось двадцать, меня «рассчитали».
 Домой я вернулся, жену подыскал
 И, поле забрав, что старик завещал,
 Стал жить, как другие, вначале.
 Решил: заплачу все долги поскорей,
 И поле, по дедовой воле,
 Останется цело, и я на том поле
 Сумею подняться без «добрых людей».
 Девчаткам приданое справлю, а брат
 Поженится с доброй вдовою. . .

А землю делить — что рубаху порвать:
Уж лучше кому-нибудь целую дать,
В одну ведь не втиснутся двое.
Нет, землю один только должен забрать!
Я брату нередко, бывало,
Вот так говорил. Но любезный мой брат,
Над тем не подумав нимало,
Прошение в суд на меня написал,
Чтоб дом, и орудья, и поле
Судом разделили на равные доли,
Как если б один из дядьев умирал.
Узнал я, и горько мне сделалось. Шлю
Соседей к нему: согласись на отплату,
И сам за ним следом хожу и молю:
«Ну ладно, поделим мы поле и хату,
Но как на клочках нам с тобою прожить?
Не зря ведь и дед зарекался делить,
А ты его волю желаешь нарушить?»
Куда! Про отплату не хочет и слушать!
Два года судились. Из города ныне
Бумагу прислали: что дед накопил —
На равные две разделить половины,
Да каждый еще чтоб сестру наделил.
И что тут придумать — не ведаю боле!
Вконец разорят, коли сделают так.
Полнивы! Мое уж заложено поле,
Сестре не поможешь, ведь сам я бедняк.
Хочу вот свидетелей в суд привести,
Что дед не хотел делить поля,—
Прикажут авось на отплату пойти,
А нет — ну, господняя воля!»

4

Я думал о будущем братстве людей,
Я звал это время прийти поскорей.
Безмежные видел я в мыслях поля:
Трудом обновленная общим, земля
Кормила народ мой, свободный, счастливый.
Украйна ли это? Твои ль это нивы,
Впитавшие крови и пота немало?

Да, это Украина родная моя!
И лютая боль в моем сердце стихала.

Виденье исчезло. Гляжу я. Вон там
За межи сцепилися Гриць и Степан;
Там дед пашет поле и слезно скорбит
О сыне, что в Боснии дальней убит;
Отец там на сына топор поднимает;
Там мачеха бедных сирот проклиняет. . .
О край мой родимый, забытый всем светом,
Пусть лучше судьба тебя в прах истребит,
Коль ты осужден пропадать без ответа!

1881

IX

ДУМЫ НАД МУЖИЦКОЙ ПАШНЕЙ

1

Стану на пашне, умытой зарею:
Пурпуром солнце нежарко горит,
Пташки щебечут над тихой землею,—
Что же печаль в мое сердце стучит?

Царь и владыка природы, взгляни же,
Сколько в ней счастья, любви, красоты!
В сердце краса эта просится, ты же
Бродишь несчастен, один только ты.

Тучное поле, левада за хатой,
Луг неоглядный с травой густой,—
Так почему же, усердный оратай,
С голоду мрешь ты в хатенке пустой?

В гор твоих лоне железо тaitся,
Так почему же затуплен твой плуг?
Или железо на то лишь годится,
Чтобы цепями свисать с твоих рук?

Жарким земля твоя светом богата;
Что в подземельях ключами кипит;

Так почему же, усердный оратай,
Не для тебя светит он и горит?

Много ты соли, до века рожденной,
В светлой, хрустальной скале накопал;
Так почему же ешь хлеб несоленый?
Солью земли почему сам не стал?

2

Сердце мое устремляется с плачем,
Нива мужичья, к твоим бороздам,
Тонет мой дух в твоём лоне, горячий,
Словно упавшая в море звезда.

Глубже, чем лемех, в тебя проникает,
В каждый комок, корешок и сучок,
К каждой пылинке прильнув, вопрошает:
Кто плодоносный ваш высосал сок?

Тысячелетья по вам проходили,
Кровью и трупами вас напитали,—
Что же так мало вы хлеба родили?
Где же святые те соки пропали?

1881

Х

В ЛЕСУ

Хорошо, в чаще леса блуждая,
Где безмолвие манит ко сну,
Под навесом ветвей отдыхая,
Слушать летнего дня тишину!

Вкруг безлюдно, а всё ж не пустынно —
В том святом одиночестве я
Снова сердцем ловлю беспричинно
Бесконечную песнь бытия.

И я счастлив, покуда скрываюсь
В этих чащах, бродя наугад,—

Я людей повстречать опасаясь,
Люди тихий мой рай разорят.

Люди всюду, и к этому раю
Слезы горькой недоли несут.
Не однажды с тревогой встречаю
Я проклятое горе и тут.

Вот ободранный дед-старичина
Ковыляет, склоняясь к земле,
Низко гнет его долу сушина,
За плечами — грибы в кошеле.

Знаю сызмала деда седого,
За селом его хата гниет.
Он живет одиноко, убого,—
Собирает грибы, продает.

Где уж взять и еду и одежду?
А пойдешь по грибы — заберут!
Лесники отведут на Медвежью,
А в Медвежьей под арест запрут.

Я спешу за деревьями скрыться,
Чтоб меня не увидел седой.
Знаю: встретиться старый боится
С черным платьем, как с черной бедой!

Да напрасно! Приметил, бедняга,
Из груди его вырвался крик,
Кинул связку и в темень оврага
Торопливо укрылся старик.

Долго слышалось мне, как хрустело
Под ногами, где старый бежит,
И в груди его что-то хрипело,—
Так больной перед смертью хрипит.

И подумал я: сгинь же, проклятый
Мой господский наряд,— ты меня
Для убогого, бедного брата
Сделал пугалом — пуще огня!

1882
Нагуевичи

ХІ ГОЛОД

(Отрывок из поэмы «Резуны»)

Кровавый год сорок шестой
Клонился к осени. Кончали
Косить овес, и наступали
Дни отдыха. Объят тоской,
Лишь кое-где влачил в сараи
Мужик снопы. К нему тот год
Немилостивым был: такая
Беда, подобный недород
Безмерными казались. Жито,
Пшеница гibli, и впервые
Картошка в поле загнила...
Овес покрыла ржа. Убито
Веселье было! В дни такие
Умолкло пенье, только шла
Молва по селам невеселым:
«Помилуй, господи, людей!
От голода погибнуть селам,—
Рукою гневною своей
У нас ты отнял наш достаток!
Тот счастлив, кто хотя б до святок
Есть будет хлеб,— у большинства
До Покрова его не хватит!»
В любой деревне, в каждой хате
Одни лишь мысли и слова,—
О том, как бог прожить поможет
Вот эту зиму. В душах холод
И ужас: будто лик свой кажет
Упырь по хатам: голод! голод!

Вот женщина в слезах видна:
Она картошку рыла в поле.
Весь день работая, она
Ведерко малое, не боле,
Хорошей добыла,— гнилой
Пред ней гора. День за спиной.
Он пролетел. Из рук упала
Мотыга. Горем сердце сжало;
Отчаянье, печаль глухая

Им завладели. Затряслась,
В село бедняга поплелась,
Рыдая, громко причитая.

А вот гумно. Хозяин сам
И сын его не отдыхали,—
Весь день цепами промахали;
Хозяин, обмолот провевя,
Не верит собственным глазам:
Всего три гарнца — что за диво!
Из трех копен? Он нерадиво,
Быть может, нынче молотил?
Быть может, нерадивым был,
Когда он веял? Поскорее
Он, как дитя, спешит мякину
Вновь пересыпать. Селянину
Не по себе. Дрожа, бледнея,
Он шепчет: «Нет, ты шутишь, боже,—
Ведь издеваться над моею
Судьбою, господи, не гоже!»

Январь 1880

ХІІІ

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

ПРОЛОГ

Подгорья бесконечные долины
Укрыла ночь. О, сколько в ней красы!
Там задремали горы-исполины,
Здесь травы блещут жемчугом росы;
Летит из рощи голос соловьиный,
Леса чернеют в ясные часы.
Шумит река, бурлят седые воды,
Как сказка тайная про дивный сон природы.

И люди спят. Вот плуг чернеет в поле.
Вот кони за оградой стоят,
Хрустя травую в полевом раздолье;
Собачий лай раздался из-за хат
И смолк. . . О, горе! Иль о лучшей доле
В глубоком сне мечтает стар и млад?

Сны ясные, всегда являйтесь к ним ночами,
Хоть вы украсьте жизнь, убитую трудами!

А высоко над этим тихим раем
Простерся чистый, темный свод небес.
Кровавый месяц поднялся над гаем,
За тучкою серебряной исчез
И вышел вновь. Плывут созвездья краем
Заоблачным, и сколько же чудес,
Святых, великих грез о радостной судьбе
В такую ночь, земля, навеяно тебе!

Подгорье, край мой милый и прекрасный,
Люблю тебя сильней из года в год.
Как та звезда, что льет нам свет свой ясный,
Так и любовь в моей душе живет.
Но почему ты, край, такой несчастный
И почему несчастен твой народ?
Для счастья твоего и своего народа
Я хоть сейчас бы кровь, всю кровь из сердца
отдал!

Но мы времен далеких не вернем,
Когда лишь кровь лечила от проказы.
Нужна не жертва, нужен бой со злом!
Никто побед не добивался сразу —
И надо в зной, в мороз идти пешком,
Без мостика, тропы и перелаза,
Без шумных слов, — и для тебя, родного края,
Теперь нам нужно жить и жить, не умирая!

Уменье жить — нет величавей дела,
Загадки большей для грядущих дней,
Чтоб жизнь одних без пользы не летела,
Как ветры над просторами степей
Или как буря, что осатанело
Гремит и всё ломает до корней,
Чтоб жизнь других не шла, нет — не ползла
уныло

И чтобы горькою отравой не поила.

Уменью жить, высокому уменью,
Нас не сумеют книги научить,

Научит только опыт и терпенье,
Одна любовь, что может всех сроднить.
И счастлив тот народ, то поколение,
Которое как надо будет жить!
Для нас же, в чьи года беда катилась валом,
Лишь в песне эта жизнь явилась идеалом.

1888

У В Я Д Ш И Е Л И С Т Ь Я

Лирическая драма

(1896)

П Е Р В А Я Г О Р С Т Ь

(1886—1898)

I

На смену тоске отупенья
Вновь песен плеснула волна,
Как будто из пепла восстала
Блестящих огней пелена.

Что раньше казалось покоем,
То пепел минувшего был,
Под ним животворная искра
Любви сохранила свой пыл.

Она еще тлела, искрилась,
Под пеплом томилась в тиши,
Но ветер повеял и пепел развеял,
Попробуй теперь потуши!

Так нет же, тушить я не буду,
Пусть плещет огней пелена,
И сердце пусть бьется, и вольно пусть
льется

Бурливая песен волна!

<1891>

II

Ну что меня влечет к тебе до боли?
Ну чем меня околдовала ты?
Но только мне мелькнут твои черты,
Как сердце жаждет счастья, жаждет волн.

В груди неутоленность.— Далека
Весна с цветами на полях зеленых,
И юная любовная тоска
Сама идет ко мне из недр студеных.

Себя я вижу сильным и свободным,
Как будто из тюрьмы я вышел в сад.
Таким веселым, ясным, благородным,
Каким бывал я много лет назад.

Идя с тобою рядом, я дрожу,
Как перед злою не дрожал судьбою,
В твое лицо с тревогою гляжу,
На землю пасть готов перед тобою.

Когда б ты слово прошептала мне,
Счастливей стал бы я, чем царь могучий,
И сердце дрогнуло бы в глубине,
И из очей поток бы хлынул жгучий.

Но мы едва знакомы, и как знать:
Не надоест ли дружба нам с тобою?
И, может быть, нам суждено судьбою
И порознь жить, и порознь умирать.

Тебя я только изредка встречаю,
У нас с тобой различные пути,
Но до могилы — я наверно знаю —
Мне образ твой придется донести.

1882

III

Не боюсь я ни бога, ни беса,
Я свободной душою владею;
Не боюсь я и волка из леса,
Хоть стрелять из ружья не умею.

Не боюсь венценосных тиранов,
Их несчетных полков и орудий,
Сплетен я не боюсь и капканов,
Что мне ставят коварные люди.

Даже гнев твой — моей черноокой —
Ни минуты меня не пугает,—
Заливает он пурпуром щеки,
В милом взоре приметно сверкает.

Но когда на лицо твое чудное
Грусть наляжет жестоко и грубо,
И дрожание нервное, трудное
Вдруг сомкнет побелевшие губы,

И укоры умолкнут в гортани,
И опустятся руки в тревоге,
И в глазах твоих, полных отчаянья,
Будет только мольба о подмоге,—

Страх мне сердце сжимает до дрожи,
Как клещами, холодный, унылый.
Боль без слов меня больше тревожит,
Чем все громы и злобные силы.

<1893>

IV

За что, красавица, я так тебя люблю,
Что сердце всё стучит — мне самому на диво,
Когда поодаль ты проходишь горделиво?
За что горюю я, и мучусь, и терплю?

За твой ли гордый вид иль за красу твою,
Иль тайное, в очах таимое стыдливо
И шепчущее мне: «Души живой, правдивой
И в тесной пелене блистанье я ловлю?»

Порою чудится, что та душа живая
Стремится вырваться — глубокая печаль
Нечаянно тогда лицо твое скрывает.

Мне для тебя в тот миг всего себя не жаль;
Но вдруг в твоих глазах насмешка, гордость, глум,
Я молча отхожу, и мой мутится ум.

<1891>

Повстречались мы с тобою,
Только несколько минут
Говорили, рядом стоя,
Словно вдруг случайно двое
Земляков сошлись тут.

Что-то я спросил такое,
Мне не нужное вполне,
Про идеи, но пустое,
И не то, совсем другое,
Что сказать хотелось мне.

Рассудительно ты, пани,
И свободно речь вела.
Мы расстались как в тумане,
Только ты мне на прощанье
И руки не подала.

Ты кивнула, кончив дело,
И пошла к себе домой.
Я стоял остолбенелый,
И бессильный и несмелый
Взгляд мой крался за тобой.

Я ведь знал — в минуте этой
Рай скрывался мой тогда;
Два-три слова, но согреты
Обаянием привета,
Всё решили б навсегда.

Проиграл! Своей рукою! . . .
Не поставить ставку вновь . . .
Что в душе щемит такое?
Это пьяная тоскою,
Безнадежная любовь.

<1893>

VI

Ты, только ты моя единая любовь!
Но не дано тобой мне в жизни насладиться.
Ты тайный тот порыв, что отравляет кровь,
Вздымает грудь мою и не осуществится.

Ты тот напев, что мне в час вдохновенья снится,
Но для него, увы, не нахожу я слов.
Ты славный подвиг мой, и я к нему готов,
Когда бы веру мне да мощную десницу!

Как сгубленную страсть, угасшие желанья,
Не спетый мной напев, геройские дерзанья,
Как всё высокое, что я в душе таю,

Как пламя, что меня и греет и сжигает,
Как смерть, что, погубив, от мук освобождает,
Вот так, красавица, и я тебя люблю.

<1891>

VII

Эти очи — словно море,
Волн сиянье голубых.
И мое бывшее горе,
Как пылинка, тонет в них.
Эти очи — как криница.
Перламутр блестит на дне,
А надежда, как зарница,
Сквозь ресницы блещет мне.

<1891>

VIII

«НЕ НАДЕЙСЯ НИ НА ЧТО»

Как ты могла сказать мне так спокойно,
Так твердо, ровно? Как не задрожал
Твой голос, сердце как не заглушило

Тревожными ударами своими
Слов страшных: «Не надейся ни на что!»

Как? Не надейся? Разве ты не знаешь,
Что те слова — тягчайшая вина:
Убийство сердца, духа, помышлений
Живых и нерожденных? Неужели
В тебе тогда не содрогнулась совесть?

Как? Нет надежды мне? О, мать-земля!
Ты, ясный свет! Ты, темнота ночная!
Светила, люди! Всё зачем теперь?
О, почему же я не прах бездушный,
О, почему не лед и не вода?

Тогда бы не был ад в моей груди,
В моем мозгу не просверлил бы нор
Червяк несътый и живая кровь
В горячке лютой вечно бы не пела
Слов страшных: «Не надейся ни на что!»

Нет, нет, не верю. Всё, о, всё — обман!
Воды животворящей в мой напиток
Ты долила и в шутку мне сказала,
Что это яд. За что же станешь ты
И душу убивать мою, и тело?

Нет, нет, не верю! В тот же миг, когда
Твои уста меня убить грозили,
Ты побледнела, очи опустила
И вдруг затрепетала, как мимоза...
Всё говорило мне: «Не верь, не верь!»

Ты, добрая моя,— ты не обманешь
Меня теперь личиной горделивой,
Тебя я понял. Ты добра, мила.
Лишь бури света, горечь неудачи
Заволокли тебя таким туманом.

И в сердце вновь я ощущаю силу
Рассеять тот туман горячим чувством

И жаром мысли вновь соединить
Тебя и жизнь, и я в ответ тебе
Кричу: «Надейся и крепись в борьбе!»

<1885>

IX

Ни на что я не надеюсь,
Ничего я не желаю.
Что же я живу и мучусь,
А не умираю.

Если на тебя гляжу я,
Глаз никак я не закрою
И люблю тебя, и где я
Сердце скрою?

Солнца блеск в твоей улыбке
На листве берез сияет
И со щек моих румянец
Мигом прогоняет.

Ни на что я не надеюсь,
Но кипят мечты земные:
Жажем жизни, а не смерти
Мы, живые.

Мы идем поодиночке,
Кто куда судьбой назначен.
Повстречаемся — прекрасно.
Если ж нет — так кто заплачет?

<1893>

X

Бескрайнее поле, где снег пеленою,
О, дай мне простора и воли!
Один я среди снега, лишь конь подо мною,
А сердце трепещет от боли.

Неси ж меня, конь мой, по чистому полю,
Как ветер, что тут же гуляет,
Быть может, уйду я от гибельной боли,
Что сердце мое разрывает.

<1893>

XI

Ты на улице при встрече
Хочешь в сторону свернуть.
Ты права, ведь нам с тобою
Не сужден единый путь.

Ты — направо, я — налево,
Путь проходим мы в тумане
И не встретимся мы в жизни,
Как две капли в океане.

А в дороге, встретив горе,
Что тебе несет удар,
На себя его направлю
И приму мученье в дар.

Если ж вдруг случайно счастье
В мой заглянет уголок,
Я к тебе его отправлю,
Пусть летит, как голубок.

Без тебя мне даже счастье —
Только призрак, звук пустой.
Без тебя и злое горе
Потеряло облик свой.

Словно капля в океане,
Растекусь и утону,
Ты играй на солнце, пани,
Я — один пойду ко дну.

<1891>

ХII

Зря смеешься, девочка,
В гордости своей!
Может быть, в осмеянном
Смысл судьбы твоей.
Может быть, в униженном
Счастья клад сокрыт.
Может быть, в отвергнутом
Свет любви горит.

И, как знать,— не вспомнишь ли
После, как укор,
И свой смех серебряный,
И жестокий взор?

<1891>

ХIII

Преступник я. Чтоб заглушить
Неслыханную муку
И чистый образ твой убить,
Я злобно поднял руку.

Хватал я уличную грязь,
Каменья площадные,
Чтоб кинуть в чистый образ твой,
В глаза твои святыя.

Я, как безумный, бунтовал,
Задавлен злыми снами,
Хоть знал: свое я сердце рву
Злодейскими руками.

Но после был я, ангел мой,
Всех и грязней, и хуже,
А образ твой сиял в душе,
Как солнышко над лужей.

<1893>

XIV

Судьба — стена меж нами. Как волнами
Разносит океанские суда,
Так мечемся и мы меж берегами,
Мой ясный свет, жестокая звезда!

Еще вдали тебя мой ловит взор,
Твой свежий след я мысленно лобзаю
И воздухом тем душу очищаю,
Что с уст твоих перелетел в простор.

Но ты исчезла. Нет в лесу дороги,
Куда идти мне с ужасом моим?
Померкли мысли, и не держат ноги,
А в сердце холод. . . Дым, повсюду дым.

<1893>

XV

Нередко мне является во сне
Твой образ, милая, такой желанный,
Каким сиял он только в той весне,
В тот лучший миг любви обетованной.

Он надо мной склоняется, и мне
Вдруг виден призрак страшный и туманный.
Смотрю в глаза и вижу в глубине
Мой давний жар, волнующий и странный.

И призрак мне кладет на сердце руку
Холодную, как скользкая змея,
Как бы смиряя в сердце злую муку.

Не опуская глаз, на призрак я
Гляжу. Он клонится без слов, без звука,
Подмигивает: «Спи! Я смерть твоя!»

<1893>

XVI

ПОХОРОНЫ ПАНИ А. Г.

Под крышкой металлического гроба
Проклятая навеки опочила,
Та, чья когда-то глупость или злоба
Нас разлучила.

Смотрел я, как ее заколотили,
Как тесный гроб был обручами схвачен,
Как, в склеп поставив, камнем привалили.
Навеки, значит.

А ты склонилась в траурной вуали,
В прощании участвуя слезами,
Но чувства в глубине твоей молчали
О той, что в яме.

Хоть было жарко, я стоял холодный,
Так близко от тебя в немом волнении.
Бил, словно вихрь, в мое воображенье
Рассказ народный.

«Тот, кто убил и не набрался силы
Смертельную принять за грех свой муку,
По смерти из развершейся могилы
Протянет руку».

По бледности твоей, слезинкам редким,
Твоим глазам, что в грусть замкнулись оба,
Хотел понять я: может быть, простерлась
Рука из гроба?..

<1891>

XVII

Никогда тебя не клял я,
Хоть тоска была сверх сил.
И насмешки, и обиды
Молча я переносил.

За тебя боюсь я, зная,
Что любовь — недобрый бог.
Коль один его унизит,
То к обоим он жесток.

И, когда любви несмелой
Ты казнила чистоту,
Разве знала, что казнишь ты
Жизнь мою, мою мечту?

Знала ль ты, что разрушаешь
Счастья собственного храм —
То, чего судьба так мало
Уделять привыкла нам?

Разве знала ты, что вскоре —
Только взмах один пером —
Ты не раз заплачешь горько
Над растоптанным добром?

<1893>

XVIII

Ты плачешь. Частые слезинки
По твоему лицу стекают
И чуть заметные морщинки
На нежной коже оставляют.

Ты плачешь. Ты, что оттолкнула
Мою любовь, разрушив счастье,
Теперь напрасно молишь, ловишь
Хотя бы капельку участья.

Напрасно за собою манишь
Всех несравненной красотой.
Холодный труп любви убитой
Лежит меж ними и тобою.

Уходят дни, ты вянешь горько,
Тебе уже не быть любимой,
Ты только памятник надгробный
Надежды, промелькнувшей мимо.

<1893>

ХІХ

На тебя я не в обиде, доля,
Ты, ведя меня, была мне другом.
Чтоб колосьями шумело поле,
Все цветы срезают острым плугом.

Долго плуг скрипит по чернозему,
И цветы разбросанные вянут,
А душа, окутана в истому,
Погружается в немые раны.

Ты идешь за плугом и бросаешь
В черные царапины и раны
Семена надежды и вдыхаешь
Обновленной жизни дух румяный.

<1891>

ХХ

ПРИЗРАК

Ночь холодна. За непроглядной далью
Снег падает на город без конца.
Здесь встретишься с могильною печалью.
О, как страшны черты ее лица!

Огни горят, и светлыми кругами
Блестит кровавый отблеск на земле,
И кажутся таинственными снами
Фиакров фонари в туманной мгле.

На тротуарах множество прохожих.
Цилиндры, шубы, туалеты дам,
И рваные лохмотья видны тоже.
Всё движется, толпится тут и там.

И я в толпе блуждаю одинокий,
Стараясь убежать от дум своих,
Но неотступны думы и глубоки,
И в сердце я ношу повсюду их.

Я, словно тот, кто тонет и рукою
Хватается за ветки, камыши,—
В чужой толпе, снедаемый тоскою,
В любом лице ищу родной души.

Я вдруг оцепенел. . . и встрепенулся,
Из онемевшей груди рвался стон,
Бежать хотел, но и не шевельнулся,
Как обухом тяжелым оглушен.

Не обух то. Она передо мною!
И я узнал овал ее лица;
Красивою тряхнула головою,
Взглянула на прохожего юнца.

И оглянулась вновь. О, эти очи!
Так глубоки и так черны, как ночь,
На миг блеснули мне во мраке ночи,—
И двое те уже спешили прочь.

А я стоял, как столб,— не слушал звуки,
С толпою колыхался весь в снегу,
Не чувствовал ни холода, ни муки,
Огонь сознания гас в моем мозгу.

«Она!» — из сердца вылетело слово,
Как власть его волшебна и страшна!
Как жернов мельничный, оно готово
На грудь мне лечь, словечко то: «она!»

«Царевнин сон», она, цветок любимый,
Что так была когда-то хороша! . .
О, аромат ее неповторимый,
Которым и сейчас пьяна душа!

И мнил я, что она одна такая,
Ей нес все думы, весь сердечный хмель,
Я видел в ней, следы ее лобзая,
И красоту, и милой жизни цель.

Та, что меня одним своим ответом
Могла героем сделать навсегда,

Жизнь озарить неугасимым светом
Надежды и высокого труда,

Та, что в руке от рая ключ держала
И в топь его закинула на дно,
Волшебного мне слова не сказала,
Но, может быть, ее грызет оно.

Не словом, нет, одним холодным взором
Она меня столкнула в ров без дна...
Кто ж там внизу, под грязью и позором,
Кто там, погибший до конца? Она!

Скажи мне, призрак, что за злая доля
Тебя с вершины бросила во тьму?
Кто смел и красоту и пышность поля
Втоптать в болото? Как и почему?

Иль холод, голод и сиротства слезы,
Иль страсть, что сердце бедное рвала,
Склоняя волю, словно буря лозы,
Тебя на торг постыдный привела?

О, погоди! Зову тебя, сгорая;
Могу любовью чуда творить;
На самом дне найду я ключ от рая;
Сумею рай замкнутый отворить.

Не слышит? С ним исчезла в мраке ночи
И смертной болью взор мой обожгла;
Когда б мои теперь ослепли очи,
Душа моя покой бы обрела.

*6 ноября 1892
Вена*

ЭПИЛОГ

Увявшие листья! умчитесь в туманы,
Развейтесь, легки как дыханье!
Немые печали, открытые раны,
Замершие в сердце желанья.

По листьям увядшим не вспомнишь прохлады
Лесной и деревьев высоких.
Кто знает, какие душевные клады
Вложил я в убогие строки.

Те лучшие клады растратив впустую,
Тропою печальной и снежной,
Как нищий с котомкой, один побреду я
Навстречу беде неизбежной.

<1893>

В Т О Р А Я Г О Р С Т Ь

(1895)

I

Где Сан течет зеленый, в Перемышле,
Стоял я на мосту с тяжелой думой,
Я думал о тебе, душа моя,
О счастье том, что, словно сонный призрак,
Явилось, улыбнулось и исчезло,
Оставив сожаленье по себе.
И повесть мне одна пришла на ум,
Которую я здесь над Саном слышал.
Зима была, замерз зеленый Сан,
И на блестящем ледяном покрове
След от саней крестьянских был заметен.
То воскресенье было. В самый полдень —
Сияло солнце — люди шли из храма,
Искрился снег, вокруг народ толпился,
Над Саном гулко голоса звучали.
Но вот за Саном в оснеженном поле
Вдруг зачернело что-то, колокольчик
Звенит, копыта по земле замерзшей
Стучат, и по утопанной дороге
Четверка мчится. Упряжь дорогая
Блестит на солнце, и быстрее вихря
Летит карета, и бичом возница,
Как выстрелами, щелкает...

А бедный

Народ глядит на это появленье.
Он поражен. Кто мог бы это ехать?
Здесь никогда еще таких упряжек
Не видели. И старики и дети

Глазеют и не могут догадаться,
Кто едет так — откуда и куда.

Но вот четверка, не остановившись,
На лед влетела. Глухо застонал
Покров хрустальный, звонко застучали
По нем копыта конские, скрипел
Замерзший снег под шинами колес;
Бичом хлестнул возница, и как вихрь
Неслась четверка. Но посередине
Реки, где кроет ледяной покров
Речную глубь, — вдруг что-то захрустело,
Один лишь раз — единственный. Широкий
Круг льда, как бы отмеренный, поддался,
И кучер, и карета в краткий миг,
И что в карете было, будто сон,
Как призрак, сразу подо льдом. . . исчезло.
Лишь Сан забулькал, будто дьявол сам,
И облизнулся. Лишь одна волна
Зеленая прошла по льду неспешно
И вновь ушла в таинственную глубь.
Не стало ни четверки, ни кареты,
И никогда там не узнали люди,
Кто это ехал, путь держал куда.
Никто о них не приходил справляться.
Да и в реке потом никто останков
Не находил. Когда бы лишь один,
А не десятки видели все это,
То видевший, наверно б, не поверил
Своим глазам. И стал бы после думать,
Что то был сон.

Не то же ль и со мною?

Когда бы не года тяжелой муки,
Страданий жгучих, слез и унижений,
Покорности и возмущений буйных
Раздавленного сердца, то я сам,
Припомнив наше первое свиданье
И ясный луч надежды несравненной,
Что мне блеснул, — пошел бы под присягу,
Что то был только сон, легенда Сана.

II

Мне трудно...
Полдневное поле безлюдно,
Для самого тонкого слуха
Всё глухо;
И тени людской не видать.
Лишь в травах, как в море волнистом,
Зеленом, блестяще-цветистом,
Кузнечикам любо трещать.
И в зное
Стремится долиной речною
К уступам синеющих гор
Мой взор.
Летит он всё выше и выше,
Где липы душистые дышат
И душу ласкает, колышет
Простор.

Но тише!
Как сжатое в горле дыханье,
Так тихое где-то рыданье
Я слышу.
Мое ли то горе большое?
Иль сердце заныло больное?
Ошибся я, в самом же деле
Доносится голос свирели.

И вот,
В ответ на напев, что зовет и влечет,
Вдруг сердце мое зарыдало
Без слов.
И ты, о звезда моя, в памяти встала,
И, вторя народному ладу,
Понесся по лугу и саду
Мой зов.

III

Явор зеленый, явор зеленый,
Но зеленее ива.
Так для меня из девушек милых
Только одна красива.

Алая роза, алая роза
Других цветов горделивей.
Не вижу розы, не вижу розы,
Лицо ее роз красивей.

Звезды и зори в небесном море
От края до края ночи.
Ясней, чем звезды в ночном просторе.
Блистают черные очи.

Медные звоны неугомонны,
Слух наш в них утопает,
Но ее голос — пшеничный колос —
За сердце нас хватает.

Синее море, грозное море
Бескрайно и бесконечно,
Но от утраты — бескрайней горе
Скорби моей сердечной.

IV

Стройная девушка, меньше орешка,
Что ж в твоём сердце злая насмешка?

Что ж твои губы — словно молитва,
Что ж твои речи — острая бритва?

Нежно сияют глаз твоих чары,
Что зажигают в сердце пожары.

Ах, эти очи, пасмурней ночи,
Тот, кто их видел, — солнца не хочет!

Что ж мне улыбка стала страданьем,
Сердце, как в буре, бьется желаньем?

Ясная зорька, что в твоём взоре?
Ты — моя радость, ты — мое горе!

Встречи добившись, пылко люблю я,
Пылко влюбившись, душу сгублю я.

V

Красная калина, что ты долу гнешься,
 Что ты долу гнешься?
 Света ль ты не любишь, к солнцу не влечешься?
 К солнцу не влечешься?

Иль, цветы жалея, ты боишься бури?
 Ты боишься бури?
 Или ты боишься молнии с лазури?
 Молнии с лазури?

— Нет не жаль цветов мне, не боюсь я молний,
 Не боюсь я молний.
 Свет люблю безмерно, свет меня наполнил,
 Свет меня наполнил.

Мне тянуться к небу силы не хватает,
 Силы не хватает.
 Красных ягод кисти вниз меня склоняют,
 Вниз меня склоняют.

Не тянусь я к небу, словно дуб могучий,
 Словно дуб могучий.
 На меня он бросил тень свою, как туча,
 Бросил тень, как туча.

VI

Ах ты, дубок, дубочек кудрявый,
 Кто и когда тебя закудрявил?

— Ветви обвили мне гибкие лозы,
 Корни подмыли мне частые слезы.

Лист закудрявили темные ночи,
 Ранили сердце черные очи.

Черные очи красавицы властной,
 Гордые речи ночи ненастной.

Речи те — ветра холодного звуки,
Вечная боль нестерпимой разлуки.

Вот уже сердце и сохнет, и тает,
Вянет моя красота, пропадает.

Сила былая слабеет и гнется,—
Видно, ко мне и весна не вернется.

Желтые листья лежат на равнине,—
Сам я последую скоро за ними.

Всё, что осталось от славы и силы,
Быстро разрежут злоречия пилы.

Злость, затаенная в пилах звенящих,
Всё перетопчет, как скот проходящий.

VII

О, печаль моя, горе
Без дна и без края!
Упустил я голубку
И уже не поймаю.

Я ей не дал приманки,
Когда были мы рядом,
И теперь не утешусь
Я ни вздохом, ни взглядом.

Когда были мы рядом,
Я еще колебался,
Я не ждал, чтоб так быстро
Друг мой нежный умчался.

А когда улетела,
То назад не хотела
И с собой захватила
Мою душу из тела.

Все погибли утехи
И надежды былые,
Так с весною уходят
Все цветы полевые.

VIII

Я не тебя люблю, о нет,
 Душистая лилея,
Не глаз твоих прозрачный свет,
 Что всех других милее;

Не твой звенящий голосок,
 Что прямо в душу льется,
Не поступь легких стройных ног,
 Что в сердце отдается;

Не губы, от которых я
 Не слышу слова ласки,
Не облик, где душа твоя
 Давно видна без маски;

Не стан, что скромностью повит,
 Красою безыскусной,
Не весь твой гармоничный вид,
 Подобный песне грустной.

Я не тебя люблю, о нет,
 Мечту свою люблю я;
Люблю глубокий в сердце бред,
 Что сызмала таю я.

Всем, что досель мне жизнь дала,
 Я красоту восславил.
Мой дар душевного тепла
 В нее я переплавил.

Она мне хлеб, она мне дом,
 Она мне песней стала,
И, как полил на дне морском,
 Душа к мечте пристала.

И в повседневности и в снах
Мой дух тянулся к милой. . .
И тут она — о страх, о страх! —
Твой облик мне явила.

Подобно молнии, что вдруг
Мне ослепляет очи,
Что вместе радость и испуг,
Дни превращает в ночи,—

Так был прекрасен образ твой,
Грозя мне тайным жалом;
То смерть стояла предо мной
Под дивным покрывалом.

И я от страха трепетал,
Но пьян был красотою;
Я от тебя дорог искал,
Но был всегда с тобою.

Я, как на спицах Иксион,
Сплетений не разрушу.
Так год за годом бьется стон
И боль сжигает душу.

Лекарств напрасно я искал
Для возроденья силы.
Кого предатель Сфинкс поймал,
Тот болен до могилы.

О нет, я не тебя люблю,
Свою мечту люблю я.
Я без тебя себя убую,
С тобой — с ума сойду я.

IX

Зачем ты совсем не смеешься?
Не холод ли в сердце твоём?
Не с горя ли сердце застыло
И смех не рождается в нём?

Зачем ты совсем не смеешься?
Быть может, какой-нибудь грех
На совесть налег и сжимает
Задорный и радостный смех?

Неявной печали отметка
Лежит на прекрасном челе.
Улыбка твоя — как под осень
Блистанье солнца во мгле.

Х

В ВАГОНЕ

Как с испуга, без сознания,
Так земля из-под меня
Убегает, пихты, ели
И столбы назад гоня.

Словно пестрые полотна
Великанова рука
Тянет вспять — и убегают
Нивы, рощи, сад, река.

Только я стою, и звезды,
Что сияют в вышине,
Аргументом постоянства
И порядка служат мне.

И насмешливо мигают
Звезды с черной высоты:
«Доказательство порядка
В мире — только мы и ты».

ХI

Смейтесь, звезды, надо мною!
Я несчастен, я червяк!
С грудью слабую, больною
Мне не справиться никак.

Я в раздоре сам с собою,
Мыслей собственных боюсь.
Звезды, смейтесь надо мною,
Я безвольный, слабый трус.

От себя бежать за море
Я хочу. . . Не убегу!
Я — колодник! Я от горя
Оторваться не могу.

ХИ

Зачем приходишь ты ко мне
Во сне?
И взгляд роняешь сквозь ресницы?
Глаза прекрасные ясны,
Грустны,
Как бы холодная криница.
Зачем привыкла ты молчать?
Какой укор или страданье,
Неисполнимое желанье,
Как пламя, на устах пылает
Лишь миг — во мраке пропадает
Опять?

Зачем приходишь ты ко мне
Во сне?
Как в жизни мной пренебрегла ты,
Как сердце мне надорвала ты,
Лишь песни вызвала одни
Из сердца, и слезам сродни
Они. . .

На улице, со мною рядом,
Меня ты не окинешь взглядом,
А поклонюсь — так обойдешь
И головою не кивнешь.
Ты такова, прекрасно зная,
Как я люблю и как страдаю,
Как мучусь долгими ночами,
И вот уж годы за годами

Душу я в сердце боль свою
И песен горькую струю.

О нет!

Являйся, милая, ко мне

Хотя б во сне.

Мне в жизни целый век тужить —

Не жить.

Так пусть же сердце, что в тревоге,

Как пыльный жемчуг на дороге,

Тускнеет, нету силы в нем, —

Хотя б во сне живет тобою,

Всё переполнено мольбою,

Переливается огнем.

И если счастье может длиться,

То чуду должен я молиться,

Чтобы безумным насладиться

Грехом!

ХІІІ

Вьется та тропиночка,

Где она прошла

И из сердца запросто

Счастье унесла.

Вон туда пошла она,

Всё гуляючи,

Со своим возлюбленным

Напеваючи.

Словно сумасшедший,

Я бежал за ней.

Обливал слезами я

След среди камней.

Словно утопающий,

Как спасение,

Взглядом я ловил ее

На мгновение.

Как в лесах коралловых,
В глубине морской,
Слух ловил мой с жадностью
Жемчуг речи той.

Вот идет тропиночка,
Извивается,
А сердечко бедное
Разрывается.

Залегла на дне его
Мысль всего одна:
Что вот тут загублена
Жизнь моя сполна.

Всё, что мне милей всего,
Мной взлелеяно,
Чем душа жива была,—
Здесь развеяно.

Чем душа была жива,
Было-минуло. . .
Ах, чтоб эта тропочка
Вовсе сгинула!

XIV

Знать бы чары лучше, что сгоняют тучи,
Те, что сердце к сердцу накрепко приручат,
Что ломают путы, где сердца замкнуты,
Что лишают яды силы их в минуту.

Если бы покрыла вдруг тебя их сила,
Все бы в твоём сердце искры погасила,
Мысли и желанья лишь одним ударом,
Чтоб одна любовь там вспыхнула пожаром,

Чтоб в одно мгновенье смысла с сердца тленье,
Пожрала тревогу и твои сомненья.
Пусть один мой образ греет, а не ранит. . .
Пыл воображенья, пыл моих мечтаний!

Если б был я рыцарь, был одет в кольчугу,
Если б был я грозен недругу и другу,
Я б врагов чертоги повергал под ноги,
Что стоят меж нами, не дают дороги.

Я б к тебе пробился через все препоны,
Разметал бы стены и убил дракона,
Я со дна морского добывал бы клады
И к твоим ногам их клал, моя отрада!

Башни крепостные я бы рушил в брани. . .
Пыл воображенья, пыл моих мечтаний!

Был бы я не дурень, что поет и плачет,
Если он давящей болью сердца схвачен,
Что в грядущем видит перст судьбы народной,
А сегодня бродит, как бедняк голодный,

Что на небе ловит яркие кометы,
А перед любимой не найдет ответа,
Идеалы видит где-то за горами,
А не может счастье ухватить руками.

Опоздал — и плачет, голова в дурмане. . .
Пыл воображенья, пыл моих мечтаний!

XV

Что счастье жизни? Лжи струя,
Ночное привиденье. . .
О ты, иллюзия моя,
Любимая изменница!

Ты чаша радости моей
И вся ты страсть живая,
Ты дум обман, ты жизни всей
Ошибка роковая.

Чуть не поймал тебя я в сеть,
Да крылья вдруг опали.
Не смог я за тобой лететь,
Один томлюсь в печали.

С тобою жить? — Так много лжи
Теперь стоит меж нами.
В разлуке жить — весь век тужить
И днями и ночами.

Пускай ты тень, пускай ты мрак,
Видение пустое,—
Зачем же сердце рвется так,
Душа болит и ноет?

Пускай ты юная мечта,
И тень, и обольщенье,—
Мне вся вселенная пуста
В моем отъединеньи.

Как Шлемиль, что утратил тень,
Хожу я, как заклятый,
И не заполнит целый свет
Одной такой утраты.

XVI

Коль не вижу тебя —
Мне минуты, как век, бесконечны.
Коль увижу тебя —
Вновь страдаю от раны сердечной.
Коль не вижу тебя —
Я окутан морозом и мглою,
А увидев тебя —
Опален я горящей смолою.

Чтоб увидеть тебя —
Понесут меня ангелов руки,
А увижу тебя —
Гонят прочь меня адские муки.
Я утратил покой
И с тобой, и в разлуке с тобою,
Я не принят землей
И отвергнут небес синевою.

ХVII

Если ночью услышишь ты, что за окном
Кто-то плачет уныло и тяжко,
Не тревожься совсем, не прощайся со сном
И в окно не смотри, моя пташка.

Там не тянется нищей сиротки рука,
Там не стонет бродяга бездомный,—
Это воет отчаянье, плачет тоска,
Это вопли любви неумной.

ХVIII

Хоть не цвести тебе в тиши полян
Душистой кувшинкой золотою,
Хоть ты плывешь с толпою в океан
Обыденности серой и застоя,
Но лик твой вечно будет осиян,
Ты для меня останешься святою,
Как бури не выдавший лепесток,
Как идеал, что ясен и далек.

Тебя я в душу заключу мою,
За свежесть обаянья благодарный;
Твою красу я в песни перелью,
Огонь очей — в напев мой светозарный,
Кораллы уст — в гармонии струю.
Ты золотая мушка, что в янтарный
Хрусталь попала — в нем навеки спит.
Цвети же ты, пока мой стих звенит.

ХIХ

Как вол в ярме, вот так я, день за днем,
Влачу свой плуг, куда хватит силы.
В усталости не вспыхну я огнем,
А дотлеваю тихо и уныло.

Расстался я с мечтами молодыми,
Иллюзии колодец пересох,

Мои ответы сделались сухими.
Готова жатва, урожай же плох.

Плох урожай. Я, видно, сеял тут
И мало, и не лучшую пшеницу,
А время нас не ждет! Дожди идут,
И осень тяжкую сулят зарницы.

XX

Сыплет, сыплет, сыплет снег
В сероватости бездонной.
Мириадами летит
Вниз снежинок рой студеный.

Одинаковы, как грусть,
Холодны, как злая доля,
Присыпают всюду жизнь,
Всю красу лугов и поля.

Отупенье, забытье —
Всё покрыло пеленою,
Крепко стиснуло, прижав
Даже корни под землею.

Сыплет, сыплет, сыплет снег,
Тяжелее налегает,
Молодой огонь в душе
Меркнет, слабнет, угасает.

ТРЕТЬЯ ГОРСТЬ

(1896)

I

Льдом студеным покрыта,
Не волнуется в речке вода;
Если лампа разбита,
Свет ее не дрожит никогда.

Не услышишь мелодий,
Если сломан на части смычок,
Как же песни выходят
Из-под бремени злобных тревог?

Иль как пресс это горе,
Чтоб из сердца стихи выжимать?
Иль как колокол — песня,
Чтобы горестный плач заглушать?

II

Да, умерла она. Бам-бам! Бам-бам!
Посмертный колокол в душе трезвонит.
Меня сгибает что-то пополам
И тяжестью к земле холодной клонит.

За горло кто-то душит, и очам
Не видно света. Кто так злобно гонит
Всё то, что боль под сердцем заперла?
Сама ли боль? Погибла! Умерла!

А на щеках горит сиянье роз,
Еще уста пылают, как малина. . .
Но не тревожь покой ушедших грез,
Здесь всех твоих желаний домовина.
Бам-бам! Далече колокол разнес
Про это весть. Рыдай, как сиротина.
Мечты завесу смерть разодрала,
Разбила храм твой! Тише! Умерла!

Как я не обезумел? Где предел?
И как я до сих пор смотрю на это?
И как я это до сих пор терпел,
Не заглянувши в дуло пистолета?
Ведь тут же лучший пламень мой истлел!
Я, став калекой, не увижу света
Навеки! Сердце нечисть пожрала,
Всё источила. Горе! Умерла!

И только боль сжигает сердце там,
Внутри меня, она по венам кружит.
Лишь боль и это страшное «бам-бам»,
И нету слез, и меркнет свет снаружи.
Я одинок! И вот, срываясь, сам
Лечу куда-то вниз, в пустую стужу.
Рыданьем сдавлена гортань моя,
Она ли умерла! Нет, умер я.

III

Мне теперь навеки дела нет
До волнений ваших и забот,
До тревог, волнующих народ,
До идей, что будоражат свет.
Слава и прогресс не для меня.
Умер я.

Для меня весь мир хоть пропади;
Хоть брат брата мучь или убей,—
Нет мне больше жизни впереди,
Ничего теперь искать мне в ней!

Острый нож вонзился в сердце мне,
И замкнул навеки душу я,
Умер я.

Пусть победы светоч вас манит,
Пусть надежда тешит взмахом крыл,
А моя надежда тут лежит,
Я — корабль без мачт и без ветрил.
Я для счастья не имею сил,
Мною жизнь осуждена моя,—
Умер я.

IV

Как тень, я шел порой ночью
В аллее летом, и луна
И звезд росинки надо мною
Горели; неба глубина,
Как будто океан покоя,
Лилась мне в душу. О, как я
Еще вчера любил светила
И синь небесную! Моя
Душа в просторе том парила
И с высоты опять спешила
На те поляны, где цветут
Цветы бессмертья, где плывут
Благословенные напевы!
А ныне — всё темно. О, где вы?
Внезапно весь ваш блеск погас,
Я ныне ненавижу вас,
Я ненавижу свет и силу,
И песнь, и прелесть бытия,
Любовь возненавидел я,—
Я жажду только забытья,
Люблю покой, люблю могилу.

В тени дерев ночной порою
Я шел без мысли, словно тень.
То позади, то предо мною
Сновали люди в темноте.

Уста любовников шептали
Любовный вздор. И кто-то пел...
От жгучей боли я немел,
Всех мук перешагнул предел,
Но нет лекарства от печали.
Я шел и знал, что я — могила,
Что в жизнь навек замкнута дверь
И что на дне своем теперь
Душа моя похоронила
Все радости, и все страданья,
И песнь, что не воскреснет вновь,—
Свое безмерное желанье,
Свою последнюю любовь.

У

Два белых окна с кружевной занавеской
Ярчайшей геранью увиты.
Там спальня и кухня, две чистых постели,
И накрепко двери закрыты.

На стенах часы, календарь, фотографий
Пять-шесть на комодке невзрачном,
На круглом столе одинокая лампа
Стоит, в абажуре прозрачном.

А в кресле мое драгоценное счастье
Сидит в одиноком раздумье,
И ждет напряженно, и хочет услышать
Шаги чьи-то в уличном шуме.

Да, ждет... не меня, для другого кого-то
В глазах ее искры мелькают!
Я, сумраком скрытый, стою за окошком,
Лишь взглядом приблизившись к раю.

Вот тут мое счастье! Как близко! Как близко!
И так же далеко навеки...
И сердце разбито, и высохли слезы,
Горят воспаленные веки.

Бегу от окна я, сжимая руками
В отчаяньи лоб раскаленный,
Как раненый зверь, что скрывается в дебри,
Чтоб согнуть в норе потаенной.

VI

Отчаянье! Что я считал
Святым и даже близким к богу,—
Себе червяк бездушный взял
И пожирает понемногу.

То, что в душе лелеял я
И мнил на свете самым лучшим,—
Теперь под властью муравья
Игрушка: потрепать, помучить

Он может, даже разломать
И бросить в угол по желанью.
А я, несчастный, ни рыдать,
Ни помогать не в состояньи.

Смотрю, как та, что всех нежней,
В руках жестоких увядает,
Как этот равнодушный змей
По моему гуляет раю.

И горло стиснуто мое
Больного бешенства волною,
Я проклиная бытие,
Что надругалось надо мною!

VII

Жить не могу — не погибаю. . .
Нести не в силах — не бросаю
Тяжелый груз проклятых дней!
Один в толпе хожу унылый

И самому себе постылый. . .
Удар последний, грянь скорей!

Не жаль ни света, ни природы,
Не жаль утраченные годы,
Не жаль, что даром жизнь прошла.
Пропало всё! Ну что ж, пропало!
А что же предо мной предстало?
Лишь бездна, где туман и мгла.

Изверился в хомут и шлеи,
Что я тяну, как вол, на шее
Уж более чем двадцать лет,
Как бедный мальчик, дури полный,
Что хлещет прутиком по волнам;
Ну разве есть на волнах след?

Напрасно биться и стараться,
Надеяться и добиваться —
Пропала сила вся моя!
Повсюду бродят злые тени.
И полное непротивленьё
Засело в сердце, как змея.

VIII

Да, я хотел себя убить,
Пустую скорлупу разбить,
Усилием своих же рук.
Найти исход из страшных мук,
Из сети вырваться тугой
Такой ценою дорогой.
Вотще! Всему наперекор
Во мне — трусливый зверь! позор! —
Вопит внутри меня опять
Желание существовать.
Привязанность к пустым углам,
Хоть не жил, прозябал я там,
К труду без цели и мечты,
Что терны дарит, не цветы,
К стране жестокой, что сердца

Высасывает до конца,
Живую веру иссуша,
Льет яд туда же не спеша.

Я знаю всё — не стоит жить,
Не стоит жизнью дорожить.
Тебя утративши вполне,
Я знаю, что лекарство мне —
Лишь пуля в лоб. Увы! робка,
Не поднимается рука.

Вся боль, живущая со мной,
Пусть к цели движется одной:
Создать один заряд, как гром,
Собрав свои все силы в нем,
Чтоб, словно колокола звон,
Из уст проклятье вышло вон
Такое, чтобы мерзла кровь,
Сменялась злобою любовь,
Веселье делалось тоской,
Ум не пленялся красотой,
Чтоб алых губ не трогал смех,
Чтоб сон бежал с тяжелых век,
Чтоб мир тюрьмою душной стал
И плод в утробе умирал.
В тебя метнуть, любовь моя,
Хотел проклятье это я,
За то, что в жизни не цветы,
А терны мне дарила ты,
К страданью чарами гоня.
Но плачет в сердце у меня,
Как мальчик брошенный в лесу,
Желанье петь твою красу.
Ты чувств струя, ты песни звон,
Мой крик к гортани пригвожден.

IX

Любовь три раза мне была дана.
Одна — бела как лилия — несмело
Из всходов и мечтаний соткана,

Как мотылек серебристый подлетела.
Ее купал в янтарных блестках май,
На облаке пурпуровом воссела

И видела повсюду только рай!
Как малое дитя, была невинна,
Цвела, как наш благоуханный край.

Пришла вторая — гордая княгиня,
Бледна, как юный месяц, и грустна,
Тиха и недоступна, как святыня.

Меня рукой холодной она
Коснулась и шепнула еле-еле:
«Нет, мне не жить, пусть я умру одна».

И, замолчав, исчезла в темной щели.
Явилась третья — дева или гриф,
Глядишь — и взгляд иной не хочет цели.

Глаза очарованьем поразив,
Вдруг ужасом меня околдовала,
Всю силу по пространству распылив.

Она утонет, думал я сначала,
В воде полночной, в тине где-нибудь.
Вдруг полымя багровое восстало.

Как сфинкс, она в мою вцепилась грудь
И, разодрав, за сердце ухватила,
И лижет кровь, сменив покой на жуть.

Шли дни, я ждал: ее ослабнет сила,
Она исчезнет — тень среди теней,
Да где там! — и на миг не отпустила.

Она то дремлет на груди моей,
Как сытый зверь когтистый и косматый,
То устремляет вновь своих очей

Взгляд полусонный, — в нем боязнь утраты,
И прямо очи в очи смотрит мне,
И тут искрится этот взор проклятый,

И яркий блеск сияет в глубине
Ее очей, и снова страх змеится,
Но вдруг, рождаясь там, на самом дне,

Мелодия блаженства сладко длится.
Я забываю раны, боль и страх,
И голос счастья в грудь мою стучится.

Моя душа, как соловей в силках,
Щебечет, бьется, рвется — бесполезно!
Мне ясен путь, хоть я иду впотьмах

Вниз, по дороге, уводящей в бездну.

Х

Подходит мрак. Боюсь я этой ночи.
Когда повсюду сон приводит ночь,
Лишь я один сомкнуть не в силах очи.
Покоя нет, и сон уходит прочь.

Сижу один, свои тревожа раны,
Грущу и плачу, плачу и клянусь,
И все мечты, одною ею пьяны,
Лишь к ней летят, хотят ее одну.

И кажется, что с этими мечтами
Моя душа летит из тела вон
И серафимы с белыми крылами
Несут ее — и крыл я слышу звон.

А я изнемогаю от бессилья,
И бледная тоска, подсев ко мне,
Льет щедро, как из рога изобилья,
Отчаянье, чтоб стал весь мир темней.

И кажется, я в пропасти глубокой,
Средь влажной и холодной темноты,
Где вой зверей голодный и жестокий,
Где стонет лес, ветвями бьют кусты.

Я на распутье, в чаще незнакомой,
Из сердца кровь мою змея сосет;
Дорог не видно, только голос грома
С собой угрозу дикую несет.

И я — больной и слабый, утомленье,
Как тяжкий жернов, давит мне на грудь.
Бездомный, я хотел бы на мгновенье
Быть дома, в счастье тихо отдохнуть!

Я так тебя люблю и так страдаю,
Хоть надо мною издевалась ты,
Но я хочу хотя б минуты рая;
Обнять тебя — вот цель моей мечты.

Обнять тебя, прижать к груди влюбленно,
Из уст твоих нектар сладчайший пить,
Душою утонуть в очах бездонных,
У ног твоих погибнуть и ожить.

А дождь сечет, скрипят под ветром ветки,
А вихрь ревет: «Напрасно!» Дикий бред!
И сердце вдруг в грудной метнулось клетке
И вскрикнуло: «Ужель исхода нет?»

Нет! Должен быть! Я никогда не струшу,
Чтоб взять хоть на мгновение ее!
Хотя б пришлось отдать мне черту душу,
А сбудется желание мое!»

И тут же что-то вдруг с меня свалилось —
Так осенью летит дерев краса,
А что-то темное в меня вселилось —
То вера в черта, вера в чудеса.

XI

Бес нечистый, дух разлуки
И погубленной мечты,
Некончающейся муки
И душевной пустоты!

Отзовись на эти звуки.
Буду раб, невольник твой,
Весь тебе отдамся в руки,
Только сердце успокой.

На жестокие мученья
Я согласен. Так и быть!
Но хотя бы на мгновенье
Дай желанье утолить.

За одно ее объятье
Пусть горю сто тысяч лет!
За любовь ее и ласку
Дам я небо, рай, весь свет!

ХИ

И он пришел ко мне. Не призраком крылатым
И не с копытами, хвостатым и рогатым
(Его обычный вид),—

А как пристойный пан, в широкой пелерине
(Как будто я его встречал вчера иль ныне):
Еврей? Иезуит?

Присел. Его лица в потемках мне не видно.
Толкнув меня в плечо, захохотал бесстыдно:
«Ха-ха! Ха-ха! Ха-ха!

Вот новость. Вот курьез невиданного сорта:
Пан рационалист, безбожник, кличет черта.
Какая чепуха!

Мой милый пан, ведь вы ж не веруете в бога.
Я слышал как-то раз у вашего порога —
Подслушать я мастак,—

Вы разорались так, что были конфискабль:
«Ne croyant pas au Dieu je ne croye pas au diable!»¹
Зачем теперь вы так?

¹ Не веря в бога, я не верю в черта (франц.).— *Ред.*

И неужели ж я — pardon,¹ я не представлен,
Но догадались вы, надеюсь, кто вам явлен,—
Ужель я ближе к вам,

Иль показалось вам, что я сильнее бога,
Или удобнее вам к сатане дорога,
Чем прямо к небесам?

Ну, за доверие спасибо. Понимаю,
Что, ублажить себя вы способа не зная,
Сказали: «Коль беда,

Хоть к черту самому теперь ступай ты!» Разве
Значительно, что вы его всегда мешали с грязью,
Кричали: «Ерунда!»

Смотрите же, куда ведет неосторожность:
У вас есть в набожность удариться возможность
Иль прямо к черту в ад.

Да и еще с душой! Приличье вновь нарушу,
Но снова засмеюсь. Ну что ж, болтать про душу
Я с вами адски рад.

Сто тысяч лет гореть готовы? Ха-ха! Пане!
Изрядный это срок. Не вы ли сами ране
Кричали этак вот:

«Движенье нервов — дух». Так значит, если нервы
Погибнут — нет души. Выходит, вывод первый
Вдруг стал наоборот.

Так, в карточной игре, для вящего азарту,
Подсунуть вздумали крапленую вы карту,
Нечестно это, нет.

Вам нужно то да се. . . конкретное, за это
Вы пшик даете мне! Не нахожу ответа!
И с чертом так не след!

¹ Извините (франц.).— *Ред.*

К тому ж, голубчик мой, вы просто опоздали:
Мы в вашу душеньку давно уже попали,
Давно ночуем в ней.

Я не такой глупец и не такой богатый,
Чтобы платить за то, что можно взять без платы,
Пора бы стать умней.

А вот еще одно: возлюбленная ваша,
По ком вы тужите,— недавно стала наша.
Чтоб кончить ваш кошмар,

Спешите прямо в ад, мой милый, без печали,
Собственноручно там вам выдам вашу кралю.
Итак, *au revoir!*»¹

Еще похотав, своим весельем полон,
Ударил по плечу меня и прочь пошел он,
К другим делам спеша.

А я стоял, как столб, лицо мое горело,
Стыд душу пожирал, не выгорело дело,
И черту не нужна моя душа!

ХIII

Матушка ты моя родненькая,
В годину злую, в недобрый час
Ты родила меня на свет.

Иль в тяжком грехе зачала ты меня,
Иль был кем-то я проклят в утробе твоей,
Иль просто смеется судьба надо мной.

Не дала красоты, чтоб людей чаровать,
Не дала ты мне сил, чтобы стены валить,
Не дала мне и знатного рода.

¹ До свиданья (франц.).— *Ред.*

В этот мир ты пустила меня сиротой
И дала три тяжелых несчастья в надел,
И все три неизменно со мною.

Первое несчастье — это сердце доброе,
Это сердце нежное, чуткое, певучее,
Что с рожденья тянется к красоте и благодати.

А второе несчастье — мужицкий мой род,
То униженный род, что в потемках бредет,
То отравленный хлеб, обесславленный гроб.

Гордость духа — несчастье третье мое,
Что не хочет к себе допустить никого,
Как огонь взаперти, иссушая его.

Матушка ты моя родненькая!
Не плачь одиноко и зря не тужи.
Узнав, что свершил я, меня не кляни.

Не грусти, что придется одной доживать,
Не тоскуй, что придется одной умирать,
Что не сын похоронит скорбящую мать.

О бессильном дитяти своем не грусти,
Тачку жизни я вез, сколь был в силах везти,
А теперь я сломался и сбился с пути.

Я не в силах, не в силах того удержать,
Что, как черная туча, идет на меня,
Что бушует, как буря, гудя и стена.

Не хочу никому я помехою быть,
Не хочу озвереть, обезуметь; о нет!
Вечный мрак мне желанней, чем утренний свет.

XIV

Песня подбитая, милая пташка,
Смолкнуть приходит пора.
Полно рыдать нам и горько и тяжко,
Кончилась эта игра.

Полно тревожить нам рану открытую,
Полно вопить про любовь,
С каждой строфою и с каждою нотою
Каплет горячая кровь.

С каждой терциною, с каждой октавою
Ритм ослабляется твой;
Песня напитана горем-отравою,
Время идти на покой.

XV

И ты прощай! Теперь тебя
Не назову вовеки я,
В лицо твое не гляну!
Чтоб ты не знала никогда,
Ушел я от тебя куда
И чем лечу я рану.
Ты позабудь меня скорей,
Люби, воспитывай детей,
Будь верною женою!
И не читай стихов моих,
И не веди бесед ночных,
Как с призраком,— со мною.

А вспомнят люди обо мне,
Будь безразлична ты вполне,
О роза, что увяла!
И не бледней, и не дрожи,
А собеседнику скажи:
«Нет, я его не знала!»

XVI

Что песнь! Утратила она
Дар — сердце утешать.
Глянь — туча налегла, черна.
Прошла весна! Прошла весна!
И в тлении душа.

Напрасно, песня! Тихой будь,
Не умножай мне мук!
И так тоска сжимает грудь,—
А ты в тот путь, ты в тот же путь
Несешь свой скорбный звук.

Ведь в том, что я пою и пел,
Не вылить боли мне.
Как молча муки я терпел,
Так молча им найду предел
В нирваны глубине.

XVII

Поклон тебе, Будда!
Во тьме бытия
Ты ясность, ты чудо,
Ты мир забытья.

Достоинно, спокойно
Тобой побежден
Мир похоти, гнева
И блеска корон.

Царем был — стал нищим,
Душой — богатырь.
Тобой озарилась
Подлунная ширь.

Ты царство покинул,
Чтоб духом ожить;
Сорвал все оковы,
Чтоб нас просветить.

Ты мучился годы
Под сенью плюща,
Истоки страданья
Людского ища.

Нашел ты источник
В души глубине,
Где страсти роятся,
Играя на дне.

Любовь там возникла,
И гнев там рожден,
И дух — паутиной
Страстей оплетен.

Покой прогоняет,
И давит, и жмет,
И тянет в сансары
Водоворот.

От страха пред адом
Увел ты людей,
Без мути туманной
Загробных идей.

Бессмертно лишь тело,—
Ведь атом любви
Пребудет вовеки
Самим же собой.

А то, что в нас плачет,
Болит и горит,
И рвется к познанию,
Творит и летит,—

Погаснет, как искра,
Уйдет, как волна,
И канет в нирвану
Без граней и дна.

Поклон тебе, светлый,
От бедных людей,
Что бьются отчаянно
В путях страстей.

И я, твой поклонник,
Иду за тобой
От пытки сансары
В нирваны покой!

XVIII

Душа бессмертна! Жить ей бесконечно!
Вот дикая фантазия, достойна
Она Лойолы или Торквемады!
Мутится разум, застывает сердце.

Носить твое лицо навеки в сердце
И знать, что ты привязана к другому,
Тебя с ним видеть вместе и томиться,—
Ох, даже рай тогда мне станет адом!

Творца хвалить? За что? Уж не за то ли,
Что в сердце у меня огонь возжег он,
В насмешку предопределив разлуку;
Рай показал и затворил ворота!

Но господу дерзить я не желаю;
Зачем мне трогать верующих чувства?
К чему уподобляться мне актеру,
Пугающему мир мечом картонным?

Я не романтик. Дым мифологичный
Рассеялся давно. Меня не тешит
И не пугает больше мгlistый призрак
Утраченной и стародавней веры.

Ведь что есть дух? Он создан человеком,
Дал человек ему свое подобье
Затем, чтоб сотворить себе тирана.

Одно лишь безначально, бесконечно:
Материя — она живет и крепнет.

Ее один могущественней атом,
Чем боги все, все Ягве и Астарты.

В пространства бесконечном океане
Встречаются там-сям водовороты,
Они кружатся, бьются и клокочут,
И все они — планетные системы.

В пучине этой волны — все планеты,
В них пузырьков ничтожных миллиарды,
И в каждом что-то видится неясно,
Меняется, взбухает — до разрыва.

Всё это — наши чувства, наши знанья,
Ничтожный шар в материи пучине.
С их гибелью водоворот утихнет,
Чтоб закупиться снова, в новом месте.

Круговорот бесцелен, безначален
Всегда и всюду; звезды и планеты,
Вплоть до бактерий или инфузорий,
Идут по одинаковой дороге.

Лишь маленькие пузырьки людские,
Вобравшие в себя кусок пучины,
Мечтают, мучаются и стремятся
Вместить в себя вселенной бесконечность.

Они ее себе уподобляют,
Дают ей облик, сходный с человеческим,
Потом они пугаются, как дети,
Созданий своего воображенья.

Я не дитя, я не боюсь видений,
Я только узник в этом доме пыток,
Душа моя на волю жадно рвется,
В материю обратно хочет кануть.

Стремится бедный пузырек взорваться
И погасить большую искру — разум,
И ничего из свойств людских не хочет
С собою взять, спасаясь в бесконечность.

ХІХ

«Самоубийство — трусость,
Уход из рядов,
Злостное банкротство. . .»
Ох, как много слов.

Господа, вы про трусость
Молчали бы лучше.
Вам известно ль, как сладко
На пыточных крючьях?

Вы ли нюхали порох
В бесконечной войне,
Вы ли лбом пробивали
Выход к свету в стене?

«Грешник — самоубийца,
Хуже грешника нет».
Пусть вам слово Христово
Даст на это ответ.

Шел Христос по дороге
С верной паствой своей,
И увидел: в субботу
Пашет в поле еврей.

«Не грешит ли он, авва?» —
Кто-то задал вопрос.
И к работнику строго
Обратился Христос:

«Если знаешь, что сделал,—
Блажен ты еси,
А не знаешь, что сделал,—
Ты проклятый еси.

Если знал ты, что делал,—
То закон твой ты сам,

А не знал ты, что делал,—
То закон тебе пан».¹

Для знающих — знание
Их высший закон,
Закона не знающий
Пусть оземь бьет лбом.

Раз знаю, что делаю,
То знаю лишь я —
И тот, кто узнал меня,
Полнее, чем я.

XX

Такой удобный инструмент,
Холодный и блестящий.
Один нажим... один момент...
И крови ключ кипящий...
Негромкий крик, а там, ей-ей,
Всему — поклон покорный.
Вот всё лекарство для моей
Болезни — грусти черной.

В изящный этот инструмент
Патрончик задвигаю,
Взамен любимой, на момент,
Я к сердцу прижимаю
Его... Нажим... негромкий звук,
Как от свечи задутой...
Он мягко выпадет из рук,
С меня ж сорвутся путы.

Один момент — ну разве грех?
К чему нести страданье?

¹ Слова эти тщетно искать в Евангелии, но они сохранились в одной старинной греческой рукописи. «Если знаешь, что делаешь,— блажен еси, а если не знаешь, что делаешь,— проклят еси, яко преступник закона». Высокие и несомненно подлинные Христовы слова!

Хоть тут позвольте без помех
Мне выполнить желанье.
Истлел орешек — ну так прочь
И скорлупу пустую!
Один нажим — и в эту ночь
Без снов навек усну я.

**ИЗ КНИГИ
«МОЙ ИЗМАРАГД»
(1898)**

I

ПОЭТ ГОВОРИТ

Вниз катится мой воз, как всё на свете.
Цветы увяли, тяжелее пути.
Не для меня горит мечта столетий!
Да, битву с жизнью проиграл я, дети!
Cosa perduta!¹

Как горячо рвался я в бой с судьбою!
Как я летел душой своей к чему-то!
Какой пылал любовью неземною! . . .
А что добыл, оставил за собою?
Cosa perduta!

Не дал мороз листве моей развиться,
Цветы мои побило бурей лютой,
В бою геройски не пришлось сразиться,
И ржавчиной я должен был покрыться —
Cosa perduta!

Из мелких ран росли большие раны,
Терзали сердце тяжкие минуты,
Не знал и сам я, где мои тираны,
А кандалы звенели неустанно:
Cosa perduta!

¹ Погибшее дело (итал.).— *Ред.*

О мать моя родная, Украина!
Не упрекай меня, страдая в путях,
Что я не мог, в недоле изнывая,
Тебе отдать все силы, дорогая!
Cosa perduta!

1897

II

УКРАИНА ГОВОРИТ

Мой сын, ты б меньше суесловил,
Слез над собою меньше пролил
И долю меньше попрекал!
Идя дорогою неторной,
Изранен тернием, упорный,—
Чего же ты иного ждал?

Ты знал, что я нага, убога,
И всё ж у моего порога
Стоишь, служить желая мне.
Ну, у меня с оплатой скупю,
А попрекать за это глупо...
Просила я тебя иль нет?

Чем ты обижен? Что порою
Крик поднимали над тобою:
«Не любит Украины он!»
Наплюй! Я, сын мой, лучше знаю
Всех этих «патриотов» стаю,
Их сладких фраз дешевый звон.

Что будешь жить, как прежде, бедно?
Ты не украл полушки медной,
Хлеб честно заработал свой...
Еще запомни: сохранится
Здесь лучшая тебя частица,
Она не ляжет в гроб с тобой.

1897

III РАЗДУМЬЕ

Ох, тяжело ярмо родного края,
И ноша нелегка!
Как под крестом, под ней влачусь я, поникая,
И кубок с ядом пью, что поднесла родная,
Твоя, мой край, рука.

Так будь благословен! В грядущей, светлой дали
Дождешься ль славы, ясных дней весны,
Не знаю,— об одном молюсь в своей печали,
Чтоб с горя, с голоду тебя не покидали
Все лучшие твои сыны.

Чтоб сеющих добро другое поколение
Не осмеемо в песнях злых.
Чтоб памятником им не стали те каменя,
Которыми, платя за зерна просвещения,
При жизни все забрасывали их.

1897

IV СЕДОГЛАВОМУ

Ты, братец, любишь Русь,
Я ж не люблю, бедняга!
Ты, братец, патриот,
А я — всего дворняга.

Ты, братец, любишь Русь,
Как любишь хлеб и сало,—
Я ж лаю день и ночь,
Чтоб сном не засыпала.

Ты, братец, любишь Русь,
Как пиво золотое,—
Я ж не люблю, как жнец
Не любит в поле зноя.

Ты, братец, любишь Русь,
Одеую картинно,—
Я ж не люблю, как раб
Не любит господина.

Ведь твой патриотизм —
Одежда показная,
А мой — тяжелый труд,
Горячка вековая.

Ты любишь в ней господ
Блистанье да сверканье —
Меня ж гнетет ее
Извечное страданье.

Ты любишь Русь, за то
Тебе почет и слава,—
А предо мною Русь
Избита и кровава.

Ты, братец, любишь Русь,
Как заработок верный,—
Я ж не люблю ее
Из-за любви безмерной!

1897

V

КОГДА БЫ. . .

Когда бы лишь великое страданье
Твоим, Украина, искупленьем было,—
Ты властвовала б ныне, в испытаньи
Ни перед кем бы ты не отступила.

Когда бы силу, счастье и свободу
Измерить мерою кровавых слез,
Пролитых из сердец и глаз народа,—
То кто б с тобой соперничество снес?

О, горе, мать! Свобода, слава, сила —
Всё меряется мерою борьбы;

Кого работа потом оросила,
Лишь тот из темной выбьется толпы.

Да трудолюбья в нас самих так мало!
Невспаханное поле пред тобой,
А сколько силы навсегда пропало,
Чтоб жить, томясь на каторге чужой!

1897

VI ДЕКАДЕНТ

В. Шурату

Я декадент? Вот это вправду ново!
Подметил ты всего один момент,
И, модное найдя, пустое слово,
Ты вопиешь: «Смотрите, декадент!»

Да, в этих песнях — боль, печаль, забота,
Так жизнь сошлась, дорога ведь крута.
Но есть в них, братец, и другая нота:
Надежда, воля, светлая мечта.

Я не терплю печалиться без цели,
Бесплодно слушать, как звенит в ушах;
Пока я жив, я жить хочу на деле,
Борьба за жизнь меня не вгонит в страх.

Нередко желчь и уксус я глотаю,
Не раз и прел, и хрипнул я, и стыл,
А все-таки изжогой не страдаю,
Катар кишок покуда не добыл.

Какой я декадент? Я сын народа,
Который рвется к солнцу из берлог.
Мой лозунг: труд, и счастье, и свобода,
Я сам — мужик, пролог, не эпилог.

Я за столом не пропущу стакана,
Зато и в драке — тоже не смолчу,
На жизненном пиру скучать не стану,
И в нищете я рук не опущу.

Не паразит я, одуревший с жиру,
Который в будни помнит лишь процент,
А в праздник на «ура» настроит лиру...
Какой же, черт возьми, я декадент?

1896

VI МОЕЙ НЕ МОЕЙ

Поклон тебе, увянувшая ветка,
Мечта моя, надежды отзвук дальний,—
Последний мой поклон!
Хоть я с тобой встречался очень редко,
Хоть образ твой всё горше, всё печальней,—
Мне сердце греет он.

Тем, что мои порывы ты смирила,
В моей груди стеснила, угасила
Огонь, что в ней пылал,—
Навек в душе больной и одинокой
Ты утвердила светлый и высокий
Бессмертный идеал.

И хоть теперь нас разделяют годы,—
Когда ложатся на душу невзгоды,
К тебе спешит она,
К твоей груди с любовью припадает,
От тягот всех себя освобождает,
Сладчайших чувств полна.

А если образ твой порой мне снится —
От горьких дум спешу освободиться,
Швырнув их прочь, как змей клубок живой,
А самым светлым счастьем сердце грею,
Хоть воскресить былого не умею,
Но вижу светлый, чистый образ твой.

I

ПРИТЧА О ЖИЗНИ

То было в Индии.

Безлюдной степью
Шел человек. И на него внезапно
Напал голодный лев. Увидев зверя
Издалека, услышав рев его,
Бежать пустился путник что есть духу.
И вот, спасаясь, путник прибежал
К глубокому оврагу. И не мог
Назад вернуться или где укрыться,
А зверь всё ближе. Видит человек,
Что над оврагом этим, над скалистым
Обрывом в бездну, тонкая березка
Растет из щели, к солнцу поднимая
Над пропастью зеленую верхушку.
Не размышляя, путник ухватился
За ту березку и, держась руками
За ствол ее, повис над темной бездной,
Пока, болтая в воздухе ногами,
На чем-то твердом не нашел опоры.
И вот, переборов озноб смертельный,
Вздохнул глубоко. И решил тогда
Бедняга оглядеться понемногу,—
Где он и что с ним?

Первый взгляд его
Упал на корни деревца, что было
Ему в беде единственной опорой.

Уж не мерещится ль? Глядит: две мыши —
Одна бела, черна другая — дружно,
Усердно, торопливо, неустанно
Грызут зубами корни деревца,
Копают землю лапками поспешно,
Как будто нанятые, чтоб опору
Подгрызть и, подкопав ее, обрушить.
Захолонуло вдруг у человека
Вновь сердце; в ту минуту лев свирепый
Встал над обрывом, путника увидел
И лютым ревом эхо разбудил.
Не мог его достать, и в яром гневе
Глядел с горы, скакал и землю грыз,
И ждал, когда он вверх полезет снова.

И глянул в темень бездны человек.
И видит, что на самом дне оврага
Дракон ужасный вьется и, широко
Разинув зев голодный, жадно ждет,
Когда с откоса упадет пожива.
Померкло в голове у человека,
Стеснило сердце, и холодным потом
Все тело облилось.

И слышит он,
Как будто под ногой его опора
Колышется. Взглянул — и замер! То
Змея, в клубок свернувшись на уступе,
Дремала. Рад был вскрикнуть человек,
Но замер крик, придавленный испугом.
Рад был молиться, но убило страхом
И мысль о боге. Будто труп холодный,
Висел он, зная, что пройдут минуты,
Коренья мыши подгрызут, и в ногу
Змея вопьется, силы истощатся,
И упадет он в бездну, в пасть дракона.

И тут — о чудо! На ветвях березки
Увидел злополучный человек
Гнездо шмелей. В щелинке чуть приметной
Застыли капли меда, а шмели
Все улетели в поле за добычей.

И очень захотелось человеку
Отведать меду. Силы все собрав,
Он кверху приподнялся и губами
Коснулся щели той, и стал сосать.
И сразу будто кто-то отвалил
От сердца тяжкий камень. Сладость меда
Заставила его забыть мгновенно
Про льва, что выл вверху над головою,
И про мышей, что корни грызли рьяно,
И про дракона, что внизу грозил,
И про змею, что под ногой шипела.
Про всё, про всё забыл тот человек,
Найдя в медовых капельках скупых
Высокую, без меры, благодать рая.

Премудрый Будда, Азии светило,
Очами духа видел то деянье
И верующим так сказал об этом:
«Тот путник, братия,— любой из нас.
Жизнь тяжела, природа нам враждебна,
И тысячи напастей и невзгод
Со всех сторон нас всюду окружают,
Как путника, повисшего над бездной.
Голодный лев над нами — это смерть;
Дракон внизу — забвенья на века,
Оно любого поглотить готово.
Две мыши — это время, день и ночь,
Что неустанно век наш подгрызают.
Змея ж под нашими ногами, братья,
Есть наше тело — слабое, больное,
Способное в своем непостоянстве
Ежеминутно отказать нам в службе.
Березка же, за тонкий ствол которой
Вцепился путник в поисках спасенья,—
Людская память, коротка, зыбуча.
И нет нам, братья, выхода из горя,
Нет нам спасенья. Лишь одно у нас
Пристанище — и никакая сила
У нас его вовек отнять не может:
То благодать чистая любви и братства.
Тот дивный мед, что лишь одною каплей
Жизнь человека делает безмерной,

Возносит душу над любой тревогой,
Превыше всех печалей преходящих,—
К просторам, полным света и свободы.
Быстрее пейте капли те, друзья!
Ведь только в том, что слышит сердце ваше,
Чем грудь полна и чем душа жива,
Лишь в благодати любви и уваженья
К друзьям своим, в надежде и в стремленьи
К высотам, чистых сфер лежит наш рай».

<1892>

II

ПРИТЧА О ВЕРЕ

На благодатном Цейлоне,
Единственный на свете,
Есть кипарис высокий,
Роскошный сын столетий.

Между его корнями
Ручей струится слабый,—
Не помнят, чтобы с ветки
Листок упал хотя бы.

А первый лишь сорвется
Листочек — верят люди,—
Кто этот съест листочек,
Жить бесконечно будет.

И кипарис священный
Буддисты прославляют,
Акафист кипарису
Не первый век читают.

Горé воздевши очи,
Перебирают четки
И ждут тот лист сладчайший,
И набожны и кротки.

И ждут они бессмертья
И мрут, а под ветвями
Стоят уже другие
С насытыми сердцами

И ждут, а листик этот
Никак не оторвется!
И ждут, и мрут, но верят,
Что кто-нибудь дождется.

III

ПРИТЧА О ЛЮБВИ

Иосифу в Египте раз
Сказал придворный, щуря глаз:

«Ах, государь, тебя люблю
За кротость, за красу твою!»

Иосиф не был удивлен
И так льстецу ответил он:

«Напомнил ты о грустных днях...
Мой милый, не люби меня!»

Отец ласкал меня, любил —
За то я братьев гнев испил,

За то во рву я смерти ждал,
За то невольником я стал.

Потом Пентефрия жена —
Любила так меня она,

Что за любовь ее ко мне
Семь лет томился я в тюрьме.

Так... откровенно признаюсь,
Что я любви твоей боюсь».

ПРИТЧА О КРАСОТЕ

Аристотель-мудрец Александра учил
И на память такой ему стих посвятил:

«Знай, сильнее, чем меч, и стрела, и пожар,
Всех нас губит оружие девичьих чар.

Только мудрость, наука и зрелость притом
Могут стать против них необорным щитом».

Аристотель-мудрец раз по саду гулял,—
Глядь, Аглая идет, губы — точно коралл!

Та Аглая, которая дивной красой
У людей и богов отнимает покой;

Но ее острословья и блеска ума
Все боялись, и даже царица сама.

Аристотель красавицей был поражен,
Ближе к ней подошел, отдал низкий поклон

И промолвил: «Аглая, взываю, молю!
Больше ясного солнца тебя я люблю.

Ты желаньям моим покорись лишь на час,
И тогда всё, что хочешь, исполню тотчас!»

Усмехнулась Аглая: «Великая честь,
Что свой взор от меня не подумал отвести

Тот мудрец, кто Элладу прославил в веках,
Кто умом обнял землю, парит в небесах.

Я — твоя. Что захочешь, всё делай со мной,
Если ты не откажешь мне в просьбе одной.

Вот по этому саду, в сиянии дня,
Полчаса на себе повози ты меня».

Улыбнулся мудрец, услышав эту речь.
Но уж раз обещал — надо слово беречь.

Вот хламиду он снял и пустился ползком.
Под девичьим глаза его скрыты платком,
И Аглая сидит, погоняет прутом.

Так до самой лужайки добрались они,
Где над тихим прудом, в ароматной тени

Восседал Александр, и царица, и двор,—
Нежный смех там звенел и звучал разговор.

А Аглая кричит: «Живо, ослик мой, ну!
Две минутки побегай! Еще хоть одну!»

В круг придворных шалунья его завела,
Со спины соскочила, как будто с осла,

И платок с его глаз поспешила сорвать...
Смех раздался такой, что нельзя описать.

Аристотель-мудрец Александра учил
И на память такой ему стих посвятил:

«Знай, сильнее, чем меч, и стрела, и пожар,
Всех нас губит оружие девичьих чар.

И ни мудрость с наукой, ни зрелость притом
Не послужат для нас необорным щитом.

Это я испытал. Лишь мертвец да слепец
Могут в этой борьбе победить наконец».

V

ПРИТЧА О ДРУЖБЕ

Поняв, что смерти близится година,
Отец, позвав единственного сына,

Сказал, поникнув старой головой:
«Сынок, я вижу, срок приходит мой.

Дал мне господь прожить немало лет,
Добра нажить и поглядеть на свет.

Тебе оставлю всё. Добром своим
Ты дорожи, но не дрожи над ним.

Не тщись цель жизни в нем найти своей,—
Такая цель убожества страшней.

Сокровищем владеешь ты иным,
Наиважнейшим,— сердцем золотым,

Есть разум у тебя, к познаньям дар,
И схлынул ранней юности угар.

Лишь одного на жизненном пути
Тебе желаю: друга обрести».

— «Отец, благодарю вас, но, ей-ей,
Не сосчитать мне всех моих друзей!»

— «Да, за столом, чтоб коротать досуг...
А как беда, так где он — верный друг?»

За семь десятков лет могу назвать
Лишь одного, и то еще как знать».

— «Да что вы? За меня, ручаюсь вам,
Любой из них на плаху ляжет сам!»

Отец тут усмехнулся: «Всё ж, сынок,
Когда бы ты проверить это мог...»

Так вот, телка зарежь, в мешок зашей,
А в ночь ступай с ним, обойди друзей.

Скажи: «Беда! Мною человек убит!»
Проси, пусть друг укроет, приютит.

Так испытав своих друзей, потом
Ты к другу моему направься в дом».

Сын поступил по слову старика.
Как смерклось, на плечи взвалив телка,

Путь выбрал к лучшему из всех дружков.
«Живей,— он крикнул,— отмыкай засов».

— «Ты с чем в такую пору?» — друг спросил.
— «Открой-ка! Человека я убил!»

Но тот не стал ворота отпирать.
«Ступай,— сказал,— а то не миновать

Из-за тебя беды ужасной мне.
Ведь, допытавшись о твоей вине,

С чего начнут? Нагрянут к другу в дом!
Что ж ты стоишь тут со своим мешком?»

Ко всем друзьям в ту ночь стучался сын,—
Но не укрыл, не принял ни один.

Нашелся и такой, кто крикнул: «Прочь!
Иль должен буду сам властям помочь...»

Ведь скажут: коль дружил с тобою я,
Причастен, значит, и к разбою я».

Так, прогнанный и с этого крыльца,
Бедняк пошел к приятелю отца.

«Увы, убил я, и, к моей беде,
Об этом слух прошел уже везде.

За мной спешат, и в толк я не возьму,
Где спрятать труп, где скрыться самому?»

Старик немедля отомкнул затвор
И юношу с мешком втолкнул в свой двор.

«Ну, не горюй, сынок, сам спрячься тут,
А труп в укромный сволоку закут»,—

Сказал он, с плеч мешок тяжелый взял.
К его ногам тут юноша припал.

«Спасибо, но вины за мною нет,
Никто за мной не гонится вослед».

Слова отца поведав, рассказал
Всё, что за эту ночь он испытал

И сколько выгадал, уверясь в том,
Кто верный друг, а кто — лишь за столом.

VI

ПРИТЧА О БЛАГОДАРНОСТИ

Голодный пес, продрогший от метели,
От лютого мороза чуть живой,
По улице тащился еле-еле,
Искал тепла и пищи даровой.

И милостивый человек нашелся,
Он в комнате своей его пригрел.
По-дружески с несчастным обошелся,
С ним разделив еду, что сам он ел.

Пса приютил и накормил хозяин,
И обогрел, а всё ж в конце концов
Неблагодарным сам он был облаян,
Едва лишь избежав его зубов.

Как часто люди на него похожи:
И ты добра не помнишь, милый брат,
Нередко оскорбляя, и кого же —
Тех, кто тебя на ум наставить рад!

<1895>

VIII

ПРИТЧА ОБ ИСТИННОЙ ЦЕННОСТИ

Асока, царь премудрый, милосердный,
Привык, на царский свой совет сзывая
Пустынников, аскетов, богомольцев,
Внимательно выслушивать их речи.

Могло ли нравиться его министрам,
Советникам, вельможам, генералам
Сидеть с такими бедняками рядом?
И стали осуждать они царя.

Вот перед ними два ларца однажды
Поставил царь. Один был золотой
И драгоценными сиял камнями;
Второй — обыкновенный, деревянный,
С застезками, залитыми смолою.

И царь сказал: «Министры дорогие,
Какой из них, по-вашему, ценнее?»

И сразу все ответили тогда:
«Конечно, этот золотой ценнее!
Как можно, царь, ларец такой бесценный
С тем, засмоленным, сравнивать ларцом!»

Царь приказал, чтобы ларцы открыли,
И он увидел: в золотом лежало
Такое что-то мерзкое, как падаль,—
И каждый поспешил зажать свой нос.

А в смоляном лежал чудесный жемчуг,
Духи, сверкали камни дорогие,
Которым нет цены, и восторгались
Министры, генералы и вельможи.

Царь обратился к ним: «Ну что ж теперь?
Иль в самом деле золотой дороже?»

И, строго посмотрев на них, сказал:
«Вот этот золотой ларец — вы сами!
Снаружи дорогой, на вид блестящий,
Внутри ж у вас раздоры, гниль, измена.

А этот, засмоленный, — те аскеты,
Те нищие, те бедняки в лохмотьях,
Что отrekliсь от внешней красоты,
Из сердца своего и гнев и зависть,
Как сорную траву, повырывали,
А опытом и помыслом глубоким
Свой ум они, как солнце, прояснили».

Так вот вам, золотым ларцам, наука —
Вы смоляными не пренебрегайте,
Покуда не увидите жемчужин
И всех сокровищ тех, что в них сокрыты.
<1895>

IX

ПРИТЧА О ГЛУПОСТИ

Попалась в сети птичка,
Спешит охотник к ней,
И хочет ей головку
Свернуть он поскорей.

Затрепетала птичка:
«Охотник, подожди,
Тебе я не пожива,
Малютку пощади!

Пусти меня на волю,
И ты увидишь сам —
Три добрые совета
Тебе за это дам».

Охотник удивился:
«Ай, крошка! Вот те на!
Учить меня желает —
Не слишком ли умна!»

И молвил: «Ладно, птичка!
Учи уж, так и быть,
Авось тогда смогу я
Тебя освободить!»

А птичка: «Не жалея ты
О добром, о плохом —
Того, что совершилось,
Ты не вернешь потом».

Сказал охотник: «Правда,
Зачем жалеть о том,—
Того, что совершилось,
Ты не вернешь потом».

Она же: «Ты не сможешь
На прежний путь свернуть,
Всё сделать по-другому,
Минувшее вернуть».

Сказал охотник: «Правда,
Нельзя мне повернуть,
Всё сделать по-другому,
Минувшее вернуть!»

И снова молвит птичка:
«Не верь же чудесам,
Не верь нелепым слухам,
Несбыточным вестям!»

Сказал охотник: «Правда,
Болтают много нам,
И всё это пустое,
Когда прикинешь сам.

С твоим советом, пташка,
Согласен я вполне.
Лети! Но больше в руки
Не попадайся мне!»

Легко вспорхнула птичка
И, сев на ближний сук,

Охотнику вдогонку
Прошебетала вдруг:

«И глуп же ты, охотник,
Совет тебе не впрок!
Легко бы ты, бедняга,
Мной поживиться мог!

Так знай: в моей утробе —
Скажу тебе в лицо —
Жемчужина побольше,
Чем страуса яйцо!»

Охотник даже ахнул:
«Вот дурака сваял,
Не взял с тебя залога
И клад свой потерял!»

И к ветке подбежал он,
Что силы подскочил,
Хотел поймать пичугу —
Да нет на это крыл.

И так сказал: «Ох, птичка,
Ах, пташечка моя,
Вернись, с тобою буду
Отца добрее я.

И в клетку золотую
Тебя впущу я сам,
И всё, чего захочешь,
Тебе охотно дам!»

А пташка отвечала:
«Глупец ты, как и был!
Все три мои совета
Ты сразу позабыл!

Добро хотел ты сделать
И мне лететь велел,
А сам через минуту
Об этом пожалел.

И вновь меня ты в сети
Хотел бы залучить,
Как будто можно время
Назад поворотить.

Всё потому, что вздору
Поверил ты вполне,—
Жемчужины подобной
Не может быть во мне».

I

На Подгорье в долах, по низинам
Села неприветливы и строги,
Разлеглись, как нищие под тыном,
Дремлют у проселочной дороги.

Клонят вербы головы большие,
В речке ветви длинные купают;
И скрипит журавль, кругом босые
Ребятишки на дворе играют.

Между верб, и груш, и яворины
Крыши почернелые нагнулись,
Крыты мохом, ветками калины,
И на ветер, как сычи, надулись.

Наклонились пихтовые стены,
Там и сям подпертые жердями,
Как калеки, ждут себе замены —
Отдохнуть разбитыми костями.

Узкие, ослепшие оконца
В дедовских еще засовах ходят.
Или ясного боятся солнца
Те, что в хатах весь свой век проводят?

Незаметно и труббы на крыше;
Утром дым всю хату заполняет,

Из-под стрех валит, клубится ниже,
Ест глаза и слезы выжимает.

В хате печь в полкомнаты, с запечьем,
С глиняным припечьем и заслонкой,
То — желудок хаты, теплый вечно
И огромный, как живот ребенка.

Хлеб да каша — здесь иного краше,
Цель всех дум, стремлений и заботы,
Человек тут знает лишь работу,
Трудится во имя горсти каши.

Спит хозяин на досках несбитых,
На соломе под мешком дерюжным;
Печь — для ребятишек неукрытых,
А большим постели и не нужно.

Батраки в конюшне кости греют,
Девкам и на лавках крепко спится,
Об удобстве думать не посмеют,
Отдохнула б за ночь поясница.

Об одеже помышляют мало:
Есть кожух да сапоги смазные,
Для хозяйки — в сундуке кораллы,
А для девушек — платки цветные.

Войлочные шляпы в праздник хлопцам, —
Так и наряжаются годами;
Вся одежда будней дома шьется
Из холста, что приготовят сами.

На стене в углу, в божнице старой,
Древние иконы со святыми;
Страшный суд, Никола да Варвара,
Как от дегтя — в копоти и дыме.

Вот и всё от божеских устоев, —
Не совсем и письменность забыта:
Там в тряпье, под матицей, святое
Безымянное письмо зашито

Да указ о панщине проклятой,
Роспись прадеда на тридцать палок,
Деда жалоба за клин изъятый,
Акт отца лицитацийный мятый,—

Вот и всё, что правнукам осталось.

<1894>

II

Шинок шумит, шинок гудит,
Во всем селе — аж стон стоит.
Молчи, не спрашивай, народ:
То сам Пазюк горелку пьет.
Уж третью ночь он пьет вот так,
Да не пропьяется — пить мастак.
Еще три ночи будет пить
И ни копейки не платить.
О, дед Пазюк на то умен,
С крапивы мед собирает он,
Всему селу он голова,
Кому нужда — ему лихва.

Но не с шинка процент берет,
Что без гроша он даром пьет!
Зайдем в шинок. Вот за столом
Сидит Пазюк, поет псалом,
Заметь — что грамоте учен,
Что бога в сердце носит он!
Рукою бороду подпер,
Уставил в двери мутный взор.
Мясист лицом. По самый нос
Седой щетиною зарос.
И, словно жесть гремит в ушах,
Он тянет: «Господи, воззвах!»

А рядом кум его сидит.
Он Пазюку в глаза глядит,
Желая в тех глазах прочесть,
По нраву ль куму всё, что есть,

Всё ль вышло так — а вдруг да нет,—
Чтоб стал добрей капризный дед;
Когда ж Пазюк допел псалом,
Кум робко начал о другом:
«Спасибо, кум, за голос ваш!
А просьба у меня всё та ж:
Сотняжку дайте мне займы,
И всё верну я до зимы».

А тот как грохнет кулаком:
«Что ж, даром я пою дьячком?
Не шутка голос мой хвалить!
Ты водки прикажи налить!»
Как выюн, свернулся кум-бедняк,
Опять и водку и табак
У шинкаря он в долг берет,
Вновь Пазюка просить идет:
«Уж сколько я вас, кум, пою
За просьбу малую мою.
Мне сотню дать на этот срок
Вы ж обещали, куманек».

Тут в страшный гнев пришел Пазюк
И чарку наземь бросил вдруг.
«Ах ты, голяк! Ах ты, злыдняк!
Еще со мной ты смеешь так!
Сто серебра — то ж капитал!
Ты взять-то взял, да как отдал!»
— «Позвольте молвить, куманек,
Ведь всё, что брал, отдал я в срок».
— «Отдал! Отдал! А может, нет.
А за тобой ходи я вслед!
Да что уж там! Сказал, так дам!
Пусть потерплю убыток сам».

А кум тогда: «Уж дайте тут!
Свидетели задаром пьют».
Пазюк в ответ: «А пусть их пьют,
Сказал, что дам. И деньги тут!»
И, по́дняв полу, достает
Свой кошелек, а в нем семьсот,

И на столе их разложил,
Чтоб каждый видел, оценил.
«Вот он, мой плуг, мой луг, мой скот,
Мой двор, амбар, мой огород,
Мои волы, моя земля,
Мое добро, моя семья».

И вновь сложил, поцеловал
И положил, откуда взял.
А кум от злости аж встает,—
Глазами съел бы те семьсот.
«Кум добрый, смилуйтесь хоть раз,
Чтобы не зря просить мне вас!»
— «Да нет, сынок, господь с тобой,
Уж поздний час! Пора домой!
Еще налей, отправь людей,
А завтра утром — ей-же-ей —
Привел бы только бог дожить,
Ты можешь с ними приходить».

Село шумит, село поет,
Хмельной Пазюк домой бредет,
А сбоку вьется кум-бедняк,
А вслед свидетели — кто как.
Кой-как идут, кой-как орут.
Но вдруг Пазюк схватился: «Тут!
Вот перекресток, вот забор. . .
А в хате этой сын мой — вор.
Го-го! Он парень с головой!
Так что ж — брести впотьмах домой?
Гей, кум! Куда ты? Наутек?
Ты спать меня веди на ток!»

III

То не пчелы, не шмели
Шумный говор завели
В утреннюю пору,
Не поток запруды рвал,—
Слух из уст в уста бежал:

«Воры! Воры! Воры!»
Кто? Откуда? Где? Когда?
С Пазюком стряслась беда!
Ночью обокрали.
Пьяный спать пошел на ток,
Воры взяли кошелек —
Поминай как звали.

Кто украл? Откуда знать?
Сам Пазюк не мог сказать.
Думал, думал что-то...
Вспомнил вдруг: «Постой, постой!
Кум со мною шел домой!
Кумова работа!»

Тот услышал, весь дрожит,
Как ошпаренный бежит:
«Кум, побойся бога!
Присягнуть готов сейчас:
С поворота шел от вас
Я своей дорогой!»

— «Врешь ты! Где мой кошелек?
Ты меня водил на ток —
Всё теперь понятно:
У ворот бревно принял,
Влез на сено, деньги взял...
Отдавай обратно!»

— «Укуси меня змея,
Если только был там я,
Лопнуть мне на месте!»
— «Будет врать! — кричит Пазюк,—
Деньги в руки мне из рук
Отдавай по чести!»

IV

Так побранилися,
Да и сцепилися
Кум с Пазюком.

Сын Пазюку помогает,
Держит, а тот припускает
Куму кийком.

Бьются! Ругаются!
Люди сбегаются
С разных сторон.
Те Пазюка проклинают,
Эти про кума всё знают:
«Он это, он!»

Куча радетелей!
Туча свидетелей!
Тот перед сном
Вышел — клянется — на улицу:
Видит, задворками тулятся
Кум с Пазюком.

Тот будто сам слышал —
Кума Пазюк позвал:
«Кум, погоди!
В хату идти не хочу я,
Здесь на току заночую,
Кум, проводи!»

Толки с догадками...
Споры с оглядками...
Вздохи: «Ох, ох!..»
А про себя даже рады:
«Так те, пьянчуге, и надо.
Бей тебя бог!»

У

Тем же утром, с криком, с шумом,
Дед Пазюк совместно с кумом
К самому попу пошли.
Шли не ради разговора —
Божий суд наслать на вора,
Приготовили рубли.

На лице у них — подтеки,
А на сердце гнев жестокий,
Нос у кума в кровь разбит.
Два молебна вместе правят,
Бог молитвы не оставит —
Вора громом поразит.

Вышли. Кум — темнее тучи,
А Пазюк сменил онучи,
Палку в руки, в торбу — хлеб,
Пять рублей зашил в дорогу,
Для проверки — после бога —
К старой знахарке в Дулеб.

VI

ЗНАХАРКА ГОВОРIT

«Ты, человек, худого не бойся!
Деньги воротятся, не беспокойся,

Вор твой живет от тебя за три хаты,
Знаешь его по одежде богатой.

Сам черноусый, да серые очи,
Срок выжидал он три дня и три ночи.

Бог к тебе милостив — вот потому-то
Ты не проснулся в лихую минуту.

Чуть повернулся б ты, чуть простонал бы
Нож у тебя под лопаткой торчал бы.

Груша растет у тебя возле тына,
Есть в ней дупло вроде норки мышинной.

В это дупло — проверяй аккуратно —
Вор тебе деньги подбросит обратно».

VII

Вот идет Пазюк до дому,
В сердце крепнет дума:
«Не иначе что гадалка
Говорит про кума.

За три хаты? Кум — он дальше,
За четыре хаты!
По какой его я знаю
Одеже богатой?

Сроду кожаной обуви
Не носили ноги,
И рубаха вся в заплатках,
И армяк убогий,

Черный ус? У кума — рыжий,
Рыжим верит кто же?
А глаза и вправду серы,
Всё как есть похоже!

А еще божился, клялся! . .
Плакал для порядку!
Сам же нож хотел мне всунуть
Прямо под лопатку.

Погоди-ка! . . Жаль, что груши
Возле хаты нету.
Ну да верба есть, и ладно,
Кум пойдет к ответу!»

VIII

Ой-ой! На селе приключилась беда.
Детишки с дороги бегут кто куда,
А старшие в поле бросают работу,
Спешат на село, словно видят пожар!
На лицах заметишь и страх и заботу:
Приехал жандарм!

Кто сети рыбачьи под крышу пихает,
Кто в хате ружьишко со стенки срывает
И прячет в амбар,
Кто краденый дуб укрывает под печку,
Кто с бочкой пожарной несется на речку:
Приехал жандарм!

Жандарм и начальник допрос учиняют,
Добро Пазюка они ищут,
Весь дом обыскали, соседей пугают,
По хатам, по улице рыщут.
Дознание строго, да толку немного.
Следа не видать, как во тьме.
«А ты, кум любезный, в оковах железных
Пока посиди-ка в тюрьме».

IX

Скоро месяц, как кум в каталажке сидит,
А в селе снова шум, точно улей гудит.

Вот к попу сын Пазюк незадачный пришел,
Он кладет со смиреньем пятерку на стол.

«Горе в гости ко мне, ваша милость, пришло!
«Ты отца обобрал,— говорит всё село.—

Бедный кум угодил за тюремную дверь».
Как мне быть, ваша милость, что делать теперь?»

Поп плечами пожал: «Охо-хо! Грех велик!»
А Пазюк молодой — он горазд на язык:

«В воскресенье хочу пред священным крестом,
Перед всеми людьми присягнуть я на том,
Что я денег отца не имею».

— «Ладно, сын мой! К присяге тебя приведу.
Но гляди, чтоб не впал ты в большую беду!

На присяге солгать — это тягостный грех.
Брал ты деньги? Ответствуй мне тайно от всех,
Говори мне всю правду скорее».

— «Только правду? Ну, отче! . . . Да брал иль не брал,
Вот вам крест, что вчера до копейки отдал,
И могу присягнуть, что я их не имею».

Х

В НОЧНОМ

За Дил могучий солнце опустилось;
Пожар вечерний, отпылавши в небе,
Угас. Стемнело. Сумраком одето,
Подгорье дремлет. Лишь кой-где в домах
Огни мелькают. Кратки ночи летом,
И трудовой народ ложится раньше,
Чтобы с рассветом в поле выйти снова.

Вон за деревней, у опушки леса,
Из темноты, как золотой жучок,
Чуть светится мерцающая точка:
Там пастушата развели костер.
Их с лошадьми отправили в ночное.
Они, коней стреножив, разложили
Костер от мошкары.

И у него

Сидят кружком: кто в куртке, в безрукавке,
Кто в колушке, ну а иной рядом
Надел на плечи.

«Ну-ка, братец Сеня,

Дай табачку!»

— «Видал, какой ловкач!

Что я, табак ращу?»

— «Да ну, не смейся!

Тебе хозяин нынче пачку дал,
Так поделись! Комар проклятый ест,
А дым табачный— самый лучший способ
От мошкары.»

И Сеня взял табак.

Кромсает ножиком и делит всем,

Кто не имеет. Уж такой характер
У Сени: поначалу огрызнется,
А после — хоть рубаху с плеч снимай.
Недаром дурачком его зовут
И насмех поднимают всем селом.
И правда! Парень уж немолодой,
За тридцать лет ему, и работающий,
Другим в пример, не пьет и не гуляет,
А ходит нищим. Мог уже не раз
Удачно пожениться — не хотел.
Ему батрачить лучше, на чужих
Работать и чужому покоряться.
«У них в роду такое,— говорили
В селе.— Отец имел и дом и поле,
И бросил всё, работу запустил,
Всё по церквам да по святым местам
Слонялся, точно нищий. А пришли
Болезни, старость, дальше слепота
И не нашлось угла, где приютиться,—
Он лиру взял, да и пошел с сумою.
И сына точно так же воспитал:
И тот одно церковное мурлычет
Да все толкует, что, мол, мир наш грешен
И Страшный суд подходит,— что твой поп!»

Вот так в селе шел разговор про Сеню,
Над ним смеялись, хоть его любили:
Простой он был и услужить готовый.
А он молчит, не подает и виду,
Издевки пропускает мимо уха
И ласки словно бы не замечает.
Тридцатилетний парень,— а как мальчик
Готов с детьми возиться на дворе,
Затеивая игры и забавы.
Зато и детвора любила слушать
Его рассказы, песни! Только дети
Над ним не насмехались.

И теперь

Их кучка собралась сюда — подростки
Из их села. Они глядят на Сеню,
Как на старшого, кое-кто и сам

В ночное напросился, услышав,
Что Сеня будет.

Закурили. Тихо.

Вот где-то рядом крикнул коростель.
Сова в чашобе застонала — чур ей!
И снова тишина, и только мирно
Треногами позвякивают кони.
Жуют росистую траву.

«Что ж, сказку
Послушать, что ли!» — отозвался робко
Один и глянул искоса на Сеню.
«Э, черт с ней, с сказкой! — проворчал другой.—
Я за день так устал, что ног не чую
И сами закрываются глаза.
— «Ну что ж, ступай и спи! Неужто всем
В такую рань ложиться? Час неровен —
Толкуют, из Седого конокрады
Поблизости гуляют. Надо, значит,
Посматривать!»

— «Хозяин за грибами
Вчерашний день ходил, так видел волка.
Он настрого велел мне жеребят
Из глаз не выпускать. А где они?»
— «Не бойся, глупый! Подберется волк,
Так кони сами известят об этом:
Забьются, захрапят, сбегутся в кучу.
Вон, слушай, каряя твоя заржала,
И жеребенок отозвался!»

Точно,—

По всей долине ржанье разносилось,
Как тремоло могучее, на струнах
Рожденное уверенной рукой.
«Ну, сказку! Сеня, твой черед сегодня!»
— «Какую же вам сказку рассказать?
Тут, братцы, приближается такое,
Что не до сказок скоро будет нам».
— «Что, что, скажи?»

— «Война, не знаешь, что ли?»
— «Война? Да с кем?»

— «Известно, с москалем».

— «Как, с москалем? Ой, плохо наше дело!
Силен москаль, не устоять, пожалуй,
Против него».

— «Вот то-то и оно.

Наш очень хочет с москалем подраться.
Да видит сам — силенок не хватает.
Вот и велел оповестить повсюду,
Что с этих пор не будет так, как прежде,
Когда в солдаты брали нас с разбором,—
Всех заберут: и молодых ребят,
Что только подросли, и стариков,
Готовых лечь в могилу. Всех слепых,
Кривых, безногих и горбатых, даже
Девчат».

— «Ха-ха! Так, может, нашу Феську
Возьмут?»

— «Эге! Послушайте пока,
Что в Уроже стряслось! На той неделе
У церкви войт читал при всем народе
Указ, что, дескать, всех теперь начнут
В солдаты брать. Ну, слушает народ,
Руками всплескивает. Тут одна
Вдовица как заломит сразу руки
Над головою, как запричитает:
«А-яй! А-яй!» — да так протяжно, страшно,
Как над покойником. Все к ней метнулись,
Решили — может, зуб? Куда тебе!
Вся посинела, кровью налилися
Глаза, сплетенных рук не разомкнуть,
Над головою держит их, и кличет,
И стонет так — ну прямо сердце рвется.
Все обступили, просят, утешают,
Воды дают, ласкают, крестят — где там!
Не говорит, не видит и не слышит,
Не ест, не пьет, не узнает соседей,
Всё айкает, и так вот и поныне.
Уже с погоста не пошла и в хату,
А по селу пошла: «А-яй! А-яй!»
А мир за нею, словно бы за гробом,
И так три раза обошла село.
Насилу к ночи завели ее
Домой и там насильно накормили.

Но в хате ей, бедняге, не сиделось.
Пропала ночью. И вот с этих пор
По селам ходит. Уж ее в Лужке,
И в Ступнице, и в Мокрянах видали,
Была и в Страшевичах, и на Спрыне,
Растерзанная, черноты чернее,
Одни глаза сверкают. День и ночь
Блуждает по полям, в дома нейдет,
И всё кричит, и голосит, и стонет».
— «Избави бог! Вот ужасы какие!»
— «Я б, кажется, на месте сразу помер,
Когда б ее услышал выкликанье».
— «Ну, вот дурной! Она ведь не со злости!
Была она добрее всех в селе
У нас. Ей бог дал, чтоб она вещала
Великое всему народу горе».
— «Ой, ой! Какое же такое горе
Она вещает?»

— «Слышал про войну?
Уж если наш да с москалем побьется,
Тогда не жди добра!»

— «А мне иное
Мерещится! Подумаешь — война!
Всех не порежут. Да и москаль
Не волки ведь, а люди, как и мы.
Покойник дед не раз о них, бывало,
Нам сказывал и очень нам хвалил их».
— «И мне сдается, братцы,— не обидят
Нас москаль. Да вот, хозяин мой —
На что разумный человек, а часто
Толкует: «Господи, когда б скорей
Москаль пришел! Такое разоренье
Везде! Москаль бы все переменял,
Порядок, облегченье бы принес
Нам, бедным людям».

— «Ой, давно потребна
Здесь твердая московская рука!
Слыхали вы — паны опять заводят
Какие-то повинности. Селянам,
Толкуют, по четыре дня придется
В году работать вовсе без оплаты:
Чинить дорогу. Только всё брехня.

Не до дороги нынче им. Плевать им
На ту дорогу! А как выйдут люди
Чинить дорогу — так паны пришлют
Приказчиков с нагайками, с дрекольем,
Загонят мужиков на панский двор
И панщину вернут назад: в неделю
Четыре дня опять на них работай!»
— «Не может быть! Да кто тебе сказал?»
— «Плети, дурной, «не может быть!» Всё это
Мне сказывали люди поумнее,
Чем я да ты. Паны договорились,
Уговорили цесаря, и он
Всё это утвердил и подписал.»
— «Ой, горюшко! Теперь-то мы пропали!»
— «Ну, как сказать: пропали или нет.
Паны пока что дело держат в тайне,
Не признаются, чтоб народа сразу
Не раздражить, а главное — другое:
Боятся москаля. . .»

Тут в пререканье
Вмешался Сеня. Он сидел, понурясь
И не спеша покуривая трубку,
Как будто чей-то голос дальний слушал.
И вдруг заговорил: «Ну для чего
О нас москаль, скажите, будет помнить?
Что мы ему — сват или брат какой?
Вы думаете, у него нехватка
Своих панов и нищих?»

— «А за что же
Война тогда?»

— «Да ни за что! Войны
Не будет никакой!»

— «Ну а зачем
В солдаты гонят молодых и старых?»
— «Э, гонят! Ну а кто это видал?
Вот мы в каких уже летах, а кто нас
В солдаты брал. А может быть, еще
И заберут нас, только будет это
Тогда, когда народ так измельчает,
Что в нашей печке смогут уместиться
Семь мужиков с цепами.»

— «Ловок ты

На уговоры. А зачем же та,
Из Урожа, кликуша ходит всюду?
Ведь не добро вещает?»

— «Вот и есть,

Что темный люд наш слушает ее
И видит сам, что это знак господень,
А смысла не доищется никак,
Ну и плетет, сердечный, небылицы:
Война, и панщина, и бог весть что.
По-вашему, одна у бога думка —
Вас сотню перебьют или две сотни
И сколько вам прибавится работы?
Да, станет он по случаю такому
Вам знаменья посылать! Что значит
Война? Войны и предвещать не надо,
Она уж есть, родимся мы, живем
Идохнем на войне. Слыхали песню:

«Негу добра и не будет,
Была война, еще будет.
Брат на брата наступает,
Сестра сестру побивает,
Сын на батьку нож заносит,
Дочка мамке смерти просит».

Вот где война вернее и страшнее.
Вседневная! И разве с ней сравнятся
Те войны с турком, с немцем, с москалем!»

Притихли все, нахмурилась. Так неожиданно
Беседу Сеня вдруг переменял.
И хоть не раз подобные слова
Они слыхали от него, а всё ж
Тем крепче их ударили они,
И не до смеха было им, ведь каждый
Сам по себе в их правде убедился.
«И верно! Как в чашобе волчья стая,
Так мир крещеный меж собой грызется.
Одни перед другими тащат, рвут,
Дерут и грабят. Вот и мой хозяин,
На что зажиточный — и тот польстился
На кровный заработок мой убогий:
Пятерку отнял у меня из платы

За то, что в прорубь забежал теленок
И утонул».

— «А сколько палок мне
За лес пришлось! Хозяин сам меня
Послал корчевье вывезти из леса,
А как поймал меня лесник и штраф
Назначил за покражу — он тогда
Давай меня утюжить!»

И пошли
Припоминать, рассказывать о том,
Что у кого на сердце наболело.
Не жаловался и молчал лишь Сеня.
А как затихли — вновь заговорил:
«Так видите, какая тут война
У нас? Зачем же предвещать войну?
Война сама нам нечто предвещает».
— «А что же предвещает?»

— «Страшный суд!» —
Промолвил Сеня, приглушая голос,
Почти шепча, и прочие невольно
Склонили головы. На эту пору
Сова печально застонала. Стихло
Всё на мгновение, и тотчас, как бы
Откуда-то из глубины земли,
Пронзительное раздалось стенанье:
«А-яй! А-яй! А-яй!»
— «Дух божий с нами!» — закричали разом
Все пастухи и начали креститься.
«А-яй! А-яй! А-яй!» — звучало в чаще
Так жалобно, так горестно, что сердце
Сжималось. Замер голос. Тихо стало.
Все неподвижно у костра сидели,
Дрожащие. Перехватило дух
У каждого — никто не отзывался,
И даже кони, уши наостривши,
Стояли тихо.

Сеня лишь один
Сидел и всё шептал молитву. После
Заговорил:

«Слыхали предвещанье?
Не бойтесь, это не нечистый дух,

А женщина из Урожа, она
Идет по божьей воле. Ей господь
Велел — стенаньем грешному народу
Оповестить, что близок Страшный суд».
— «Ну что ты вдруг завел, побойся бога!
Такие страсти к ночи! Страшный суд!
Ты разве не слыхал, что перед этим
Еще на свет появится антихрист?
А ведь о нем, проклятом, не слыхали
Нигде покуда».

— «Вишь, какой разумный! —

Ответил Сеня строго, не шутя.—
Глухой навряд услышит, как гремит!
А вот я расскажу вам, что слыхал,
Да нет, не я, а мой отец то слышал,
В Кальварии недавно побывал он,
А там один есть седенький монашек,
Отцу он лет уж тридцать как знаком.
Так вот, отец заночевал у старца,
А тот по книгам прочитал ему:
„Молитесь,— говорит он,— час настал!
Пять гор травы великий вол пожрал.
А как шестую станет доедать,
Тогда антихриста нам ожидать.
Когда же до седьмой горы дойдет,
Тогда на землю Илия придет“».
— «Дух божий с нами! — крикнули в тревоге
Все пастухи.— Пять гор уже сожрал;
Что ж то за горы, что за вол такой?»
— «Не знаете, что сказано в писаньи?
В далекой стороне, у края света,
Есть вол такой: он родился в тот день,
Когда Христа распяли. У него
Семь гор. Когда ж появится антихрист,
Чтобы народы отвратить от бога,
Тогда бороться с ним придет с неба
Святой Илья, и станет бунтовать он
Людей, чтобы антихриста чуждались.
А тот антихрист будет царь всесильный.
Своих солдат пошлет он и жандармов
Против пророка. И господь попустит,
И те Илью поймают и на смерть

Осудят. Только знает злой антихрист
Что если на землю хоть капля крови
Падет с Ильи — земля воспламенится,
Сгорит. Вот и начнет хитрить проклятый:
Своих солдат пошлет он и жандармов
На край земли, на те семь гор, и скажет
Вола оттуда привести, зарезать,
И шкуру снять с него, и растянуть
Воловью шкуру, и на ней пытать
Пророка, страшным мукам подвергая.
Но поразит тогда господь нечистых.
Комарик есть на свете, что напился
Христовой крови, капавшей с креста
Господня. И комарик в то мгновенье,
Как будут резать этого вола,
В хребет его укусит и проколет
В воловье шкуре крохотную дырку,
Такую, что и глазом не приметить.
Сквозь эту дырочку — пречистой крови
Падет на землю крохотная капля,
И вся земля тогда воспламенится,
Сожжет антихриста и его царство,
Сожжет грехи людские и страданья,
Очистит землю, как от ржи железо.
Тогда господь придет на Страшный суд».

Давно за полночь было. Дышлом Воз
К земле пригнулся. Косари стояли
В середине неба. Холодно. Костер
Погас. Вздыхая глубоко, в молчаньи
Опять табун обходят пастухи.
Спокойно всё. В высоком, темном небе
Мерцают звезды множеством огней.
Лес задремал в тумане. Чуть виднеяся
Во мгле седой, бесформенным пятном
Село чернеет.

Пастухи ложатся.

Кто на соломе, что принес из дома,
А кто и прямо на земле росистой,
Лишь подстелив ряднину под собою.
Не лег лишь Сеня. При костре погасшем
Он, скорчившись от холода, сидит

Недвижно, погруженный в размышленья.
«О, господи! — вздохнет порой.— Не дай
Слепому и глухому жить на свете,
Чтоб, неготовых, нас не захватил
Великий день, последний суд твой, боже!»
Он содрогнулся.

«Господи помилуй! —
Шепнул он.— Смерть в глаза мои глядится!»
И вновь молиться начал, горячее
И беззаветней. Тихо светят звезды,
Как бы манят к себе. Какой-то дух
Таинственный, могучий пролетает
Над всей землею. Слышит лет его
Простое и отзывчивое сердце
И мечется в тоске, как в клетке птица.
Зачем? Куда? Откуда? Нет ответа.

I

ПИСЬМО СТЕФАНИИ

Вельможная, сиятельная пани,
Заботливая мать, в своем посланьи

Мы четверо: Хмыз, Чапля, Хрущ и Ружа —
Привет передаем тебе от мужа.

Коль наплетут тебе, что умер он,—
Не верь: он тоже шлет поклон!

Он словно рыбка вольная в водице,—
То подтвердят и наши молодницы.

Пусть бог его за то благословит,
Что, не стыдясь, у бедных он гостит,

У Хмыза в хате прожил он дней двадцать.
«Жандармов,— молвил,— должен я бояться.

Еще мне год бродить, судьбу кляня,
Насели злые силы на меня.

Но год пройдет — врага я одолею,
Шум подниму, сверну неправде шею!

Утешу всех, кто гнулся и терпел,
Ваш, украинцы, облегчу удел.

Из этих мест отцовских ненавистных,
И нищенских, и панских, и корыстных,

Я уведу вас всех в заморский край,—
Вот там и впрямь крестьянский будет рай!

В Бразилии царем мужицким стану,
Не выдам вас ни торгашу, ни пану.

Тот край богат, куда ни кинешь взгляд —
Поля не размежеваны лежат.

Безмерны плодоносные просторы,
Там пастбища сочны, лесисты горы.

В горах полно зверей и диких коз,
Один там буйвол тянет сена воз!

Могучих обезьян вы там найдете,—
Они давно мечтают о работе!

Освоятся, приучатся едва —
Двор подметут, нарубят вам дрова.

Там слуг не встретишь из людей крещеных,—
Пять обезьян тебе заменят оных».

Вот так он нам по целым дням болтал,
Мы слушали — рыдали стар и мал.

Потом сказал он: «Мне пора в дорогу,
Иду и отдаю вас пану богу!

Я год уж по Галиции хожу,—
Отныне путь на Венгрию держу.

Вы мне переодеться помогите,
О нашей встрече, братья, помолчите!

Особенно жандармам и попам —
Ни слова! Ибо худо будет вам!

И ждите! Поле вновь зазеленеет —
К вам от меня бумага подоспеет.

Тогда вы землю, хату, весь свой хлам
Сбывайте! Я вам там получше дам.

А чтоб мои вы письма распознали,
Чтоб к жуликам они не попадали,

Так вот вам знак, но только то — секрет;
Внизу поставлю подпись: «Джерголет!»

Ушел он. Мы же после расставанья
Тайком в селе созвали совещанье.

Там после долгих споров решено
Письмо тебе отправить — вот оно.

Прими от мужа радостные вести
И, словно мать, утешься с нами вместе.

Прощай. Дай бог тебе счастливо жить,
А нам тебе в Бразилии служить!

II

Когда услышишь, что в тиши ночной
По черным рельсам тарахтят вагоны,
А в них гудит, не молкнет, словно рой,
Плач детворы, болезненные стоны,
Проклятия и брань со всех сторон,
Глухая песня, девичьи дисканты,—
Не спрашивай: чей это эшелон?
Кого везут? Куда? Откуда он?
То — эмигранты.

Когда увидишь где-нибудь в углу
Людей, набитых тесно, как селедки,
Усталых женщин, спящих на полу,
Мужчин, бродящих шаткою походкой,
Седых отцов, ребячью мелкоту,

Узлы, в которых явно не брильянты,
Всю неприкрашенную нищету,
На лицах — след тоски, надежд тщету,
То — эмигранты.

Когда увидишь, как таких людей,
Вписав в реестр, толкают и ругают,
Как матери в отхожее детей
Укачивать и пеленать таскают,
Как их жандармы гонят прочь от касс,
Как сбрасывают с поездных площадок,
Пока толпой не кинутся все враз:
«Бери нас или раздави всех нас!» —
Вот наш порядок.

III

Два панка пошли гулять.
На детишек изможденных,
На измученную мать
Поглядели с видом сонным.

И, качая головой,
Старший рек: «Эх, голь какая!»
Но тотчас за ним второй
Возглашает: «Вот лентяи!»

— «Кто лентяи?» — «Да народ!
Край родной на пшик меняет».
Первый: «Нет, виновен тот,
Кто их дальше не пускает».

— «Не пускать их? Так пойдут
Все за сине море сдуру!»
— «Что ж им делать, если тут
Сообща дерем с них шкуру?»

Разлучила нас толпа.
Долго те панки в запале
И впазд и невпазд
Про «лентяев» рассуждали.

Ой, расплескалось ты, русское горе,
Вдоль по Европе, далече за море!

Стены Любляны да Рёки видали,
Как из отчизны славяне бежали.

Русские стоны взлетали до неба
Там, где белеет горами Понтебба.

Ведь от Кормон, как живых в домовину,
Гнали жандармы людей, что скотину.

Небо Италии — нет его краше —
Видело бедность, униженность нашу,

Генуя долго, поди, не забудет,
Как гостевали в ней русские люди,

На ночь рассказывать станут ребятам:
«Странный народ к нам заехал когда-то.

Землю родную в слезах вспоминал он,
Сам же с проклятьем ее покидал он.

Продал хозяйство, не числа потери,
Басне про царство Рудольфа поверя.

Кинул он дом свой с землею родною,
Да и погнался за детской мечтою.

Смелый в мечтаньях, в любви беззаветен,
В жизни он, словно дитя, безответен.

Ни пошутить ему, ни посмеяться,
Только и знал, что просить да сгибаться».

Ой, расплескалось ты, русское горе,
Вдоль по Европе, далече за море!

Гамбурга доки, мосты, паровозы,—
Где не струились вы, русские слезы?

Все, мой народ, с тебя драли проценты:
Польские шляхтичи, швабы-агенты.

Что еще ждет тебя на океане?
Что-то в Бразилии, в славной Паране?

Что-то за рай тебя ждет, раскрываясь,
В Спириту-Санто и Минас-Жераес?

V

ПИСЬМО ИЗ БРАЗИЛИИ

Соседи наши! Пишет вам Олеся.
Мы все здоровы — хоть об землю бейся.

Семь месяцев не слали мы вестей,
Заехали — аж дальше нет путей.

Живем в бараке, среди глуши безлюдной;
Работы столько, что подумать трудно.

Деревья, в сажень толщиной, рубим.
Свалить одно — два дня потребно людям!

Быть может, в год земли расчистим клоч,
Обсеемся. Пока живем мы в долг.

Спасибо, выдают нам понемножку
Хоть соль, да кукурузу, да картошку.

Мы здесь не разлучались и на час...
До города — пятнадцать миль от нас.

Леса да скалы... Ну да мы не ропщем.
Дороги нет — тропу, даст бог, протопчем.

Всем вам, наверно, хочется узнать,
Что нам пришлось в дороге испытать.

До Вены добрались мы без печали;
А там три дня держали нас в подвале,

Пока о том какой-то пан узнал
И нам за деньги паспорт подписал.

А из Понтеббы всех нас в Грац погнали.
Там три недели провозились с нами.

И в Стрый писали, и в Мосты, и в Кут.
А нам сказали: «Ожидайте тут!»

Палаша с сглазу умерла там ночью,
А лекарь объявил: «От худосочья».

Ивась, видать, от злого духа сник,
А лекарь молвил: «Прикуси язык!»

Когда ж и Гриць с Оксанкою скончались,—
Нас отпустили: «Марш, куда напхались!»

До моря без беды мы добрались,
Да два еврея-ловкача нашлись

И вырвали у Баланды и Хмыза,
По красной за какие-то «авизы».

Да на пути Юрков Антось отстал,
И нет его — наверное, пропал.

А в Генуе мы семь недель прождали,
На поле, в ямах, как цыгане, спали.

Проклятый край! Пришлось туго нам.
Всех лихорадок понабрались там.

Семь штук детей, Онищика, Чаплиха
Погибли враз. Избавились от лиха.

И многим, знать, пришлось бы там пропасть:
Какой-то пани сдали нас во власть,

А ей король такую дал бумагу:
Держать нас здесь, пока все бабы слягут.

Крест божий с нами! Видно, то была
Лихая ведьма, порожденье зла.

И впрямь, у женщин этою порою
Одна болезнь сменялася другою.

Да бог насрал на эту злюку бич:
Попался нашим землячок-панич,

И жалобу, залитую слезами,
Их королеве он составил с нами.

Всё рассказал: как нас горячка бьет,
Как ночью ведьма кровь у женщин пьет,

Как наши дети плачут, голодают,
Как сам король с проклятою гуляет...

И помогло. Всех отпустили враз.
И ведьма та ни с чем ушла от нас.

А как садиться на корабль мы стали,
То панича тотчас арестовали,

Как будто он — обманщик или вор.
Панич шепнул: «То — ведьмы наговор!»

Молчите, мол, пока и вас не взяли!»
Молчим. А триста гульденов — пропали.

Без приключений пароход наш плыл,
Да только многим не хватило сил,

И сгибло в море девять душ народу;
Бросали их, несчастных, прямо в воду.

Не дай нам, боже, видеть этой тьмы,
Как матери рыдали над детьми,

Когда их рыбы черные хватали —
И на куски зубами разрывали!

Мы и в Бразилии хлебнули зла:
Нас лихорадка насмерть затрясла.

Три месяца бумаг мы ожидали
И шестерых в могилу закопали.

Пять хлопцев внаймы отдали гуртом,
А семь дивчат пошли в известный дом.

От хлопцев что-то не слышать ответа,
Дивчата ж рады: сыты и одеты.

Ну что ж еще? Здесь мало новостей.
Пять душ погибло от укуса змей,

Да по округе дикари блуждают,
Бьют наших и едят. Случись, и нас поймают.

А может, бог поможет нам подняться:
Нас было сорок — есть еще семнадцать.

Жаль одного: по-украински тут
Молиться и балакать не дают.

Нам в городе грозился Кандзюбинский:
«Nie wolno tutaj gadać po rusiński!»

Tu polski kraj i polski Bóg i król!
Po polsku gadaj albo gębę stul!»¹

¹ Здесь нельзя говорить по-русински!
Здесь польский край и польский бог и короли!
По-польски говори или заткни рот!
(польск. и жарг.).— *Ред.*

Ну что ж! Коли такое притесненье,
Пусть будет так! Уж, видно, нет спасенья!

Затем прощайте! Известим мы вас
О всем, когда настанет лучший час.

ИЗ КНИГИ
«В ДНИ ПЕЧАЛИ»
(1900)

I

Матерь природа!
 О, как хитра ты!
 Сердцу открыла простор необъятный,
 А жизнь замыкаешь ты в тесную клетку,
 В самую тесную клетку.
 Ты вечностью манишь воображенье,
 Существовать же даешь минуты,
 Даешь нам только минуты.
 Ты в нас разжигашь
 Дивный огонь, и желанье, и горечь,
 И всячески после стремишься
 Погасить, придушить, уничтожить
 Порывы, которые пробудила,
 Ты охлаждаешь реальностью чувства,
 Вещественностью сжимаешь, как цепью,
 Разочарованием обжигашь крылья...
 Цинично, матерь, и немилосердно
 Швыряешь всё, что светло и прекрасно,
 Чем бы веками могла ты гордиться,
 Как шедевром,—
 Свиньям под ноги.

И неужто не видишь (пожалуй,
 Миллионами своих очей
 Смогла бы увидеть хоть малость!),
 Сколько горя, никому не нужного горя,
 Сколько муки, ничем не смягчаемой муки,
 Ты приносишь цинизмом таким
 Самым лучшим, хорошим и нежным

¹ На чистом воздухе (франц.).— *Ред.*

Из творений твоих?
И неужто понять ты не можешь
(Но ведь мозг, тот, который годами
Создаешь ты, казалось бы, должен
Сообразить кое-что!),
Что пора бы оставить «былые шаблоны,
Годные для амёб и протозоев,
Эхинодермов и миксомицетов!
Что проявленная в них твоя
Экономия мотовства
Не годна для людей, для людских душ,
Как не годен осел
Для игры на рояле.

Подумай, мать! На планете этой
Твой творческий
Окончен Sturm und Drang;¹
Избыток сил, и соков, и тепла
Исчерпан весь, завершена навеки
Творческая твоя карьера.
Тот максимум, какой смогла создать ты,—
То человек. Из всех материалов,
Какими ты располагаешь,
Как ни вертись,
Ты лучшего создать уже не сможешь.
Пора уже, как наш старинный Ягве
(На что уж был и строг он, и скептичен!),
Сказать тебе: «Теперь я отдохну!»
Признать: «Вот это создала я толком!»
И постараться этому шедевру
Устроить настоящий рай:
Не груши, нет, не яблоки да фиги,
А рай в его душе.
Гармонию и чувств, и воли,
Идей и дел, познания и страстей.

Ах, мать, мать!
Ты нас столетья,
Тысячелетья водила за нос,
Манила в беспредельные пустыни

¹ Буря и натиск (нем.).— *Ред.*

Фантомами бессмертья
И перспективами изобретенных
Радостей рая.
Ты заставляла нас за те фантомы
Морями кровь и слезы лить.
Людей из-за них сжигали,
Давили колесами грудь,
Горячие клещи живое рвали мясо,
И миллионы, миллионы душ
Терзались безысходной мукой.
И что ж, мы разобрались наконец,
Что те фантомы — все-таки фантомы,
Не стоящие крови, мук, страданий,
Что это наши же созданья.
Так, кошка в зеркале
До тех пор бездну видит,
Пока сама к стеклу не прикоснется.

Триумф! Триумф!
За десять тысяч лет труда, усилий
Цивилизации — приходим под конец
Мы к той же точке, до которой кошка
Доходит в пять минут.
Увидев, что за зеркалом
Нет даже тени,
Мы логикой кошачьей рассудили,
Что бездны нет и вообще
Нет ничего там, атом лишь и миг,
Движение молекул.
И мы уже готовы наплевать
На все мечты, стремленья и желанья,
На бесконечные те перспективы,
Какие ты сама нам
Вложила в душу.
Уже готовы оттолкнуть с презреньем
И растоптать всё лучшее на свете,
Что ты дала нам в прошлом, мать,
Чем высока, свята и величава
Жизнь человека.

Смеешься, мать?
Ты твердо знаешь: это невозможно,

Всё это лишь минутное сомненье,
Каких уже видала миллионы.
Ты твердо знаешь: мы — твои создания,
Капризные, никчемные создания,
Быть может, слишком нервные, пожалуй,
Но всё ж твои, любимые тобою,
И мы должны любить тебя, родная!
Хоть любопытным глазом подглядели
Твои плохие, слабые места,
И маску святости сорвали прочь,
И розовой фантазии развеяв
Туман, каким ты укрывалась долго,
Вблизи узнали твой станок,
Узнали, как хозяйничаешь ты,—
Но за туманом розовых фантазий
Мы тысячи таких красот открыли,
Таких чудес, волшебств,
Что ум и сердце тонут в них, как в море.

И — главное — что мы
Самих себя открыли!
Открыли нашу душу,
Раскрыли механизм своих идей,
Своих желаний, чувств и устремлений,
И там твою узнали руку, мать,
Твои законы.
И в снах пустых,
В иллюзиях извечных
Увидели такую же реальность,
Такие же явления, как в звездах,
Как в шуме Ниагары
И в скалах Гималаев.
И тут же, в собственном нутре,
Мы отыскали всё, что будто бы
Утратили во внешнем окруженьи:
Гармонию, и вечность, и безмерность,
И радужные краски идеала.

Пусть жизнь — мгновение,
Калейдоскоп мгновений,
Мы вечность бережем в душе,

Пусть жизнь — одна борьба,
Жестокая охота,—
А в сфере духа только разнородность!

Много звуков, много красок,
Много сил и устремлений,
Но, как в арфе многострунной,
Для всех струн один лишь строй.
Тон любой, любой оттенок,
Лишь одно мгновенье, лучик,—
Но в любом таком мгновеньи
Вечности алмаз горит.

<1899>

II

Из далеких врат восточных
По пурпуровым коврам
Выезжает солнце в небо,
Словно царь вступает в храм.

И в мое окно взглянуло,
К моему придя двору,
И вспугнуло ведьму злую —
Неотступную хандру.

Эта ведьма до рассвета
Мой покой взялась стеречь,
Отравила злым дыханьем
Каждый шаг, и мысль, и речь.

С каждой вещью был я в ссоре,
Книга каждая была
Пьявкой, что без остановки
Мозг и кровь мою пила.

Что ни доблесть — то наивность,
Что ни друг — то злейший вор,
Что ни дума — то ошибка,
Что ни вспомню — то укор.

А когда мое сознание
Сон, как свечку, загасил,
Чар ее и в сонном царстве
Одолеть не стало сил.

Всё, что я любил безмерно,
Всё, что изменило мне,
Все обманы и потери
Вновь припомнились во сне.

Молодые мои слезы,
Словно розы, расцвели
На дорожках тех тернистых,
Где в былом они текли.

Молодая моя сила,
Словно нищенка в тряпье,
Всё еще искала что-то
На заброшенной тропе.

Только вера молодая,
Как затоптанный костер,
В кучу пепла превратилась,
В обгорелый, черный сор.

Но пропали сразу чары,
Солнце хлынуло в окно! . .
Я проснулся. Неужели
Я грустил не так давно?

Я еще не стар! В сомненьях
Я не растерял души!
Поборюсь еще с недолей!
На, попробуй, задуши!

Я еще не стар! Есть сила!
Ничего, что путь тернист.
Хоть хандра, хоть горе давит,—
Я еще не пессимист!

III

Ходят ветры по краю,
Как хозяин счастливый,
Колосочки качая
На желтеющей ниве.

Бьют колосья поклоны:
«Дайте вёдро нам, братцы,
Чтобы нам без урона
До Петра продержаться.

Чтобы град, чтобы грозы
Стороной проносило,
Чтоб холодным и поздним
Ливнем нас не побило,

Чтобы тучами злыми
Мошкаре не роиться,—
Пусть питаются ими
Перелетные птицы.

Дайте зреть, наливаясь,
Изогнуться дугою,
Чтоб серпам разгуляться,
Чтобы песня — рекою.

Пусть для жатвы повсюду
Устоится погода,
Чтобы сельскому люду
Позабыть про невзгоды».

Ходят ветры по краю,
Как хозяин счастливый,
И колосья качают
На желтеющей ниве:

«Только дайте нам сроку —
Будет вёдро для хлеба,
Будет бедным дар с неба,
Только мало в том проку!

Ни холодным, ни поздним
Ливнем вас не побило,
Тучи с градом и грозы
Стороной пронесило.

Мошкару поклевали
Перелетные птицы,—
Но опять набежали
Три врага поживиться.

На кого ни наткнутся —
Хоть протягивай ноги;
Ведь враги те зовутся —
Долг, корчма и налоги.

И ползут они в хаты,
Будто запах могильный,—
Мы врагов тех проклятых
Уничтожить бессильны!»

<1898>

IV

Ближе, ближе тучи с юга,
Точно войско тесным строем.
От знамен не видно солнца,
Барабаны за горою.

Барабаны за горою.
В воздухе играют трубы.
А сверкающие сабли
Тьму с размаха так и рубят.

Тьму с размаха так и рубят,
Ослепляют блеском очи;
Стонет небо, стонут горы,
Только пушка загрохочет.

Только пушка загрохочет,
Понесутся пули стай,—
Ты заплачешь тяжело, небо,
На побоище взирая!

V

Внизу, у гор, село лежит,
 По-над селом туман дрожит,
 А на взгорьи, вся черна,
 Кузня старая видна.

И кузнец в той кузне клеплет
 И в душе надежду теплит.
 Он всё клеплет и поет
 И народ к себе зовет:

«Эй, сюда, из хат и с поля!
 Здесь куется ваша доля.
 Выбирайтесь на простор,
 Из тумана к высям гор!»

А мгла-туман качается,
 По-над селом сгущается,
 На полях встает стеной,
 Чтобы путь затмить людской,

Чтобы людям стежки торной
 Не найти к вершине горной,
 К этой кузне, где куют
 Им оружие вместо пут.

VI

Ой, идут, идут туманы
 Над днестровскими лугами,
 Как полки под знаменами,
 Перед войском — атаманы.

Трубы к бою не скликают,
 Не звенят стальные брони,
 Только хмулость навевают,
 Вербы низко ветви клонят.

Только в мути тонут села
 И, томя игрой пустою,
 Дума — нищий невеселый —
 Ходит по миру с сумою.

Над широкою рекою
 На скале крутой сию
 И, в мечтанья погруженный,
 В воду быструю гляжу.
 Валом волны, валом волны,
 Плещут, мечутся, блестят,
 Вербы их листвою ласкают
 И на солнце шелестят.

Тихо из-за поворота
 Плот выходит за волной,
 Свежей зеленью обвитый,
 Пляшет, плещет, как живой.
 Руль тихонько волны режет,
 Не скрежещет, не скрипит,
 Рулевой, как на картинке
 Нарисованный, стоит.

Кто-то на плоту играет,
 Песня громкая слышна,
 И давно полны стаканы
 Ароматного вина.
 Блещут очи молодые,
 Шутки, смех и шутки вновь...
 Смех и песни. Здесь пируют
 Радость, красота, любовь.

Я взглянул, и вздох тяжелый
 Поднимает грудь мою.
 О мечты мои былые,
 Узнаю вас, узнаю!
 Я вас часто с криком боли,
 Со слезами догонял,—
 Но увы, на плот веселый
 Я ни разу не попал.

Нет, теперь уже за вами
 Я не брошусь больше вслед!
 Молодых пускай отныне
 Радует мечтаний свет!
 Смех, и музыку, и песни
 Слышу, сидя на скале;

Вот исчез за поворотом
Плот, сияющий во мгле.

Погружен опять в мечтанья,
Я гляжу на быстрину,
Вижу ласковые руки
Сквозь летящую волну...
Вижу я лебяжью шею,
Юного лица овал...
Ах! Ведь я ее когда-то
В упоеньи целовал.

Вот она, она, чей образ
Стихнуть грусти не дает!
Бедное бывшее счастье
До сих пор во мне живет!
Смято! Стоптано! И в воду
Вне себя кидаюсь я,—
Уловить хоть призрак счастья...
Но мертва мечта моя.

24 августа 1899

VIII

В дремоте села. За окном
Веселый луч играет,
Но тянет с поля холодком —
Всё осень предвещает.

Темно-зеленые сады
Стряхнули груз богатый,
И вербы гнутся у воды,
И молча дремлют хаты.

Речушка сонная течет
Холодную струею,
И все плетни и берега
Забиты коноплею.

Снопы, и скирды, и стога —
Как башни у дороги,

Стоят и берегут село
От горя и тревоги.

Вот пахарь в поле за сохой
Идет, как будто дремлет,
И под озимые хлеба
Распахивает землю.

Лежат коровы на жнивье,
Всё стадо отдыхает;
Пекут картошку пастухи,
Большой костер пылает.

Еще не стонет черный лес
Осенним, долгим стоном,
Еще стрелою ласточка
Летает над загоном.

Вокруг покой и тишина,
Как будто дремлет море,—
И кажется: глубоким сном
Уснуло злое горе.

...О, не буди его дождем,
Холодным ливнем, туча;
И ты, осенний ветер, спи,
Набегами не мучай!

Пусть отдохнет усталый люд,
Забудется на время
И сбросит с наболевших плеч
Забот и горя бремя!

Пусть он, страдая целый год,
Как вол трудясь от века,
Хоть раз почувствует в себе
Живого человека.

И пусть, как жемчуг, для него
Заблещет на свободе
Хоть часть поэзии святой,
Что разлилась в природе!

IX

Ночь. Кругом мертво и тихо.
Меж холмами город спит.
Под холодной тьмой осенней
Только поздний стук копыт
Из кварталов отдаленных
Донесется глухо вдруг.

В тихом свете лампы мерно
Расправляет крылья дух.
Отрясает впечатленья,
Те, что пылью без конца
Целый день врывались в души,
Оседали на сердца.

Повседневные тревоги,
Дым забот и суеты,
Всех надежд и всех успехов
Облетевшие цветы,
Весь невнятный, душный морок
Ускользает, словно мгла,
Что в глухом осеннем мраке
Сонный город облегла.

Снова ясно стало в мире
Настороженной души,
Лишь чуть слышным звоном нечто
С ней беседует в тиши.
И гармонией безвестной
Что-то в ней в ответ встает,
Будто дерево другому
Птичий свист передает.

И растет в воображеньи,
Всколыхнувшись, ряд картин:
Горы в мареве янтарном,
Лиловатый дым долин,
Лента речки, о камня
Рвущей светлую волну,
И дорога — будто сходни
В неизвестную страну...

Переулок... Строй домишек,
Цветничков укромных ряд,
Георгины за решеткой
Над травой низких гряд;
Деревянное крылечко,
Извитых дорожек сушь,
Выше окон по трельяжу
Виноградных листьев глушь.

Не глазами вижу это,
Это всё в душе живет.
Это — в звуке, это — в цвете,
Это — в запахе плывет.
Знаю — то мое творенье,
Хоть творец его не я,
То — души моей осколок,
Но не в нем душа моя.

Не моей ли буйной силой
Эта жизнь порождена?
А меж тем в ее теченьи
И пловец я, и волна...

Вдруг в зеленой скромной раме,
В зыбких листьях на окне,
Встал спокойный женский образ,
Милый лик, знакомый мне.

Те глаза, на дне которых
Притаились свет и мгла,
И тоска о юной жизни,
Что бессмысленно прошла.

Те же розовые губы,
Слов приветственных родник,
Расцветавших, как фиалки,
Каждый час и каждый миг,

Щеки те же, где румянец
Тлеет невнятный, как намек,
Точно в темной глубине шахты
Еле зримый огонек,

Где цвела не часто радость,
Светлый смех не пышно рос,
Где в тоскливые минуты
Видел я алмазы слез,

То чело, где жил, блистая,
Непокорный, смелый ум,
Где господствовала воля
Над роями чувств и дум...

Но — виденье исчезает,
Чуть сверкнув издалека,
А меня берет за сердце,
Словно пальцами, тоска.

Бьется бедное и рвется,
Задыхается в борьбе,
Хочет облик ненаглядный
Затаить навек в себе.

Но напрасно! Все исчезло!
Точно выбил суховой...
Что такое? Иль не властен
Я над грезой своей?

О воскресни, рай спокойный,
Юной грусти тишина,
Незабвенное терзанье,
Бледных радостей весна!

Ад болезненных восторгов,
Счастьем полных и тоской,
Где познал я в муках сладость,
В содрогании — покой!

Нет, напрасно! Не воспрянет,
Что легло в могилу спать.
Зарубцованные раны
Не откроются опять.

Даже высшее страданье
Под землей схоронишь ты.

И его укроют прахом,
Расцветут на нем цветы.

Лишь порою из могилы,
Как в зеленое окно,
Улыбнется милый образ,
Погребенный в ней давно.

И вздохнешь о том, что счастья
Светлый отблеск, может быть,
Мог бы долго над тобою
Солнцем радости светить.

Но блеснет он и погаснет.
Силы нет, страстей не жди,
Всё исчезло, только вздохи
Болью ширятся в груди.

Х

ШКОЛА ПОЭТА

(По Ибсену).

Слышал ли ты, как вожаки
Медведя учат пляске?
Сначала на железный лист
Поставят без опаски.

И под железом тем огонь
Потом разводят малый,
А скрипкой бередят в душе
Стремленье к идеалу.

Медведь ревет, как будто страсть
В груди мохнатой тлеет,
А лапы яростный огонь
Всё жарче снизу греет.

Ревет медведь, звенит струна,
А снизу так пригрело,
Что он вздымает на дыбы
Свое большое тело.

А скрипка знай себе гудит,
И в подневольной пляске
То переступит левой он,
То правой — без указки.

Быстрее скрипка говорит,
Поет, хохочет, плачет, —
Железо жжет, а грузный зверь
Быстрее под скрипку скачет.

Уже бедняге не забыть
До смерти той науки,
В его сознании слились
Огонь и скрипки звуки.

И так слились, что лишь струна
Тихонько заиграет —
Он в пятках чувствует огонь
И пляску начинает.

Не у одних медведей так!
В судьбе своей веселой
Любой из нас, собрат-поэт,
Проходит эту школу.

Ведет ирония его
Под бубенцы и скрипки,
Чтоб твердо лапами он стал
На поле жизни зыбкой.

Ему страданье сердце жжет,
Любовь смычком играет,
Он пляшет, бедный, и поет,
От муки умирает.

А хоть и не умрет — в душе
Сольются неразрывно
Страданья с музыкой любви,—
А это ли не дивно!

Как только где услышит он
Слова любви святыя,
Так пробуждаются в душе
Страданья неземные.

Горит под ним железный лист,
Весь мир — с углями бочка,
И поднимается бедняк
Не на дыбы — на строчки.

Ирония ведет смычком,
Стучит костями чувство,
Поэт, рыдая, в пляс идет,
И это всё — искусство.

ИЗ КНИГИ
«SEMPER TIRO»
(1906)

I

Не лѣпо ли ны бѣшать, братіе? ..

Не пора ль начать нам, братья, слово,
Слово скорбное в глухое время,
Не брэнчать, как дети, а пред всеми,
Как мужчины, выступить сурово?

Снарядим мы слово для похода
Не на половецкие равнины —
В тайные сердечные глубины,
Где куется будущность народа.

Мы потопчем там полки поганых,
Что летят к нам в душу, как тревога,
Сыплют жар из огненного рога,
Нож переворачивают в ранах.

Справимся с неправдою тяжелой,
С той, что малый грех в большой вменяет,
Брата братом злобно угнетает,
Чтоб с врагами сесть за пир веселый.

Разве мало мы в цепях стонали
И друг друга пожирали мало?
Разве мало толпами нас гнали,
Мало в одиночку умирало?

<1902>

II

Блаженъ мужъ, иже не идетъ
на совѣтъ нечестивыхъ.

Блажен тот муж, что на суде неправых
За правду голос смело поднимает
И без боязни в сонмищах лукавых
Уснувшее сознание пробуждает.

Блажен тот муж, который в дни невзгоды,
Когда молчит у самых чутких совесть,
Хоть криком будит спящие народы
И открывает правду им, как новость.

Блажен тот муж, который в яром геме
Стоит, как дуб среди грозы, упорно,
Не вступит в сделку подлую с врагами,
Сломается — не склонится покорно.

Блажен тот муж, хотя о нем злословят,
Преследуют, грозят побить камнями;
Враги его триумф ему готовят,
Своим судом себя осудят сами.

Блаженны все, кто говорит открыто
Всегда, когда о правде речь заходит:
Пусть будет имя их в веках забыто,
Всё ж кровь их — кровь людей облагородит.

III

Гласъ вопіющаго во пустыни.

То было за три дня перед венчаньем,
В широком поле я пшеницу жал.
Я лег под дуб... Исполненный сияньем,
В душе алмаз, казалось мне, дрожал.

И вдруг я слышу голос несказанный...
Была в нем сердцу внятная струна.
Для слуха тихий, полный силы странной,
Всю душу мне он взволновал до дна.

«Еще дремал ты в материнском лоне,
А я тебя призвал явиться в свет,
Чтоб наставлять царей в моем законе,
Чтобы народам мой нести завет».

И молвил я: «Кому скажу я слово?
Взгляни, я отрок бедный и простой!
Кто станет слушать неуча такого?
Кого смогу на путь наставить твой?»

И мне ответил голос: «Отрок милый,
Забудь всё то, что ведал ты сперва!
Всё в жизни брось и верь в мои лишь силы,
И пусть тебя ведут мои слова.

За то, что ты в мое не веришь слово,
Знай, обращать людей не сможешь ты;
Как стрелы бьются в сталь щита литого,
Так твой глагол — в людских сердец щиты.

Знай, что на ветер твой язык пророчит,
Ты будешь проповедовать глухим,
Никто с тобой стать рядом не захочет,
Что ты похвалишь, все сочтут дурным».

И молвил я: «О господи, я грешный!
Не искупить ли вины всех людей
На этот труд, большой и безуспешный,
Зовешь слугу ты волею своей?»

И молвил он: «Всего я не открою!
Тебя призвал на подвиг не за грех.
А сердце слабое своей рукою
Я укреплю — и станешь тверже всех.

Твоими буду говорить устами
Для всех народов и для всех веков,
Твоими я тернистыми путями
Всех поведу я избранных борцов.

Тобою научу их отрекаться
От жизни света для высоких дум,

Ни горя, ни гонений не бояться
И к светлой цели устремлять свой ум.

Вот уст твоих коснуся я перстами,
И в них вложу свой пламенный глагол,
Я заострю твой слух, чтобы громами
К тебе мой вещий голос снизошел!»

Я ниц упал. «О боже, повинуюсь!»
Я бросил серп, и стог, и всех родных,
Отцовский дом, невесту молодую
И с той поры не видел больше их.

<1902>

У

Се у Римѣ кричать под
саблями половецкими.

Полночный крик звучит среди степных раздолий.
Иль это родичи рыдают по родному?
Иль раненый зовет на помощь в чистом поле?
Иль плачут сироты об их жестокой доле
Без матери-отца, без хлеба и без дома?

Неведомый певец похода удалого...
Не струны — тетивы натянуты, багряны,
Он будит воинов от сна их векового
И храбрые полки зовет на битву снова
«За землю русскую, за Игоревы раны».

Давно забытые, в степи стоят могилы,
Спит Игорь-князь, и с ним дружина удалая;
И лишь в словах певца гремят былые силы,
Столетия протекли, дремотны и унылы,
А кровь из русских ран течет, течет, пылая.

<1902>

VI

Жены русьския въсплакаша ся.

Где не лилися вы в нашей бывальщине —
В зной ли, в ненастье ли, в грозы —
То ль в половецтине, в княжеской то ли удалщине,
То ли в казатчине, ляшчине, ханщине, панщине,
Русские женские слезы!

Сколько сердец разрывалось, рыдаючи,
Сколько сломили страдания!
Как же их мало таких, что окрепли, слагаючи
Слово за словом, в бессмертную песнь выливаючи
Тысячелетий рыдания!

Слушаю, сестры, напевы еще не забытых
Песен, в тоске размышляя:
Сколько сердец-то разбитых, могил-то разрытых,
Горестей стоит несытых, слез жгучих, пролитых
Каждая песня такая!

<1902>

VII

А любо испити шеломомъ Дону.

И ныне нам снится,
И ныне всё мнится:
Голубого того Дону
Шеломом напиться.

От роду до роду
Мы донскую воду
Воспевали-вспоминали
Как мечту-свободу.

Если бы нам с Дону
Да не было грому,

Мы б тогда над Бугом, Сяном
Не дались чужому.

Если бы под Доном
Стали мы рядами,
Мы б железными щитами
Встретились с врагами.

Если бы мы полю
Пути заступили —
Золотыми шеломами
Дона воду пили.

Нам бы не терзала
Грудь степная птаха,
Если б на Дону стояло
Войско Мономаха.

Словно волны Дона
Тихо-тихо плыли,
Вдаль века вслед за веками
Счастье уносили.

Всё же довелось нам —
Мы над Доном стали,
Камень-уголь для чужого
Под землей рубали.

Всё же довелось нам —
Мы достигли броду:
Не шеломом — пригоршнями
Пили Дона воду.

Всё же довелось нам —
С Дона дань добыли:
В нем бурлацкие одежды,
Босы ноги мыли.

13 июля 1906

VIII

АНТОШКЕ П. (АЗ ПОКОЙ)¹

Аще и языки аггельскими глаголю,
любве же не имамь, кая ми есть польза?

Диалект или язык? — На свете
Нет вопроса более пустого,
И грешны здесь колебанья эти.
Миллионам нужно это слово.

Миллионам нужен мир веселый,
Нужно знать, как добиваться воли.
Пока стонет квелый, зябнет голый —
У Параски ласки ждать нам, что ли?

Если ты голодного увидишь,
Ты, чтоб накормить его, Антошка,
Сразу в руки дашь простую ложку
Иль купить серебряную выйдешь?

Если видишь — тонет мать родная,
Слышишь крики: «Помогите, братцы!»,
Доску ты подашь, ее спасая,
Или будешь лодки дожидаться?

Диалектом назови, жаргоном
Доску ту и ту простую ложку,
А она, как эхо, стонет стоном
В миллионах душ людских, Антошка!

Пусть язык наш кажется беднее,
Коль сравнить с другими языками,
Пусть другие краше и звучнее,
Он, пока он нужен, будет с нами.

Хоть сосед атласами гордится,
Хвастает порфирой дорогою,—
Мы не льстимся на добро чужое,
Лишь твоя душа, как нищий, льстится.

¹ См. его статью в «Галичанине», 1902, № 222, «Тщетная работа сепаратистов».

Мы бедны, как кони по загонам,
Но работой для народной нивы,
С диалектом иль хотя с жаргоном,
Будем мы богаты и счастливы.

Диалект,— а, поднят духом нашим,
Он между другими языками
Станет и сильней и много краше —
И, бессмертный, будет жить веками!

15 ноября 1902

IX

Лисицы брешут на черленья щиты.

Вышла в поле русских сила,
Поле стягами укрыла,
Словно маки, стяги рдеют,
А мечи, как искры, тлеют,—
Тлеют, искрой воздух режут,
А лисицы в поле брешут.

Вышла в поле русских сила,
Вольных братьев не душила,
Бедняков не разоряла —
Злые орды отбивала,
Что при жизни гроб нам тешут,
А лисицы в поле брешут.

Мы чужого не желаем,
Своего не уступаем.
И не пень мы деревянный,
Чтоб терпеть и стыд и раны,
Пока граблями нас чешут,
А лисицы в поле брешут.

На тот славный щит червонный,
Как брехали во дни оны,
Как щитами русских сила
Степи перегородила,
Словно пламенем, до края

Степи сплошь переметая,
С одного пройдя размаха!

Задали ж лисицам страху
Те щиты! Поньше снится
Им, как вышли в поле биться
Рядом с русскими сынами
Гайдамаки с казаками,

Что свободу добывали,
Что за правду умирали
И прошли, как крови море,
Как пожар в степном просторе,
По былому Украины...

Даже слабый знак единый,
Даже тень их дел доньше
Страшны вражеской гордыне,
Что зубовный сеет скрежет
И на щит червонный брешет.

<1902>

Х

На рѣках вавилонских,
тамо сѣдохом и плакахом.

На реке вавилонской — и я там сидел,
На разбитую лютню в печали глядел.

И ко мне неустанно зывал Вавилон:
«Спой хоть что-нибудь нам! Про Фавор!
Про Сион!»

— «Про Сион? Про Фавор? Петь не станут уста.
На Сионе тюрьма! Ширь Фавора — пуста!

Лишь одну теперь песню могу я пропеть:
Я рабом родилсѣя, чтоб рабом умереть.

Я на свет появилсѣя под посвист бичей,
Родилсѣя от раба я, в стране палачей.

Я привык к унижениям, из году в год
Улыбаясь тому, кто терзает мой род.

И с младенческих лет мне наставником стал
Пес, что бьющую руку покорно лизал.

И хоть ростом я — кедр, увенчавший Ливан,
Но увяла душа, как ползучий бурьян.

И хоть слово гремело мое иногда —
То был гром жестяной, что не бьет никогда.

И хоть вырвался крик: «Пусть погибнет тиран!» —
Это звон кандалов, это стоны от ран.

И хоть пламень свободы в душе не ослаб,
Но в крови моей — раб! Но в мозгу моем — раб!

Хоть оков не ношу на руках, на ногах —
В каждом нерве таится невольничий страх.

И хоть вольным зовусь — точно раб, спину гну
И свободно в лицо никому не взгляну.

Я любому шуту подчиняюсь и лгу,
Правду в сердце, как свечку, гасить я могу.

Хоть работаю много — и ночью и днем,—
Всё как будто тружусь на господском, чужом.

И хоть эту работу люблю — тем больней,
Что, как раб к своей тачке, прикован я к ней.

И, добро накопив, не умею им жить:
Должен, будто чужое, его сторожить.

В жизни с кем ни сойдуся — подчиняюсь ему,
Сам себе тяжелейшую долю возьму.

И хоть изредка бунтом вскипает душа,
Чтобы путы порвать, вольной грудью дыша,—

Ах, не тот это гнев, что рождает борьба.
Это низкая злость, недовольство раба.

Вавилонские жены, встречаясь со мной,
Отвернитесь, пройдите скорей стороной!

Чтоб не пало проклятье мое на ваш плод,
Чтоб рабов не рождал вавилонский народ.

Вавилонские девы, страшитесь меня,
Сожаленье из юного сердца гоня!

Чтоб страшнейшая вас не постигла судьба,
Жесточайшая доля — влюбиться в раба!»

29 ноября 1901

I

Во сне забрел в долину я: на диво
Легко дышалось мне в долине той,
Я не шагал — парил неторопливо.

Вокруг цвела весенней красотой
Природа, благовонием омыта,
И пели птицы где-то надо мной.

Вдали на склонах серебрилось жито,
Дремучий бор долину обступил,
И тайной было всё внизу покрыто.

Внизу был луг, и ветер доносил
Такой прекрасный запах, что, казалось,
Росла душа в приливе новых сил.

То запахи цветов, что раскрывались
Во множестве чудесных форм, каких
Садовникам растить не удавалось.

И возле тех соцветий огневых
Я услышал — напев от них исходит,
Нежней, чем прядь волокон дымовых,

И девушки среди цветов проходят,
Все в белом, все в уборах и венках;
Одна другую за руку приводит.

У всех корзинки легкие в руках,
И каждый стебель зорко охраняют,
Лелеют, поливают на грядках.

Не рвут цветов певучих, но срывают
От каждого растения листок
И бережно в корзинки собирают.

Я их забавы объяснить не смог,
Спросил: «Скажите, девушки, на что вам
Листочки? Может, в них целебный сок?»

Одна сказала: «К празднику готовим.
Не на лекарство этот лист пойдет;
Нет, он предназначается здоровым.

Но кто к устам листочек поднесет
И сок его распробовать сумеет,
Тому блаженство в сердце снизойдет;

Тот навсегда душою осмелеет,
И взор его веселье прояснит,
И все заботы разметет, развеет.

Отчаянье и скорбь твою умчит,
Ты станешь как дитя; хоть на мгновенье
Всё существо твое преобразит.

Будь круглым сиротою, уваженье
Найдешь, найдешь счастливую любовь.
Кааф мы называем то растенье!»

Ушла. Но две напоминают вновь:
«А ты не рад отведать зелья соки
И дать друзьям целительных листков?»

Иль будут так же все у вас жестоки,
Горды и черствы, как и много лет?»
И стал я рвать волшебные листочки.

Прошу отведать! Вот вам мой букет!

<1904>

II

Пойми, поэт, на жизненном пути ты
Заветный жемчуг — счастье — не найдешь,
От гроз и ливней не найдешь защиты.

Пойми, поэт, — изведаете ты ложь,
Все муки бытия, все униженья,
Пока до светлой цели добредешь.

Пойми, поэт! лишь в сфере сновиденья,
В стране иллюзий и мечты — твой рай,
Твой гений — только действие внушенья.

Пророческий твой дар — не забывай —
Затем, чтоб край заветный указал ты,
Но сам туда не внидешь, это знай!

И с чутким сердцем для того взрастал ты,
Чтоб всем в день скорби облегченье нес,
Чтоб в горе слово теплое сказал ты.

Но если горе над тобой стряслось,
Скрывайся! Ближний не протянет руки
И не отрет твоих кровавых слез.

Но ты не думай, что рожден для муки,
Твое блаженство — творческая страсть,
Твой меч, и щит, и счастье — лиры звуки.

Пусть мир тебе твою не отдал часть,
Найдешь в душе своей удел высокий:
И правду величайшую, и власть.

Потемки обходи тропой далекой,
Весь мнимый блеск, триумф недорогой,
Всё, что погязло в низости глубокой.

И сохраняй всегда над головой
Венок, в котором не померкнут краски,
Простой, как цвет весенний, полевой.

На маскарад мирской иди без маски,
На торжище глумления, мой друг,
Бери с собой фонарь из старой сказки:

Он скроет тело, но проявит дух,
Явлений темных прояснится масса.
И стань ты людям не судья, а друг,

Зерцало обновленья. *Guarda e passa.*¹

<1904>

III

Гуманным будь,— любви источник чистый
Клади своей гуманности в основы
И гордостью холодной не сквернись ты.

Гуманным будь не так, как богословы,
Что мерою чрезмерной долг свой меряют,
Грозят ослу и охраняют львово,

И братьями зовут лишь тех, кто верит
В законы их, в предание и чудо,
На «блага рая» жадно зубы щерят

И цедят муху, чтоб пожрать верблюда.
Люби не всех — то было б свыше меры,
Но не желай соседям зла и худа.

Не всякий слух заслуживает веры;
Для лжи и фальши — палку припасаей
И живодерам ставь всегда барьеры.

Не нервничай и пальцы не ломай —
Порой кошачья флегма лучше жеста;
Злых берегись, льстецам не доверяй,

А дармоедам повторяй: «Нет места!»

¹ Взгляни и пройди мимо (итал.).— *Ред.*

IV

Когда в общественном ты хочешь деле
Иметь свой голос, обрести влиянье,
Людей вести и планы строить смело,—

На похвалы не обращай вниманья,
Пусть не несут ни радости, ни боли
И княжьи ласки, и толпы признание.

Ведь княжьи ласки — как сугробы в поле:
Их солнце слижет, ветер раскидает,
Оставив только грунт пустой и голый.

Толпы ж признание с тем гонцом сравнимо,
Что весть худую к сроку доставляет,—
А с доброю всегда проходит мимо. . .

Не думай же, что всё ты видишь ясно,
Что твой совет путь людям освещает,
Сомненья их улягутся прекрасно.

Толпа твоих заслуг не засчитает
И ради них проступок твой единый
Не извинит. . . Мир судит — не прощает!

И если ты удачную годину
Сам прозевал и над врагами строгий
Суд не свершил,— тебя же втопчут в глину,

Как мелкий камень посреди дороги.

V

Одета с элегантною простотою,
Ты так надменно смотришь на блудницу,
Что мысль одна — назвать ее сестрою —

Тебя заставит тяжко оскорбиться.
Ты честная! Но юность, увядая
С двадцать восьмой весной, как прежде, мчится

Бесплодно. Ты прошла, не замечая
Источник радости и наслажденья,
Свои уста презрительно смыкая.

Чего ты ждешь? Какого возрожденья?
Весна бесповоротно миновала.
Пусть ты горда, но связаны движенья,

Тебя тоска цепями оковала,
Тебе под сердце горечь подступает,
Как день осенний, плачущий устало.

Ведь это зависть сердце разъедает?
Идешь и словно бы не замечаешь
Пропащую — но в жар тебя бросает. . .

И ночью ты в подушку зарыдаешь!

VI Ф. Р.

О девушка, ты — камень драгоценный,
Заброшенный в болото, позабытый,
Но и в грязи хранящий блеск нетленный!

Я вновь гляжу с печалью неизбытой:
Ведь ты чудесный клад очарованья,
Бессмысленно растоптанный, разбитый!

Твоей крови бунтующей пыланье
Напоминает времена былые,
Когда не смели сковывать желанье.

Певица некогда в Александрии
Такая же по улицам бродила,
Под именем Египтянки Марии.

И так же, как и ты, она твердила:
«Богат иль беден — каждому я рада!
Я всех люблю! Иди, я дверь открыла

Твоим желаньям! Денег мне не надо,
Огонь безмерный сердце опалает,
Я всех принять в свои объятия рада!

Чей сон тоска ночная пожирает,
Кому весельем не с кем поделиться,
Кто в пламени страстей своих сгорает,

Кто спину гнет, обязанный трудиться,—
Сюда, ко мне! Я дам мечту о рае,
Со мною счастье хоть на миг приснится!»

Я вновь и вновь тебя благословляю:
Уста и взор, пленительно-огнистый,
Горящий ярко, как звезда ночная,

Твой звонкий смех, прегрешный и пречистый,—
Хоть знаю, бездны горя он от взгляда
Скрывает пеленою серебрястой.

Я не стыжусь существовать средь ада,
Сгубившего тебя в кромешной яме,
Со всею мерзостью его: так надо,

Чтобы разрушить стену между нами,
Чтоб встретиться смогли мы, насладиться
И разойтись неверными тропами.

Еще не раз твой образ мне приснится,
Еще не раз я вспомню имя милой
И прошепчу печальными устами

Благословенье! Всюду, где ступила
Твоя нога, пусть радость там сияет,
Пусть смех звучит, хоть сердце и остыло.

О том не думай, что нас ожидает!
Не жди того, чего уж нет на свете,
А смерть в свой час любого повстречает.

В глухой трущобе, в светлом лазарете,
В своей постели — всем одна дорога!
Не ехать дальше ни одной карете.

Так прочь печаль и в сторону тревога!
Сей радости, лелей мечты хмельные, .
И грусть гони от своего порога,

По образу Египтянки Марии.

20—22 марта 1904

VII

Уж полночь. Темень. Стужа. Ветер воет.
Я весь продрог. И выпало из пальцев
Перо. И мозг усталый отказался
Повиноваться. И в душе — затишье,
Ни мысль, ни чувство, даже боль — ничто
Не шевелится в ней. Притихло все,
Как будто в зарослях гнилой прудок,
Чью воду темную не шевелит
Вздых ветра.

Но постой! А это что?

Или утопленники там со дна
Встают, из волн зловонных простирая
Распухшие, в зеленой тине руки?
И голос слышен, вопль, рыдания, стоны,—
Не настоящий голос, но какой-то
Далекий вздох, тень голоса живого,
Лишь сердцу еле слышный. . . Но как больно,
Как больно мне! . .

«Отец! Отец! Отец!

Мы — света не увидевшие дети!
Мы — не пропетые тобою песни,
Безвременно погибшие в трясине!
О, глянь на нас! О, протяни нам руку!
Зови на свет нас! Дай скорее солнца!
Там весело — зачем же здесь мы чахнем?
Там хорошо — зачем мы гибнем?»

Нет, вы на свет не выйдете, бедняжки!
Нет, вас уже не вывести мне к солнцу!
Ведь я и сам лежу здесь в темной яме,
Ведь я и сам гнию, к земле прибитый,

А с диким хохотом по мне топочет,
Бьет в грудь мою жестокая судьбина!

И слышно вновь: «Отец! Отец! Отец!
Нам холодно! Согрей нас! Лишь дохни
Теплом из сердца и повея весною,
Мы оживем, вспорхнем и заиграем!
Весенним ветром, пеньем соловьиным
Войдем в твою печальную лачугу,
Мы аромат Аравии на крыльях
Внесем и, словно коврик пышноцветный,
Расстелемся и ляжем под ногами!
Лишь дай тепла нам! Сердца! Сердца! Сердца!»

Но где ж я вам тепла возьму, бедняжки?
Уста мои окованы морозом,
А сердце — лютая змея сглодала.

20 ноября 1901

VIII

Как голова болит!

По пожелтевшим
Листам старинной рукописи тихо
Усталые глаза перебегают,
А в голове страданье, как паук,—
Ткет сети, словно фокусник, во тьме.
Огни ракет пурпурных, белых, синих
Пускает вдруг; то мельницей вертится,
То открывает дикие виденья,
Что со страниц в бенгальском ярком свете
Срываются осеннею листвою
Под бури дуновение. . .

«Пришел
Матвей-святитель в город людоедов.
А у людей тех был такой обычай:
Не ели хлеба, не пили воды,
А пожирали тело человежье
И пили кровь. А кто чужой являлся
В их город, сразу же его хватили
И, выколов глаза ему, поили

Отравным зельем и в тюрьму сажали,—
И клали пищу им траву-отаву».
Вот рукопись из глаз уже исчезла,
И страшную историю читаю
В своем я сердце: как попал, блуждая,
Я в город — проклято будь это имя! —
Как напоен был ядовитым зельем,
Как отняли глаза мои, чтоб я
Тех, кто вязал меня, в лицо не видел,
И как я вместо хлеба долго-долго
Питался лишь иллюзий диким ядом.

И вот, совсем слепой, в тюрьме рыдаю,
И не о том рыдаю, что пропало,
Не о свободной воле, что вовеки
Свободной не была, и не о счастье,
Что только в снах являлось и дразнило,—
Мне нестерпимо то, что, низведенный
До положенья травоядной твари,
Я чувства человека не утратил.

Но вот звенят ключи, скрежещут петли,
Шаги грохочут,— это входит стража,
Веревку рвет, что связывала руки,
И смотрит на табличку, ту, что к ним
Привязана: «Три дня еще, а там
Пора освободить его». Ушли.
Не страшно мне. Ну что ж, три дня! Могли
Взять и сейчас.

А может... может, там,
С той стороны далекой Черноморья,
Надула парус маленькая барка
И в ней сидит спаситель твой, что чудом
Переплывет всю бездну и войдет
Последней ночью в скорбную темницу,
Вернет глаза тебе и скажет: «Встань и выйди!»
Эге, в легендах так бывало раньше,
Да не теперь! Нет ни на что надежды!
Молчи и жди!

2 декабря 1901

Когда б ты знал, как много значит слово,
 Исполненное нежной теплоты!
 Как лечит раны сердца, чуть живого,
 Участие,— когда бы ведал ты!
 Ты, может быть, на горькие мученья,
 Сомкнув уста, безмолвно не взирал,
 Ты сеял бы слова любви и утешенья,
 Как теплый дождь на нивы и селенья,—
 Когда б ты знал!

Когда б ты знал, как беспощадно ранит
 Одно лишь слово зла и клеветы,
 Как душу осквернит оно, обманет
 И умертвит навек,— когда бы ведал ты!
 Ты б злость свою, как будто пса цепного,
 В тайник души израненной загнал,
 Доброжелательства не испытал людского,
 В укор бы ты не бросил злого слова,—
 Когда б ты знал!

Когда б ты знал, как много бед скрывается
 Под маской счастья, обращенной к нам,
 Как много лиц веселых умывается
 Горючими слезами по ночам!
 Ты б зор и слух свой обострил любовью
 И в море слез незримых проникал,
 Их горечь собственную смывал бы кровью,
 И понял страх людей и жизни их условия,—
 Когда б ты знал!

Когда б ты знал! Но ветхо знанье это;
 Нет, надо сердцем чувствовать живым!
 Что для ума темно, для сердца — полно света...
 И мир тебе казался бы иным.
 Ты б сердцем рос. И вопреки тревогам
 Всегда пряма была б тропа твоя.
 Как тот, кто в бурю шел по гребням волн отлогим.
 Так ты бы говорил всем скорбным и убогим:
 «Не бойтесь! Это я!»

СТРАШНЫЙ СУД

Ну а вдруг все это правда,
Что попы в церквах гнусавят,
И меня по смерти ангел
Перед господом поставит?
Бог усядется на троне
В блеске бурь, в громовом рыке,
И четыре края света
В ноги упадут владыке,—
Заревут на небе трубы,
Потрясутся все основы,
Мертвецы из гроба встанут,
К обновлению готовы,—
И всё то, что с дней творенья
Духом наполнилось крылатым,
Всё поднимется, не сгинет
Ни один мельчайший атом...
Все потянутся, как тучи,
К небу, грозному такому,
И воздастся полной мерой
Плата добрым, кара злему...
И откроются все тайны,
Древние и молодые,—
Перед явностью такую
Дрогнут самые святые...
И не только тварь любая,—
Заново любое слово,
Помышленье и деянье
Оживут тогда, и снова
Силу обретут и голос,
И, в едином войске слиты,
Как свидетели предстанут —
Обвиненья ли, защиты? ..
Что ж, на судбище такое
С этим войском бесконечным
Я прибуду, слабый, грешный,
Чуя трепет перед вечным,
И скажу: «На суд твой, боже,
Я пришел, твое созданье,
И кладу перед тобою
Боль свою и все страданья,

Всех иллюзий блеск минутный,
Всех восторгов пресыщенье,
Всю гордыню и бессилье,
Все надежды, все сомненья,
Слепоту и силу мысли,
Ересь всю, и все софизмы,
И немеркнувшее жало
Критицизма, скептицизма.
Защищаться я не буду,
Ибо сам отлично знаешь,
Что каким меня ты создал,
То таким и получаешь».

— «Замолчи! — раздастся в туче
Голос божий громче грома.—
Всё, что есть, и всё, что будет,
Мне насквозь давно знакомо.
Мне смешон твой пафос громкий,
Юмор твой — не мед, а оцет;
А пословицу ты знаешь
Эту: *Sus Minerwam docet?*¹
Чем ты был, каким был всюду,
Все твои утехи, боли,
Глупости, грехи, ошибки —
По моей свершались воле.
Всё добро и зло, что в мире
Сеял ты и нынче сеешь,
Это всё — мой план, и в нем ты
Ничего не разумеешь.
А за то, что ты задачу
Выполнил и всё как надо
Понял в ней, то рай господень
Для тебя теперь — награда».
Тут священства и владыки,
Преклоненные у трона,
Всей толпой взметнутся, спины
Распрямляя от поклона,
И, нахмурясь, крикнут: «Боже!
Где же видано такое,

¹ Свинья учит Минерву (лат.).-- *Ред.*

Чтоб сей грешник, сей безбожник
В рай допущен был тобою?
Где мы сеяли пшеницу,
Сыпал плевел он неверья;
Где покорность прививали,
Призывал к высокомерью;
Там, где грудь мы надрывали,
Чтоб добыть смиренья лепту,
Он издевки и насмешки
Добавлял всегда к рецепту.
Над угрозой, уговором
Он смеялся неизменно;
Был он волком в божьем стаде,
Головнею в стоге сена.
Отравлял младенцев души
Он открыто и нахально!
Братъ его на небо, боже,
Ей-же-богу, нелояльно.
Мы твою творили волю,
Смысл писания святого,
Мы из твоего завета
Не утратили ни слова,—
А бродяга этот будет
Вновь смеяться тут над нами! . .
Нет, его ты возвышая,
Нас считаешь дураками,
Нас, которые для дела
Церкви лезли вон из кожи! . .
Именем твоим мы против
Твоего суда, о боже!»
Выслушавши терпеливо,
Бог прервет их речь на этом
И с улыбкой добродушной
Обратится к ним с ответом:
«Цыц, ребята! Тут не сеймик,
Чтоб в нем выли и кричали!
Вы на небе, где обычно
Нет ни вздохов, ни печали,
Оппозиций и обструкций
Не творите своенравно:
В небе я распоряжаюсь,
И, простите, полноправно.

Тут я поезда кондуктор,
Остальных молчать прошу я,
Здесь в вагон любого класса
Посажу, кого хочу я.
Всем на небе хватит места,
Много нужно тут профессий.
Нету счета пассажирам
В голубом моем экспрессе.
Для овечек всепокорных,
Для коров моих молочных,
Для веселых пташек певчих
И для прочих непорочных,
Для волов, что, плуг таская,
Век трудились неуклонно,
И для всяческой скотины
Есть отдельные вагоны.
Там им плата по заслуге,
Море радости сплошное, —
Но ведь должен в первом классе
Ехать кто-нибудь со мною?
Вас я, детки, уважаю,
Но сказать вам снова надо,
Чтобы вы не забывали
Своего держаться стада.
А компанию искать мне,
Признаюсь, вам будет трудно;
Мне ж в одной компании с вами —
Извините — было б нудно.
Дурни вы или не дурни,
Сам решу по доброй воле,
Но себя оставить в дурнях
Вам, ей-богу, не позволю!»

Тут возьму себе я слово
И скажу: «О боже вечный!
Приговор мне твой неясен,
Хоть и милостив, конечно.
Препираться тут не место,
Божий приговор свободен,
Но боюсь, что для экспресса
Твоего я не пригоден.

Для небесного салона
Компаньон я не блестящий,
И в земных бывал я лишним,
Тут же — буду лишним чаще.
А потом еще подумай:
Суд твой милостивый, скорый,
Вызовет среди вернейших
Слуг твоих одни раздоры.
Я господ подобных знаю:
Не дадут они покою,
Клевета, доносы, ругань
В небе поплывут рекою;
Ты стыда не оберешься
И расстроишься без толку, —
Выгрызут меня из неба
Добродетельные волки.
А затем — помилуй, боже, —
Не стремится сердце к раю;
Жить средь роскоши небесной
Я, ей-богу, не желаю.
Не влечет меня и вечный
Серафимов хор похвальный, —
Я для этих песнопений
Слушатель не музыкальный.
Не влекут меня на небо
Ни псалмы, ни словословья, —
Вдруг я в хор высокопарный
Врежусь свистом, прекословя?
А певцы твои, поэты?
Не влекут меня их речи,
Начиная от Давида
Вплоть до самого Льва Печчи.
Да и прочие партнеры —
Херувимы, серафимы,
Шестикрылые созданья —
Ну, о чем болтать мне с ними?
А апостолы святые,
Корифеи сил небесных,
Если приглядеться ближе —
До чего неинтересны!
Хоть бы Петр, чего он стоит?
Не пройдя и треть дороги,

- Весь синклит их в час тяжелый
От Христа давай бог ноги!
Или общество аскетов,
Сухорепрых и немых
И от страха перед правдой
Лживой благостью прикрытых?
Или те апологеты,
Те Лойолы-изуверы,
Канонисты, что умели
В душу лазить «igne, ferro»? ¹
Или те, кто, возглашая
Твой завет, все земли, море
Обошли, повсюду ширя
Темноту, грызню и горе,
Покрывали зло богатых,
Неимущих угнетали
И крестом твоим свободу,
Вольность мысли убивали?
Будучи прямолинейным,
Ты ласкать их должен тоже,—
Так подумай, как же с ними
Быть в компании мне, боже?
Но еще не всё; возможно,
В небе разные порядки,
И для всякой твари в небе
Есть особые палатки.
Но, чтоб жить в раю небесном
И беспечно бить баклуши,—
Сколько, господи, придется
Напихать мне ваты в уши,
Чтоб не слышать криков, воя,
Скрежета под небесами
Тех несчастных в преисподней,
Что во тьме гремят цепями!
Чтоб не слышать отголоска
Всех тех мук и озверенья,
Что являлись контрапунктом
Твоего всего творенья.
Нет, услышу и сквозь вату,
Сквозь стену из толстой стали,

¹ Огнем, мечом (лат.).— *Ред.*

И таких не вижу далей,
Где б они не прозвучали!
Нет таких великолепий,
И экстазов, и сиянья,
Где б меня не отравили
Их проклятья и стенанья.
Где ж гарантия, о боже,
Что не только тут, а выше
Этих стонов, этих криков
Никогда я не услышу?
Нет, пусти меня, владыка,
С этого святого луга
Ты туда, где битва с жизнью —
Наивысшая заслуга,
Где борьба неутомима,
Где без льготы — испытанья,
Без победы и без славы —
Вековечные страданья.
Правда, в это пламя ада,
Где горит душа, не тело,
В этот жар и кровь, где черти
Варят грешников умело,
В эти дебри дымной серы,
В этих гадов, алчных вечно,
В этих змей и скорпионов,
Жалящих людей беспечно, —
Я не верю, как и в бесов,
Пусть рогатых и хвостатых,
Что без всяких оснований
Душат горемык заклятых.
Ибо знаю хуже пекло,
В этом пекле до могилы
Я варился — это пекло
Мне оскомину набило.
Знаю горькую отраву
Безнадежности гнетущей;
Милостыню, что с презреньем
Сироте дарит имущий;
Одиночество, что в жизни
Смертной мукой душу гложет;
Скорбь о том, что совершилось
И не быть уже не может;

Боль, когда тебя измена
Обойдет путем обходным;
Боль, когда себя ты видишь
Подлым, низким и негодным.
Всё это учти, о боже,
По твоей всесильной воле,
И пусти меня обратно,
В круговерть земной юдоли.
Там товарищей найду я,
Неизменных вплоть до гроба,
И для слез, и для веселья,
И для смеха, и для злобы.
Там найду лихое племя,
Люд гулящий и свободный,
Полный силы, полный воли,
По-людскому благородный:
Музыкантов и поэтов,
Что любовь нам воспевали,
Всех философов, что цепи
Догматизма разбивали,
Всех еретиков и всяких
Перелома пионеров,
Бунтарей и гайдамаков,
Вечных революционеров,
Всех, что человечность смело
Искупали чистой кровью,
И всех тех, кого любил я
В жизни грешною любовью».

— «Дурень! — крикнет голос божий,—
Многословен ты, однако,
Но ты в правде понимаешь
Столько, сколько кот заплакал!
Ты в аду всё просишь места,
Будто я в нем попечитель;
Просишь мук и боли адской,
Будто я палач-мучитель.
Отрекаешься от рая,
Как от царского салона,
Где ты среди дам прекрасных
Будешь выпадать из тона.

Избранных еще не зная,
Ты их насмех поднимаешь! . .
Слушай, парень! За кого ты
Самодержца принимаешь?
Думал я, что ты поднялся
Над скотиною убогой,
Той, что по своим приметам
Черта создает и бога;
Что сквозь плотское начало
Ты проник в святыню духа,
Что недаром он, предвечный,
Твоего коснулся слуха.
Для того-то на земле я
Наострил тебя, как бритву,
Посылал тебя в скитанья
И бросал тебя на битву,
И водил тебя, как надо,
На низины, на вершины,
Чтоб ты был в небесной рати
Не последним из дружины.
Не мели же вздор напрасно,
Собери в одно усилья,
Собери в одно желанья,
Разверни пошире крылья
И, в безмерность проникая,
Подымись душой смелее,
Чтоб в порыве вдохновенья
Слиться с сущностью моею!»

И падут слова мне в душу
Ливнем щедрым и огнистым,
Все сомненья и тревоги
Прочь уйдут, и стану чистым,
И в себе почую силу,
Силу духа молодую,
И пред наивысшим Духом
На колени упаду я.
Соберу в одно желанья,
Соберу в одно усилья,
Подниматься стану выше
На широких этих крыльях. . .

И безмерность предо мною
Вдруг откроется, сверкая,
Развернется, словно карта,
Словно свет, что, не мигая,
Только ровно, чисто бьется,—
Сгинут муки и кошмары,
И прольется в душу счастье,
Как безмерный блеск пожара.
И вращу я в безграничность,
Испытаю всё и стану
Подниматься — выше — глубже,—
И развеюсь я в нирвану.

ИЗ КНИГИ
«СТАРое И НОВОЕ»
(1911)

I

НЕНАЗВАННОЙ МАРИИ

Хоть меня ты и забудешь,
Но тебя я не забуду,
И в твоих воспоминаньях
Я тебе являться буду.

Сизый голубь промелькнет,
Обо мне напомнит милой:
«Он ведь так меня любил!
Что ж его я не любила?»

Божья пчелка на цветок
Прилетит, и ты вспомнешь,
Как сказала ей: «Лети,
Ничего здесь не достанешь!»

На стене паук ведет
Сети тонкое плетенье,
И припомнишь ты свое
Непонятное томленье.

Чуть комарик зазвонит
На окне твоём весною —
Вспомнится: «Так милый пел,
Обо мне грустя, порою».

А закаркает ворона —
И припомнится тебе:
«Почему я с ним не встала
Рядом в жизненной борьбе?»

Если камень в воду канет,
Вдруг припомнишь ты одно:
«Как в глубокое болото,
Опустилась я на дно!»

Не гони ты эти думы —
Всё равно их не прогнать:
Вместе с ними ты, печальясь,
Будешь век свой доживать.

Если ж молния заблещет,
То в огне ее громовом
Ты и нехотя увидишь
Образ мой в венке терновом.

<1908>

II

К МУЗЕ

Вновь ты зовешь меня, моя богиня,
В ту глубину безмерную веков,
Где, возникая, рушатся святыни
И где звучит бесовских игрищ зов,

В мир грязи и красы, в простор пустыни,
В оковы чар и в тайники лесов,
В угар страстей, в извечный жар гордыни,
В круговращение иных миров.

Пусть будет так! Идем, моя родная!
В последний раз земных утех глотнем,
Заглянем в омут без конца и края,

В последний раз по тайникам пройдем,
Где страх и грусть, мечта и явь тупая,
И, утомясь,— забудемся, уснем.

<1908>

ПРИТЧА О ЖАДНОСТИ

С болотом топким жадность я сравню:
Шагни лишь раз — обратно не отступишь,
Шагнешь другой — и глубже погрузишься,
А там еще поглубже с третьим шагом,
А там, гляди, уже возврата нет.
Египтяне давно об этом знали
И эту притчу мудрую сложили
Как образ жизни, что пороком этим
Была извращена. В восьмом столетии
По рождестве Христа один святитель
Александрийский, Христофор, ту притчу
Переложил на греческий язык,
И с греческого, при князьях еще,
Ее узнали также наши предки,
Не вредно знать и новым поколениям.

Был человек зажиточный, почтенный,
Имел жену, единственного сына,
Имел слугу и доброго коня.
Он по цене дешевой дом купил,
Дешевой потому, что не нашлось
Того, кто б этот дом купить решился.
В том доме где-то, в потаенном месте,
Скрывалась ядовитая змея.
От времени до времени, бывало,
Она — не первый раз случалось это —

Кого-нибудь из тех, кто жил в том доме.
Вдруг умерщвляла ядовитым зубом.

Тогда и родственники и соседи
Хозяина, что дом купить решился,
Предостеречь хотели, и нередко
Потом напоминали, чтоб немедля
Он выследил змею и поскорее
Убил ее, чтоб больше не вредила.
И вот следить внимательно он начал
И вдруг заметил маленькую норку,
Но что за диво — возле этой норки
Он не змею увидел, а блестящий
Новехонький червонец золотой.
Он взял его, внимательно всмотрелся
И сам с собою начал размышлять:

«Вот и нора, змеиное жилище,
Вот здесь я мог бы подстеречь ее,
Убить я мог бы, но каким же чудом,
Откуда взялся здесь червонец этот?
Не потерял ли кто-нибудь его?
Нет, это невозможно, потому что
Я сам весь дом осматривал подробно.
Червонец этот, значит, дар змеиный.
А вдруг она благословенна богом?
И прежде чем убить, я подожду
Хоть несколько деньков, не повторится ль
Вновь этот дар иль это лишь случайность».

А поутру хозяин раным-рано
Опять нашел червонец у норы.
На третий то же самое случилось.
В душе его уверенность окрепла
В том, что змея — божественного рода,
Что от ее даров богат он станет
И будет жить спокойно и счастливо.

Но вот змея однажды темной ночью,
Пробравшись в стойло, ядовитым зубом
Коня куснула в ногу. И заржал
Ужасно конь и в стойле начал биться.

Тогда, услышав это всё, в тревоге
Вбежал хозяин в стойло, но не мог
Понять он, что случилось, и к рассвету
В мучениях тяжелых конь издох.

Когда соседи обо всем узнали,
Хозяина опять предупредили:
«Ведь это от змеиного укуса
Издох твой конь, не от иной причины.
Смотри, чтоб большей не было беды».

Задумался хозяин. «Жаль коня.
Конь добрый был, и дорогой к тому же,
Ведь он за тридцать куплен был червонцев.
Убить змею — совет вполне разумный,
Но конь от этого не оживет,
Змея же через тридцать дней положит
Червонцев ровно тридцать, и тогда
Ко мне вернется вся моя утрата.
Да я в коне пока и не нуждаюсь,
А на людей змея, как я надеюсь,
Не кинется, так пусть себе живет».

Так рассудив, хозяин жил и дальше
Спокойно, а змея и в самом деле
У самой норки клала по червонцу
День ото дня. И любовался ими
Хозяин, и берег свою он тайну.
И ни жене, и ни слуге ни слова
Не говорил он о своем доходе,
Лишь ежедневно у норы тайком
Он жертвы приносил во имя бога:
То ладана, то каплю молока.

Уже два месяца так миновало;
На третий же однажды, жаркой ночью,
К слуге змея подобралась неожиданно
И так тихонечко, ни дать ни взять,
Его ужалив в ногу, тут же скрылась.
Слуга спросонок закричал от страха,
И до тех пор, пока из спальни вышел
Хозяин, вся нога его распухла,

И сразу стало каждому понятно,
Что это от змеиного укуса.
Стонал слуга и корчился от боли,
Но уж не мог спасти его хозяин,
И умер он, промучившись три дня.

На похороны собрались соседи
И начали немало упрекать
Хозяина за то, что он беспечен,
Что не убил змеи он до сих пор.
Отмалчивался тот и говорил,
Что до сих пор в глаза ее не видел,
Что подстеречь никак ее не может,
А сам с собою рассуждал иначе:

«Слуга скончался. Что ж, его мне жалко.
Но без слуги могу я обойтись,
Ведь от меня уйти он собирался
И плату взял бы за три года службы.
Он сирота, нет у него семьи,
Нет родственников, так что эту плату
Никто и спрашивать с меня не будет.
Змея же ежедневно мне дает
Доходу больше, чем слуга в неделю
Мог принести мне. Нет, я не дурак,
Чтоб убивать ее. Хоть умервила
Она вслед за скотиной человека,
Но этот человек нам был чужой.
На бога я надеюсь, что она
Ни сына, ни жены моей не тронет
И что меня ужалить не посмеет».

Так, сам себя уверив, жил хозяин
Спокойно и нисколько не заботясь
Ни о каких других делах. Червонцы
Брал каждый день он у норы змеиной,
На жизнь его расходы с каждым днем
Всё уменьшались, большую же часть
Червонцев, что змея ему носила,
Он тайно прятал, радовался блеску
Святого золота и не желал

Иного, только б жизнью бережливой
Тот клад свой ненаглядный умножать.

Немало месяцев так миновало,
И у змеи однажды вновь явилось
Желание попробовать свой зуб.
И вновь она, тихонько темной ночью
Прокравшись в спальню, семилетке-сыну
Хозяйскому вонзила зуб свой в ногу.
Спросонья мальчик закричал в испуге,
И бросился отец к нему со страхом,
Но не застал змеи уже на месте,
И лишь по опухоли на ноге
Он понял, что змея всему виною.
Тут поспешил немедленно он в город
И лекарей и знахарей позвал,
Но как они усердно ни старались,
Втирали что-то, заговор шептали,
Ничто уже не помогло ребенку,
И после трех дней крика и мучений
Он в вечном сне обрел себе покой.

На похороны собрались родные,
Отец и мать, и многие соседи,
И все погоревали об умершем
И убедить хозяина пытались,
Чтоб дом свой от опасности очистил
Или жильё свое переменял.

Но тот, хотя ему терзала сердце
Утрата сына, всё же не решился
Признаться прямо в том, что жизнь свою
Змея таким подарком покупает,
Что в жадности своей не отказался
Обречь на смерть он сына своего.
Когда же с похорон ушли все гости,
Хозяин в одиночестве остался
И начал рассуждать с самим собою:

«Вот умер сын мой. Это — божья воля.
Убью змею, но это не поможет,

Он не воскреснет. И пока я жив,
Я о живом заботиться обязан.
Сын у меня другой родиться может,
А вот змеи другой такой, как эта,
На свете нет. Мы будем осторожны
С женою оба, чтобы не посмела
К нам подползти змея, а той порой
Наш клад всё больше будет разрастаться».

На этом успокоившись, и дальше
Стал жить он без заботы и труда,
Единственное зная утешенье
Змеиные подарки собирать.
А чтобы ночью вдруг к его постели
Или его жены не подползла
Змея, устроил он постели эти,
Как колыбели, к потолку подвесив.

Вот так прошло без малого три года.
Жена хозяина однажды в полдень
Вдруг задремала в садике у дома.
Змея подстерегла ее и, тихо
Из норки выползши, змеиным зубом
Опущенную руку укусила.
И в ужасе бедняга пробудилась,
Домой с тяжелым стоном побежала.
Пока она разыскивала мужа,
Ее рука до самого плеча
Распухла. Сразу понял он, в чем дело,
И бросился за лекарями в город.
Хоть обещал он им любую плату,
Но как бороться со змеиным ядом,
Никто не знал, и умерла жена.

Когда же хоронить ее пришлось,
То — что и говорить — ее родные
Набросились с упреками на мужа
За то, что столько лет в своем дому
Терпя змею, довел жену до смерти.
Напрасны были все эти упреки,—
Тому, кто умер, жизни не вернули
И у вдовца души не изменили.

Когда он после похорон остался
Один, он дом свой запер на замок,
Лишь изредка он выходил из дома,
Порвал все отношения и связи
С родными и соседями, и только
Жил кладом золотым своим, что тайно
Всё умножал — зачем, и сам не зная.

Но вот однажды вечером, когда
Сидел он в спальне на полу, считая
И пересчитывая в сотый раз,
Всё перекладывал свои червонцы,
Змея тихонько подползла к нему
И в руку, изловчившись, укусила.
От боли стиснул зубы человек
И оглянулся, и тогда впервые
Он эту серенькую небольшую
Увидел змейку, что ползла спокойно
И в уголке одном в щели исчезла.

Боль страшная в тот миг его пронзила.
Тогда, еще не зная сам, что делать,
Он маленькую ранку на руке
Тотчас же стал высасывать и руку
Перевязал покрепче ниже локтя.
Потом разрезал ранку и опять
Кровь черную высасывать принялся.
Вот так в тревоге страшной он томился
До самой полночи и, обессилев,
Улегся он в постель и, так как спать
Не мог от боли, то чистосердечно
Стал богу он молиться со слезами:

«Всесильный боже, властелин всей твари,
Ты, что послал мне это искушенье,
Молюсь тебе, верни мое здоровье
И дай мне до тех пор прожить на свете,
Пока смогу я всё свое богатство
Спасительному делу посвятить.
Не дам его на храм, не дам жрецам,
Не дам и бедным людям на растрату.
Благочестивое найду я дело,

Чтоб дать ему надежную основу
Так, чтоб оно столетье простояло
И славил твое святое имя».

Молитва ли иль собственная помощь
В великой жажде самосохраненья
Так помогли ему, но боль утихла
И опухоль сошла, и понемногу
К нему вернулось прежнее здоровье.
Но с той поры змея не золотые
Червонцы стала класть у входа в норку,
Но каждый день носила жемчуга,
Каменья драгоценные носила.

Перепугался человек, увидев
Дары такие, и от удивленья
Не знал, что делать, но надумал вскоре
Совсем простую смастерить шкатулку
И класть в нее каменья дорогие.
Клад золотой свой закопал он тайно
И для себя лишь несколько червонцев
На прожить оставил, а шкатулку
В свою постель упрятал под подушку.
Так он и жил спокойно, беспечально,
Любуясь драгоценными камнями,
Что каждый день перебирал, довольный;
Забыл и думать он о добром деле,
Которому служить пообещался.

Прошло немного месяцев. Однажды,
Когда он вышел поутру из дома
Естественную надобность свершить,
Змея подстерегла его как будто,
Вдруг незаметно выползла из норки,
Скользнула и, обвившись вокруг ноги,
В икру его мгновенно укусила.
И испугался человек, вторично
Увидев, как змея с его ноги
Сползла спокойно и в норе исчезла.

Немедля пояском перевязал
Он под коленом ногу, только это

Не помогло нисколько: слишком слабо
Был поясок затянут под коленом.
Нога все больше пухнуть начинала,
Боль мучила его, и прочь из дома
Он выбежал, и соли взял морской,
И сильно рану на ноге разрезал,
И начал, кровь пуская из нее,
Что было силы натирать усердно.
Так потрудясь старательно до полдня,
В свою постель, усталый, он улегся
И, вновь рыдая горькими слезами,
От всей души молиться начал богу:

«Всесильный боже, справедливо ты
Обрушил на меня такую кару:
Забыл я, ослепленный, обещанье.
Но будь ко мне ты милостивым, боже,
И в этот раз спаси меня от смерти,
Продли еще мне жизнь мою земную,
Чтоб покаяньем, добрыми делами
Спокойную кончину и спасенье
Души по смерти мог я заслужить».
И, может быть, молитва или, может,
Те меры, что немедленно он принял,
Настолько помогли ему, что он
Почувствовал, проснувшись, что всё меньше
Болит нога и опухоль спадает.
И вскоре выздоровел он совсем,
Но вместе с тем забыл свою молитву,
Забыл о том, что обещал он богу,
И дальше жизнь свою повел, как прежде.

Так месяца четыре миновало.
Шкатулка деревянная его
Была почти что до краев полна
И хрусталя и дорогих камней,
И душу человека день за днем
Так радовал их вид, что прогонял
И мысль о покаянии, о добрых
Делах и о спасении души.
Змеи остерегался он, как мог,
И все-таки однажды, жаркой ночью.

Когда в своей постели пуховой
Не мог заснуть, почувствовал внезапно,
Как тихо выползла ему на грудь
Змея и, выбрав место, укусила
Над самым сердцем.

Вскрикнул он от боли,
Укушенный, но он уже не смог,
Как ни старался, отыскать спасенья.
Так мучился он до восхода солнца
И умер, и немало дней лежал
В своей постели, в запертом дому,
Покуда трупный запах не привлек
Соседей и они взломали двери
И мертвеца увидели. Никто
Ни одного предмета не коснулся, —
Ни трупа, ни того, что было с ним.
Жрецов позвали, унесли они
Покойника и всё добро из дома.
Добро его пошло на храм, а тело
Распухшее, всё черное от яда,
Не предали священному огню,
Лишь закопали в землю, словно падаль,
Да и души добром не помянули.

25—26 декабря 1910

О. ЛУНАТИКУ

Скулит поэзия, нема, безрука:
«Не гений ты», и гонит претендента.
Презренье, смех — ремесленника рента.
Всё рвется, гаснет. Ох, тяжка разлука!

«Без маски»

Нет, сынок мой, я не гений,
Да и быть им не мечтал,
А трудился я без лени,
Сильным кланяться не стал.
Не терпел я фарисейства,
Клевете не уступал,
Кривду, зверство и злодейство
Лестью я не подкупал.
В добрый год, во дни гонений
Честно жил и прожил век —
Вот и все. Какой я гений —
Незаметный человек.
Жал серпом любое жниво,
Сам вязал свои снопы.

В ледяной пурге сомнений
Рук не прятал я назад
И не плакал, что не гений.
Ну так что ж, чему ж ты рад?
А и плачу, так от боли,
От неверья, от тоски,
Оттого, что наше поле
Заглушили сорняки.

Баба-сплетня миром правит,
Пустословит день и ночь.
Разве маг какой заставит
Нас ту бабу выгнать прочь.
Нашу совесть, наши души
Точно червь с весны погрыз:
Молодежь он точит, сушит,
Раньше срока клонит вниз.

Правда, я, сынок, не гений. . .
Будь я гений — я бы вас
От истерик, неврастений
Чародейным словом спас!
Вихрем поднял бы с собою.
К светлой цели, вдаль, вперед,
К жертвам, подвигам и к бою
Устремил бы смелый лет!
Я б вам душу вдунул в тело,
Распрямил бы вам хребты,—
Я б мужами чести сделал
Обезьян таких, как ты.

1903

ИЗ КНИГИ
«ГОДЫ МОЕЙ МОЛОДОСТИ»
(1914)

ДВЕ ДОРОГИ

Сонет

Нам жизнь предназначает два венца,
К победе нас ведут лишь две дороги:
Одна — где острый камень ранит ноги,
Другая — лишь терпенье без конца.

Блажен тот муж и тот народ, который
Одной дорогой до другой дошел —
Сквозь труд к терпению, и в нем обрел
Покой души, неся клеймо позора.

Блажен, кто шел, как путник ночью в поле,
С слезой в глазах, с надеждой, что взойдет
На небе солнце долгожданной воли.

И нас ведь, братья, так судьба ведет.
Идем наперекор враждебной доле,
Навстречу свету и любви — вперед.

<1875>

ТОВАРИЩАМ ИЗ ТЮРЬМЫ

Постепенно срывая оковы,
Что вязали нас с прежним житьем,
Братья, братья, для битвы суровой
Мы встаем, оживая, встаем!

Обогретые более полной
Новой жизнью, любовью,— встаем
И сквозь бурные мутные волны
В дальний радостный край поплывем.

Поплывем сквозь неволю, ненастье,
Наговоры и штормы пройдем,
В ту святую отчизну, где счастье,
Братство, мир,— мы туда поплывем.

В новый бой мы идем по дорогам
Не за царство, где горе и гнет,
Не за церковь, царей, не за бога,
Не за власть ненасытных господ.

Мы идем в новый бой за свободу,
За любовь и за труд — без цепей,
За всемирное братство народов,
За великое счастье людей!

Нам в бою нужно храбро сражаться,
Не пугаться, что пал первый ряд,
Хоть по трупам вперед пробиваться,
Всё вперед — и ни шагу назад.

Это — бой за счастливую долю
Человек против зверства ведет,
Это — воля сражает неволю,
«Царство божье» на землю сойдет.

Не молитесь же господу бога:
«Да придет к нам рай с вышины!»
Ведь молитвы — плохая подмога
Там, где труд наш и разум дружны.

Не от господу царство нам будет,
Не святые с небес принесут,—
Нет, наш собственный разум добудет,
Наша воля и общий наш труд.

НАУКА

Сонет

Хоть злой тиран поправил ее права
И царедворцы травят что есть силы,
Хоть рада тьма вогнать ее в могилу,—
Она жива, она вовек жива.

Хоть лютый вихрь над нею завывает,
Хоть божьим именем попы клянут,
Хоть деспоты над ней заносят кнут,—
Она растет, и крепнет, и мужает.

Хоть род людской сбивается с дороги,
Она, как мудрый добрый проводник,
С кривых путей выводит напрямик,

На путь разумный, вольный и широкий.
Она к проклятьям злобным безучастна
И нам на благо трудится всечасно.

1878

**ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ,
НЕ ВОШЕДШИХ В КНИГИ**

ПРАВДИВАЯ СКАЗКА

(Из галицких картинок)

На кровле хатенки, под самой трубою,

Сел ворон и каркает — горе вещает.

Отец-хлебороб вещуна вопрошает:

Кто нынче отмечен судьбою?

«Эй, ворон проклятый, как много

Пойдет хлеборобов с сумами,

Разутых в шинках корчмарями,

По ближним и дальним дорогам?»

— «Раз, два, три...» — Шепчи — не шепчи,

Всё каркает черная птица.

«Что ж будет со мною?» Ох, лучше молчи,

От горестей не откупиться!

На кровле хатенки, под самой трубою,

Сел ворон и каркает — горе вещает.

Зловещего старая мать вопрошает:

Кто нынче отмечен судьбою?

«Эй, ворон проклятый, как много

Седых матерей зарыдает,

Детей снаряжая в дорогу

На войну, куда смерть их скликает?»

— «Раз, два, три...» — Шепчи — не шепчи,

Всё каркает черная птица.

«А мой, мой соколик?..» Ох, лучше молчи,—

Придется с сыночком навеки проститься!

На кровле хатенки, под самой трубою,
Сел ворон и каркает — горе вещает.
Зловещего сын молодой вопрошает:
Кто нынче отмечен судьбою?

«Эй, ворон проклятый, как много
Голов молодецких поляжет
Под острою саблюю вражьей
На поле чужбины далекой?»
— «Раз, два, три...» — Шепчи — не шепчи,
Всё каркает черная птица.
«Что ж будет со мною?..» Ох, лучше молчи!
Поплачет о милом девица!

На кровле хатенки, под самой трубою,
Сел ворон и каркает — горе вещает.
Хозяйская дочь вещуна вопрошает:
Кто нынче отмечен судьбою?

«Эй, ворон проклятый, как много
Девчаток с нужды да недоли,
Без хлеба, угла, поневоле
Пойдет в свет проклятой дорогой?»
— «Раз, два, три...» — Шепчи — не шепчи,
Всё каркает черная птица.
«Что ж будет со мною?..» Молчи!
Уж лучше б тебе и на свет не родиться!

Тут мать, там отец тяжко-тяжко вздыхает,
Тут брат, там сестра головой поникает,—
Нависла беда над убогою хатой;
Людские сердца омрачила тревога,
Тернистая всех ожидает дорога,—
А ворон всё каркает, ворон проклятый.

12 марта 1880

ШЕВЧЕНКО И ПОКЛОННИКИ

Апостол правды и науки,
О ком мечтал ты, изможден,
Пришел и простирает руки,—
Ему название: легион.

Но те, что под шумок кормились
Своих творений молоком,
Что всюду и везде хвалились
Тобою, как *своим* певцом,—

Те, видя гостя молодого,
Один — хвалы забыл свои,
Другой — зовет городского,—
Низкопоклонники твои!

5 апреля 1880

ТЫ ВНОВЬ ОЖИВАЕШЬ, НАДЕЖДА!

Ты вновь оживаешь, надежда!
Душа молодеет, как прежде...
И радостно дышится груди...
О, сердце! О, воля! О, люди!

Чуть свет у тюремного входа
Ко мне постучала свобода:
«Встань, сын мой, уж ночи не будет!..»
О, воля! О, сердце! О, люди!

О волюшка, встать я не в силах,
Ты рано меня разбудила,—
От груза так тягостно груди...
О, сердце! О, воля! О, люди!

Тот груз мне дыханье спирает,
А руки мне цепь обвивает,—
Тот груз — палачей словоблудье...
О, воля! О, сердце! О, люди!

Но воля шепнула лишь слово,
И вот поднимаюсь я снова,—
Прочь путы, облыжные судьи!
О, воля! О, сердце! О, люди!

12 июня 1880
Стрый

СМЕЛЕЙ!

Еще и нам ведь весны расцветают,
И в нашем сердце молодость живет,
Еще любовью очи нам сияют,
Еще надежда голос подает.

Лазурь небес, полей родных просторы
Еще и нас красою веселят,
Природа эта устремила взоры
На наших мук, сражений длинный ряд.

Смелей! Ведь стоит жить, хоть и в бою,
Пока с землей и солнцем не в разлуке,
Ведь мнится лучший век в родном краю,
Рука еще друзей сжимает руки!

17 сентября 1880

СОВРЕМЕННАЯ ПЕСНЯ

Она не детская забава
И не бесплодная мечта,
Не та, не знающая славы,
Неопытная красота,

Не ласка сердца молодого,
Не ветра шум, не шепот волн,
Она — решительное слово,
Зов духа, что величья полн.

Народ в беде соединяя,
Она, как колокол, зовет —
Недаром песня боевая
Под градом пуль нас бережет.

Она — зажженная лучина,
Сердца дарящая теплом,
Прогресса первая пружина
В своем упорстве огнем.

Она не в злате, не в порфире,
У ней простой и скромный вид,—
Она работница, и в мире
Свой неустанный труд вершит.

В глубинах сердца боль скрывая,
Она не глохнет и поет,
И жизнь земную отражая,
Жива, как трудовой народ.

Она горда и перед тучей
Не склонит никогда чела,
Как на кургане дуб могучий,
Как среди бурных волн скала.

В жизнь проходящих поколений
Она бросала чистый взгляд,
И перед нею, словно тени,
Прошли года — за рядом ряд.

Она людского горя знала
Глубокий ужас с давних лет,
Болела, мучилась, страдала,
Пока на ясный вышла свет.

Так песни скромной не судите
За простоту ее речей,
От всей души ее любите,
Свое отдайте сердце ей.

Не бойтесь, коль порою стоны
Сквозь песни строй до вас дойдут,
Сердец страдавших миллионы
В той песне дружным боем бьют.

Прислушайтесь к тому биению,
Тревожащему мрак ночной,
Любите жизнь, ее горенье,—
И песня станет вам родной.

11 ноября 1880

СМЕРТЬ УБИЙЦЫ

(Из галицких картинок)

Мужик кончался. Что за диво?
Они ведь тысячами мрут,
Надеясь то добыть за гробом,
Чем жизнь их обделила тут.

Вот так и он. Сошлись соседи,
Про всё толкуют чередом,
Детей, уж взрослых, утешают.
Как вдруг старик сказал с трудом:

«Покаяться попу хотел я,
Да передумал, что скрывать?
Один лишь грех мне лег на совесть,
Да ведь его попу не снять.

Грех перед миром — и на людях
В нем повинюсь, а вам — судить.
И, как вам скажет совесть ваша,—
Винить меня или простить.

И вы, мои родные дети,
Вы тоже слушайте, чтоб знать,
Как вам — худым иль добрым словом —
Отца-убийцу поминать.

Да, я убийца. Но постойте!
Вот скоро сорок лет пройдет
Как грех на совести ношу я,
А он мне совести не жжет.

Так вот, почтенные соседи,
Убийство на душу я взял!
Простил ли бог мне иль за гробом
Воздаст, что тут мне не воздал?..

Ведь знает всяк — за душегубство
Сторицей платит он всегда...
Суда я божьего не знаю,
Но не боюсь его суда.

Еще при панщине то было,
Давно былъем всё поросло,—
Под панскою пятой дрожало,
Стонало стоном всё село.

А был наш пан — что зверь твой лютый,
Хоть человеком и звался.
Как он над горем насмехался!
Что крови нашей напился!

Бывало, вечером с работы
К крыльцу придем и станем в ряд,—
Выходит пан чинить расправу,
А люди наперед дрожат.

Виновного к столбу привяжут,
И все плюют в него гуртом;
Не плюнешь — пан влепить прикажет
Тебе раз двадцать пять кнутом.

Чуть кто промешкал на работе —
Уж пытки не минует тот:
Кого в крапиву бросят голым,
Кому набьют землю рот.

Он для своей забавы глину
Месить сгонял с села девчат
И тешился, как в ней по пояс
Девчата вязнут, а молчат.

Как грабил нас, как издевался,
Веревки вил из наших жил,
Работой нашей обжирался!
Народ терпел и всё сносил.

И я терпел, но всё ж терпенью
И моему конец настал
В тот час, как пан мою невесту,
А вашу мать,— в покои взял.

Меня же он, шептались люди,
Задумал в рекруты отдать...

Я знал — беды не миновать мне,
И случая решился ждать.

Назавтра ж, глядь, меня с другими
Погнали, словно бы в страду,
В господский сад — дорожек новых
Пан захотел нарыть в саду.

Приказчик нас развел, отмерил —
Что за день каждому вскопать...
Попал в такой я закоулок,
Что в нем меня и не видать.

Боярышник направо, груши,
Сарай каретный — за спиной,
И сбоку узкая калитка...
Ну, стал я. Тишина, покой...

Сквозь листья солнышко мигает,
Вьет золотые завитки...
Стою один, и тяжело-тяжко
Вдруг сердце сжалось от тоски.

Я заступ выронил, подумал:
Бог весть, придется ли хоть раз
На белый свет еще мне глянуть?
И слезы брызнули из глаз.

Вдруг ветка — хрусть! Я озираюсь —
Передо мною, красен, хмур,
Стоит сам пан, дрожа от злости,
В руке сжимает толстый шнур.

«Вот, — крикнул, — пес, твоя работа!»
Шнуром взмахнул над головой.
«Один конец!» — в уме мелькнуло,
Хватъ за руку я, сам не свой,

И, вырвав шнур, его в минуту
На панской шее захлестнул
И пана — охнуть не успел он —
На ветку груши подтянул.

Потрепыхался пан с минутку...
А я — давай бог ноги прочь,
Встал в угол, весь трясусь, копаю,
Стараюсь страх свой превозмочь.

Гляжу я: ни души, все тихо,
А пан висит. Я — в голос тут:
«Пан удавился! Помогите!»
Приказчик с кучером бегут,

Бегут работники и слуги...
Теснятся к груше и глядят,
Остолбеневши,— не спасают,
Не вынимают, а молчат.

А после дворя разбежалась
Во все концы — ну просто страсть!..
Одни украденное прячут,
Кто ж не накрал — спешит украсть.

А пани даже и не вышла,
Узнав, что пан висит в петле,
Внесли его мы сами в сени
И положили на столе.

Моя ж Аришка услышала,
Что пана нет,— и, как была,
В окно скорей — покой был заперт --
Да без оглядки вдоль села

Домой пустилась, словно гнались
За ней, на печку забралась
И до ночи там просидела...
Так разом вдруг оборвалась

Цепь наших бед. И хоть один бы
О смерти ката пожалел!
Меня допрашивать не стали,
А сам я — словно онемел».

Умолк старик. Стояли люди,
Как будто туча давних бед

Заволокла их души грустью...
«Ну что ж, виновен я иль нет?»

И так ответили соседи:
«Сам бог, видать, тебя простил,
Прощает и мирская совесть».
Тут луч улыбки прояснил

Лицо убийцы. И, как зорька
Заходит тихо над селом,
Так тихо, радостно, покойно
Заснул убийца вечным сном.

1881

ЛЕСОРУБ

(Из народных преданий)

По тропам жизни я блуждал немало,
Добра и правды страстно я искал,
В них веруя, как в высшее начало.

И вот я в чашу темную попал:
Дороги нет, вокруг лишь бор косматый;
Страх все сильнее сердце мне сжимал.

А с запада уже неслись раскаты,
Сверкали молнии... У сердца я
Спросил: «Скажи, меня ведешь куда ты?»

Кромешной тьмой тогда вся жизнь моя
Мне показалась; не было мгновенья,
Что бы прошло, отравы не тая.

И крикнул я в тревоге и смятении:
«Кто выведет на лоно тихих вод
Меня от этих бурь и возмущений?»

И вот гляжу: сквозь бурелом идет
Уверенно, в простом кафтане синем,
Работник. «Брат, куда твой путь ведет? —

Я закричал.— Как счастлив я, что ныне
Сама судьба свела меня с тобой,
Чтобы меня ты вывел из пустыни!»

«Идем!» — сказал он; силою живой
Его вся стать могучая дышала.
Я как во сне шел следом, сам не свой.

В руках топор держал он и завалы
Сухих деревьев, елей и осин
Там, где нога, казалось, не ступала,

Где мне пришлось бы, будь я здесь один,
Назад вернуться,— твердою рукою
Он рубал, и шли мы меж руин!

В яру холодном, там, где под скалою
Ручей, бурля, нам преграждал проход,
Он вновь рубил; шумя густой листвою,

Валился дуб,— мы проходили вброд.
На это я смотрел и удивлялся.
Лес поредел, а мы всё шли вперед.

Простор светлее после тьмы казался.
Мы на поле широкое пришли.
Куда бы взгляд вокруг ни устремлялся,—

Не достигал пределов той земли.
Он пролетал, преграды не встречая,
Не видя троп, что б в села нас вели.

Но, пристальней вглядевшись, различаю,
Что на поле и тут и там стоят
Подобья черных птиц, а что — не знаю.

Их неподвижный, бесконечный ряд
Как по линейке вытянут: чем дале,
Тем больше их насчитывает взгляд.

Мы к этим черным точкам зашагали,
Но, подойдя, я с ужасом узнал:
Не птицы — виселицы там стояли.

На каждой ветер труп еще качал.
Забилось сердце в муке и тревоге,
Но проводник спокойно мне сказал:

«Таков наш путь! Той не страшись дороги,
Которой лучшие из лучших шли!
Святой земли коснулись наши ноги!

Склони главу!» И оба мы в пыли
У виселицы на колени пали,
Свои сердца горé мы вознесли.

Когда же, помолившись, снова встали,
Топор мой провожатый в руки взял
И размахнулся: разом затрещали

Тут виселицы; глухо застонав,
Степь содрогнулась, в небе загремело,
Исчезли трупы, чистый путь лежал.

Мой проводник пошел вперед. Несмело
И я за ним. Шли не один мы час,—
Но вот на поле что-то зачернело,

Как будто жук навозный. Всякий раз,
Как мы смотрели,— больше становился,
И вскоре видим — церковь возле нас.

Пылали свечи. Медленно струился
Кадильный ладан перед алтарем,
Напев тоскливый к небу возносился.

На алтаре, пред тучным божеством,
Сердец горячих, ранами покрытых,
Дымилась груда; золотым кольцом

Прикованный и тернями повитый,
Лежал там Разум; благостно попы
Уж на него точили нож о плиты.

Гремела песнь: «Блаженны все столпы,
Что, и не видя бога, верят свято,
Что лобызают след его стопы,

А сами поднимают нож на брата!
Наш бог — затоптанная в грязь Любовь,
Убитый Разум! Ныне, как когда-то,

Во имя бога тащим на убой
Любовь и Разум. О прими, наш боже,
Тот дар, что мы слагаем пред тобой!»

И проводник сказал мне: «Это — ложе
Сна вечного, заклётой злобы глас,
Той темноты, что светом стать не может!»

И, камень взяв, лежавший возле нас,
В церковное он бросил средостенье,
И то же сделать мне он дал наказ.

Загромыхали о стены камень;
Он топором опоры подрубил;
И повалилось с грохотом строенье.

Земля тряслась, всё небо мрак покрыл,
И в третий раз вокруг нас загремело.
Я, содрогаясь, спутника спросил:

«Да кто же ты и что творишь за дело?»
Он рек: «Я лесоруб, ты видишь сам!
Путь прорубаю воле, правде смело.

Ты хочешь? Я топор тебе свой дам.
Как я служу, служить ты будешь миру!
В том цель твоя, и путь лежит твой там!

Пойдешь?» — «Пойду!» И он мне дал секиру.

1882

* * *

Когда разлука милых ждёт
Хотя бы на один часок,
То незабудку подает
На память о себе дружок.

Люблю и я. Пылка, трудна,
Нерадостна моя любовь,
Жестокой немощью она
Впиталась в кость мою и кровь.

Но пусть добычею врагам
Сегодня станет жизнь моя,
Тому, кого люблю, не дам
На память незабудки я.

Народ, забудь меня, когда
Дождешься вольного труда,
Своих лугов, своих полей
И в хате заживешь своей.

Когда в тебе не будет боле
Ни алчущих, ни бедняков,
Ни удрученных злой недолей,
Ни бар спесивых, ни рабов,

И мысль сынам твоим блеснет,
И чувства им расширят грудь,
И счастлив станешь ты, народ,—
Тогда ты про меня забудь!

1883

* * *

Орудия ухали с ревом,
И кровью дымилась заря,
Мы полчищем были «царевым»,
И шли мы в огонь «за царя».

Мы шли на убой, как скотина,
Без воли, без слов! Я шагал,
И сердце мне грызла кручина,
И тело мне страх обжигал.

Скорбел я о том, что врагами
Был вынужден тех называть,
Которые гибли рядами,
С пути не сходя ни на пядь.

О, как я жалел их! За волю,
За правду боролись они,
Я братски делил с ними долю
В былые, весенние дни.

Я был между ними вначале,
Что думали, думал и я.
А нынче... стеснили и сжали
Тяжелые думы меня.

У деспота я в услуженьи,
Они ж мне навстречу, вот тут,
В последний свой бой без смятенья,
Без сил, без надежды идут.

Как будто клещами стальными
Сомненье мне стиснуло грудь:
«Не здесь твое место, а с ними,
Идущими в гибельный путь».

Я мучился в тщетном стремленьи
Разрушить невидимый гнет.
Вдруг музыка взвыла... затменье
Настало... В атаку, вперед!

1883

* * *

Мне кажется ночной порою,
Среди душевных тяжких мук,
Что конь несется подо мною,
Поводья падают из рук.

И я скачу в степи открытой,
В тумане даль видна едва,
Земля лишь стонет под копытом,
Шумит увядшая трава.

Тревога сердце мне сжимает,
А крик мой в горле онемел,
В груди дыханье замирает,
И, мнится, мозг оцепенел.

А конь как вихрь, а степь как море,
Меня, как щепку, мчит вода...
А ты, сжигающее горе,
Прочь исчезаешь ты тогда!

12 декабря 1883

**В 23-ю ГОДОВЩИНУ СМЕРТИ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО**

Поклон тебе, певец народной доли,
От миллионов, для которых жил,
От Украины, плачущей в неволе,
Свидетелем которой сам ты был!

Поклон твоей могиле! Разрушает
Ее коварство, ложь, что так слепа!
Напрасно! К ней, хоть злоба процветает,
Не зарастет народная тропа!

И страшно им, что ты опять проснешься,
Что не истлел в могиле, не затих,
Что в должный час на родину вернешься,
Ее разбудишь громом слов своих.

Им страшно, что под кровлею из глины
Не кроется ни копий, ни ножей
Старинной славы, силы Украины,
Которая вот-вот вернется к ней.

Им страшно, если крест подгнивший, хилый,
Знак всех обид и многолетних пут,
Вдруг обновится над твоей могилой
И с Украины цепи упадут.

Вот и глумятся над твоей могилой,
Тебя укрывшей от змеинных жал,
Чтоб даже память о тебе остыла
В сердцах народа, что века страдал.

На тот язык, которым пел и плакал
И клял ты зло и возвещал любовь,

Толпа лжецов, как гончая собака,
Бросается и травит вновь и вновь.

Тиранов гнев и злоба всемогущих!
Подписан где-то, может быть, указ:
Твой прах «как неблагонадежный» лучше
«Препроводить» в Сибирь иль на Кавказ.

Слова ж твои, отраду в нашем горе,
Из сердца вырвать, в памяти спалив,
И вычеркнуть поэта из истории,
И объявить: «Шевченко — это миф».

Да нет — не «миф!» От дуба от степного
Разросся целый лес, могучим стал.
Ни грома и ни вихря нет такого,
Что бы его развеял, разметал.

Да нет, указы и доносы ваши
Лишь приглушат твой стих, но не убьют!
И из-под гнета их сильней, чем раньше,
Услышим правду вечную твою!

Уж скоро засияет свет над нами!
Счастливые судьбой, со всех сторон
Свободной Украины мы рядами
Пойдем к твоей могиле на поклон.

1884

ПОДГОРЬЕ ЗИМОЙ

«Подгорье родное, любовь ты моя!
Под снежной густой пеленою,
Как будто красавица мертвая, ты
Лежишь, не дыша, предо мною.

Всё небо покрылось туманом густым,
Туманом насупились горы,
И речка под снегом уснула, и лес
Былые забыл разговоры.

Морозом трескучим сковало тебя,
Тяжелыми льдами прижало.
В глубоких сугробах заглохло село,
Как будто в нем жизни не стало.

Лишь месяц на землю глядит сквозь туман,
Как факел горит похоронный,
И волка голодного слышится вой,
Как плакальщиц горькие стоны.

Так что ж, неужели здесь вымерла жизнь
И жадно в борьбу не вступает
Со смертью всесильной, с туманом густым,
Ужели ты вправду спишь сном гробовым,
Подгорье, земля дорогая?»

Так думал я ночью, дорогой глухой,
К далекой стремился я цели,
И фыркали кони, и в твердом снегу
Полозья, как змеи, шипели.

Долина Подгорья казалась кладбищем,
Широким и мертвым простором,—
В морозе, в тумане ни крыл, ни приюта
Для мысли, для сердца, для взора.

Закутался я в немудрящий кожух,
И мысли безрадостны были —
О крае, о людях,— туман и мороз
Тоску на меня навели.

Я думал о тьме, что по селам царит,
О жизни голодной и бедной,
О детях больных, что тут сотнями мрут,
О горе людей беспросветном.

Я думал о тысяче пьавок людских,
Что люд истязают и душат,
О тысяче кривд, и неправд, и обид,
Что рвут и грязнят его душу.

Я думал — ну как из-под этого льда
И мыслям и духу подняться?
И как же народным порывам живым
Вот в этом аду разгораться?

Полозья шипели, как змеи, в снегу,
И кони копытами били
И снегом швыряли. Я жался и мерз,
И тяжкие думы томили.

Декабрь 1885

* * *

Взгляни, я победил, краса-девица!
С разбитого спасался судна я,
Средь диких волн бушующих, ревущих
Боролся я со смертью за жизнь.
Больной, продрогший и тревоги полный,
Средь шума страшных волн, слабея, руки
Я жадно простирал к пустой скале,
Что гордо твердую главу вздымала
Над клетотом и адом.

Я молил

Ее стенаньем, взглядом, не словами —
О помощи, опоре. Но куда там!
Окружена гремящим валом пены
И мглою брызг сверкающих, в которых
Ломались солнца искры и играли,
Как радуга в брильянтовом уборе,
Нарядная, с высот она взглянула
На бедного пловца и, усмехнувшись,
Сказала: «Не надейся ни на что!»
Но нет, я победил, краса-девица!
Пловец, убитый горем, сил лишенный,
Не потонул, а выбрался на сушу.
Из глубины израненного сердца
Извлек тогда могучее он слово
И вбил в скалистую сухую грудь,
В твое сухое сердце. И отныне
Ты не забудешь бедного пловца;

И взор его молящий и бессильный
Навек стоять укором тяжким будет
Перед твоею бедною душой
Как память об утраченном блаженстве,
Тобой не совершенном добром деле...
Вот в чем я победил, краса-девица!

27 ноября 1887

МАЙСКИЕ ЭЛЕГИИ

1

Ты меня мучишь, весна! Рассыпаешься блестками солнца,
Теплым дыханьем поишь, манишь в простор голубой!
Легкие шарики туч погоняя по ясному небу,
Шелковой пряжей из них дождик струишь на поля.
Горсточку серой земли ты подбросишь, играя,

на воздух —

В воздухе вмиг из нее птичья рассыплется трель.
Криком своих журавлей ты наводишь сердечную смуту,
Сон о привольных краях — счастье далеком моем.
Ты лебединым крылом поднимаешь хрустальные

волны —

Слышу их радостный плеск в даях лазурной реки.
Вижу, как чайкою ты над глубокой трепещешь водою,
Как над широким Днестром гнешься упругой лозой.
Ты меня мучишь, весна! Миллионами красок и линий,
Всем своим видом кричишь: воля, движение, жизнь!
Словно былинку, меня увлекаешь ты в эту стремнину,
Новые чувства родишь в сердце увядшем моем.
Ты освещаешь пустырь; ты бесплодные будишь желанья;
Нежно качаешь в ветвях птички пустое гнездо;
Голову низко склонив, раздуваешь погасшее пламя;
Посвистом в рощу зовешь, словно мой друг молодой.
Нет, уж не мне там гулять, в этой роще, любимый мой
сокол!

Зайцем веселым не мне в яркую зелень нырять!
Сердце трепещет еще и в груди еще кровь не остыла,
Но под конец моих лет тягостно жизни ярмо.

Грез безрассудных табун по широкому носится полю,
Гривы по ветру, и ржет, звонко копытами бьет.
О, эти грезы мои, легкокрылые пестрые дети,—
Надобно твердой рукой их за поводья держать.
Миг лишь — и посвист бича — и жестокое слово:

«На место!..» —

К делу! И чары ушли... Ты меня мучишь, весна!

II

Видел рисуночек я и забыл уже, где его видел.
Чей он, я тоже забыл,— Беклина иль Мейсонье.
Легкая ракушка там на четверке кузнечиков мчится,
Два шаловливых божка правят жемчужным возком.
Пурпуром, златом светясь, темно-синим сапфиром
сверкая,

Ввысь от земли устремлен, праздничный стелется путь.
Тут же и поле внизу, прошлогодним бурьяном покрыто,
Пара измученных кляч тянет там плуг за собой.

Пóтом и пылью покрыт, всею грудью на плуг налегая,
Ташится следом за ним сгорбленный пахарь-бедняк.
Но уж амуры его за одежду, смеясь, ухватили,
Тянут, влекут и зовут в свой быстрокрылый возок.
С ужасом смотрит бедняк на свою сиротливую ниву,
На лошаденок своих и на мозоли свои,
А уж нога поднялась и не слушает больше рассудка,
Глупая! Миг лишь один — вступит в жемчужный возок.
Вот экипаж твой, весна! Ты одна виновата, коль
сердце

Снова, не внемля уму, с верной дороги свернет.
Видно, пленилось оно светозарным полетом Икара,
Словно забыло совсем, чем он окончил — Икар!

III

Нет, боженята, уж вы в провожатые мне не годитесь:
Слишком уж вы горячи, слишком вы скоры в езде.
Слишком в вас страсти кипят: на минуту засветится
пламя,

Вам же в уплату за то бурю и гром подавай,

Слишком, голубчики, вы патетичны и слишком,
пожалуй,
Замкнуты в собственном «я». Разве мне это к лицу!
Я ведь бывалый моряк — каковы эти громы и бури,
Знаю довольно! Пускай ищет себе их Зевес!
Что в этом собственном «я» человечество часто
скрывает —

Где-то глубоко на дне, — знаю, голубчики, я:
Тени утраченных грез и стремлений напрасных осколки,
Мелких желаний следы, трупы разбитых надежд.
Там же вдобавок живут слизняки самолюбья, медузы
Зависти, черви злодейств, кефалоподы вражды.
Нет, боженята, не вас в провожатые я приглашаю:
Пусть меня солнце ведет, ясность и радостный смех.
Пусть уж какой-нибудь дед, смехотворец, старик
бородатый,

Гонит упряжку мою — юмор, сияющий нам.
Некуда нам поспешать — не уйдет от нас яма-могила;
Некого нам проклинать, некому слать нам укор.
Страсти уж в нас улеглись, скороспелки иллюзий
остыли,

Зажили раны судьбы, шрамы одни лишь болят.
Но из житейской борьбы мы не вышли калеками: сердце
Не разучилось любить, искры не тухнут в глазах.
Ну-ка, дедусь, натяни лучезарные эти поводья,
Пусть романтизма возок в край реализма махнет!
Солнышком майским пускай наше слово вокруг
заиграет,

Горести майским дождем вновь опадут на поля.
Наша любовь словно май, пусть и греет она
и голубит,
Гнев наш пусть будет как гром, уничтожающий мразь,
Но не к лицу нам вражда и не к лицу нам неверье!
Пусть вместо скорби звенит смех, орошенный слезой.

IV

Быстро исчезли снега, растопила оковы мороза
Речка и вниз понесла — шум половодья вокруг.
Мерзлая шкура земли отогрелась, и шелковой шерстью
Солнце одело ее, сладко смеясь в вышине.

Ожил и лес, и хотя еще голыми машет ветвями,
Но уже, полные сил, почки набухли на них.
Только в селеньях зима полновластная правит:

не слышно

Радостных криков детей и понуканий крестьян,
Мокро еще на полях, для скотины не видно поживы;
В стойлах скотинка стоит, с горя солому жует;
Дети у окон сидят, побледнели они и ослабли,
Только глазенки горят, словно во тьме угольки.
Молча из окон глядят на дорогу печальные дети
С грустным вопросом одним: скоро ли высохнет

грязь?

Солнце, когда ж ты осушишь поля, и луга, и овраги?
С треском бутоны раскрыв, выпустишь гладыша

цвет?

Солнце смеется, и небо смеется лазурью и манит —
Бедных из хаты на свет манит коварно детей.
Вот в рубашонках одних выбегают на улицу дети,
Небу и солнцу несут светлую стаю надежд.
Но еще тянет с горы ледяное дыхание ветра —
Злобное жало зимы тщетно скрывает весна.
Жалкие тельца детей, изможденных сиденьем

за печкой,

Голодом и духотой наглухо замкнутых хат,
Клонятся, стонут, дрожат под дыханием злобного

ветра

И исчезают опять, окоченевшие вмиг.

Личики стали бледней, посинели и руки и ноги,
Только головка горит, только пылают глаза.

Ночью же новость в селе: ковыляют от хаты до хаты
Горе и скорбь: дифтерит, тиф, скарлатина, коклюш.

v

Вот уж исчезла с горы снеговая блестящая шапка —
Это Георгий святой злого дракона сразил.

Аист клекочет на крыше; с зеленых лугов

под застрехи

Ласточки, строя гнездо, в клювиках глину несут.

Вышла скотина на луг, босоногие бегают дети —

Те, что весной дифтерит чудом смогли одолеть.

Медленно, как муравьи, разрывая разбухшую землю,
Лезут коняги, с трудом тягостный плуг волоча.
Ныне впервые и я, уплатив свою дань нездоровью,
Вышел на свет и едва ноги мои волочу.
Кругом идет голова, и трясутся колени и руки,
Словно сквозь сито, гляжу на воскресающий мир.
Но как целебный бальзам, расцветающей жизни
дыханье

Льется в усталую грудь и воскрешает меня.
И в изнемогшей душе — изнемогшей при виде
болезней,
Горя и слез, что досель русским зовется селом, —
Снова растет теплота, и встречаешь, как братьев
родимых,
Всех, кто живет на земле, любишь и пестуешь их...
.

1901

ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ИЕРЕМИИ

III

Гляжу кругом... Сады и вертоград,
За тучной нивой — пастбища и степь,
И дальних гор волнистые громады,
Звено к звену, как розовая цепь.

Живящий сок под солнцем смоквы точат,
И тамариски пряный запах льют,
В лучах цикады сладостно стрекодут,
Из Иордана скалы воду пьют.

О, край мой — перл! К божественному крину
Причислен ты один на всей земле,
Как вено дан возлюбленному сыну
И вознесен, как крепость на скале.

Тебя, мой край, люблю, к тебе зываю,
Как я люблю красу твою, твой люд!
Лишь одного всем сердцем я желаю:
Тебе отдать и жизнь свою и труд!

Я жизнь отдам, тебя благословляя,
Я всё отдам, чем жизнь моя светла,
Приму всё горе и умру, страдая,
Чтоб только ты не знал руин и зла.

Что я? Я червь, пылинка, лист летящий —
Он рос, увял... ему недолго жить.
Лишь цвел бы ты, как дуб над темной чашей,
А я собой не стану дорожить.

1906

—
* * *

Грусть проходит по голой горе,
Как туман по долине,
Сеет грезы, надежды свои
По широкой пустыне.

Разлетайтесь, надежды мои,
Как репей вырастайте,
Встретив сердце живое,— тогда
Корни глубже пускайте!

Глубже корни пускайте в него
И никак не щадите,
Против плесени мертвой и сна
К мятежу дух зовите.

1906

* * *

Не молчи, если ложь незаконная
Велегласно повсюду кричит,
Если, горем чужим упоенная,
Зависть лютой осою жужжит,
И шипит клевета, как гадюка в ночи,—
Не молчи!

Говори, если сердце твое поднимается
К свету правды, добра и ума,
Пусть разумного слова пугается
Близорукость, бездарность сама.
Темных гор темноту, глухоту озари —
Говори!

3 февраля 1916

П О Э М Ы

ПАНСКИЕ ЗАБАВЫ

Поэма из последних лет панщины

*Посвящаю памяти моего отца
Якова Франка*

В дни униженья и недоли,
Гнетущей душу темноты,
В тяжелой крепостной неволе
Родился, рос и вырос ты.

Пускай жестокая невзгода
Мертвила дух, но ты горел
И жил для своего народа,
Ты не оглох, не очерствел.

Без думы о себе, ты смело
И честно, так, как только мог,
Боролся за мирское дело
И общины права берег.

Ты шел, огнем любви согретый,
И вынес испытаний гнет,
И сохранил, пройдя сквозь беды,
Любовь народа и почет.

И если я хоть искрой малой
Того огня могу светить,
Стремясь, отец, как ты, бывало,
В добро всё злое претворить,

И если, победив невзгоду,
Не очерствел я, не упал,
А встал, чтобы служить народу,—
Всё это ты мне завещал.

И с именем твоим по селам
Пусть эта песня вдаль идет,
К тем бедным хатам невеселым,
Где горе утешенья ждет.

Пусть там, сияя, укрепляет
Тот вольный дух, что не дрожит,
Что всех любовью обнимает,
Всего превыше правду чтит.

I

НАРОДНЫЕ И ПАНСКИЕ ЗАБАВЫ.—
ПРЕЖНИЕ ПАНЫ.— КАРТЫ И ОХОТА

Шутите, детушки, бог с вами!
Теперь привольно вам шутить.
Когда мы жили под панами,
Шутили так они над нами,
Что нам вовеки не забыть!
За всякую, бывало, малость
Нам не на шутку доставалось:
Ударишь пса, что из руки
Хлеб вырвет, сноп ли плохо свяжешь,
Воз опрокинешь, слово скажешь,—
Три шкуры спустят гайдуки.

Паны ведь были не такие,
Как нынче. Чтó теперь паны?
Хоть носят платья дорогие,
Хоть сыты, словно кабаны,—
Но каждый ходит осторожно,
Беду боится разбудить;
Так и глядит, где б раздобыть
Ему деньжонок было можно,
И каждый думает тревожно,
Что только в долг он может жить,
Когда карман совсем порожний.

Жизнь панская иной была,—
Так каждый пан ходил спесиво
И вел себя так горделиво,
Как будто был князьком села.
В те дни и мысль-то не могла
Возникнуть, чтобы жизнь иною
Вдруг стала и вразрез пошла
С привычной жизнью вековою.
Пан с панщиною той порою
Жил неразлучно и счастливо.

Глаза испуганными станут
У мужика, лишь только глянут
На пана,— весь он задрожит,
Хоть пан не злится, не кричит!
Зачем кричать? Себя тревожить?
Так гордо царь теперь, быть может,
Не ходит по своей столице,
Как пан тогда селом ходил.
Красотка-дочка у вдовицы —
К себе ее! Загородил
Хозяин двор: «Эй ты, скотина,
Чьи прутья ты рубил для тына?
Изволь мне их во двор свезти
Иль тотчас деньги уплати!»

И кара панская, и милость —
Всё было словно божий суд:
Падет на смиренный, темный люд —
Не пикнешь, что бы ни случилось!
И панские смеялись очи,
И не было конца пирам,
И шла охота по лесам,
Звенели песни дни и ночи,—
Всё было по сердцу панам,
До игр и выдумок охочим!
А в карты как тогда играли!
И нынче поиграть не прочь
До одуренья день и ночь,—
Без карт ничто ведь, чтоб вы знали,
Забавы панские. Вам, дети,

Быть может, не придется встретить
Такого игрока сейчас,
Что, на одну поставив карту
С червонцами до верха чарку
И проиграв ее тотчас,
Не задрожал бы ни на волос,
И даже не понизил голос —
Карманом только бы потряс.
Да это, детки, и не диво!
Из пота нашего и мук
Шло золотое это жниво
Столетиями для панских рук.
Дух рыцарский с военной славой,
Со всей историей кровавой,
Всю роскошь, все пороки света —
Ни в чем не ведал пан запрета —
Охоту, карты, прибаутки,
Разгул и пьянство, панский крик,
И милость панскую, и шутки —
Всё вынес на спине мужик.

II

НОВАТОРЫ.— КОНСЕРВАТОРЫ.— НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Все понимали: приближались
Те дни, когда со всех концов
Всё явственнее раздавались
Призывы новых голосов,
Звучало: «Равенства! Свободы!..»
И даже сыновья панов
Шли с утешением к народу
И, как отраду в дни невзгод,
Свет этих слов несли в народ.
Всё ж как-никак встречались люди
Среди панов, что, хоть не смело,
Но лучше понимали дело
И то, что панщина не будет,
Как нынче, им служить всегда.

Но как иной, в лесу блуждая,
Кричит, напрасно надрывая

И грудь и горло иногда,—
Так у панов не находили
Слова те отклика, лишь гнев
И раздраженье в них будили,
Ничем их сердца не задев.
Паны бывали и такие,
Что сокрушались: «Вновь крутые
Для нас настали времена,
Не только панщина крестьянам,
Но разоренье и для пана
Бесспорно принесет она!»
И начинали год за годом
Считать, какие бы доходы
Мог принести наемный труд.
Но изменить они на деле
Порядков старых не хотели,
Освободить несчастный люд.

Ведь собственное царство людям
Всего дороже. И как знать,
Что может им порядок дать
Свободный, новый, тот, что будет?
Над тем же, кто, кляня невзгоды,
Твердил: пройдет еще три года
И панщины нам не видать,—
Смеялись: «Есть на всё управа,
И нашей собственности право,
И то, чем каждый пан владеет,
Какая власть отнять посмеет?»

Так до последних дней паны,
Довольные своей судьбою
И панской гордости полны,
Кичились силою былою.
И, как июльскою порою,
Когда закатный небя край
Укроет грозовая туча
И, надвигаясь, то и знай
Свергает гром с небесной кручи,
А рядом солнышко палит,
Как будто силы напрягая,—
Вот так, крестьянство угнетая,

Пан лютовал, о том не зная,
Что колокол, людей сзывая,
О новых днях им возвестит.

III

ПАН МИГУЦКИЙ — CUI VONO? ¹

Ко мне о тяжких днях бывшего
Воспоминанья чередой
Идут мучительно. Такого
Не дай вам видеть, боже мой! —
Как пан Мигуцкий жил в те годы
И как себя он забавлял;
Ценой страдания народа
Он эти шутки покупал.

Не для того я, чтоб вы знали,
Вам говорю про старину
Чтоб вы на детях вымещали
Отцов невольную вину.
Бог с ними! Вдоволь отомстила
Им собственная слепота,
И только память сохранила,
Что с паном связано, — вон та
Усадьба, где мы стены клали,
Которую он называл
«Моя твердыня», где дрожали
Дворовые и где звучали
Оркестры, где паны гуляли, —
Корчма там нынче в панской зале,
В ней не смолкает пьяный гвалт.

Бог им за наши все мученья
Теперь воздал. Их развлеченья
Припомнил я не для того,
Чтоб ненависть в вас пробудилась,
Чтоб жаждой мести осквернилось
Святой свободы торжество,
Но для того картины эти

¹ Кому на пользу? (лат.) — *Ред.*

Я вам сейчас припомнил, дети,
Чтобы они, открывшись вам,
Отваги придали сердцам.

Ведь не заснуло наше лихо:
То закричит оно, то тихо
Подкрадывается к селу.
Кто знает, может, доведется
Вам, дети, до того дожить,
Когда сама надежда рвется,
И выхода не остается,
И надо голову сложить!
Пропала правда, сгилла доля,
Закована цепями воля,
Дано неправде победить.

В такую-то вот пору, дети,
Вы повесть вспомните мою
И знайте — вам примеры эти
Я как наказ передаю.
В тот час, когда неправды лютой
Простерлась ночь, темным-темна,
В тот час, когда народ опутан
Тенетами, и мглой окутан
Народный дух, и мысль нема,—
Вокруг сплошная ночи тьма,
Такая, что сойдешь с ума,—
В тот час вы, дети, не теряйте
Надежд своих и твердо знайте,
Что в прах рассыплется тюрьма.
Неправде, злу не потакайте,
В неверьи рук не опускайте
И вызволяйтесь из ярма.

IV

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАНА МИГУЦКОГО.—
АРЕНДАТОР.— «КТО-ТО БУНТУЕТ»

Был пан Мигуцкий, пан богатый,
Хоть он одним селом владел.
И кто он родом был, проклятый,
Что так крестьян душисть умел;

Что драл с них подать неизменно,
Дни панщины считал отменно,
Минутки людям не дарил?
Богат был, люди голы были,
Зато паны его хвалили:
Хозяином хорошим слыл.

Зимой, когда в полях, бывало,
Работа до весны стихала,
Да и топор в лесу молчал,—
Он людям не давал покоя
И лед приказывал сохою
Пахать, чтобы мужик не спал.

Своих крестьян оберегал он
Не больше, чем коней, волов;
Чтоб не замерз мужик, давал он
Ему зимой три воза дров;
Весною хлебом помогал он,
Чтоб летом был мужик здоров.

Любил он мужиков здоровых,
Во всем служить ему готовых,
Тех, кто умел плясать и петь,
Но не любил крестьян богатых,
Неукротимых, тороватых,
А грамотных не мог терпеть.

«Пахать, косить мужик годится
И в пляске с девкою носиться,
Знать «Верую» и «Отче наш».
Ему ли за ученье браться?
Когда бы стал он с книжкой знаться,
Тогда б кто пану стадо пас?»

Хоть пан порядок беспощадно
В своем имении наводил,
Но сам он водку гнал изрядно
И то, что выгонит, делил
В своем селе по едокам —

На столько долей, сколько хата
Вмещала душ: юнцам, девочкам,
И детям часть, и старикам,
И каждому назначен паном
За эту водку был налог,—
Как бремя был он. Строго в срок
Мужик не заплатить не мог:
Хоть лей ее, хоть пей стаканом,
Но никому продать не смей!

Пан арендатору помог
Открыть шинок, и постоянно
Туда он музыкой людей
К себе заманивал. Здесь люди
Ум пропивали, армяки
И обувь, девушки — венки,
А женщины — свои платки;
Здесь войт людей, бывало, судит,—
Всё было шинкарю с руки.

И много лет вот так иль мало
Цвело здесь это ремесло,—
Но вдруг в шинке всё тихо стало!
Вдруг что-то на людей нашло,
И стало пану тут на горе
На них раздумье нападать,
Работу стали выполнять
Исправно, ни о чем не споря
(Не то нагайка плечи вспорет!),—
Да как-то тихо, молча так
И хмуро, словно бы глубоко
В душе грызет какой червяк
Или таинственная сила
Из мглы свой голос подает;
И каждый чувствует ее,
Но ничего не видит око.

Всем стала музыка постыла,
В шинок идут лишь те, кому
Наука пана в кровь всосалась.
Шинкарь в слезах бежит к нему:

«Не знаю, что с народом случилось,
Где деньги взять мне, не пойму!»

А пан и сам не знал покоя,
Всё это в людях замечал,
Сердился, бил, карал, кричал —
Да зря. Он ясно представлял,
Что это дело непростое.
Он знал: покуда ест и пьёт
Мужик и гнет в работе спину,
Пока тяжелый воз везет,
Во всем похож он на скотину,
И целый век в ярме живет,
И рад, коль пан ему дает
Зерна для посевного клина.
А как начнет, не взвидя света,
Он о недоле размышлять,
Начнет искать на всё ответа
И у людей просить совета,—
Ну как тут пану не дрожать?

Ведь мысль народа и стремленье —
Злой враг той жизни, чей размах
И чье богатство и цветенье
На поте и людских слезах
Основаны. И дни и ночи
Пан и вздыхает, и горюет,
И думает, и негодует,
Как будто он несчастье чует,
А то вдруг вскрикнет и подскочит:
«Здесь кто-то, видимо, бунтует!»

V

ВИНОВНИКИ БУНТА.— ПОЛЬСКИЕ ЭМИССАРЫ.—
ГАЛИЦКО-РУССКИЙ ЛЮД.— «ПОП БУНТУЕТ»

«Бунтует кто-то!» — говорили,
А кто тогда не бунтовал?
Чиновники панов душили,
Что революцию творили,
Паны ж неистово вопили,

Что люд чиновный подкупал
Крестьян, чтоб шляхту избивали!
Одни евреев обвиняли,
Тот иезуитов приплетал,
Кто говорил, что демократы
И коммунисты виноваты,
Кто эмиссаров называл.

А посреди всей этой смуты
Мужик стоял, нуждой согнутый,
Немой, слепой, он страшен был:
Он тишь застоя векового,
Ворвавшись, бурей оглушил,
Ударом гнева грозового,
Своих же братьев кровь пролил
И ею край свой обагрил.

Нет, это слишком очевидно:
Здесь чья-то грязная рука
Умышленно, исподтишка,
Со дна души людской постыдно,
Жестоко вскинув, собрала
Всё дикое и затемнила
Народный разум, заглушила
В нем доброе и подняла
Мужичьи руки для удара.

Хоть с дня тарновского пожара
Год минул, дни считая, жил
Ценглевич в Куфштайне, Дембовский
В земле над Вислой где-то гнил,
А в Львове голову сложил
На Гицлевской горе Вишнёвский,
Но всё-таки по краю шла
В народе смутная тревога,
Ходило слухов всяких много,
Благодарили утром бога,
Что ночь без выстрела прошла.

Как у больного лихорадка
Уносит силы без остатка,
И днем и ночью он дрожит,

На миг порою забываясь,
Не зная сам, чего пугаясь,
Лишь чувствуя, что всё болит,—
Так после той резни в броженьи
Два года край наш пребывал
И мира старого крушенье
Он тягостно переживал.

Но вот какое было дело!
Хотя наш люд в те злые дни
Нигде не затевал резни
(Про Горожану скажем смело,
Что были там страдать должны
По собственной вине паны,
Затеяв ссору с мужиками),
А даже кое-где вставал
И сам панов оборонял
И на мазуров шел с панами,—
Однако в стороне родной,
Как ни суди, у папа злого
Не лучше жизнь для крепостного,
Чем на Мазуршине самой.

Знать, думали: что было там
Вчера, придет сегодня к нам,
Ведь здесь же край для нас чужой!
И злые слухи не смолкали,
И в напряженьи всех держали
И в раздражении большом.
Как будто тучи вдруг нависли,
Вот-вот из них ударит гром,
Так нашей шляхте день за днем
Мужицкий бунт тревожил мысли.

Да и понятно почему —
Ведь в голове у них другое:
Крестьяне не идут в корчму,
Не надо водки никому.
«Бунтуют», — пан Мигуцкий воет.

Но кто бунтует? Перебрал
В уме он смелых и умелых,

Кого имел в виду и знал,—
Из них никто и никакого
Сомнения в нем не вызывал,
Чтоб заподозрить крепостного.

Не эмиссар ли проезжал?
И уж не ходит ли какого
Письма и слуха меж людьми,
Не собирали ли при этом
Людей для тайного совета?
Никто не знает. «Черт возьми!»
И так и этак размышляя,
Пан среди комнаты стоял
В раздумье, головой качая,
И вдруг тихонько засвистал.
Он подскочил, взмахнул рукою,
Ударил по лбу сам себя:
«Вот дурень! — крикнул.— Что со мною?
Зачем так бьюсь я сам с собою?
Кто мне вредит, народ губя?
Найду источник смуты этой,—
Я зря бунтовщиков терпел.
Источник этот близко где-то,
Его заткнуть я не умел.
Наиглавнейший эмиссар
Вот-вот, пожалуй, бунт раздует.
О, Sapperment! Warum nicht gar!¹
Да это ж, верно, поп бунтует!»

VI

СТАРЫЙ ГАЛИЦКО-РУССКИЙ ПОП.—
ПОП-УЧИТЕЛЬ.— АУДИЕНЦИЯ ПОПА У ПАНА

Был старый, смиренный поп у нас,
Из тех, не очень просвещенных,
В Холме иль Луцке посвященных,
Каких не встретите сейчас,
Что рядом с мужиком пахали,
Взглянув на панский двор, дрожали,

¹ Ах, черт! Почему бы нет! (нем.).— *Ред.*

Хоть пану кланялись порой
И низко, всё же твердо знали,
Что он им враг, что он чужой.
А пан, хоть их и не чурался,
Но вдалеке от них держался,
Он не говел, не причащался,
А если и случалось дело,
Что встретиться с попом велело,—
То он его в усадьбу звал,
Но в дом никак не допускал.

Попам корысти было мало.
Лишь всей и выгоды бывало —
На панщину не гнали их.
Надел от общины держали,
За требы, кто что даст им, брали,
Живя трудами рук своих.

Не думал старый поп заране,
Ему не снился даже сон,
Что день и час такой настанет —
И перед паном вдруг предстанет
Бунтовщиком заядлым он.
Но вот пришлось!

Был поп наш вдовым,
Уж много лет у нас он жил,
И вот однажды он решил,
Что ремеслом займется новым —
Учить детей. Хоть сам он знал
Не слишком много, но работать
Не мог уж в поле и считал,
Что их учить — его забота.

Не долго размышляя, стал
Он собираться с детворою,
Он летом в поле с ней гулял
И звал домой к себе зимою.
Детей не сразу он сажал
За азбуку или за чтение;
И пусть он в книгах понимал
Не всё порой и осуждал,

Бывало, книжное ученье,—
Он всё внимание детей
На сказки, басни про зверей,
А главное, на этот мир,
Великий, божий мир природы,
Он постоянно направляет.
Немалые он прожил годы,—
Про всё, что видел, всё, что знал,
Он мог рассказывать умело,
Мог объяснить любое дело,
Из жизни случай взяв любой,
Привлечь полезную науку,
Умел ребенка за собой
Увлечь, протягивая руку
Ему, чтобы вниманье в нем,
Живая мысль могла светиться.
И вот босая детвора
Бежала в дом к нему с утра,—
Овечки так, когда жара,
Бегут к ручью — воды напиться.

Но дело в том, что из села
В поповский дом, где больше света,
Не так уж книга их влекла,
Как яства щедрые стола,
И ласка, и слова привета.
В просторном доме, за столом,
Где поп и челядь всем гуртом
Сидели дружною семьею,
Шутили слуги меж собою,
Был поп для всех отцом родным,
Любого мог на ум наставить,
Учил, как жить, как делом править,
А дети слушали,— ведь им,
Привыкшим дома видеть голод,
Переносить и грязь, и холод,
И стук с рассветом у дверей,
И грубый крик: «А ну скорей!
Забыли розги? Выходите!» —
Привыкшим к бедности гнетущей,
К протяжной песне, сердце рвущей,
Такой, что не дает уснуть,—

Им столько здесь дано покоя,
Здесь всё приветливостью дышит,
Здесь грубых слов никто не слышит,
Ум детский крепнет сам собою
И так свободно дышит грудь.

Встают, выходят в сад, гуляют,
Потом присядут отдыхать.
Начнет учить их поп читать,—
Они из прутиков слагают
Большие буквы на песке,
А после книжечку в руке
Поп вынесет; и снова тут
Его ребята окружают
И в книжке буквы узнают,
Слова знакомые читают.

Где люди свой талант берут?
Не бог ли шлет им всемогущий?
Одним он посылает ум,
К вершинам знания зовущий;
Другим — рои крылатых дум,
Что как орлы летят за тучи,
Рук золотых богатство тем,
Кто им искуснее владеет.
Какой же дар достался всем,
Кто так учить детей умеет?
Всего вернее, дар их в том,
Что клад любви бесценный в нем.

Учителей немало знал я,
Немало в жизни жил с людьми,
А про такого не слыхал я,
Чтоб с маленькими мог детьми
Возиться так, как наш покойный
Священник. Не забыть, какой
Устроил праздник он достойный,
Когда на Пасху дети наши
Вдруг в церкви петь так стройно стали
И, чередуясь меж собою,
Они Апостола читали.

Народ гудел, как летом рой,
И матери в слезах твердили:
«Вовек мы радости такой
Не знали! Дети даром каши
Не ели! Глянь-ка,— говорили,—
Как выучил!» Тогда толпою
Отцы у церковки собрались,
Затем чтоб вместе обсудить,
Как лучше отблагодарить
Попа. Покуда совещались,
Уж к пану кто-то поспешил
Из дворни, чтобы всё сказать.

Пан в церковь вовсе не ходил,
Чтоб рядом с «быдлом» не стоять.
Но вот уж службу поп кончает.
Бежит от пана во всю прыть
Посланец: «Пан вас ожидает,
Он хочет с вами говорить».

Идет наш поп. Толпа стихает,
И среди этой тишины
Все чувствуют: беда лихая
Стряслась над ними без вины.
Все проводить готовы дружно
Попа, да он их удержал:
«Останьтесь! Пана злить не нужно»,—
Перекрестившись, он сказал.

Пошел. У церкви с куличами
Народ, толпясь, стоит и ждет,—
Вот уж обратно поп идет.
«Христос воскрес! Да что — бог с вами! —
Вы не идете по домам?
Не бойтесь, говорю я вам!
Пан лишь спросил меня, как смел я
Без спроса школу заводить,
А я сказал, что не имел я
На это права, что хотел я
Лишь частным образом учить
Их грамоте, совсем при этом
Бесплатно». — «Положить запрета

Я не могу на это. Дам
Один совет я добрый вам:
Вы лучше бросьте это дело!»

— «Его бы я не начинал,—
Так пану я тогда сказал,—
Когда б указа не успела
Мне консистория прислать:
Чтобы не только мы учили
Детей, но школы заводили».
— «Ну это как еще сказать!» —
Ответил пан, махнув рукою
Мне в знак отказа наотрез
Продолжить разговор со мною.
Не бойтесь! Я за всё в ответе!
Пускай придут на праздник дети
Ко мне. Идите, и толпою
Не стойте здесь! Христос воскрес!»

VII

«ЧЕГО-ТО ПАН НЕ СМЕЕТ». — «ЗАВЕДЕМ ШКОЛУ В СЕЛЕ». —
КОМИССАР-НЕМЕЦ. — ПАНСКАЯ НАСМЕШКА НАД КОМИССАРОМ. —
КОМИССАР БУНТУЕТ. — ПАН РЕАГИРУЕТ. —
ГЛУХАЯ ВОЙНА МЕЖДУ ОБЩИНОЙ И ПАНОМ

И началась тогда война
Между крестьянами и паном,
Была упорною она:
Ведь в первый раз пришла к крестьянам
Та весть, что пан в селе своем
Чего-то запрещать не смеет.
А мы веками, день за днем,
Как будто рожь под ветерком,
Пред ним склонялись, чуть повеет
Могучий ветер панских слов:
Мужик ведь должен быть готов
Исполнить все его веленья.
Когда же он изнемогал,
Терпеть не в силах униженья,
Он на чужбину убегал,
Хотя детей и оставлял
Еще на большие лишенья.

И вдруг: «Не смеет запретить!»
Ведь, значит, что-то есть такое,
Что пану не дает покоя,
Что может гонор укротить.

Казалось, люди оживали,
Прислушиваясь к тем словам.
В дни праздника и здесь и там
Об этом часто толковали.
«Нам надобно детей учить,
Нам пан не смеет запретить,—
Вот так отважно толковали
Те, что вчера еще дрожали,—
Нам надо школу завести!
Мы не последние на свете,
За что же будут наши дети
Ярмо такое век нести?»
Но ведь в мешке не спрятать шила,
И старики, боясь их пыла,
Твердили им со всех сторон:
«Чего вы так распетушились?
Все повторять вы научились:
«Не смеет». Ждите! Завтра он
Покажет вам! Вот погодите —
Посмеет! Лучше замолчите,
Чтоб не пришлось вам отвечать
За вашу глупость!»

Колебались,
Внимая старшим, смельчаки.
У многих ведь еще чесались
От панских палок синяки.
Но нам в лесу волков бояться
Пристало ли? И день настал:
Потолковали — и собратья
Решили в город, чтоб дознаться
У комиссара, чтоб сказал,
Возможно ль быть крестьянской школе
В селе их, против панской воли?

Был немец комиссар у нас,
Немолодой уже годами,

Смешной такой. Он в поздний час
В село к нам заезжал не раз
И всё водился не с панами,
А с мужиками. Киселю,
Борща, вареников и каши
Поест, беседует: «Люблю
Селянство я,— бывало, скажет,—
Шиву я с фами тесять лет
И полюбил вас! Топрый люд,
Та фот паны дрянные тут,
Вам тяжело, я понимаю.
Как фас прижмет его корысть,
Ко мне итите, не родея,
Я так попотчую злотея,
Што только пальцы будет хрызть».

Уж вот не знаю, почему-то
Всей кровью, всем своим нутром
Панов он ненавидел люто:
За то ль, что не умел в их тон
Бедняк попасть, что был меж ними,
Как сирота какой, чужим,
Они ж пренебрегали им
И часто шутками своими
Насмешки строили над ним.
А то между собой шептали
О том, что случай был, когда
Такую шутку с ним сыграли,
Что чуть не умер со стыда.
Быть может, слух тот был правдивый,
Что для забавы пан ретивый
Всего из-за бутылки пива
Чуть немца не убил тогда.

В те дни еще он молод был,
Но в люди кое-как пробился,
Панам усердно он служил,
С одним он даже подружился.
Меж панских дочерей одна
Была особенно красива,
Проворна, весела, шутлива,

С ним вовсе не была спесива,—
Была проказницей она.

И комиссар наш, пана зная,
Частенько у него бывая —
Сперва по делу, а потом
И гостем, приглашенным в дом,
Где с панночками он встречался
И хоть серьезно всё держался,
Но всё ж Манюсеньке признался,
Что был бы рад он всей душою
Назвать ее своей женою.

Слегка Манюся покраснела
И, улыбнувшись, онемела,
Потом ответила несмело:
«Pomów pan z matcią!»¹ — и ушла.
И он остался, поджидая,
А вскоре, тяжело ступая,
Сама хозяйюшка пришла.
«Wiem, to pan ma się do Maniusi.
To bardzo dobrze, ale musi
Pan z ojcem mówić, bo bez niego
Nie decyduję sama tego».²

Он через полчаса сидел
Уже у пана в кабинете
И в ожидании глядел
На тех гостей, что за столом
Сидели мирно за лабетом.
Он ждал и ждал. Часы бежали,
Но вот, прощаясь, гости встали
И все разъехались. Потом
Помещик подозвал лакея:
«А ну, Михайло, поскорее

¹ Поговорите с мамашей (польск.).— *Ред.*

² Я знаю, что вы любите Манюсю. Это очень хорошо, но вы должны будете говорить с отцом, так как без него я сама ничего не решаю (польск.).— *Ред.*

Бутылку пива принеси,
Стаканы, хлеба, колбасы.
Да чтобы на конюшне знали,
Дойди до конюха Гриня,
Чтоб комиссарского коня
Там поскорее оседлали!»

Всё сделано, как пан велел.
Помещик весело присел
За стол и не смолкая стал
Рассказывать немало вздора.
А комиссар всё ждал, молчал,
А пан знай пива подливал,
Но главной темы разговора,
Которой собеседник ждал,
Совсем касаться он не стал.

Вошел слуга и доложил,
Что конь стоит уже готовый.
Пан гостю пива вновь налил:
«No pij pan jeszcze do połowy!»¹
Тот выпил, поблагодарил,
Встал, помолчал, потом спросил:
«No jakże pan dobrodziej myśli
W tej sprawie, co mówila pani?»²
— «O proszę, proszę towar tani!
Dziś jeszcze, teraz zaraz w nosy
Zarządę wszystko, co w mej mocy,
Byśmy na dobre oba wyszli»³

И, больше не сказав ни слова,
Любезно гостя дорогого
Провел к коню и подсадил,
Как будто с дружеской заботой,

¹ Ну, пейте еще половинку! (польск.) — *Ред.*

² Ну что же, милостивый пан, вы думаете о том деле, о котором вам пани говорила? (польск.) — *Ред.*

³ О, прошу, прошу, товар дешевый! Сегодня еще, этой же ночью я сделаю все, что в моих силах, чтобы после обним не было обидно (польск.). — *Ред.*

Потом неясно буркнул что-то,
Похлопал по плечу и живо
Вдруг небольшой пучок крапивы
Коню под хвост он положил.
Потом воскликнул: «В путь-дорогу!
Прощайте, поезжайте с богом!»
Сказал и свистнул. Конь рванул,
Скакнул и вдруг в галоп пустился,
А всадник не перекрестился,
С хозяином не попрощался,
Коню за шею уцепился
И вихрем со двора помчался.

По ровному он мчался полю,
А как наткнулся на ровок,
С коня свалился наш ездок
И онемел от тяжелой боли.
Там поутру его нашли
И в город тут же отвезли,
И долго он лежал в горячке,
И долго он страдал от колик,
Потом лет пять он кашлял так,
Что уж закаялся бедняк —
Не ездил даже и на кляче
И уж не зарился на полек.

И с той поры на всех панов
Он гнев обрушить был готов,
Глубоко в сердце злобу пряча;
На панский не ступал порог,
Но мстил панам где только мог,
Вредил им так или иначе,
А в округе ведь был он силой,
Не меньше старосты он был.
День без того не проходил,
Чтобы мужик, панами битый,
Не шел к нему искать защиты,
Его подмоги не просил.

Понятно, почему на это
Был каждый пан-помещик зол;

Ведь к комиссару за советом
Шли изо всех окрестных сел.
Паны что только не творили,
Стремясь, чтоб не было его,—
И к губернатору ходили,
И жаловались, и вопили,
Что мужики из-за него
Грозят, бунтуют, колобродят,
Совсем на панщину не ходят
И кровь готовы проливать.
Но жалобы их пропадали,
Как на него ни клеветали,
Не в силах были запятнать:
Народ спокойно спину гнул,
И те, кто вел подкопы эти,
Являлись в неприглядном свете,
А комиссар и в ус не дул.

Вот и сошлись у него
Крестьяне наши. В удивленьи
Вскочил он, слыша опасенья
Крестьян. «Что ж, стройте! Ничего!
Ведь если пан фам помешает,
Тогда такое он узнает,
Чего еще и не слыхал.
Не пойтесь! Цесарская воля —
Штоп строилась в теревне школя,
Шоб крамотным крестьянин стал».

И были те слова для нас
Как жаждущему ключ погожий:
Казалось, будто милость божья
В село вошла. И мы тотчас
Сходиться стали, рассуждая,
На школу деньги собирая,
Как будто панство отошло
Навек. . .

Но вскоре мы смекнули,
Что мы из ямы в ров скакнули!
Проведал пан, о чем село

Шумело. Двадцать главных самых
Руководителей упрямых
Призвав, ни слова не сказал, —
Влепить по очереди кряду
По двадцать каждому, в награду,
Соленых палок приказал.

Потом спросил: «Теперь скажите,
Построить школу вы хотите?
Ну как мне вас не похвалить!
Сбирать пожертвованья стали?
Мы это вам задаток дали.
Коль мало, можно повторить!»
Всё это процедив сквозь зубы,
С усмешкой, вдруг он побледнел,
Весь задрожал, сжимая губы,
И злобой взгляд запламенел.

«Ну, хамы, — крикнул он, — гадюки!
Вам школу надо? Знаю я,
Куда вы гнете! Не науки,
Вам воли хочется! Змея —
Мужик! Ученым, мол, я стану,
Ну кто же гнать посмеет к пану
Меня на паншину тогда?
Идите, и в мои вы руки
Не попадайтесь! Если снова
От вас услышу я когда
О школе — всыплю вам такого,
Что строить школу, вот вам слово,
Пройдет охота навсегда!»

Да только пан-то ошибался:
Крестьян хотел он запугать, —
Не удалось. «Что ж, погибать —
Погибнем! — стали все кричать. —
Чтоб в дураках злодей остался,
За правду будем биться вдвое!»
И снова с жалобой пошли
На пана. Власти повели
Дознать. Пан кричал и злился,

А всё ж на палки-то скупился.
Так школу мы и завели.

Но пан на этом не смирился.
Пришлось учителя искать,
Ведь сам-то поп не мог им стать.
А если мы найдем какого,
Пан в рекруты отдаст его,—
Ведь пан добьется своего! —
А то уговорит иного,
К себе возьмет иль напугает,
А то и в школу подсылает,
Своих людей, чтоб нам вредили,
Чтоб школе пакости творили,
Велит в свой сад детей сгонять,
Жуков да гусениц собирать.

Мы пану тоже не спускали,
Властям всё жалобы писали;
А комиссар нам помогал,
Он пану насолил немало,
Хоть и врага в нем наживал он, —
Ведь пан за все вину слагал
На «шваба». Долго так кипела
Вражда меж ними. Захотела
Судьба столкнуть, как нáзло, их,—
Они друг друга повстречали.
Увидев шваба, в тот же миг
Пан подскочил, рукой взмахнул —
Его тогда не удержали, —
Он шваба по лицу хлестнул.

И удивлялись все немало,
Что избежал наш пан скандала.
Но комиссар не позабыл
Обиды, до поры смирялся,
А мести все-таки дождался
Такой, что горя пан хватил.

Вот так два года всё мутилось,
Село во многом изменилось.

Шинкарь наш помер, и другой
Пришел на смену, да такой
Хитрущий черт! Сумел он пана
Подговорить — своим крестьянам
Дешевле водку продавать.
«Во-первых, лучше будут брать,
А во-вторых, покуда пьяны,
Они не станут бунтовать».

И вправду, ведь людей немало
В те сети хитрые попало.
Шинкарь туда-сюда виляет:
«Вам стыдно! — пьяных наставляет.—
Поп водит за нос вас, ей-ей!
Зачем вам в школу слать детей?
Зачем вам с паном задираться?
Зачем за школу вам держаться?
На что вам школа? Леший с ней!»

Вот так в шинке и появилась
Зараза, да и потащилась
Из хаты в хату. Отошло
Согласье, что соединяло
Людей, и школу посещало
Детей всё меньше. И село
Таким немым и хмурым стало:
Лишь песней пьяною звучало,
За панским плугом в поле шло.
И всё, что было благородным
Живым движением народным,
Казалось, прахом все пошло.

VIII

ТРЕЗВОСТЬ В СЕЛЕ.— ПАН И ПОП.—
РЕЗКИЙ РАЗГОВОР.— ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
ПОПА.— ПАН ЕДЕТ ВО ЛЬВОВ

Вот время новое настало,
И новостей в селе немало:
Умолкли песни, пуст шинок,

Все люди будто погрустнели,
Молчали хмуро и терпели,
А пану было невдомек,
Чем это пахнет всё. Он сразу
Не догадался, как на грех,
Откуда эту всю заразу
Как будто бес наслал на всех.

Другим как будто нет охоты.
Вот разве поп один бунтует?
Разведаль новость пан такую:
Узнал, что поп ведет работу, —
Как только он у селянина
На похоронах иль крестинах,
Поминках или именинах,
Иль просто гостем за столом, —
Всё речь заводит понемногу:

«Пора бы, детушки, с шинком
Расстаться вам! Побойтесь бога!
Горилка вас с ума сведет,
Горилка — дьявольское зелье.
Опомнитесь, зима идет,
А вы все босы. Кровь сосет
Из вас шинкарь! Вы б поглядели
Хоть на детей, их жалок вид:
Они голодные, больные,
Любой лишь рубищем прикрыт.
Свет нынче не на тьме стоит,
И мало вам поля родные
Уметь пахать. Нет, нынче впору
Вести иные разговоры,
Себя в обиду не давать
И за других вставать в защиту,
А пьяный, темный и забитый —
Как может на ноги он стать?»

Из дворни люди говорили,
Те, что молиться в храм ходили,
Как в проповеди каждый раз
Поп к трезвой жизни призывает,

Горилку и шинки ругает
И говорит — последний час
Пришел, чтоб бросить это дело.

Узнав о том, как онемелый
Застыл наш пан. «Вот что оно!
Совсем не пить? Да очумел он!
Что ж — свиньям лить? Да как посмел он?
Попу, конечно, что за дело,
Ему, быть может, всё равно,
Да мне не всё равно, о нет!
Ведь это бунт он подымает,
В карман мне руку запускает,
Ведь он подкоп готовит мне!
Отняв доход, мне крах пророчит!
Сам черт такого не захочет!
Скорей ко мне попа призвать!»

Пан, ожидая встречи, злился,
Ходил по комнате, садился,
Плевался и вставал опять.
А поп вошел, остановился
И шапку снял, и поклонился,
И съежился, уставя в пол
Свой взгляд тревожный и несмелый;
Лицо от страха побледнело,
Ушел, как видно, в пятки дух.
И, встав, как над собакой бурой,
Над неказистою фигурой,
Властитель грозно поглядел
И, сплюнув, не сказал ни слова,
По комнате прошелся снова,
А поп молчал, дрожал, бледнел.

Пан наконец остановился,
И над несчастным наклонился,
И резко разговор повел:
«Вы что же, дурнем, видно, стали,
Иль сроду умным не бывали,
Иль кто вам глупостей наплел?»

Ведь надо разум потерять,
Чтоб в петлю голову совать!
На то ль, скажите, ваши власти
Попом поставили вас тут,
Чтоб на грабеж окрестный люд
Поднять и, разжигая страсти,
На панство насылать напасти?»

Поп только ниже наклонился
И, весь дрожа, перекрестился,
И робко, будто удивился,
Сказал:

«Да это всё наврали!»
— «Кто врал? Зачем? А мне сказали,
Что всюду — где же тут вранье? —
Вы и с амвона, да и частно,
Всё говорите, что напрасно
Горилку пьют,— и всё свое
Твердите людям, чтоб не пили!»
— «Да, правда».

— «Что, как мужичье
Послушается ваших врак,
Как быть мне — вы сообразили?»

— «Да я не знаю».

— «Вот так-так!
Когда ж доход вы мой считали,
Когда на бунт вы подбивали,
Вы знали?»

— «Извините, пан,
Не по своей ведь это воле
Я делаю, — духовный сан
Приказывает. В хате, в поле
Мужик что хочет делать волен,
Не вмешиваюсь в это я.
Я должен души их вести
Сквозь жизнь по честному пути —
Вот в чем обязанность моя».

— «Эх, то да се. . . Душа святая!
Всё это болтовня пустая».

А я один совет вам дам:
Чтобы никто не слышал снова
Об этой трезвости ни слова!
Оставьте! Говорю я вам!»

— «Оставил бы я это сразу
И думать бы о том забыл,
Когда бы я не получил
Из консистории приказа».

— «Да что за черт! — воскликнул пан
И подскочил, как будто шилом
Кольнули. — Может, порешили
Прелаты погубить наш стан?
Пустить с сумою? Покажите
Приказ мне этот! Предъявите!
О боже! Я концы найду!
Уж я им пропишу на славу,
В губернии найду управу,
А то до цесаря дойду!»

— «Приказ-то этот,— поп признался,—
Я сам всего лишь раз читал.
Он циркуляром посылался,
Я номера не записал».

— «Ну, поп! — воскликнул пан сердито. —
Теперь вранье твое раскрыто!
Из консистории ни разу
Такого не было приказа.
Знай, что, приказ едва придет,
Дьяк под угрозою всегда
Немедленно его сюда
Мне для прочтения несет.
Так вот каков ты! Значит, сам
Бунтарские ведешь ты речи,
Смущая разум мужикам,
Скрываясь за чужие плечи!
А как, о господи, смирился!
Мол, «я не стал бы начинать! . . .»

Ну погоди, ты будешь знать,
Поймешь еще, с кем ты схватился».

И пан тут стал такой сердитый,
Так грубо стал попа честить,
Что, мнилось, поп, к земле прибитый,
Не видя никакой защиты,
Был должен пану уступить.
Но по-иному все сложилось:
Бедняга духом крепче стал.
Он выпрямился, прояснилось
Его лицо, и око в око
Взглянул на пана, и глубоко
Он поклонился и сказал:
«Закон нарушил я? Ну что же,
Ответ держать мне перед тем,
Кому служу, как воля божья
Велит мне. Я одной ногою
Стою в гробу и суетою
Земною не живу совсем.
Что страх, угроза, — сон лукавый,
В душе лишь совесть правит всем».
Тут он еще раз поклонился
И прочь спокойно удалился.
Зубами пан заскрежетал.
«Ну ладно, поп! За эту штуку
Еще мою узнаешь руку!» —
Не раз он злобно прошептал;
Слал к черту старика, бесился
И наконец угомонился,
Стал думать, как, попу на страх,
Осуществить свои угрозы, —
От лютой злости чуть ли слезы
Не выступили на глазах,
Когда он после размышленья
Увидел, что за поученья
Попу не просто отомстить.

А консисторию просить,
Чтобы попа совсем убрали
Или построже наказали, —
Всё ж пану как-то не хотелось.

Быть может, в округ настрочить
Какую жалобу? Едва ли
Там сможет выиграть он дело.
Там комиссар, с него готовый
Последнюю сорочку снять!
«Нет,— думал пан,— теперь уж, знать,
Мне не сыскать пути иного,
Как в Львов поехать! Что ж, ведь там
Контракты, сейм, потом начнутся
Балы, а там я рапс продам —
И, значит, деньги заведутся.
Жена немного погуляет,—
Давно бедняжка упрекает,
Ей всё скучней день ото дня.
Знаком мне губернатор местный —
Пойду-ка я к нему и честно
Всё расскажу. Давно меня
Он знает. Часто здесь гостил,
Еще как в Сámборе служил
Он комиссаром. Ждите, с вами
Я справлюсь, в гроб вгоню! Вы сами
Поймете — знать бы вам пора б —
Ни поп вам больше не поможет,
Ни плач, ни стон, ни «святой боже»,
Ни ваш беззубый мерзкий шваб!»

IX

СЕЛО БЕЗ ПАНА.— СГОВОР ПОПА С КОМИССАРОМ.—
КОМИССАР-АГИТАТОР.— ДЕЙСТВИЕ СЛОВ КОМИССАРА.—
ПОП-МИРОТВОРЕЦ.— НАДЕЖДА НА ЦЕСАРЯ.—
«СМИРНО ЖДАТЬ!» — «НИ КАПЛИ ГОРИЛКИ!»

Дорога пылью задымила —
Чета Мигуцких укатила
Во Львов. И словно ожил дух
У всех людей в селе. Казалось,
Гнет кончился. Хотя от слуг
Еще сильнее, чем доставалось,
Достанется, но уж таков
Людской характер — смены хочет!
Днем ожидает темной ночи,

Да чтобы каждый день был нов —
Пусть хуже, только бы иное!
Хоть без панов, пожалуй, вдвое
Измучит панщина, а всё ж
Без них, как в праздник, отдохнешь
Вконец измученной душою.

А поп свое не забывает,
Всё трезвости он поучает
И дать присягу призывает —
Горилки чтоб совсем не пить.
Люд молча слушает — как быть?
С трудом он это понимает —
Как можно мужику не пить?
Иные всё же испугались,—
Вдруг пан велит обратно взять
Присягу: «Кто же может знать,—
Бедняги всё же сомневались,—
Ведь по закону, может быть,
Мужик обязан водку пить?»

Хоть поп толкует — это что ж!
Присяга — страшное ведь дело!
Погубишь душу, да и тело.
Увидел поп — не наведешь
Порядка так, и догадался,
И с комиссаром столковался,
Чтоб заглянул в село он сам.
А тот уж где и сесть не знает,
Вестям веселым он внимает.
«Ja, so! ¹ Вот так дафно бы вам
От вутки было отказать!
Ваш топрый, чесний, тихий люд
Покуда путет с вуткой знаться,
Vergeblich ² путет фсякий трут».
С попом он тут же сговорился,
Когда что делать, как им быть,
Помочь охотно согласился,

¹ Так, да! (нем.) — *Ред.*

² Напрасен (нем.) — *Ред.*



Тайком же рад был несказанно,
Что это всё подкосит пана,
Коль перестанут «вутку» пить.

И вот однажды в воскресенье,
Когда из церкви шел народ
И люди, у ограды стоя,
Всех новостей между собою
Вели неспешно обсужденье,
Вдруг глядь — на пустыре, в сторонке,
Сам комиссар на одноконке
Подъехал. Вот уж к нам идет,
В мундир одет; остановился,
Всему народу поклонился.
«Ну как шивется вам? Сторофо!»
— «Спасибо, пане!»

— «Но, но, но!

Я толжен слово фам отно
Сказать. Здесь вот священник ваш,
Я слышу, коворит вам тутки,
Шоп вы не пили польше вутки,
То есть барз пекно. ¹ Лишь кураш! ²
Лишь смело! Слышу, ви поялся,
Штоп пан со зла не раскричался?
Nix dгаus! ³ Так не мошет быть!
Фи тумали, што пан вас мошет
Заставить всех ту вутку пить?
Nix dгаus! Што вы! Храни боже!
Скажу вам: цесарская воля,
Штопы мушик доволен пыл,
Штоп все имель: скотинку, поле —
И штопы в школу он хотил!
Наш цесарь хочет — ви понять
Должны, — чтоб вольными вы пыли!
Но только вутку штоп не пили,
А то он скажет: «Нет, тавать
Сфободу рано им! Поймите!

¹ Очень хорошо (ломан. польск.). — *Ред.*

² Смелей (ломан. франц.). — *Ред.*

³ Ничего от этого не будет! (нем.) — *Ред.*

Теперь к делам своим итите,
Што надо, телайте! Ade!¹»

Как сразу все заволновались!
С какую силой отозвались
Его слова на всех крестьян!
«Сам цесарь хочет, чтоб не пили,
Чтобы свободными мы были!
Что нам теперь шинок и пан?»

Как будто гром прошел селом.
Никто не шел домой обедать,
Друг другу всяк хотел поведать,
Что воля близко. Все валом
К попу с той вестью повалили
И хату бедную его,
Как рой шумливый, обступили,—
Не слышно было ничего,
Кто что кричал, и лишь гремела
Толпа вся хором: «Отче! Воля!
Свободны будем! Прочь недоля!
Прочь панщина! Всѣ — душу, тело —
За цесаря! Свободу нам
Дает он! Бить в набат велите!
Всех нас к присяге приводите!
Дадим — и стар и мал — отныне
Присягу господу и вам,
Что водки пить совсем не будем,
Зато мы все свободны будем!
Ведите нас, отец единый!»

Перепугался поп несчастный:
Не знал он, что стряслось кругом.
Народа крик единогласный
Доказывал, что мы идем
Отнюдь не шуточной дорогой.
Лишь о свободе он не знал,—
Но ведь и страху пан нагнал
Немало, пригрозивши строго

¹ С богом, будьте здоровы! (нем.) — *Ред.*

Властями, цесарским судом,
Грозил расправиться притом.
Хоть и ссылался поп на бога,
Но всё ж бедняга твердо знал,
Что пану он тогда солгал,
Что никогда не поступало
Приказов, чтоб людей учить
Быть трезвыми и всех заставить
Их под присягой трезво жить.

А сердце старческое знало,
Что пан, когда б он только взялся,
Ему бы мог беды прибавить
И что никто б не постарался
Ему помочь, напротив — власть
Духовных первой бросит камень
На «незаконную» его
Работу и сама отдаст
На поруганье,— оттого
Он и струхнул. И пусть покуда
Народ во что-то верит даже,—
Пан и не спросит ведь, откуда
Пошло, оттуда иль отсюда,
Что вспыхнул беспорядков пламень;
«Виновен поп!» — он только скажет,
И тут попу, конечно, атеп.¹

Он, опершись двумя руками
На палочку, молчал. И долго
Молчанье длилось. Приутих
Нестройный говор толп людских.
Поп наконец спросил: «Что с вами?
Эх, дети, дети, бойтесь бога!
Опомнитесь, кто вам сказал
О воле? Вам она приснилась?»

«Нет, не приснилась,— закричал
Народ,— а вправду объявилась.
Еще и час не миновал,

¹ Аминь (лат.).— *Ред.*

Как комиссар у церкви божьей
Сказал об этом. Разве может
Сам комиссар солгать?»

— «Ага!

А что же он сказал вам? А?»

— «Да то же, что и вы нам, отче,
Чтобы горилки нам не пить;
Еще добавил он, что хочет
Сам цесарь нас освободить».

— «Еще что?»

— «Ничего другого».

— «Эх, дурни! И такому слову
Обрадоваться? Надо быть
Баранами. Ведь цесарь. . . боже!
Он хочет, да! Но что он может?
Чем он, беднягам, вам поможет?
К примеру, вот живут с отцом
Три сына в хате, все втроем.
Всем рад он счастье посулить,
Да сразу всех не поженить,
Богатством всех не наделить,
Он сам бы хлеба до весны
Не дотянул. Так и в державе.
Три сына цесарю даны:
Крестьяне, войско и паны.
Они ему равно все милы,
Все цесарской пресветлой славе
Покорны и державной силе.
Он делает для них, что может,
Но он не в силах всё отдать.
Свободу дать вам было б гоже,
Да как там знать, паны, быть может,
Начнут тотчас же бунтовать».

— «Что? Бунт? Пусть только шевельнутся,
Мы стукнем так, что не очнутся!
Или забыли прошлый год?»

— «Вы словно дети, в самом деле,
Ценить вы волю б не сумели,
Когда из ваших уст идет

Угроза эта. Нет, родные,
Кому же вы нужны такие?
От вас не мести цесарь ждет
И не резни. Вы вашу долю
Ему доверьте! Вам он волю
Даст, верно, как пора придет.
А криком, шумом — вы с врагами
Не справитесь, и только их
Вы укрепите в кознях злых,
И в пропасть рухнете вы сами».

Нахмурились и загрузили
Крестьяне, им немилы были
Слова такие, ну да что же
Подделаешь? Хоть с правдой схоже,
Что цесарь волю даст быть может,
А там — как знать? — вдруг и не сможет.
Нахмурились и загрузили —
Ведь многие не позабыли
Ударов панских палок злых,
Своя-то шкура и шептала:
«Не будь ты, братец, слишком смелым,
То, что черно, не будет белым,
Нет хуже доли крепостных!»

И вся толпа тут застонала:
«Так что же, отче, делать нам?»
— «Молиться богу, и потом
Притихнуть, смиренно ожидая,
Что скоро всё само придет!
Молчать, ни слова не болтая
О том, что слышал здесь народ
От комиссара».

— «Пусть так будет!

Мы не возьмем горилки в рот!
Знать хочет цесарь, что за люди
Живут здесь. Мы покажем: вот!
И хоть сейчас мы все готовы
Присягой это подтвердить!»
— «Дай бог сдержатъ вам ваше слово,
Все искушенья победить!
Хотя и трудно это, дети!

С присягою нельзя шутить!
Но чтобы на нее ответить
Достойно, знаете, как быть?
Филипповки начнутся скоро.
Так дайте слово, чтоб не пить,
Да чтоб в любви, в согласьи жить,
Чтоб никаких обид, раздоров
Не вспоминать, чтоб наперед
Все побеждать соблазны вражды
И всё, что только бог пошлет
Сносить за прегрешенья наши.

А перед самым Рождеством
Все те из вас, кто будет в силах,
Отбудут исповедь, потом
Придут с присягой, богу милой.
Вот, деточки, дается вам
Два месяца тяжелой пробы.
Должны пройти ее вы, чтобы
Готовым можно было нам
Вступить в грядущий год. Кто знает,
Что новый год нам принесет?
И тот, кто присягнуть желает,
Пусть в церковь в Новый год придет!»

Толпа минуту помолчала,
И поклонилась, и сказала:
«Пусть будет так! Мы подождем!
Еще потерпим злую долю,
И пусть теперь нас режут, колют,—
Горилки больше мы не пьем!»

Х

КОНЕЦ 1847 г.— ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАНА.—
ПАН И УПРАВЛЯЮЩИЙ.— ПАН И АРЕНДАТОР

Сорок седьмой кончался год
Погоже, ясно. Снег глубокий
Замерз и затвердел, как лед;
Все реки, все в горах потоки

Мороз до дна оледенил,
Деревья остудил до дрожи;
Народ повсюду находил
В снегу замерзших пташек божьих.
Кончался год сорок седьмой
Предвестьем тягостным: казалось,
Век будет этот мерзкий строй
И доли той, что нам досталась,
Не свергнуть силе никакой.

За горы солнышко скрывалось,
Когда бубенчика звонок
Раздался и через мосток
Вдруг сани панские промчались.
Тепло одетые, в мехах,
К нам пан и пани возвращались.
При виде их во всех домах
Людей объял невольный страх,—
Так куры коршуна пугались.

И весть повсюду разошлась:
«Что он за новости привез?
Где был так долго? Иль донос
Он губернатору на нас
Неправый подал? Что на это
Пан губернатор отвечал
Ему?» — Так шепотом неслась
Тревога и ждала ответа,
И каждый, присмирив, молчал.

У тех, что в панской дворне были,
У всех сердца тревогу били
И, гнева панского боясь,
Металась дворня, суетясь,
Кружась ошпаренною мухой:
Ведь каждый знал, смирившись духом,
Грехов немало за собою
И всем святым молиться стал:
«Закройте пану пеленую
Глаза и уши, чтоб не знал!
Еще хоть раз, хоть раз последний!

И я вам отслужу обедню,
В беду б я только не попал!»

А пан, приехав, мрачным оком,
Как лютый волк, на всё глядел;
Он похудел и побледнел,—
Казалось, в городе далеком
Былую силу потерял.
Ходил по комнате, покоя
Не находя, и всё рукою
Размахивал, как будто он
В ней рукоять кнута держал.
Потом звонка сердитый звон
Лакея в комнату позвал:
«Пусть управитель предо мною
Предстанет! Что стоишь стеною,
Болван? Его ты позовешь —
За арендатором пойдешь!»

Вот управитель. «Что слышать?»
— «Всё хорошо! Пшеницу с рожью,
Бог даст, убрать мы скоро сможем
В амбар. Из двадцати телят,
Что этими родились днями. . .»
— «Ну вот и хорошо, мой милый!
Мы завтра же с тобой делами
Займемся. А теперь я рад
Узнать, что люди говорят?
Как вы тут жили с мужиками?»

— «Да зла, бог видит, не бывало.
В народе всё спокойно стало,
И грех бы на душу я взял,
Сказав не так».

Пан замолчал,
Как будто вестью той встревожен.
По комнате он зашагал,
А управитель продолжал:
«Вот только с вырубкой никак
Добраться до конца не можем».
— «С какую вырубкой?»

— «Червяк

В лесу деревья с лета гложет,
Пан приказали вырубать».
— «А что ж вы с этим так застряли?»
— «Работ в усадьбе мы бросать
Ведь не могли. Те, кто отбыли
Свое,— ушли. Другие стали
Оплаты требовать, твердили,
Что надо молотьбу кончать,
И не смогли мы в лес послать
Побольше рук тогда. Вначале
Еще рубили, но настали
Потом морозы. . .»

— «Вот так так! —
Воскликнул пан и, как бурак,
Весь покраснел.— Так лишь бы хамы
Не простудились, храни боже,—
И пусть червяк весь лес мой сгложет?
С такой работою мне прямо
Беда! Идите же, я к вам
Приду и всё увижу сам».

И гордо пан взмахнул рукою,
А управитель поклонился,
Затылок почесав, с тоскою
Подумал: «Видно, разозлился
Пан не на шутку! .. Перемену
Увидим скоро мы — ей-ей —
Не к лучшему! Как видно, хрену
Ему натерли. Из гостей,
Как бы он там ни проигрался,
Еще таким не возвращался».

Совсем старик наш растерялся,
Совсем бедняга загрустил,
Когда увидел, как проворно
Котом блудливым, псом покорным
Шинкарь к хозяину спешил.
«Вот панский прихвостень! Иуда!
И как злодею не спешить!
Кого-то надобно обидеть,
Оклеветать, а там кому-то
Под ноги камень подложить!

Небось далеко пан заедет
С таким советчиком! Увидим,
Что впереди их ждет. Как знать —
Вдруг не победы им, но беды
Придется вскоре повстречать».

А той порой, согнувшись вдвое,
Тихонько в панские покои
Шинкарь вошел, у двери стал.
А пан к окошку отвернулся,
На шинкаря не оглянулся,
Как будто вовсе не слышал.
Шинкарь же времени не тратил,
Всё кланялся ему, молчал,
А пан стоял и примечал
Всё это в зеркальце. Немало
Прошло минут. Чтоб угодить,
Не уставал поклоны бить
Шинкарь. Смешно тут пану стало,
Он обернулся.

«Хватит, хватит,
Спина, любезный, будет ныть!
Садись, довольно там стоять!
Да расскажи-ка, что слышать?»

— «Ох, плохо, плохо, ясный пане!
Уж скоро нас совсем не станет!»

— «Ого! Как так?»

— «Слыхали, пан?»

Крестьяне взбунтовались сразу.
Весь пост — ну ни один Иван
Не пил горилки! Как заразу,
Шинок обходят на беду,
Вей мер! ¹ Я в нищенство впаду!»

Пан усмехнулся. «Что ты, Мошка,
Бог милостив, поборем зло.
И, если уж на то пошло,
Ты что-то не похож на доску!»

¹ Горе мне! (евр.) — *Ред.*

И пан слегка похлопал Мошку
По брюху, в панской доброте.
«Ох, шутит ясный пан немножко!
Нет, времена теперь не те!
Нас с вами в мусор бросят скоро,
Как пару стоптанных сапог!
Смутьян-то здешний сеет ссору,
Бунт мужикам поднять помог.
Всё решено у них с попом:
Назавтра в церкви соберутся,
И от горилки отрекутся,
И принесут присягу в том».

— «Что? Завтра? — подскочил тут пан,
Как будто бы с колючек терна.—
Что поп? Знать, выдумки он вздорной
Еще не бросил? Я им дам!
Der Teufel drein!¹ Они узнают!
Так завтра, значит, присягают?
Постойте, покажу я вам!»

— «А знают пан,— добавил дале
Шинкарь,— кто это учинил
И кто здесь руку приложил?
Ох, ох, и времена настали!»
— «Ну кто, ответь!»

— «Да мне сказали,
Что комиссар наш приезжал
И возле церкви речь держал
О том, что цесарь хочет дать
Крестьянам волю, чтоб в народе
Горилки в рот не смели брать.
Ну, тут, слышав о свободе,
В селе так стали бунтовать,
Что я уж думал удирать».

— «Ах, вот как! Что ж, мне это ново!
А управитель мой ни слова
Мне не сказал. Ну, будем знать,
Кому за верность как воздать.

¹ Черт подери (нем.) — *Ред.*

Спасибо, Мошка! Я до Львова
Дойду, всё опишу, раскрою,
А ты разведай той порою,
Кто стал причиной наших бед!
Свидетелей найти старайся,
Того, что будет, не пугайся,—
Пока еще не рухнул свет,
Чтоб стал вдруг поп меня сильнее.
Уж мы ему намылим шею!»
— «Все будет гит»,¹

— отдав поклон,
Сказал шинкарь и вышел вон.

XI

НОВЫЙ ГОД 1848.— «ЦЕРКОВЬ ЗАПЕРТА!» —
ПАНСКАЯ ВЛАСТЬ НАД УКРАИНСКИМ
ПРАЗДНИКОМ.— ЕЩЕ РАЗ ПОП-МИРОТВОРЕЦ.—
«И ПОП НА ПАНЩИНУ!»

Еще и солнце не вставало,
Еще во тьме селенье спало,
Когда, наполнив тишину,
Звон колокольный в вышину
Попплыл, к заутрене скликая
Людей, и сразу все кругом
Проснулись, хаты покидая.
Огни горели в них, сверкая,
А люди медленно гуськом,
В бараньих шапках, в свитах длинных
И в теплых кожных овчинных,
Тянулись к церкви чередой.

Далеко слышно, как скрипит
Морозный снег под их ногами,
Пар от дыхания клубами,
Как будто дым из труб, валит,
И, понамерзший сединой,
Усы им иней серебрит.
Шагают молча и без шума,

¹ Хорошо (евр.) — *Ред.*

Как будто нечего сказать,
Как будто бы одна их дума
Тревожит: что им предпринять?

Да и не диво: день великий —
Присяги день и Новый год.
И словно воин, что идет
В огонь, здесь каждый понимает,
Что им присяга обещает
Немало бед, что злобе дикой
Должны они хребет сломить,
Вступить в борьбу со сворой панской,
Перестрадать душой крестьянской,
Чтоб думы в дело претворить.
Что ж, будь что будет, решено:
Тотчас, всем вместе, заодно
Пойти и головы сложить,
Чтобы свободу лишь добыть!

Тех дней прекрасных не забыла
Душа! Я помню, как сейчас:
В проснувшемся народе сила,
Под гнетом возмужав, сносила
Преграды все, она гасила
Вражду и злобу среди нас.
Довольно было о свободе
Напоминанья одного,
Чтоб, не пугаясь ничего,
Вставали мы за власть народа
И прав народных торжество.

Эх, только редко так бывало!
И дней таких счастливых мало
Обычно в жизни у людей.
Когда б потом, в иные годы,
Таких побольше было дней,
Такого духа и свободы,—
Наверно, меньше бы невзгоды,
Блужданий, сбивчивых путей
На долю выпало народу.

Пришли мы к церкви. Что за диво!
Закреты двери! А мороз

Знобит собравшихся до слез.
«Эй, пономарь! Слезай-ка живо
Да открывай-ка двери в храм!» —
Кричим, и пономарь слезает.
— «Молитесь богу,— отвечает,—
И расходитесь по домам!
Я не открою двери вам!»

— «Как? Почему?» — народ кричал,
А пономарь нам отвечал:
— «Как в колокол звонить я стал,
Приказчик панский прилетел,
Ключи от церкви отобрал».

Народ заохал. «Горе, горе!
Чем пан грозить нам захотел!
И уж не думает ли он,
Что этим нас он переборет?
Задумал с богом он бороться?
Над бедными людьми смеется?
Иди да подымай трезвон!
Пускай тревога дольше длится!
Скорее созывай народ!
Мы скажем пану: пусть смирится,
Не то костей не соберет!»

Колокола тут застонали,
Толпились люди и кричали;
Гнев, словно пламя, бушевал,
В глазах, в словах людей пылал.
Грозят и проклинаят: «Эй,
Кузнец, свой молот поскорее
Неси — замок собьем с дверей!»
Рыдают бабы всё сильнее,
Как по усопшим. Крик такой,
Какого век мы не слышали!
Вот так-то, дети, мы встречали
Тот славный год сорок восьмой.

Но в это время показалась
Ватага панских слуг в селе,

С нагайками, навеселе,
Развязно к церкви приближалась
Толпа затихла и смешалась,
Все ждут — что пан придумал вдруг?
А самый злой из панских слуг:
«Скажите,— говорит,— что с вами?
Что вы стоите табунами?
Что так кричите безобразно?»

— «Пустите в церковь! Да скорей
Ключи подайте от дверей!
Пустите в церковь, нынче праздник!»
— «Что вы, взбесились? Кто же вам
Наплел всё это? Нынче будень!
Должно быть, поп смутил вас, люди?
Как вы, неграмотен он сам.
Пан лучше знает! Расходитесь
Да на работу торопитесь!
Пусть каждый свой топор берет
И лес рубить скорей идет!»

Народ остолбенел, не зная,
Что за причина здесь такая?
Неужто ж одурели мы?
Нет, здесь смеется сила злая!
И вдруг — так вихрь крылом из тьмы
Взмахнет, и сразу бор могучий
Застонет под грозбой тучей,—
Народ, что в страхе замолчал,
Вдруг зашумел и закричал:

«Ты брешешь заодно со псами,
Поганый панский блюдолиз!
Ты нас считаешь дураками!
Наш поп с тобой, как пес, не грыз
Костей под панскими столами!
И не придумаешь глупее!
Гнать на работу в Новый год!
Иль это панские затей?
Ну берегитесь, лиходеи!

Вам это даром не пройдет!
Тут с богом спор, тут мы не в счет!»

— «Я говорю вам: расходитесь! —
Прислужник панский повторял.—
Ключи у пана. Пан сказал,
Что — хоть кричите, хоть беситесь —
Не будет службы, чтоб не ждал
Никто. Начнете бунт, злодеи,—
Солдат мы вызовем тотчас.
Идите по домам скорее,
Чтоб хуже не было для вас!»

— «Хоть пушек гром пусть разразится,
Уж лучше головы сложить,
Чем нам отсюда отступить.
Должны мы каждый день трудиться,
И даже богу помолиться
Пан не дает на праздник? Эй!
Ломайте двери! Пусть терзают!
Пусть в церкви всех нас избивают,
Прочь, лиходеи, от дверей!»

Но слуги пана не зевали
И у дверей стеною стали.
Пока до них не добрались,
Они нагайками махали,
А после кулаками стали
Работать. . . Крик пошел и визг!
Уж через головы людей
Швыряли задние смелей
Из-за ограды снега груды,
И гнев кипел у всех в сердцах,
И нож блеснул кой-где в руках,
И крик пошел: «Вам смерть, иуды!»
Быть может, год сорок восьмой
Встречая, кровь бы лить мы стали,
Когда бы речь не услышали
Священника перед толпой.

За криком, шумом неумным,
Никто не видел, как в тот час

Он появился среди нас
С большим распятием церковным
В руках и, став перед толпой
И крест подняв над головой,
Не криком отозвался, стоном:
«Бог с вами, дети! Это вы
Опутаны злым духом ныне.
Вы — турки, что ль? В слепой гордыне
Здесь, рядом с божией святыней,
Такую смуту завели!
Да разве место здесь для драки?»

— «Не мы же ссору разожгли! —
Кричит народ.— Ты видишь, отче,
Пан отобрал ключи и хочет,
Чтоб мы на панщину пошли».

— «Пан зло творит, я не перечу,
Грех на душу берет большой!
Но разве это оправданье,
Чтоб новое здесь злодеянье
Творилось и чтоб вы святой
Дом божий дракой осквернили?
И так вы бога прогневили!»

— «Нет, бога славить мы хотим
И лишь за правду мы стоим!
А если всё снесем не споря,
Смолчим, начнет нам колья вскоре
На голове наш пан тесать!
Нет, не дождется, двоедушный!
Пусть даст приказ ключи отдать!
А не отдаст — тогда мы дружно
Здесь, в церкви, дверь начнем ломать!»

— «Ну и глупцы! Прости вам, боже,
Такую тяжкую хулу!
Вы думаете, что поможет
Сберечь вам божию хвалу
Крик, драка? Братья во Христе!
Забыли вы святые те
Слова: когда б господь защиту

Найти хотел, то он бы свиту
Небесных ангелов прислал?
Нет, дети! Бог нам приказал
Властям смиренно покоряться,
Как подобает слушать всех».

— «Так что ж, нам за работу браться?
Ведь это же смертельный грех».

— «Не по своей же вы охоте,
Господь вам этот грех зачтет».

— «Но поп ведь тоже в лес пойдет
И с вами будет на работе»,—
Слуга добавил в свой черед.
«Я? — вскрикнул поп, как уязвленный.—
Я? Я? Но я ж освобожденный
От панщины!»

— «Нет отче! Пан
Мне ясно приказал: „Иди,
На панщину всех наряди,
А поп пускай приходит сам!“».

— «Нет, этого он не дождется! —
Все закричали.— Отче, нет,
Не бойтесь! Мы за вами вслед
Пойдем, и если доведется,
То вместе в округ мы пойдем
И в ноги старосте падем,
Пускай он с паном нас рассудит!»

— «Нет, дети,— поп тогда сказал,—
Не надо! Нам же хуже будет!
Коль пан идти нам приказал
На панщину, то нынче, дети,
Как видно, бог ему послал
И гордый нрав, и мысли эти,
Чтоб в скором времени он в сети
Своей же гордости попал.

Еще скажу вам в добавленье:
Творит большое прегрешенье

Наш пан. Он в праздник годовой
Нам божью церковь закрывает
И всех на панщину сгоняет,—
Пусть будет так! Из нас любой
Поймет, кого что ожидает.
Не будем, дети, бунтовать!
Гордыне панской угождая,
Не стоит, ссору затевая,
Тяжелый грех на душу брать.
Мы силе власти покоримся,
В своей покорности смиримся,
Чтобы достойней пана стать.

Ведь присягать вы собирались!
Вы думаете, что я вам
Прийти к святой присяге дам,
Чтоб в двери храма вы врывались?
Снесем и это испытанье:
Я говорю вам в назиданье,
Что бог нам тяжкий грех простит.
Вы знаете, что утром рано,
Покуда нет зари румяной,
Сильней еще мороз палит?
Но хоть застелет он оконце,
Всё это знак того, что солнце
Блеснет и землю отоплит».

Смутились у людей умы:
Притихли все и присмирели,
Задумались и помрачнели,
А сами на восток смотрели
И ждали все исхода тьмы.
Но небо, что в ночь сияло,
Теперь каким-то тусклым стало,—
Туманом всё заволочлось,
И за селом в бору еловом
Гуденье вихря пронеслось.

И вдруг — откуда что взялось! —
Вдруг, в вихре страшном и грозовом,
На кладбище высокий вяз
Так заскрипел в минуты эти,

Что задрожали все, как дети,
И, застонав, сказали враз:
«Пусть так! Судил нам бог смиряться!
Пойдем на панщину собирать!»

ХII

НОВОГОДНЯЯ БУРЯ.— ПАНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ.—
РАЗГОВОР ПАНА С ПОПОМ

Ой, разгулялась буря люто!
С востока ветер засвистел,
Как дикий конь, порвавший путы,
Вдруг на свободу полетел:
Оглянется, копытом грянет,
Подскочет, фыркнет и заржет,
То мчит в галоп, то землю рвет
Копытом, колесом пойдет,
И вновь заржет, и сразу станет.

Гнал вихрь поземку вдоль дорог,
Рвал с поля, нес в село туманом,
Слепил и налетал врасплох
И крал тропинку из-под ног,
Ревел, как будто изнемог
От гнева яростного к пану.

Но горший плач, и рев, и стоны
В крестьянских слышались домах:
Рыдали дети, старцы, жены,
А буря умножала страх.
Все божий перст в ней увидали,—
Ведь божий гнев не отвратить.
С каким рыданьем провожали
Нас на работу — лес рубить,
Как будто в смертный час, прощались,—
Мне век той ночи не забыть!

Да что ж, напрасны плач и слезы!
Так пан сказал — всё будет так.
Уж по дворам слышны угрозы
И крики панских слуг-собак.

И со двора порой ненастной
То здесь, то там уже несчастный
Неспешно выезжал мужик.
Конь фыркнет и глаза зажмурит,
И засопит, под бури рык;
Мужик закутался в кожух;
То вбок метель полозья бросит,
А то вдруг спереди наскочит,
В груди захватывая дух.

Но панская сильнее воля,
Чем та метель, что мчится в поле!
Та воля, будто бы обух,
Над головой вися, грозила.
И сани по селу гуськом
Поехали порожняком,
А буря след их заносила.
Сквозь вой метели — всё ясней —
Вдруг что-то вдалеке запело,
Да это ж в церкви. Свет мой белый!
Там где-то праздник у людей!
Огонь всю церковь освещает,
И над кадилом вьется дым,
Все молятся, дьячок читает...
А мы, — о горе! Нам одним
И божий праздник не сияет!
Всяк, слыша колокола звук,
В сторонку кнут отодвигает,
Снимает рукавицы с рук,
Неволью крестится, вздыхает,
Молитву шепчет.

Только, глядь, —
И поп в санях, а с ним охрана, —
Так, значит, по приказу пана
В лес едут. Видно, пан прогнать
Попа задумал на работу!
Как смел он? Значит, снаряжался
В губернию он не напрасно!
Не зря там долго задержался, —
А там паны на всё согласны.
Так рассуждали мы. Верней,
Себе несчастий новых ждали.

Вдруг слышим окрик чей-то: «Эй!»
У панского двора мы стали.
В воротах пан стоял — высокий,
Плечистый, в польских сапогах,
В дохе и шапке, черноокий
И черноусый. А в руках
Держал он кнут и щелкал им,
Играя; каждую упряжку
И сани молча он считал,
Что проезжали перед ним,
Горилку попивал из фляжки
И мужикам не отвечал
На их поклон кивком своим.

Вот поп подъехал с седоками,
За ним плелись подводы тех,
Что пан считал бунтовщиками,—
Он зуб давно точил на всех.
С усмешкой ближе он шагнул
К дороге, громко крикнул: «Ну!»
И сани стали. Поклонились
Мы низко. Пан всё усмехался.
«Что, господа,— он отозвался,—
Вы нынче вовремя явились?
Кто, может, ветра побоялся
И дома с жёнкою остался?»

— «Все здесь»,— слуга ему ответил
И перед паном смирно стал.
— «Ну то-то ж! Я б ему задал!
Он у меня б не взвидел света!
Скажите, бюргеры, вы мне,
Что на селе у вас? Забыли,
Должно быть, вы о тишине?
А может быть, вас мало били?
Пожалуй, воробьи тогда
В башке у вас бы не трещали!
Какую там вы, господа,
Опять присягу затевали?
Должно быть, захотелось вам
Изведать панскую науку?
И я, ей-богу, лично сам

Такую трепку вам задам,
Что помнить будут даже внуки!»

Сказал он и тотчас же нас,
Как ястреб, глазом всех обвел,
И, словно видя в первый раз
Попа, к нему он подошел:
«Вы тоже здесь? Вот это диво!
И вы на панщину? Ну что ж,
Хвалю, хвалю! И справедливо!
Вы — добрый пастырь: там, где стадо,
Всегда и пастыря найдешь.
Ну что ж, скажу я, так и надо!»

А поп, хоть голосом тревожным,
Но все ж с достоинством сказал:
«По-видимому, пан вельможный
Сегодня в духе. Бог послал
Ему отраду — слава богу!
Молитесь, пан, коли не лень,
Чтоб не принес грядущий день
Вам вместо радости — тревогу!»

Пан отскочил, как будто вмиг
Укушен был змеей ужасной.
— «Что́, что́ сказал ты, бунтовщик?»

— «Сказал я то, что должен ясно
Понять любой христианин.
Кому бог гордость посылает
И кто так бога забывает,
Того возмездье ожидает,
Не ангельский — бесовский чин».

— «Ты что же — мне еще грозишься?»

— «Нет, пан, я вам не угрожал,
Я правду божью вам сказал,
Что, может, неизвестна вам».

— «Ты дураков таких, как сам,
Учи, меня уж научили».

— «Я панской мудрости воздам
Признательность. Но вы б открыли,
Уж не она ль велела вам,
Чтоб вы нам праздник запретили
И церковь Божию закрыли,
Гоня на панщину людей?
Эх, пан, опомнитесь, смиритесь
И мудростью вы не кичитесь!
Да если б грудью я своей
Не защитил, обороняя
Дворовых ваших, то, как знать,
Что там бы, возле церкви, было.
Пришлось бы, может, укрывать
Метели снежной, заметая
Следы их крови! Пан мой милый,
Покуда нет еще войны,
Свои границы каждый знает,
Но тяжелее нет вины
Для тех, кто сам их нарушает».

— «Хе! Мудрость есть в словах твоих!
Но как понять, что это значит?
Ты — мудр, но только для других,
А сам ты действуешь иначе.
Тебе же говорил я: знай
Свои границы, будет ссора,
Ты школы здесь не затевай
И не болтай крестьянам вздора!
Так вот какой ты баламут!
С меня твоих проделок хватит!
Вновь мужики свободы ждут,
Горилки, хоть их режь, не пьют,
Шинкарь аренды мне не платит.
Так что ж ты думаешь? Что я
Из-за тебя пойду с сумою?
Нет, поп! Покуда власть моя,
Не так расправлюсь я с тобою!
Раненько ты и мерзкий шваб
О воле вдруг заговорили!
Вот покажу я вам, хотя б
И не хотелось вам. Забыли,
Что я здесь пан? Изволь идти

В лесу работать с мужиками!
Ущерб, что смел мне нанести,
Своими мне вернешь руками!»
— «Что вы здесь пан, я это знаю,
Но есть ведь и над паном пан.
Я только силе уступаю,
Но я открыто заявляю,
Что власть духовная мой сан
От панщины освобождает,
Что пан законы нарушает».

— «Да как болтать язык твой смеет?
Не твоего ума то дело.
А ты читал ли инвентарь?
Там сказано, что поп имеет
Надел для тягла из двух пар.
Отсюда вывожу я смело:
Мужицкий он, обыкновенный,
И ты обязан непременно
Работать вместе с мужиком».

— «Все было б так, беда лишь в том,
Что в той же книге говорится,
Что „поп от панщины свободен“».

— «Свободен тот, кто благороден!
А хочешь своего добиться
И не согласен ты со мною —
В суд жалуйся, но я без боя
Не уступлю тебе. Сейчас
Я пан еще! . . И мой приказ
Изволь исполнить! Хватит счета
Сводить! Пришла пора работы!
Да живо, не жалейте рук,
А пожалеете — гайдук
Нагайкой вам поддаст охоты.
Ну, за работу! По местам!
Я вас приду проведать сам!»

ХІІІ

РАБОТА В ЛЕСУ.— ПОП-МУЧЕНИК.— ВЗРЫВ ЛЮДСКОГО ГНЕВА.—
ПАН-МИРОТВОРЕЦ.— ПАНСКИЕ СЛУГИ НЕ ШУТЯТ.—
ПОП ДАЕТ ОЦЕНКУ ПАНСКИМ ШУТКАМ

От бури бор стонал и выл,
Он словно зверь голодный был,
Махал ветвями, как руками,
Под ветром, будто мчась вперед,
Когда, поникнув головами,
Въезжали мы под темный свод.
Нам сразу как-то жутко стало
В минуту эту, будто мы
В заклятый, странный мир въезжали,
В то царство мрака и зимы,
Откуда выйти не мечтали
Живыми, словно из тюрьмы.

И как-то жутко застучали
Удары наших топоров,
А дебри эхо посылали,
Как будто всех чертей скликали,
Всех ведьм на этот страшный зов.
Сегодня праздник, знали люди,
И святотатственный тот звук
Каких еще там стоить будет
Нам бед неслыханных и мук?

Не время было колебаться:
Ни размышлять, ни возвращаться
Нам слуги пана не велят.
Мы сами страх свой заглушаем,
Деревья на пути сметаем,
Да так, что щепки лишь летят.
Крушим мы, стиснув зубы, рубим,
Отчаянно деревья губим,
Как самых злых врагов своих.
Одни кору с них обдирают,
Те пилят, эти собирают
И в кучи складывают их.

Попа торопят слуги пана,
Чтоб с молодыми неустанно

Работал он — таков приказ.
«Бог с вами! — люди закричали.—
Старик он! Мы и то устали,
Нет совести совсем у вас!
Он еле шевелит ногами.
Здесь пни, попробуйте-ка сами,
Надолго ль хватит сил таких!»

— «Молчать! — кричит наймит.— Я знаю!
Я волю пана выполняю.
Ташите, батюшка!»

Затих

Народ в молчании, угрюмо.
Под бури стон и леса шумы
Кипит работа. Такова
Мужичья доля. Пана слуги
Смеются, видя, как с натуги
Поп из последних сил своих
Работает среди других.
Внимания не обращают
На старость, на духовный сан,
А всё, злодеи, подгоняют:
«Ташите, батюшка! Наш пан
Сейчас придет, врасплох застанет,
Задаст хлопот и вам и нам».

Из сил напрасно выбивался
Старик — дрожит его рука,
Не мог он двинуть, хоть слегка,
И палки. Шел и спотыкался,
И падал в снег, и поднимался.
Под силу ли для старика
В лесу работать! Мы смотрели,
Как издевались и зверели
Наймнты, тешась над попом,
А он, не молвив и словечка,
Во всем послушный, как овечка,
Уже и двигался с трудом.

Но дальше видим —изнемог
Под тяжестью, свалился с ног,

Лежит в сугробе без движенья,
В груди слышалось хрипенье.
А палачей не усмирить
Проклятых,— жертву окружают,
Как воронье, и в бок толкают:
«Да хватит здесь вам снег месить,
Ведь сучья надобно носить!»

Не чудо ль вдруг явилось в свете?
Или так страшно свистнул ветер?
Иль ствол внезапно затрещал?
Огонь ли молний засверкал?
Или в сердцах у нас прорвалось
То, что, заледенев, держалось,
И разом хлынуло на свет?
Как всё стряслось, не знаем сами,—
Мы с поднятыми топорами
Все бросились, грозя словами:
«Злодеи! Будете вы знать!
Немало кровь вы нашу пили,
Нас истязали и томили!
Теперь расправимся мы с вами,
И смерти вам не избежать!»

Нас ветер нес иль злая сила
Движенье наше устремила,—
В одно мгновенье мы затем
Наймитов пана обступили,
Их как забором окружили,
Чтоб отомстить как надо всем.
Стальные острия сверкали
Уже над головами их.
«Покайтесь богу,— мы кричали,—
В грехах и помыслах своих!
Вот вам и поп — скорей покайтесь,
Во всех грехах своих признайтесь,
Отсюда ни один живым
Не выйдет!»

Словно онемели
Злодеи, сразу побледнели;
Мы страшным натиском таким

На них насели, что и мысли
Им не пришлось сопротивляться:
Над ними страх и смерть нависли,
Никто не смел ни вырваться,
Ни убежать, — а то б его,
Наверно, тотчас же убили.
Не зная сами отчего,
Они тут головы склонили
И бросились к ногам людей.
И год сорок шестой пред нами
С его кровавыми делами
Воскрес внезапно явью всей.

«Соседи добрые, бог с вами!
Поймите, нашей нет вины.
Ведь против воли мы должны
Всё были делать. И над нами
Тот самый пан, что и над вами!»

— «Неправда! — крики раздались.—
Мы поневоле на работе,
А вы по собственной охоте
На службу к пану нанялись.
Теперь мы братья ваши стали?
Мы раньше вас другими знали,
Другую ваша речь была,
Когда вы вашими руками
Нагайкой били нас, кнутами,
Так били нас, что кровь текла!
Довольно! Хватит нам терпеть!
Погибнем? С нами погибайте
И ужас гибели узнайте!
Молитесь! Тут вам будет смерть!»

«Ха-ха-ха-ха! Вот это дело! —
Над всеми нами загремело.—
Ха-ха-ха-ха! Ну вот те раз!
Что вижу? Здесь хотят учиться,
Как на колени становиться
Пред мужиками? В добрый час!
Фу, фу! Себя вы уважайте!
Штаны промочите! Вставляйте,

К чему всё это, как понять?
И почему стоят над вами
Вот эти люди с топорами?
Не собрались ли танцевать?»

Как бы из-под земли явился
Мигуцкий и остановился;
В богатой шубе, в сапогах,
Опять с кнутом своим в руках,
Он гордо встал. Но не гневливой
И даже, может быть, шутливой
Была усмешка на губах.

Мы замерли. Нас гром с грозой
Навряд ли так бы поразил.
Безумный гнев, что ослепил
Нас перед этим, вдруг остыл,
И нам самим перед собою
Неловко стало, будто нас
В какой-то краже уличили,
И, словно по команде, враз,
Вниз топоры мы опустили.
А пан с усмешкою своей
Вошел спокойно в середину
И гордым взглядом слуг окинул,
Что были мертвеца бледней,
Дрожали, мялись понемногу
И, силясь подавить тревогу,
В душе благодарили бога,
Что он их спас от рук людей.

А пан смеется и дивится:
«Ну что, пане,— промолвил он,—
Вас учат мужики молиться?
Усерден, знать, был ваш поклон?
Ну, хорошо! Совсем немного
Он может повредить. А богу
Молитва — дар. Ее он ждет,
Коль кто-нибудь с любовью, с рвением
(Сказал он это с удареньем)
Ему всю душу отдает».

Молчали панские вояки,
А пан добрался и до нас:
«Эх, дурни, дурни! Дури в вас
Гораздо больше, чем отваги!
Я вашу верность должен был
Проверить, как отец, на деле.
Должно быть, бес вас окрутил,—
Вы слуг моих убить хотели!
Я ж, дурни, только пошутил!»

Молчали люди, туча-тучей.
Глаза у всех смотрели вниз.
А пан им: «Сами вы взялись
За злое дело! В пропасть кучей
Вы прете слепо! А зачем?
Я знаю то, что вам когда-то
Наговорили супостаты:
Они клялись, что скоро всем
Свободу будто бы подарят,
Что всех от панщины избавят.
Вы скажете, что это ложь?»

Народ молчал. «Молчите, что ж!
Я знаю всё. Врут не впервые
Те языки гадючьи, злые,
Одно забыли вам сказать:
Как волю заслужить народу!
Так вот я сам скажу вам всё:
Тот только заслужил свободу,
Кто терпеливо гнет несет.
Задумал я проверить строго,
Достойны ль вольными вы стать?
Хотел я пошутить немного,
И вижу я, что очень долго
Идти вам длиною дорогой,
Чтоб разума себе искать».

Народ молчал. Вот для ответа
Приказчик вышел, поклонился.
«Простите,— он сказал,— с рассвета
Здесь всяк для вас старался, бился,
Дрожал, как лист под ветром, каждый,

С самую смертью встреться дважды!
Вам панской шуткою простою
Всё кажется. Нет, слуг своих
Так пан другой не угощает,
Забавы ради не толкает
В слезах к ногам мужицким их.
И разве дальше так смогли бы
У пана мы еще служить?
Большое вам за всё спасибо
И дай вам бог счастливо жить!»

А пан стоял, смотрел, не зная,
Что и ответить! Речь такая
Приказчика вдруг смысл всего
В особом свете показала.
И всё ж пока не исчезала
Еще улыбка с губ его.
Но что-то между мужиками
Вдруг застонало и руками
Взмахнуло,— люди подошли
И тут же к пану подвели
Попа бессильного, худого,
От всех невзгод едва живого,
Что ими поднят был с земли.
Он бледен был, он с ног валился,
Как бы подрубленный, дрожал,
Но взгляд его еще светился,
И еле слышно он сказал:

«Пан пошутил с людьми, как добрый
Отец,— их верность проверял!
А с богом тоже он для пробы,
Как видно, шутки затевал?
И это шутка — божью славу
Пан осмеял, в храм запер дверь?
И шутка — что себе в забаву
Жестоко, без суда и права
Меня замучил он теперь?
Всё это панские забавы?
Я жалобу на божий суд
Снесу. Мой дух пред ним предстанет.
Но в вечность год еще не канет —

Тебя туда же позовут!
Твое богатство в злые руки
Пойдет. Никто не будет знать,
Что жил ты. Сыновья и внуки
Тебя же будут проклинать!»

Проклятье ли, угроза ль эта
Пред паном вдруг сиянье света
Как крылья тьмы заволокли,—
Он задрожал и стиснул зубы,
Крутя усы, кусал он губы,
Потом сказал: «Плети, мели!
Болтай, старик, как хочешь, всяко!
А ну! Домой пора, однако!»
И прочь пошел. И мы пошли.

XIV

ЗАТИШЬЕ ПОСЛЕ БУРИ.— СМЕРТЬ ПОПА.— ЖАЛОБЫ ВЛАСТЯМ.—
СТАРОСТА ВЕДЕТ СЛЕДСТВИЕ.— КОМИССАР-СОВЕТЧИК.—
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДОВЕРЕННЫЕ.— ДОВЕРЕННЫЕ-МУЧЕНИКИ.—
ПАНСКАЯ НАУКА.— «БОГ ПРАВДЫ И СВОБОДЫ ЖИВ»

Как будто тяжкий сон гнетущий
Всё это было, что в тот день
Мы пережили: бури-тучи
И взрывы чувств, как гром ревущий,
Обиды, кривды страшной тень.
Когда же из лесу мы в поле
Безмолвно вышли все, нам вдруг
Открылась, мертвая до боли,
Равнина снежная вокруг.
Накрыто небо серой тучей,
Ни ветерка, такая тишь,
Лишь где-то плыл дымок летучий
Над скатами далеких крыш.

И после этой бури всей
У нас в груди так тихо стало,
Всем как-то сделалось грустней,
Былых надежд как не бывало,

Казалось, небо возвещало:
Не снять вовеки нам цепей!

Под гнетом тягостным такого
Волнения мы молча шли
В село, как будто гроб несли.
Отчасти было так — больного
Ведь мы туда попа везли.
Жизнь струйкой крови уплывала
Из губ его; уже он стал
Холодным, сердце замирало;
Он еле слышно прошептал:
«Прощайте, дети! Вы ему
Простите и доверьтесь богу!
Вам жить во тьме, покуда тьму
Бог на погибели дорогу
Не выведет!»

Но час настал,
И, не советуясь, мы знали:
Покорности прошла пора.
Как мимо панского двора
Мы проезжали, запирал
Ворота пан: он, зная, боялся,
Чтоб за него народ не взялся,
Шутя б, его не растерзал.

Но мы усадьбу миновали
И у ворот поповских стали,
В дом из сеней попа внесли,
Отогревая, берегли;
Потом мы жалобу писали,
Затем доверенных избрали,
Чтоб к старосте скорее шли.

Так новый год мы начинали!
Богослуженье уж не шло.
Мы безутешно все рыдали;
Под вечер целое село
К поповскому жилью стремилось,
Со старым пастырем простилось,
К руке губами приложилось.
А для него уж свет померк,

Он чуть дышал, погасли очи.
Когда ж сгустился сумрак ночи,
Уснул спокойно он навек.

Но то, чего так пан боялся,
Не умерло с ним, нет! Как раз
Наоборот, теперь у нас
Наш с паном танец начинался.
Едва лишь жалобу подать
Успели мы, вдруг слух мы ловим,
Он две своих успел послать:
Одна на нас, что бунт готовим
И что хотели мы убить
Слуг панских, панский двор спалить.
В губернию пошла другая,
Что комиссар, невесть с чего,
Людей волнует, распуская
Слух о правах, всех уверяя,
Что жизнь их может быть иною,
Толкает их на дело злое,—
Свидетели есть у него.

И правда, кой-кого умело
Шинкарь поймал уж за язык:
Шутя, как издавна привык,
Он выпытал у пьяных смело
И всё как есть узнал от них,
Что комиссар сказал! Затих
На миг и шум, и гам, и крик
В селе; свое мы знали дело
На панщине, и ждали мы,
Гадая, что же дальше будет?

Вот раз среди полночной тьмы
Внезапно взволновались люди:
По тихой улице селом
Закрытые промчались сани
С казенными колокольцами,
В усадьбу въехали. Потом
Пошли догадки между нами:
Зачем? Кто их сюда занес?
И кто-то наконец дознался,

Что комиссар — вести допрос —
В село со старостой примчался.

И начали они тогда
Вести в селе допрос суровый.
Недаром староста сюда
Приехал. Вместе с ним и новый
Наш комиссар. Так поделили
Между собой они работу,
Что пан со старостой заботу
Одну лишь знали каждый день:
Гуляли и горилку пили.
А комиссар, глухой как пень,
На все обиды и страданья
Совсем не обращал вниманья,
Не злобился, не угрожал,
Лишь со спокойствием отменным
Он всем допросы учинял,
И хладнокровьем неизменным
Он страх свидетелям внушал.
Он спрашивал неторопливо,
Ответ выслушивал учтиво.
Мы видели: он так подходит
К непросвещенному порой,
Что часто и до слез доводит.
Его прозвали «черт худой».
А следствие он вел умело —
Писал он по-немецки дело,
Записывал лишь то, что люди
О ком недоброе сказали,
Но если пана кто осудит,
Его и уши не слышали.

Что ж нам сказать? Что запятнали
Нас протоколы те кругом:
Как мы присяги пожелали,
И как мы слугам угрожали,
И после их в лесу глухом
Чуть не убили. Всё как было
Писал он. А про то, как всех
Пан мучил, к пьянству принуждая
И строить школу запрещаая,

И даже в светлый праздник силой
Гнал, совершая тяжкий грех,
На панщину,— о том ни слова.
В тревоге расходились люди.
«Теперь беда большая будет!» —
Шел всюду разговор суровый.

Пан староста три дня сидел
У пана, иногда глядел
На комиссарскую работу,
Хоть протоколов не читал;
И наконец-то день настал —
Уехал в город он в субботу.
А комиссар осенней тучей
Висел с неделю над селом,
Допрашивая непрестанно,
Как будто жилы, окаянный,
Тянул, бедою неминучей
Грозил и всех чернил кругом.

Воскресным вечером сидели
Мы все, собравшись у дьячка,
И всё не ладилась пока
У нас беседа, мы глядели
С неверием на наше дело.
Вдруг слышим — что-то загудело,
Поднялся ветер и тотчас
За дверью что-то зашумело.
Дьячиха вышла, дверь открыла,
Кого-то в хату пригласила,—
Наш комиссар, народу милый,
Вошел: «Приветствую я вас!»

Мы удивились. Оглядел
Он всех нас, будто вспоминая
Былое. На скамью присел
И чуть заметно улыбался,
А после тихо отозвался:
«У, савирюха сдесь какая!»

И речь пошла от слова к слову:
«Ну, как живете? Как здоровы?»

И что же привело к нам вас?»
Он как-то горько усмехнулся
И, обращаясь к нам, нагнулся:
«Попались вы на этот раз!
Я, протоколы фсе читая,
Фсё поняль. Ну, мушик, я снаю,
Не путет врать, хоть бы пропал!
Ну, что вы там наговорили?
Да если б вас секли, палили,
Никто бы так не наболтал!»

— «Писал все это,— мы сказали,—
Наш комиссар, как сам желал,
А нам ни слова не читал».
— «Вы цесаря там примешали! —
Со страхом комиссар шептал.—
Я снаю фсё. Обтумал сам.
Бумагу эту нате вам!
Спешите фсё переписать!
Ведь выборные есть у вас?
Штоп ночью же во Львов послать!»

Листок бумаги небольшой
Он дал дьячку и, пояснив,
Чтоб всё как надо написали
И чтоб доверенных послали,
Кивнул, прощаясь, головой
И, угошенье отклонив,
Ушел, чтоб люди не видали.

Нам долго говорить не надо:
Мы, чтобы нам не опоздать,
Тотчас же все ушли из хаты,
А ночью наши делегаты
Поехали, как будто рады
Они на рынке псбывать
И кое-чем поторговать.
Хоть делегацию во Львов
И осторожно мы послали,
Но кто-то там из мужиков
Уже уведомить успел
Об этом пана. Мы не знали,

Что дни горячие настали,
Что горький нам грозит удел.

Как разозлился, раскричался
Наш пан, чуть стало рассветать,
Когда от шинкаря дознался,
Что мы успели в ночь с послами
На пана жалобу подать
Во Львсв! Он скрежетал зубами
И сразу письма сел писать,
Чтоб, ни минуты не теряя
И ходоков опережая,
Те письма разослать панам:
«Кто ходоков тех повстречает,
Пусть их немедленно хватает
И вяжет их, и в округ шлет».

Не знаю я, понять ли вам
Тот страх, что испытал народ?
Неделю жили мы в таком
Волнении, в такой тревоге!
Мы только ждали день за днем,
Кто верх из нас возьмет в итоге —
То ль наши выиграют бой,
То ль их поймают по дороге?

Через неделю весть идет:
Поймали наших! Боже правый!
О, как тут задрожал народ!
И камни дрогнули б! А бравый
Пан выше голову задрал,
Когда узнал, что утром рано
Знакомый пан послов поймал
И под конвоем их послал
Не в округ, а обратно, «к пану».

«Умен, умен почтенный Стах! —
Сказал наш пан. — Пришло спасенье!
Скорей сзывайте всё селенье!
Пускай у всех здесь на глазах
Послы получают угощенье,
Пускай поймут, что значит страх!»

С работы сняли нас, за нами
Из хат погнали всех людей;
А жен несчастных и детей
Доверенных тех — в первый ряд
Поставил пан: пускай глядят,
Как будут их отцов кнутами
Пороть, пусть внукам говорят,
Чтоб не вели войны с панами.

Вот связанных их привели,
Несчастных, изнуренных, бледных,
Оборванных, голодных, бедных.
Как только к пану подвели,
Он гайдукам дал знак рукою
И крикнул: «В снег их, в снег вали!
И там пори, куда вам
Не крикну «хватит!»

И спокойно
Он стал свистать. Следил он сам,
Как с ног их сбили. Боже милый!
На каждого четыре было.
Один — на голове верхом,
Другой — в ногах, а два кнутом
Ну молотить что было силы.

И, как на неживых, вначале
Удары сыпались; лежали
Они безмолвно, в снег лицом,
И только их тела дрожали
Да извивались под кнутом.
Пан свищет, дворня их сечет,
Кровь сквозь лохмотья проступает,
Потоками на снег течет,
Оттуда, как из-под земли,
Охрипший голос долетает.
Пан свищет, пан не замечает.

Несчастных жены подошли
И дети целою толпою —
Они с рыданьем и мольбою
К его бросаются ногам.
Пан свищет, глух он к их мольбам.

Одна дрожащими губами
Хотела, подползая к пану,
Злодею ноги целовать,
Сапог кровавыми слезами
Хотела пану обливать,—
А он, свистя, своим носком
Ее толкнул, она упала
В снег, вверх лицом, и застонала,
И кровь из губ пошла ручьем.

Как долги те минуты были,
Когда несчастных крик глушить
Боль начала! Тут пан сказал:
«Довольно!» Их, подняв, обмыли
Снежком. Бедняги, обессилев,
И с места не могли шагнуть.
Их слуги пана поддержали.

«Ну что,— сказал им пан,— узнали,
Какой теперь ко Львову путь?
Любой из вас его узнает,
Кто против пана выступает.
Еще дадут вам и не так!
Вам это только на заправку,
А в округе дадут надбавку,
Я ж вам пока даю отставку,—
В амбар ведите забияк.
Свяжите всех, поесть им дайте,
Потом об их делах узнайте
Всё поподробней. Мы придем
И всыплем им на всякий случай,
А если это нам наскучит,
То мы их в округ отведем».

Стояли мы как неживые,
И ни гу-гу. Ведь не впервые
Надежды наши все былые
Вдруг отняли. Не все ль равно:
Бороться с паном мы не в силах.
А нашей жалобе на крыльях
Лететь во Львов не суждено:
Наш пан и староста — одно.

Нам остается лишь молчать
Иль дом и поле покидать,
Куда глаза глядят — бежать.

А пан, чтоб лучше доказать
Свою победу, обернулся
Тут к нам и гордо огрызнулся:
«Смотрите, вот она — моя
За бунт расплата! Вот, канальи,
Чтоб хорошенько все вы знали,
Как действовать умею я.
Ну, жалуйтесь, да посмелее,
Я вас пощекочу сильнее,
Потрафлю вам! Кому своя
Жизнь надоела, пусть бунтует!

И зря ваш комиссар народу
Болтал, что цесарь вам свободу
С отменой панщины дарует.
За то, что комиссар так врет,
Ему изрядно попадет.
А я скажу, канальи, вам:
Тому, кто слух такой разносит,
Не верьте, — он беду приносит,
А не свободу. Цесарь сам,
Сам бог не обладает правом
Вам подарить то, что мое!
Нет, я найду на вас управу!
Ни бог, ни цесарь не дает
Того, чего он не имеет.
Послушайте, скажу я вам:
Пускай свобода вам не снится!
Свободой цесарь не владеет,
Пока я здесь, ей не явиться,
Вот разве сам ее я дам!»

Так богохульными устами
Пан это людям всё сказал.
Он думал — этими словами,
Как тяжким камнем, угнетал
Он нас. Но всё иначе случилось, —
От этих слов наш дух воспрял.

«Слепец, слепец! — мы размышляли.—
Ты думаешь, что целый свет
В твоих руках? А как менялась
Твоя судьба за много лет!
Ведь и тебя оставит сила,
И гордый твой исчезнет след».
И уж не так нам страшно было,
Когда увидели на днях,
Как делегатов наших бедных
Вели дорогой в кандалах,
Таких измученных и бледных.
Прощаясь с ними, мы кричали:
«Не бойтесь же! Бог всеблагой
Не даст, чтоб век торжествовали
Паны над нашею судьбой!»

И нас совсем не испугали
Те слухи, что пришел приказ,
Что комиссару предписали
Во Львов направиться тотчас.
У пана — радости прилив:
«Теперь смутьяна песня спета!
Он, за решетку угодив,
Уж больше не увидит света!»
А мы, хоть тяжело горевали,
Но, утешаясь, повторяли:
«Бог правды и свободы — жив!»

ХV

ПАСХАЛЬНАЯ СУББОТА 1848 г.—
УКАЗ ЦЕСАРЯ ОБ ОТМЕНЕ ПАНЩИНЫ.—
КРЕСТЬЯНЕ НЕ ПОНИМАЮТ.— «ПОЙДЕМ К ПАНУ!»

Зима давно уж миновалась,
Последняя из страшных зим.
Неделя Пасхи приближалась,
И перед четвергом страстным
В полях уж началась работа.
Страстная подошла суббота,
За ней пасхальный день пришел —
Единственный для нас свободный,
Великий день. Его сегодня,

Как день вчерашний, хорошо
Я помню.

К пану спозаранку
Мы шли рассветным холодком,
Чтобы пшеницу-марианку
Готовить к севу. А потом,
Перед обеденной порою —
Уж мы управились с зерном,—
«Айда домой, да чтоб бегом!
И чтоб сейчас же с бороною
На площадь каждый выезжал!» —
Так пан Мигуцкий приказал.

Мы кое-как перекусили,
Что дома наскоро нашлось,
И возвратиться поспешили.
Там всё село уж собралось
С лукошками, да с боронами,
Да с заступами за плечами;
Пригнали также и ребят
Сюда с лозовыми жгутами,—
Пусть ими бороны крепят.
Поставили нас всех рядами,
Как будто на муштре солдат,
Приказчик пана между нами
Ходил, считал, распоряжался,
Кому идти, с кем и куда.

Вдруг видим мы: с горы спускаясь,
Повозка тащится селом,
И дремлет в ней гайдук, качаясь,
А кучер шелкает кнутом.
Кто ж это сзади? Боже милый!
Наш комиссар! Он самый, он!
Но ведь в тюрьму же засадили
Его во Львове? Может, сон
Всё это? Сердце вдруг забилося,
Из нас, казалось, каждый ждал —
Беду иль радость предвещает
Всё то, что вдруг глазам открылось.
Приказчик трусом не бывал,
Но как и все остолбенелый,

Он буркнул про себя: «Бог весть,
Как тут понять? Зачем везут
Его сюда?»

Как увидали

Нас те, что ехали, так тут
В бок комиссар наш гайдука
Толкнул,— вдруг тот, как очумелый,
Опомнился и от толчка
Чуть не упал вниз головою;
Затылок почесав рукою,
И наклонясь к повозке, стал
В соломе не спеша возиться
И что-то круглое достал,
Как хлеб, завернутый в тряпицу.
Ну, все мы смотрим, а гайдук
С телеги мигом прыгнул вдруг,
Через плечо перемахнул
Тот сверток, после развернул:
В нем барабан! А как толкнул,
Он застучал, загрохотал,
И эхо гул свой покатило
Над всем селом. Заговорило
Село. Со всех дворов, из хат —
И стар и мал бегут, хотят
Увидеть — что ж это такое?
Телегу окружив толпою,
Остановились.

«Тише, эй! —

Наш комиссар кричит визгливо,
Встал во весь рост в повозке, живо
Бумагу вынул.—

Я вам сей

Указ прочту. Его вы снайте
И, будьте топы, уважайте —
Ведь это цесаря указ.
Всё, что прочту, сапоминайте». —
И по-немецки стал для нас
Читать. На цыпочки мы встали,
Чтобы хоть что-нибудь понять.
То здесь, то там порой вздыхали,
Крестились, к небу поднимали
Глаза и слушали опять.

А комиссар нам очень живо
Читает — громко, торопливо,
Звучат какие-то слова.
Вот кончил: «Поняли? Всё ясно?»
— «Нет, пан, ни слова!» — «А напрасно!
О, клюпа, клюпа колофа!
Своей же воли и свопоты
Понять не мошешь, а тольшна!
Под третье мая, что потходит,
Свопота путет всем дана.
С вас цесарь панщину снимает,
Не нужно потати платить,
Пусть всяк свое хозяйство снает!
А староста нам обещает,
Сняв канталы, домой пустить
Всех телекатов, шоб фы снали.
Ну, поняли?»

Сачем молчать?

Вы этого не ошитали?
Што, как столпы, на месте стали?
Начнемте же «ура» кричать!»
Но все молчат. Вдруг отделился
От всех наш войт, и поклонился
Он комиссару, и сказал:
«Простите, пан, что принимаем
Мы это холодно. Не знаем,
Поверить ли. Нас уверял
Наш пан, что быть того не может,
Что вас во Львов должны позвать
И наказать вас там построже;
Не смеет панщины снимать
С нас цесарь — это пана воля».

— «О, клюпый лют! О, слая доля!
Иначе пан не мог скасать.
Царь у панов не отпирает
Всё панское, он опещает
За это теньги им отдать.
Я цесарю слуга, не пану.
Я вас обманывать не стану.
Ты снаешь, чья это печать?»

— «Пусть цесарь долше правит нами,
И вы на славу с мужиками
Живите долго,— но ведь мы
Уже так много потеряли,
Что страшно, как бы и сейчас
Опять мы все на мель не сели.
Мы просим вместе с нами вас
Пойти и пану всё сказать.
Указ ему вы прочитайте,
Да покажите и печать,
А подтвердит он — твердо знайте,
Что слову доброму такому
Мы верим, цесарю ж благому
Мы с благодарностью, с любовью
Добром своим и даже кровью
Послужим всей душой при том».
— «Ты корошо, мушик, скасаля,
Пойтемте же, шобы усналя
И пан ваш всё. Пойдем! Пойдем!»

XVI

«ПО ЦЕСАРЕВУ УКАЗУ». — КОМИССАР ПОУЧАЕТ ПАНА!
ПАНСКАЯ ШУТКА НАД КОМИССАРОМ

Когда к столу в то утро с паном
И пани вышла на балкон,
Толпою, как в угаре пьяном,
Мы с комиссаром обступили
Весь панский двор. Шел первым он,
За ним гайдук шел с барабаном
И барабанил что есть силы.
Шум услыхав со всех сторон,
Ломая руки, пани встала,
Едва от страха не упала,
Не зная, что произошло.
С недоуменьем посмотрела
На мужа пани. В чем тут дело?
Но пана лишь взбесить могло
Всё это сборище. И пуще
Он разозлился, зубы сжал.

Так, значит, комиссар собрал
Сюда людей! Какой живучий!
Ему черт шею не сломал!
Бедой, знать, пахнет неминучей!
Но чтоб не волновать жену,
С балкона пан неторопливо
Сошел и грозно и спесиво
К крестьянам обратился: «Ну,
Зачем вы здесь?» При этом так
Он к комиссару стал спиною,
Чтоб хоть на миг с его лицом
Не встретиться. А той порою
Гайдук ударил в барабан;
Стал красным комиссар, как рак.
И только что-то вздумал пан
Сказать, тотчас над головою:
«По цесареву повеленью!» —
Как скрежет по стеклу ножом:
— «Пан комиссар, у нас вы снова?
Вы редкий гость наш! Nu, wie geht's?»¹
Давно ль вы к нам? И, наконец,
Что там в указе есть такого?»

— «Был цесарем потписан он
Семнатцатым апреля, года
Текущего. Он утверштен
Навеки для всего народа.
Не путет панщины у нас,
Оброки отменил указ
И закрепил надел крестьянский.
А чтоп панов не опижать,
Велел им цесарь теньки дать,
Не оскорбляя чести панской!»

«O, Sapperment! Warum nicht gar!²
Пан вскрикнул, словно укусила
Его змея.— Твоя здесь сила,
Великий цесарь! Значит — дар,
Дар для народа щедрый, царский!

¹ Ну, что слышно? (нем.) — *Ред.*

² О, черт возьми! Почему бы и нет! (нем.) — *Ред.*

Но чтобы храбрый род крестьянский
За все заслуги одарить,
Нас, значит, надо разорить
И взять у нас всё, что возможно,
А цесарю тем заслужить
Себе любовь народа можно
И благодарность получить?
Ну что ж, мы рады поучиться!
Ведь слабый должен покориться.
Еще одно прошу, скажите,
А есть ли там, в указе данном:
Все те, кто недовольны паном,—
Его хватайте и вяжите?
Разрешены ли там пожары
И над панами злые кары,
Убийства, ограбленье их?»

— «Herr Schlachziz! — немец отвечает.—
Herr Schlachziz, mäßigen Sie sich.¹
Наш цесарь всем топра шелает,
А про убийства и разбой
В наказе нет и раскофора».

— «А как же год сорок шестой?»

— «Herr Schlachziz, пан, фи ошень скорый
На потозренья! Не пора ли
Сорок шестому дать покой?
Вы, атентаты Польши, знали,
Что первыми в крестьян стреляли,
Своею же себя петлей
Душили вы! Я разумею,
Когда б мушик пыль шоловек
Тля вас, не жег бы он, не сек —
Вас грудью б защитил своею!
Вы тумаете о тругом,
Штоп были розги для народа,
А вам — восстания кругом,
А вам — шляхетская свопота!

¹ Пан шляхтич, сдерживайте себя! (нем.) — *Ред.*

А коль указ нам цесарь дал,
Где о правах он нам трактует,
Вы в крик,— что волю он украл,
Что власть сама крестьян пунтует.
Нет, пан,— и в этом я клянусь! —
Мужик и сам всё видит ясно:
И это, пан-поляк, прекрасно.
Der Bauer, пан, ведь ist für uns!¹
И заговорщики пусть снают,
Что, если волки вновь придут,
Чтобы напасть на нашу стаю,
Стесть верных псов они найдут,
И так им уши их намнут,
Шо вновь прийти не пошеляют!»

— «О, Sapperment! Так много зла
Вокруг, что речь о псах зашла.
А псов немало в нашем крае!
Да я-то, сударь, понимаю —
Ошиблись всё ж, за псов приняв
Крестьян вы этих у меня.
Псы верные хозяев знают,
Псы верные в беде и ныне
Их ото всех обороняют!
А то не псы, а просто свиньи!
Вот ты моим попробуй псам
Прочешь указ, и ты узнаешь,
Тотчас же убедишься сам,—
Их благодарность испытаешь».

— «Hepp Schlachziz!» — комиссар взбешенный
Вскричал, грудь выпятив вперед,
Да только поздно было. Вот
Уж в панском сердце злость клокочет...
Пан крикнул, как умалишенный,
Побагровел. В глазах его
Лишь искры светятся все злее.
«Der Teufel drein!»² Шваб драться хочет
Со мной! Дождется своего!

¹ Мужик за нас (нем.) — *Ред.*

² К черту! (нем.) — *Ред.*

Эй, люди, кто там посильнее,
Его на псарню проводите,
Покрепче дверь за ним закройте,—
Пусть псам указ свой прочитает!
А вы, раззявы,— закричал
Крестьянам,— мало прописал
Я вам? Опять вас бес толкает
Мне в руки? Да ворота там
Заприте! Вот я завтрак дам
Всем, кто тут есть! Где розги, палки?»
Мы замерли. Когда ж потом
Очнулись, посмотрев кругом,—
Вдруг видим: за руки хватают
Наймиты немца — он кричит,
Хоть против воли, но бежит,
И полы фрака лишь мелькают.

XVII

ПАНСКАЯ ПСАРНЯ.— КОМИССАР НА ПСАРНЕ.—
ПОГРОМ ПСАРНИ.— КОМИССАР ХОЧЕТ ИДТИ К ПАНУ.—
«СТАРОПОЛЬСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО».—
КОМИССАР-МИРОТВОРЕЦ

Пан псарней славился своею,
Охотником он славным был
И так любил свою затею,
Что уйму денег загубил
На разных псов. А у сарая,
Амбар стеною подпирая,
Стояла псарня: был забор
Навесом сверху обнесенный.
Истошный в нем, неугомонный
Шел визг и вой собачьих свор.
Была там сотня псов несытых,
Породистых и знаменитых —
Борзых, бульдогов, такс,— одни
Всегда на привязи стояли,
Другие в будках мирно спали,
Те выли, на забор скакали,
Рвались из этой западни.
Три раза в день их так кормили,
Чтобы они не сыты были,

Чтоб зверя гнали. Их совсем
Никто не гладил и не холил,
Не пестовал. Здесь верховодил
Один лишь только псарь Ефрем.
Пройдешь, бывало, близ забора,
Скулит, визжит собачья свора —
Ну прямо землю всякий раз
Жрет под собой. Вот потому-то,
Как только донеслось до нас,
Что хочет немца в озлобленье
Пан бросить своре на съеденье,—
Всех ужас охватил тотчас.

Пан встал над нами тучей черной;
Клокочет псарня, точно жернов
Каменья мелет. Сразу гам
Раздался, лай неуправимый —
Знак, что приказ неотвратимый
Исполнен, что на псарне, там,
Наш комиссар. Еще стояли
Наймиты, двери закрывали
И ухмылялись. Тут до нас
Из псарни вопль донесся дикий,
Он заглушил собачьи рыки
И у людей сердца потряс.
«Спасайте! Гибну!» — закричало
Из псарни — тут же замолчало,
И гнев зажег сердца людей.
«Спасайте! — люди заревели.—
Забор ломайте поскорей,
Ведь комиссара псы заели!»

Как случилось это всё — бог знает,
Но будто гром вдруг загремел,
Так бросилась толпа людская
Туда, и двор весь загудел
От топота. В одну минуту
Забор снесли мы в злости лютой,
Все будки, доски — всё в куски!
Собак, что посвирепей были,
На месте, тут же, перебили...
Крик, гвалт, кровавые клочки,

Проклятья, вопли и побои —
Всё оглушительно слилось
В одно, — дай бог, чтобы такое
Вам испытать не довелось!

Широко разнеслась кругом
На всё Подгорье и Подолье
Неслыханная весть о том,
Как псов мы в день свободы били,
Как песьей кровью освятили
Свободу. Шутка — не беда,
У нас смешное любит каждый;
Учитель сказывал однажды:
Бастилия там где-то, что ли,
Была; кто попадал туда,
Не возвращался никогда.
И лишь тогда, когда в каменья
Бастилию ту разнесли,
Народ дождался избавленья
И новой жизни дни пришли.
Пример тот взяли наши люди:
«У нас хоть песья битва будет
Взамен Бастилии!» Потом,
Смеясь, мы это вспоминали,
Тогда же и не замечали
Смешного мы и лишь искали
Всё комиссара. Все вокруг
Кричали: «Где же он пропал?
И где указ, что цесарь дал?»

Но комиссара нет! . . И вдруг
Тревожно все засуетилось:
Неужто ж съели псы его
С костями и не подавились?
Но глядь: в соломе, где ютились
Собаки, шорох слышим! О!
Нагнулись мы и отгребли
Солому. Вот он, здесь, смотрите!
Вот комиссар наш — здесь, нашли!
По пояс влез он в песью будку.
К нему все тотчас подошли,—

И что же, он в руках держал
Указ, где цесарь нам свободу
Всем даровал. Он не на шутку
Был перепуган, весь дрожал.
Бедняга даже застонал,
Встав на ноги: псы злые эти
Порвали все штаны на нем
И тело искушали, раны
Его палили, как огнем,
И кровь лилась. Уйти от смерти
Не смог бы он в тот час неожиданный,
Когда б в соломе в миг опасный
Не спрятался и мы б тогда
Конца забаве панской, страшной
Не положили навсегда.

«О-ох! Меня фетите к пану! —
Наш комиссар стонал.— О, зверь!
Jetzt wird er seh'n!¹ Любая рана
За двух свидетелей теперь.
Вот я ему еще покашу!»

Прихрамывая, он ступал,
На плечи опираясь наши,
От боли зубы крепко сжал,
Должно быть, пан, узнав о том
Указе, был им озадачен,
Сообразив, что насобачил,
Что не с поклоном мы идем.
Скорее слуг во двор сзывая,
Покрепче двери запирая,
Сам у окна с ружьем он стал
И комиссару угрожал.
Но, не боясь такой напасти,
Шел комиссар, отбросив страх.
Приблизясь, раны на ногах
Показывая, крикнул: «Ах!
Вот старой Польши — каждый скашет —
Гостеприимство!.. Вас несчастье
Постигнет! За сапаву злую

¹ Теперь он увидит! (нем.) — *Ред.*

Я вас сейчас же арестую! . .
Ну что ж, идете вы под стражу? . .»

Пан никуда не собирался
И лишь нацелиться старался
Он в комиссара: «Видишь, вот?
Беги скорее, шваб несчастный!
Ведь пуля может быть опасна —
Она погибель принесет!»

И комиссар, забыв о боли,
Как бы гонимый поневоле,
Вскочил и с криком побежал.
Встав в отдалении устало,
Когда опасность миновала,
Он пану так тогда сказал:
«Herr Schlachziz! Ты грошишь? Ну што же!
С тобой мы посчитаться можем.
Я говорю в последний раз:
Ставайся — именем сакона,
И если сташься ты сейчас,
То кара путет уменьшона!»

— «Иди сюда! Возьми-ка, на!» —
Кричал Мигуцкий, издевался. . .
И вдруг из каждого окна
Блеснули ружья. Как? Война?
Народ кругом заволновался.
Тут комиссар наш бледным стал,
Как бы от ужаса немея.
Но вдруг среди народа встал
Наш сельский войт и так сказал:
«Позвольте действовать скорее!
Свободу нынче цесарь дал
Затем, чтоб мы ему служили;
А если пан забунтовал,
То ведь у нас же хватит силы,
Чтоб образумить навсегда
Его! Не так ли?»

— «Да! Да! Да!» —

Толпа на это закричала.—
Нам Горожана показала

Пример, как гнать зверей из нор!
Давай огонь! Давай соломы!
И усмирять панов пойдем мы,
И выкурим их на простор!»

Стал бледен комиссар наш бедный,
Затрясся, на колени стал.
«О люти, люти! — закричал.—
В послетний раз прошу, в послетний:
Меня не надо опишать,
Усатьбу вас не подшигать
Прошу! Домой идите, спать!
Его оставьте! Не губите
Меня! А подождете двор,
Усатьбу — сразу расковор
Пойдет, что это я, поймите!
Следите, штоп не мог утрать
Пан из села перед рассветом!
Воспольсуйтесь моим советом:
Домой итите, и об этом
Ни слова никому! Мольшать!»

Посовещались мы. Пускай
И так! Такая пана доля,
Что даже враг его щадит.
«Пан комиссар, где ж наша воля?»
— «Вы все не верите?»

— «Один

Бог видит, как бы рады верить,
Но мы ведь так все настрадались
Из-за нее, так ошибались,
Что всё хотим сперва проверить».

— «О, петний лют! О, петний край! —
Возвел он к небу взор.— О боже!
Так много бед ты снал польших,
Что верить уж в топро не мошешь.
Коль так, пошлите верховых
Вы к старосте и расспросите,
По той ли прибыл я причине!
Но впрочем, панщины отныне
Не будет пан шелать, поймите!»

— «Пусть будет так! Людей пошлем
Мы к старосте и обо всем
Разведаем», — мы отвечали.
Тут раны мы перевязали
У комиссара, посадили
Его в повозку, проводили
Толпою, весело и шумно,
И обещали, как могли,
Себя вести благоразумно.
Усадьбу молча миновали
И только часовых послали,
Чтоб двор и пана стерегли.

XVIII

ПАСХА 1848 г.— ПАН АРЕСТОВАН.—
КОМИССАР И ПАН ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

День Пасхи! Боже мой великий!
Никто, с тех пор как мир стоит,
Не помнит праздника светлее!
С рассветом говор, шум и крики,
И всё село людьми кишит
Как муравейник. Все скорее
Спешат во храм. Как в первый раз
Мы петь «Христос воскрес» стали,
То все, как дети, зарыдали,
Да так, что церковь плач потряс.
Казалось нам: весь век мы ждали,
И дотерпелись, пострадали,
И он воскрес — он среди нас!
И как-то сразу стало нам
Легко и так светло и тихо,
Что, кажется, готов был каждый
И всей земле, и небесам
Кричать и петь: умчалось лихо!
Враги друг с другом обнимались,
Забыв обиды, целовались,
А колокол звонит, звонит!
И каждый хлопец, словно пьяный,
Ликуя, встречному кричит:
«Нет больше панщины и пана!

Свободны мы, свободны все!»
Ребята старшим подражают
И вслед за ними восклицают,
Как перепелочки в овсе.

Когда же службу отстояли —
Из церкви вышел весь народ,
И сколько нас там было сот,
Все до единого упали
Мы наземь, на колени стали
И господу хвалу воздали:
«Тебе, о господи, мы хвалим!»
И словно грома грохотанье,
Звучал тех слов напев чудесный,—
Но вот конец священной песни
Покрыли громкие рыданья!
Пытаюсь, дети, я напрасно
Вам хоть немного рассказать;
Что довелось мне повидать
В селе у нас в тот день прекрасный.
Чтоб не отстать от молодых,
Плясали старцы, как ребята...
А этот двух коней своих
Целует, каждого, как брата,
От радости ласкает их.
А дальше сельские девчата
Все ленточки с голов снимают,
И кланяются, и слагают
Перед иконою. Кричит
Иной от радости друзьям:
«Христос воскрес! А пана взял
Черт вместе с панщиной!» А там
Согбенный и седой старик,
Старейший на селе, припал
К могилке, к ней лицом приник,
И к дерну грудь свою прижал,
И повторяет: «Тату, тату!
Пришла свобода! Отзовись!
Ты сотню долгих лет проклятой
Служил неволе, расставаться
Ты с жизнью не хотел, всё ждал
Свободы и не мог дожидаться! —

Глянь: луч ее нам засиял!
Моих внучат уже в палаты
Пан, как меня, не заберет!
К себе меня возьмите, тату,
Теперь свободным сын умрет! ..»

Но только пасхи поп успел
Нам окропить святой водою,
Как всякий, глянув, онемел:
Кто там шагает под горою?
На солнце пуговики блестят,
Горят штыки над головами,
И грузно движется отряд,
И громко топает ногами.
Солдаты! Гулкий барабан,
Как об стену горохом, грянул.
А там — о, боже мой! — я глянул:
Среди солдат идет наш пан!
Ему, скрутив назад, связали
Веревкой руки. Он шагал,
Как будто день и солнце клял.
Веревки позади свисали,
Что пану руки оплетали, —
Их за концы в руках держал
Гайдук, как будто прасол гнал
Вола на торг. А сзади всей
Ватаги ехал на тележке
Наш комиссар, — сдержать усмешки
Не мог он, видя сход людей
У церкви на бугре... Взирали
Они испуганно на сей
Престранный вид.

К нам приближался

Отряд, он с нами поравнялся.
И комиссар тут крикнул: «Эй!
Пан капраль, станьте!»

— «Halt!»¹ — раздался

Капрала крик.

— «Христос воскрес! —

¹ Стой! (нем.) — *Ред.*

Поздравил комиссар людей.—
Ну, люти! Вот и день чудес —
Ведь вы свопотни! Ну, тай боже!
А вот и топрый пан ваш. Мошет,
Ви на прощание за ту
Его польшую топроту
Спасипо скажете? Ну, живо,
Спешите, скоро ли, как снать,
Его увидите опять:
Сам наварил себе он пива
И угощаться будет сам,—
Не скоро пан вернется к вам!»

Все смолкли, словно онемели;
И вместе радость, жалость, страх
В одно смешались в их сердцах;
Все с диким ужасом глядели
В тот миг на пана. Он стоял
Угрюмый, словно понимал,
Что божий перст его коснулся.
В толпе ж никто не шелохнулся,
Не закричал на этот раз.
Что́ крик, проклятия, побои,
Когда наказан он судьбою,
Когда побит он и без нас?

Лишь комиссар наш не молчал,—
Так ноги у него болели,
Что даже зубы он сжимал,
И каждый ясно понимал —
Он хочет пана доконать
И, видимо, лишь с этой целью
Его пешком заставил гнать
И за веревку приказал
Он гайдуку его держать.
И пану комиссар сказал:

«Негг Schlachziz! Ты лютей своих
Считаль скотиной почему-то.
И все ж они честней таких,
Как ты! В тяжелую минуту
Тебя не стали проклинать,

Твою вину и нрав твой лютый
Прощают — вижу я по ним!
Эх, люти, люти, топри люти!
Я не шелаю быть таким.
Коль зол я, злоба чистой путет!
Глюп тот, кто, сберегая честь,
Стремится щетрим быть, кто хочет
Казаться лутшим, чем он есть!
А кто посмель мне зло принесть,
То лутше он ни днем ни ночью
Пусть в руки мне не попатает,
Не то своих он не уснает!»

Тут пан, как в клетке зверь, метнулся,
Остановился, оглянулся;
На комиссара в ту минуту
Смотрел с такою злобой лютой,
Что вздрогнул тот.

«Ах, шваб поганый!

Палач! Гиена! Что ты — пьяный?
Как не отсохнет твой язык?
Иль мало всех моих страданий,
Жены отчаянных рыданий?
Или ее ужасный крик,
Когда пришлось нам расставаться,
Тебя еще не утолил?
Толкнув, ее ты в грязь свалил.
Как смел ты, зверь, ее касаться?
Да ты ее слезы единой
Не стоишь! Ты других зверей
Зовешь, чтоб рвали нас скорей!
Она больна, а я невинно
Закован. Пусть скорей прошла бы,
О боже, туча черных дней!
Пойдем же к старосте скорей!
Господь сильнее злого шваба!»

Тут комиссар захохотал:
«Herr Schlachziz! Набожным ты стал?
Sehr schön! ¹ Тебе суд божий страшен?

¹ Очень хорошо! (нем.) — Ред.

Но веть нетафно, я слыхал,
Ты этим лютям замыкал
Пред самым носом церковь бошу.
Мы путем протолжать дорогу,
И к старосте поспеем мы,
А перед тем тольшны немного
Еще ответать вы тюрьмы!»
Капралу он сказал два слова —
И тут скомандовал капрал:
«Marsch!»¹ — «Люти, путьте ви сторова!» —
С народом комиссар простился,
И снова в путь отряд пустился,
И скоро из виду пропал.

ХІХ

УСАДЬБА БЕЗ ПАНА.— ФОМИНА НЕДЕЛЯ.—
«ПАНИ НЕВИНОВНА».— МУЖИКИ НАВОДЯТ ПОРЯДОК
В УСАДЬБЕ.— ПАНИ БОЛЬНА.— ПАНИ УГОЩАЕТ
КРЕСТЬЯН.— МУЖИКИ ИДУТ ОСВОБОЖДАТЬ ПАНА

Минули праздники. И стало
Так странно нам: рабочим днем
Уже приказчик под окном
Нам не стучит, нас не ругает,
На панщину не гонит! Сном
Он стал и лишь во сне пугает,—
Его как будто не бывало.
Повсюду люди на полях
Работают, и песни льются,
Смеется небо, все смеются.
Вот полдень — и на отдых стал
Мужик, что на волах пахал.
Полуднует — и оглянется:
А вдруг приказчик вновь вернется?
Но, вспомнив, что пришла свобода,
Под ясный купол небосвода
Он песню вольно заведет,
Оглянется и вновь поет:

¹ Марш! (нем.) — *Ред.*

«Эх, пропадай ты, наше горе!
Пусть насмерть черт тебя заперет!»

Усадьба ж словно онемела —
Стоит, молчит в конце села
В саду расцветшем. Не пришла
Охота людям — нет и дела
Им узнавать, что случилось с нею.
Работой заняты своею,
О том и знать им не хотелось,
Лишь примечали: служба грелась
На солнышке, и в поле плуг
Не шел. Так тихо всё вокруг.
Веселье, музыку, «вивáты» —
Всё то, чем панский двор когда-то
Был славен,— будто среди поля
Бесследно вьюга размела.
В селенье с панского двора
Никто не шел — чудны дела
Господни! Лишь словечко — «воля» —
И вмиг как будто бы гора
Меж паном и селом легла!

И вот однажды в воскресенье,
Из церкви выйдя, мы сошлись
У паперти, и начались
Беседы про былое лихо
И про надежды на спасенье,
Про то, что мы не дождались
Еще свободы, что во Львове
Среди поляков решено
Про «гвардии» их «народови»:
Те крестятся, а тем смешно...
Тут войт, приблизясь, крикнул: «Тихо!
Вниманье, братья,— он сказал,—
Позвольте мне сказать вам слово!»

Всё сразу стихло.

«Бог нам дал
Дождаться воли дня святого —
Хвала ему!» — И шапку снял,
Перекрестился, мы за ним.

«Все рады мы делам таким.
Но не забудем и другого
На радостях, и о таких,
Кого сейчас господь карает
Народным счастьем. Каждый знает —
Пан за решеткой.— Он затих
И кашлянул.— Ну, вправду, с нами
Наш пан немало пошутил,—
Зато свое и получил.
Но знаете, в усадьбе — там —
Осталась пани с сиротами,
Что раньше помогала нам.
Что мужа, знаете вы сами,
Не раз слезами и словами
Молила...»

— «Правда! — все тогда
Заговорили.— Пани, ясно,
Не виновата!»

— «Вот и мне
Так кажется, что мы напрасно,
К тому ж не по ее вине,
Грех вымещать на ней бы стали.
Давно ль ее вы навещали?
Что с нею?»

— «Не бывали, нет!»
— «В усадьбе так безлюдно, тихо,
Что нет ли там какого лиха...
А пани, хоть и всё прошло,
Бойтся нас, предполагая,
Что к ней враждебно всё село.
А я вам, братья, предлагаю:
Давайте выберем людей
Да и пойдем в усадьбу к ней,
Утешим пани. Если ж надо
Помочь, то и поможем ей,—
И нам господь пошлет награду».

— «Да, да! — вокруг все загудели...
Идите, войт! И вы идите
(Ко мне тут обратились люди),
И вы, Прокоп, Семен! Что ж будет?
Да разве можно, в самом деле,

Чтоб пани так и пропадала
Среди людей, да проследите,
Чтоб дворня дела не бросала.
Нет, что уж было, то прошло,
Мы все должны помочь, да что там —
Скажите пани: всё село
Задаром выйдет на работу,
Покуда не вернется пан!»

— «Так, братья, так, спасибо вам!» —
Сказали мы, перекрестились
И выполнять наказ пустились.

О боже, что за перемены
Мы увидали! Словно гром
Ударил иль зараза в дом
Вошла. Другими стали стены
Как будто. Скот кормежки просит,
А челядь и невесть где носит,
Лишь слышен шепот по углам.
Плуги в сарае с боронами,
Как брошены, так и стоят.
Уже неделя, как мы сами
Их бросили. Лакеи спят,
Хоть время движется к полудню;
И кучи мусора лежат
Повсюду; стук идет, как в будни,
Из комнаты. . . Идем гурьбою
Туда, а кучер там с женою
То топором, то долотом
С размаху дружно ударяют,
Шкатулку панскую ломают.
Увидев нас, оцепенели,
Всё бросили, бежать хотели,
Но было некуда бежать.
«Стоп! — войт сказал.— Не торопитесь!
Куда же вы? Остановитесь!
Где пани?»

— «Да вот здесь лежат».

И нам на спальню указали.
Оттуда еле долетали

Стенания. У нас сердца
Вдруг замерли. О, боже правый!
Здесь так гордились блеском, славой,
Богатству не было конца,—
И вот что нынче перед нами!
Мы в спальню тихими шагами
Вошли, и пани не могла
Увидеть сразу нас. Лежала
Она в постели и стонала,
И так бледна она была!
«Орина, ты?» — она спросила.
(Единственной, что ходила
За ней, во всем ей помогала,
В беде ее не оставляла,
Была Орина. Но ушла
В село, чтоб там про всё узнали
И пани помощь оказали.)
— «Нет,— отвечаем и гурьбой
Подходим к ней.— Что это с вами?»

Она взглянула и руками
Глаза закрыла. «Боже мой! —
Вся вздрогнула и простонала.—
Ужель последняя настала
Минута? Это же разбой!»

— «Бог с вами, что вы говорите,
Да не пугайтесь, посмотрите!
Мы с добрым сердцем к вам пришли,
Пришли мы к вам по доброй воле,
Народ послал нас, чтобы в поле
И в доме мы вам помогли».

С недоуменьем посмотрели
Тогда глаза ее на нас.
«Так это правда? Неужели
Вы люди, как и все, и в вас,
Измученных, забитых, тоже
Людское чувство может быть?
Ну как мне пережить, о боже,
Вот этот день и этот час?»

Я не могу себе простить,
Что в дни тяжелого былого
Я допустила столько злого,
А защитить могла бы вас!
Вы ж, зла не помня никакого,
Еще помочь хотите мне?
Храни вас бог! Даю вам слово:
Поступка доброго такого
Мне не забыть! Об этом дне
Я помнить буду неизменно!
Как быть мне, бедной и больной?
Ведь дворня хищною толпой
Вот-вот уже растащит стены;
Муж — за тюремною стеной! . .
За то, что в пору испытаний
Тяжелых вы ко мне пришли,
Дай бог, чтоб вы в своих страданьях
Подспорье верное нашли!»

И пани тяжко зарыдала,
В подушки, бледная, упала
Лицом. Чего еще нам ждать?
И мы недолго рассуждали,
Мы поскорей в село послали,
Чтоб хлопцев, баб, девчат созвать.
Дворовых тут же войт позвал,
Чтоб допросить — кто что украл.
Поотобрали всё. Послали
За лекарем. Потом убрали
Покои панские и стали
Растапливать скорее печь,
Чтобы варить бульон для пани,
И тут же завели мы речь
О том, кто выйдет утром ранним,
Чтоб поле панское пахать.

Через неделю пани встала,
Из прежних слуг не покидала
Ее Орина, — остальных
Община всех поразогнала.
Большая доля полевых
Работ была уже готова.

А пани ходит, и ни слова
Не скажет,— то порой вздохнет,
А то зальется вдруг слезами,
Когда перед ее глазами
Вся быль проклятая встает.
Но в том, что пани так грустила,
Причин других немало было.
Где пан? Ни слуху, как назло,
О нем? Куда же он девался?
И след, как видно, затерялся?

Вот три недели уж прошло.
Вдруг слышим мы: к себе в именье
Сзывает пани всё селенье.
Пришли, как прежде, к ней, и стали,
И взгляды на крыльцо бросали,
И вот мы видим: пани нам
Всё машет из окна рукою,
Зовет нас в панские покои. . .
И мы вошли — и что же! — там
Столы накрыты всем на диво;
С горилкой чарки; по углам
Горилка и в бочонках пиво.
А пани так сказала нам:
«Садитесь, люди! Вот настала
Пора отрадная для всех:
Недоля ваша вся пропала,
Нам искупить пора свой грех.
Я вижу, как несправедливо,
Как горько муж вас обижал,
А вы и честно, и учтиво
Ко мне на помощь все явились,
Когда другие отступились
И день беды моей настал! . .
Все для меня вы как родные —
И братья и опекуны.
Сейчас настали дни такие,
Что мне придется вас просить,
Чтоб помогли мне. Но вначале
Должны мы выпить, закусить.
Вы — не рабы, мы — не пань,
Нам надо мирно, дружно жить! ---

И, наш обычай соблюдая,
Тут чарку первую прижала
К губам и войту подала.—
Дай бог, чтоб всюду в нашем крае
Согласье так же просияло,
Как здесь!» — она произнесла.

— «Дай бог, чтоб нынче научила
Беда панов, как жить с людьми!
Кто по-людски жить будет с нами,
Жить по-людски с тем будем мы!» —
Так общество ей отвечало,
И чарочка вокруг стола
По очереди всё гуляла,
Покуда всех не обошла.

А пани села между нами
За стол — грустит, не ест, не пьет,
Глаза наполнены слезами.
Нам и кусок-то в рот нейдет.
Мы все притихли. Наша пани
Как зарыдает! Мы тогда
Все стали пани как умели
Тут утешать. Смогла нам еле
Она сказать: «Мой муж! Беда
Стряслась с ним! Кто о нем слышал?»
— «Никто!»

— «Так где ж он запропал?
О, боже мой! Я три недели,
Пока лежала и хворала,
Его всё время поджидала,—
Но нет его! Что ж, в самом деле,
Беда ведь может приключиться!
Хоть комиссар на мужа злится,
Но в округе всё ж господин
Не он, лишь староста один!
А староста — наш друг, у нас
Ел, пил, охотился не раз.
И как он только допускает,
Что муж мой до сих пор страдает
В тюрьме? За что нас, боже мой,
Караешь карою такой?»

Рыданья речь ее прервали,
Но вскоре снова зазвучали
Ее слова: «Что ж предпринять?
Во Львов ли, в Вену ли собраться
Иль, как последней, унижаться,
Чтоб справедливости искать,
И комиссару поклониться,
Чтоб милости его добиться
Для мужа? Дайте мне совет!»

Мы покачали головами.
А войт ей отвечает: «Нет,
Тут правда, пани, не за вами,—
Ведь издевался пан всегда
Над комиссаром. Каждый знает —
Теперь он старший! Я тогда
Сам слышал: старосте сказали
Во Львов немедленно явиться.
И я один совет вам дам:
Далеко цесарь проживает,
Дорога в Львов — и та близка ли?
А канцелярии — они
Не очень любят торопиться,
И пан наш, может так случиться,
В тюрьме свои окончит дни.
Нет, я иначе бы решил:
В дорогу надо снаряжаться,
Из нас кой-кто поедет с вами,—
Слезами будем и словами
У комиссара добиваться,
Чтоб вам он мужа возвратил».

И пани веселее стала:
«Спасибо, милые! — сказала.—
Не дай вам бог такого зла!
Я никогда вас не забуду! . .
По гроб вам благодарна буду
За ваши добрые дела!»

XX

ПАН В ТЮРЬМЕ.— ПАН НА ПРОГУЛКЕ.— МЕСТЬ КОМИССАРА.— ОСВОБОЖДЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ

По камере тюремной, грязной
И тесной, в сырости ужасной,
Пан, тяжело дыша, ходил,
И лютый гнев его душил.
Окно с решетчатым узором
Своим подслеповатым взором
Глядело искоса в тюрьму,
И жизни рай былой, прекрасный,
Свет белый, солнца отблеск ясный
И свод лазурный — всё ему
Являлось. мучило, дразнило,
Змеею жалило, томило. . .
И он, стенами окружен,
Подобно зверю в клетке, бился,
То клял судьбу он. то молился,
То всю грудью кашлял он.

О боже милый! Что с ним случилось!
Прошло лишь два десятка дней —
И половины не осталось
От пана прежнего. Темней
Он стал лицом, и всё глазами
Моргает, весь их блеск погас.
Морщин глубокими следами
Изрезан лоб, и все сильней
Он кашляет и кровью часто
Плюет. «Ведь он с тех первых дней,
Когда пришел сюда, сначала, —
Так ключари сказали мне, —
Поверить своему несчастью
Не захотел. Когда же стало
Ему все ясно, по стене
Он кулаками бил, кричал
И всё вокруг себя ломал,
О двери бился головою
И арестантскою едою
Нам прямо в голову швырял.
Три дня не ел, не спал три ночи,

Всё старосты он добивался,
А староста о нем не хочет
И слушать: уезжать собрался
Во Львов. И вскоре вслед за этим
Пан присмирел и кушать стал,
Лишь долго по ночам не спал
И принести нас умолял
Известье о жене и детях.

Но комиссар нам запрещал
С ним говорить. Да что сказать,—
Ведь камеру он подобрал
Ему — страшней не подобрать. . .
И всем нам строго приказал
Раз в день — и то лишь вечерами —
Ему прогулку разрешать!»

Но вот уже и вечереет,
Ключарь уж забренчал замком.
«Эй, на прогулку!» Пан поспешно
Взял шапку, вышел. «Как он смеет! —
Шептал Мигуцкий,— мерзкий шваб!
Как смеет он меня держать
Здесь без суда? Иль, может, вечно
Так будет? Что-то не слышать
Ни слова из дому. Я слаб?
Пустяк. . . Но вот жена. . . О боже! . .
А шваб подбил крестьян, быть может,
И дом мой превратили люди
В руины, а моя жена,
Больная, в муках, где она?
О, если только так, то будет
Конец тебе, злой сатана!»

Такие мысли волновали
Его, давили, жгли и гнали,
И он, сжимая кулаки,
Шагал, шагал всё неустанно. . .
Глядь — комиссар идет неожиданно,
И с комиссаром — гайдуки.
Он тут же к пану повернулся
И ядовито усмехнулся. . .

Тот смех Мигуцкий уловил,
И сердце будто нож пронзил.
Что комиссар еще там скажет —
Ждать не хотел он, и, тотчас
Схватив его за грудь, потряс,
И крикнул: «Кровоопийца вражий!
Ты что ж? Не сыт от мук моих?
Тебе, как видно, мало их?
Коли не сыт, так доконай же
Меня скорей!»

— «Разбой! Спасите!» —
Воскликнул комиссар, подался
Назад. И пана тут схватили.

А комиссар вдруг засмеялся.
«Хо, хо! Herr Schlachziz, не шутите!
Вот вы какой! Эй, подойдите,
Пан керкермейстер.¹ Bank heraus!»²

Пан побледнел. «Что. . . что такое?
Я шляхтич. . . Как ты смеешь? Я. . .»
— «О, пан, прошу вас, путь покоен!
У нас ведь конституция!
Она всем нам предоставляет
Права и розги. Legt ihn platt!»³
Что это значит — пан узнает!
Legt ihn, и всыпьте тватцать пять!»
Напрасно бился пан, кричал,—
По конституции тотчас
Вкусил он то, чем наделял
Когда-то сам так щедро нас.

Бледнее мертвеца он встал,
Шатаясь. Только с губ дрожащих
Он кровь по капельке ронял,
Да только кровью налились
Глаза, и, злобою горящий,
Он комиссару прошептал:

¹ Тюремщик (нем.) — *Ред.*

² Вынесите скамейку! (нем.) — *Ред.*

³ Положите его плашмя! (нем.) — *Ред.*

«Ну, подлый шваб, теперь молися!
Тебе не дам пощады я!
Знай — это будет смерть твоя!»

— «Herr Schlachziz, я сказать вам смею,—
Спокойно немец отвечал
И головою покачал,—
Gedenken Sie, was sie da sprechen!¹
Нельзя так, это есть Verbrechen,²
Угроса! Но феть вы сфоею
Шляхетской спесью только сам
Себе фсё горе натворили!
Когда гулять вы выхотили,
То шель я с топррой вестью к вам.
Крестьяне ваши с вашей пани
Имели тут со мной свитанье.
Они ко мне сюда пришли
За вас просить. Мушик, конешно,
Хоть глуп, та топрый! Ваша пани
Всё рассказала мне сердечно,
Они ей ошень помогли,
Я не хотел им сапретить,
И шель сюда, и былъ не прочь
Свою обиду вам простить.
Но оттого, что так тут стало,
Не мог я дать вам эту вестъ,—
Один для всех тут Ordnung³ есть!
Идите, пан, отсюда прочь
И запывайте, что пропало!»

Но диво дивное! Слова,
Что возвещали пану волю,
Не только не смягчили боли,
Но растравили: голова
Склонилась, и погасли искры
В глазах. Его походки быстрой
Как не бывало. Он совсем
Лишился будто пониманья.

¹ Подумайте, что вы говорите! (нем.) — *Ред.*

² Преступление (нем.) — *Ред.*

³ Порядок (нем.) — *Ред.*

Шагов он сделал шесть иль семь,
Стал, оглянувшись,— и в рыданьи
Он вдруг затрясся телом всем.

О чем он плакал так? От боли
Иль оттого, что шел на волю?
Иль смерть свою он увидал?
Иль задрожало сердце злое
Перед мужицкой добротой,
Которой он не понимал?

К концу моя подходит повесть.
Что было дальше — в двух словах
Скажу вам. Слишком поздно совесть
Проснулась в нем. Тюрьма, болезнь
Здоровье пана подточили
Так, что он еле на ногах
Мог удержаться. И решили
Врачи: одно лекарство есть
Ему — в Италию скорее,
Под небо теплое! Как быть?
В Италию всего вернее!
Но деньги. . . Нет их у него! . .
Ну а шинкарь-то для чего
Услужливый? Ведь он не спит!
Едва известье донеслося,
Что пан без денег,— вмиг предстал
Пред паном. . . (А когда стряслося
Несчастье, он не появлялся
И лишь с ворами всё якшался,—
У них он панское добро
Ворованное покупал.)
Иуда к пану подлизался,
Подсунул деньги и перо,
И пан контрактом с ним связался,
Не помнил сам, как подписал.
Мы только жатву начинали —
Уже он с пани ускакал
В Италию. Порассовали
Детишек, и в аренду взял
Село шинкарь.

Но год прошел —
Вернулась пани уж вдовою,
В могиле пан покой обрел.
И пани всё одна грустила,
Почти ни с кем не говорила,
И только Мошка всё вилял
Перед вдовою и держал
Аренду. Лет еще прошло
Немного. Пани не менялась.
Вдруг собралась, не попрощалась
Ни с кем, невесть куда умчалась,
И след за нею замело.

А Мошка закупил село.

Январь — февраль 1887

СМЕРТЬ КАИНА

Легенда

Убивши брата, Каин много лет
Блуждал по свету. Словно под бичами
Он шел, тревогой тайною гоним.
И целый мир возненавидел он —
Возненавидел небеса и землю,
Пожар зари и ночи тишину.
Возненавидел близких и далеких:
Он в лицах встречных неизменно видел
Мертвеющее Авеля лицо —
То смертной искаженное тоской,
То стынувшее с выраженьем боли,
Испуга и предсмертной укоризны.
И ту возненавидел он теперь,
Кого любил он более отца,
И матери, и всех земных творений,—
Сестру свою и вместе с тем супругу —
За то, что человек ей было имя,
Что взглядом Авелю была подобна,
И голосом, и сердцем непорочным,
За то, что Каина она любила
И, хоть ни в чем сама и не повинна,
Не побоялась ради мужа всё
Оставить, с ним, проклятым, разделяя
Проклятую судьбу.

Как тень бледна,
Она блуждала с ним. Из уст ее
Ни разу Каин не слышал укора,

Хоть взгляд ее, и голос, и любовь
Звучали тяжелейшим, непрерывным
Укором. Но порой, когда тоска
Его томила, точно обезумев,
Прочь отгонял он женщину; послушно
Она, скрывалась; тихой, скорбной гостьей
Являлась посреди детей и внуков —
Но ненадолго. Как являлась тайно,
Так исчезала, и в пустыню шла,
Чутьем угадывая все пути,
Какими шел ее злосчастный брат.
Она была серебряною нитью,
Связующей изгнанника с судьбой
Людей. Теплом, таящимся в своем
Горячем сердце, силилась согреть
Убийцы душу.

Тщетно! Точно рыба,
Которая колотится об лед,
Покамест не застынет, так она,
Борясь, теряла силы, жизнь свою
Сжигала в собственном своем огне.

Скитаясь так, однажды для ночлега
Нашли они пещеру. Утомясь,
Она заснула, головой поникнув
На камень. Каин разложил костер
И сел вблизи, в пылающий огонь
Глаза уставя. Странные виденья,
Меняясь, исчезая, возникали
Из пламени костра; за их игрой
Причудливой следя, забылся Каин —
Целительного сна уже давно,
Уже давно глаза его не знали!
Когда ж рассвет пришел, напрасно Каин
Ждал, что сестра поднимется с постели,
В засохшей тыкке принесет воды,
Плодов нарвет, кореньев собирает
И меда для трапéзы. Высоко
Стояло солнце, узкими лучами
Заглядывая в глубину пещеры.
Тогда к лежащей прикоснулся Каин
И понял тотчас же, что с нею сталось.

Всего лишь раз он видел смерть вблизи,
Но этого довольно, чтобы смерть
Признать потом в каком угодно виде.
А тут она явилась так невинно,
Спокойно так и радостно! Лицо,
Еще вчера истерзанное мукой
И горечью, казалось, озарилось,
Помолодело. Прежняя любовь,
Как и при жизни, на лице сияла,—
Но не было следа тоски и горя,
Как будто всё, к чему душа ее
При жизни так мучительно рвалась,
Нашла она теперь.

Явленье смерти
Как бы подсекло мощь его и волю.
Ни боли он не чувствовал, ни скорби —
Одно бессильное оцепененье.
Он сел над трупом и весь день, всю ночь
Сидел недвижно. А наутро он,
Поднявшись, наносил сухой листвы
В пещеру, листьями засыпал труп,
Затем каменьев натаскал с горы,
И мучился весь день, и ранил руки,
Пока не завалил весь вход в пещеру.
Потом, омыв кровавые ладони,—
Как и тогда, по смерти брата! — тихо,
Не озираясь и не отдыхая,
Ушел в пустыню.

Для чего? Зачем?
Уж давно не думал он. Что думать?
Куда б ни шел он, где бы ни скитался,
Повсюду та же горечь, и тоска,
И одиночество, и скорбь без меры!

Лес кончился. Хрустит песок пустыни
Под тяжестью шагов. Шакал завоюет
В расселине, орел всклекочет в небе,
Сверчок уныло где-то прострекочет,
И вновь безмолвие, покой могилы.
Порою в этой тишине внезапный

Песчаный смерч, как исполин, взвывается,
Столпом белесым подымаясь к небу,
И, закрутясь, пройдетя по равнине,
Как царь,— и вмиг обрушится на землю,
Уйдет, как призрак.

Колесница солнца

Уже клонилась долу. Раскаляясь,
Пылало небо, как большой котел,
Куда воды налить забыл хозяин.
И вдруг в туманной мгле у той черты,
Где свод небес сливается с пустыней,
Багрянцами заката пламенея
Слепительно,— возникло нечто вдруг,
Блистающее гранями кристалла.
Река ли там, окованная льдами,
Гигантскую подхвачена рукой,
Столбом вздымалась посреди пустыни?
Или мираж струился над песками
И фантастической манил игрой?
Лучи заката вспышками огня
Позолотили верхний край стены,
Ее зубцы, и выступы, и башни,
В лазурном утопающие небе.
А книзу, как пурпурный водопад,
Спадали тени вечера, спокойно
Склонялись у могучего подножья.
И этот вид безмолвному скитальцу
Был точно гром и точно дрожь земли:
Остолбенел он, бледный как мертвец,
И взором ястребиным углубился
Туда, в огнем пылающие дали.
О, зрелище, знакомое ему!
Не раз и наяву, и в тяжких снах
Оно являлось! Каин задрожал,
Мучительная боль возникла в нем,
И ненависть зажглась в его глазах,
А на устах бескровных, крепко сжатых,
Не сказанное, замерло проклятье.

«Вот рай! Гнездо утраченного счастья,
Мелькнувшего, подобно сновидению!

Родник неисчерпаемого горя,
Которое так близко стало людям,
Как близко прирастает кожа к телу —
Не выйти из нее до самой смерти!
Будь проклято, коварное виденье,
Ты изъязвляешь огненные раны,
Не облегчая и не убивая!
Будь проклято и ты, и самый миг,
Когда ты появилось и когда
Отец мой в первый раз тебя увидел!
Будь проклято во имя всех терзаний
Людских и всех несбывшихся стремлений!»
И, зубы стиснув, отвратился Каин,
Чтоб прочь идти,— но вдруг печаль без меры
Им овладела и тоска; себя
Он ощутил таким бессильным, жалким,
Таким несчастным, как никто на свете.
Поникнув головой, закрыв лицо
Руками, он окаменел на месте,
Кровавым светом вечера облитый,
А тень его большая пролегла
Далеко в степь и в сумраке тонула.
И захотелось вдруг ему опять
Взглянуть на запад. Вопреки сознанию,
Стремился взор его туда, всё тело
Туда стремилось. Напрягая волю,
Он снова поборол порыв, руками
Глаза закрыл, но руки через миг
Без сил упали.

Как больной в горячке
Неистовую ощущает радость,
Свои же растравляя раны, Каин
Не мог отвлечься от виденья рая,
Всю душу возмутившего и в сердце
Всклубившего безумную тоску
И озлобленье. Чудилось ему —
В нем часть души свирепо рвется прочь,
А часть без памяти, как мотылек
В огонь, летит к хрустальной двери рая.
Но вот погасло солнце, и тотчас,
Как пес отпущенный с цепи железной,

Набросился на землю сумрак ночи,
И дивное рассеялось виденье.
Бессильно Каин рухнул на песок,
Ища покоя. Дикий зверь пустыни
Не страшен был ему: ведь божий гнев
Клеймом лежал на нем и отгонял
Опасность всякую, любую смерть,
Но отгонял зато покой и сон.
Всю ночь, как рыба в неводе, без сна
Он на песке холодном бился молча.
Когда же солнце снова запылало
И озарило даль — нашло в песке
Ложбину лишь, где укрывался Каин.

А он уже с рассвета был в дороге —
Он шел на запад. Некая мечта
Влекла его туда, хоть образ рая
Скрывался за туманной пеленою,
Окутывавшей половину неба.
Что ждало там его? Он сам не знал.
Но, не надеясь и не ожидая,
Он всё же шел. Так журавли, почуяв,
Что где-то за морем, в краю полночном,
Идет весна, — раскидывают крылья
И с песней звонкою летят туда,
За сотни миль, не думая о бурях,
О всплеске волн и хитрости ловцов.
Весь день в тумане он бродил, как в море.
Лишь к вечеру рассеялся туман,
И на мгновение лучи заката
Открыли вновь вчерашнее виденье:
Громады стен и золотые башни, —
Но так далеко, в несказанной дали,
Что мнилось — путь до неба ближе вдвое.

Но разве даль страшна? Пусть мелок шаг
Людской и слаб, — измерит Каин им
Весь круг земли, последних граней света
Достигнет, если цель есть впереди.
По смерти брата столько долгих лет
Блуждал без цели он, бродил, как зверь

Испуганный, стараясь схорониться
От самого себя,— и в первый раз
Блеснула цель ему! Усталый дух
Здесь может отдохнуть! Пускай и так,
Что это отдых на шипах колючих,
А всё же это отдых, забытьё!
И, проведя в пустыне ночь, опять
Пустился в путь он. День за днем сменялись,
А чудное виденье райских стен
Порою появлялось на мгновенье,
Его дразня своим спокойным блеском
И вместе с тем маня к себе; и вновь
Какое-то таило обещанье
В сияньи золотисто-алом.

Скупю

Пустыня-мачеха его питала
Кореньем, медом диких пчел; поила
Соленою и затхлою водою.
Он к этому привык. Порою реки,
Болота и соленые озера
Пересекали путь ему. Бесстрашно
Ступал он в воду, поборая волны,
Сопrotивляясь ветру, грому, граду.
Природа досаждать ему могла,
Как мачеха над пасынком глумиться,
Но смерть его страшилась.

Иногда

Глухое, несказанное стремленье
Рождалось в нем, порой глухая злоба
Под сердце подступала, удушая
Как бы клещами. Угрожая небу,
И бога и себя он клял. Но только
Стихал порыв, он становился жалким
Червем бессильным, и в изнеможеньи,
Упав среди песков, лежал как труп.
И вдруг его глухое беспокойство
Охватывало при одной лишь мысли,
Что может он до цели не дойти.
И вскакивал, и, словно бы за ним
Кто гнался,— задыхаясь, вновь шагал,
По пояс утонув в песках пустыни,

Волцями до крови израня ноги,
Но все стремился к западу.

Как долго
Он странствовал — кто знает. Но порой
Ему казалось — сотни лет. Меж тем
Минувшее, как бы в волнах потопа,
Из памяти стиралось без следа;
Остались лишь, насколько мог еще
Припомнить он, лишь беглые черты
Последнего скитанья.

Но однажды
Достиг он цели. Был ненастный вечер,
И солнце пряталось уже за тучи,
Когда больной, продрогший и несчастный
У райских стен остановился Каин.
Подножье их уже скрывала мгла.
А далеко, как будто под землю,
Гром грохотал, и ветер за стеною
Стонал и плакал. Холод бурной ночи
Или усталость этому причиной,—
Но Каин ощутил успокоенье
И, после смерти брата в первый раз,
Как к матери младенец, прижимаясь
К стене холодной, погрузился в сон.

Но не было покоя и во сне.
Виденья страшные его томили,
И он метался и кричал, порывы
Осенней бури криком заглушая.
А поутру поднявшись, истомленный,
Почувствовал себя еще несчастней.
Рассвет был холоден, всё небо сплошь
Затягивали тучи, и хлестали
Потоки ливня. Серая, как море,
Текла пустыня, уплывая вдаль,
Уныла, величава и грозна.
А рядом, сколько видно было глазу,
Стена однообразно возвышалась
Вплоть до небесной тверди — ни прохода,
Ни башен, ни ворот — лишь ровно-равно
Текла она, как будто мир навеки
Собою надвое рассечь хотела.

И двух титанов этих посреди —
Пустыни и стены — он, Каин, тварь
Бессильная, беспомощная мошка!
Нет, мошка всё же счастлива! У ней
Есть крылья, сила есть подняться в воздух,
Превыше стен, и заглянуть в тот рай,
В праотческие, милые края!
Мурашке жалкой можно! А ему,
Царю творения, владыке рая,
Ему нельзя!

Он молча, в исступленьи
О стену эту бился головою.
Бил кулаками, грыз зубами стены,
Пока, бессильный, не упал как труп.
Три дня он бесновался. Крик его,
Подобный реву раненого зверя,
Тревожил тишь пустыни. Иногда
Он пробовал молиться, но из уст
Одни богохуленья и проклятья
Лились. От боли загрубело сердце
И лишь рвалось, смириться не могло.

Но вот пришел в себя он и сказал:
«Пусть будет так! Я проклят, знаю это!
Кровь брата на руках моих. Навеки
Утрачен рай. Пусть будет так! Не место
Мне в том раю. Но за безмерность боли,
За все мученья без конца, какие
Я испытал уже и испытаю,—
Лишь одного желаю я, о боже!
Позволь хотя на миг, на миг единый,
Хоть издали, опять увидеть рай!
Хотя на миг увидеть вновь владенья,
Утраченные мною без возврата!
Лишь взгляд один! Лишь миг один, о боже!
А там пускай обрушатся все кары,
Какие мне назначены!»

Вот так,
Вздымая к небу руки, он молился.
Но небо не ответило ему.
Лишь солнце светлые лучи кидало,

Да коршун где-то там стонал в лазури,
Да выл шакал в пустыне.

«Значит, нет! —
Промолвил Каин.— Голос мой проклятый
До бога не доходит. Я виною,
Что небеса не отвечают мне!
Бывало по-иному, но — пропало!
Пусть будет так. Но вот как поступлю!
Должны же быть ворота здесь, в стене,
В какие бог изгнал отца из рая.
Я слышал, ангел с огненным мечом
Их стережет. Ну что ж, пускай стоит!
Пускай убьет меня, не страшно это.
А не убьет — я упаду на землю
И, в прахе извиваясь как червяк,
Проситься буду, и молиться буду,
Стучаться буду, преклоняться буду,
Пока к моим мольбам не снизойдет он».

И тотчас же, спеша, пустился в путь
Вдоль райских стен, стремясь найти ворота.
Но день прошел, и ночь прошла бесследно,
И день, и ночь, еще, еще, еще,—
Стена все убегала без конца
И солнце закрывала перед ним,
А райских врат как будто не бывало.

Но Каин не неистовствовал больше.
Не клял, не рвался. Тщетно безнадежность
Гиеной ненасытную кружила
Вокруг него и леденила дух.
Он неустанно силы напрягал
И, отгоняя прочь зловещий призрак,
Всё шел и шел.

И вот — виденье вновь.
Среди пустыни поднялась, сверкая,
Гора. В сияньи лучезарном, верх
Купается в небесном океане
И, шлемом возвышаясь ледяным,
Слепит глаза. Под ним — нагие скалы,
Костлявые, торчат, как будто зубы

Чудовища, готового и солнце
Пожрать на небе. Ниже — луговины
Серо-зеленые, под ними лес —
Могучий, дикий бор в тумане тонет.

Остановился Каин. Мыслей рой
То зрелище родило в нем.

«Итак,—
Подумал он,— не в силах я прийти
К воротам рая, стать перед лицом
Святого ангела, с ним говорить!
Видать, они навек заграждены —
Ворота! Ладно! Я просить не стану,
А сам добуду милость. Вот гора,
Она вершиною, наверно, выше,
Чем стены рая. На нее взойду,
Оттуда рай увижу, успокою
Огонь, в моей пылающей душе!»

И, не раздумывая долго, снова
Пустился в путь. Но весь тот труд, какой
Доселе испытал он, был ничто
Пред новым этим странствием. Гора,
Казалось, накопила все преграды
Наперекор ему: ручьев потоки,
Глухие дебри, темные ущелья,
Бездонные, холодные провалы.
Лишь постепенно, задыхаясь, весь
Облитый потом, поднимался Каин
Всё выше, в гору. Но чем горячее
Мечта стремилась вверх, тем тяжелей
Была его дорога, тем слабее
Всё тело — и печаль теснила душу.
Так в полумгле блуждал он день за днем;
Извечный лес шумел над ним тоскливо
Или стонал, и плакал, и ревел,
Терзаемый ветрами. Лишь чутьем
Руководясь, блуждал чашобой Каин
И всё карабкался туда, где кручи
Стеной нависли. Лес пришел к концу,
Но не было еще конца мученьям.

Навстречу низкорослые, густые
Кусты ползучих зарослей да елей
Тугие иглы. Будто из воды
Попал он в полымя: шипы, язва,
Впивались при каждом шаге в тело,
Коренья змеями у ног сплетались,
И солнце холодно светило с неба,
Как бы с глухой насмешкой наблюдая
Бесплодные мучения.

Но Каин

Не отступал. Ведь прямо перед ним
Хребет горы, магически блистая,
Манил его! Весь истекая кровью,
Иссеченный, исколотый, избитый,
Он миновал и эту часть дороги
И перевел дыханье на поляне.
У родника, журчащего в теснине,
Упал он и лежал, потом омыл
Всего себя прохладною водою.
У края пропасти, шурша листьями,
Рос сладкий папоротник; он нарыл
Корней съедобных и, ополоснувши
В воде, поел, остаток про запас
Сберег. И так, передохнувши день,
Пошел вперед. Скользят все чаще ноги
На твердых мхах, набухли, вздулись жилы,
В измученную грудь свинцом струясь,
Морозный льется воздух, огневые
Колеса вертятся перед глазами,
И ветер всё сильнее, всё упорней
Пронизывает. Словно муравей,
Ползет всё выше Каин, муравью
Завидуя: тому не страшен ветер,
Как не страшны обрывистые кручи
И утомленье!

Нищая, скупая,

Исчезла зелень — мертвые каменья
Лежат повсюду. Жизни — ни следа,
Лишь ветер свищет, да орел порой
Клеочет и когтит свою добычу.
Смерть верная — один неверный шаг.

Тут смерть ежеминутно расставляет
Своих дозорных, жадных на добычу:
Снега и ветры, дождь и солнца блеск,
Орлы и камни — в заговоре с нею.

Но вот однажды — сумерки спускались,
Когда стал Каин на верху горы —
Иссохший, как скелет, покрытый кровью,
Продрогший до костей и чуть живой,
Почти без сил, взошел на ледяной
Помост. Могучий ветер, налетая,
Рвал волосы его, края одежды,
Кровь в жилах замораживал. Но Каин
Не чувствовал его: остаток силы,
Всю душу он вложил в единый взгляд
И кинул этот взгляд в седые дали,
Туда, где в огневеющем сияньи
Купался величавый «город божий».

Но что увидел Каин?

Пустота,
Одни деревья кое-где печально
Листою шелестят, да молодые
Цветы благоухают. Кроме них,
Ни звука, ни движенья не приметно.
Но нет! В середине рая, на лужайке,
Два дерева, пышней и выше прочих.
О, Каин хорошо запомнил их
Со слов отца! Поднявшееся справа —
То древо жизни: огненосный гром
Рассек его вершину, расколол
Весь ствол его, вплоть до сырой земли,
Но не убил его живящей силы!
Оно растет, пускает ветви вширь,
И снова семена вокруг роняет!
А слева — это дерево познания
Добра и зла. Под ним клубится змей,
А на ветвях его плоды обильно
Нависли. Так пленительны они,
Так привлекают, так ласкают душу!
Но вот повеял ветер, и, как град,
Плоды, стуча, осыпались на землю

И все тотчас же превратились в пепел,
Огнем покрылись, разлились смолою!

И видит Каин дальше: в алой дымке
Вдруг заструилось что-то легким роем,
Как мошкара. Он пригляделся — люди!
Вот тысячи людей и миллионы,
Как пыль под ветром, яростно стремятся
Вперед, вперед, потоком бесконечным. .
И все у древа знания метутся,
Спеша, толкаясь, падают, встают,
Карабкаются вверх, схватить стараясь
Один лишь плод, лишь яблоко одно
От древа знания. Напрасно кровью
Их путь означен и морями слез!
Едва один вкусит плода — тотчас
Плод в пепел обращается во рту,
Огнем сгорает сразу. А вкусивши
Плода от древа, человек жесточе
Становится, злобясь на целый свет,
Бьет, режет и заковывает в цепи,
Ломает всё, что создали другие,
Жжет, разрушает в яром исступленьи!

А древо жизни изнывает молча:
Не нужно никому оно! На нем
Плодов немного, неказисты с виду,
Заслонены листвою и шипами,—
Вот и не зарится никто на них.
Когда ж порой, отбившись от толпы,
Иной отведаст, приблизясь к древу,
Плодов чудесных и созвать захочет
Других, чтоб все сошлись сюда,— они,
Как воронье, кидаются всей стаей,
Толкают, рвут, и мучат, и терзают
Его, как за тягчайшую провинность.
Но вот два зверя вышли на лужайку.
Один под деревом знания воссел,
Недвижно-величавый и суровый,
С лицом жены, прекрасным и немым,
И с телом льва. Как мошки на огонь,

Так люди-призраки неисчислимой
Толпой к нему метнулись, вопрошая.
Тоска без меры, яростная мука
Видны на лицах, дрожь пронзает их,
Глаза и души жадно льнут к устам
Чудовища. Безмолвное, оно
Глядит недвижно. А людские толпы
Неистово стремятся к древу знанья.
Борясь за плод его,— и вновь стремятся
К чудовищу, не ведая покоя,
Как листья осени летят, гонимы
Суровыми, враждебными ветрами.

Другой же зверь торжественно воссел
Под дровом жизни: видом — нетопырь,
С хвостом павлина, с лапами орла,
С хамелеоньим телом, с острым жалом.
Мгновенно и чудесно изменяясь,
Людей манил к себе он, отвращая
От древа жизни. Тот же, кто к нему
Доверчиво стремился и за ним
Спешил, слепец,— тот падал в ров глубокий,
Об острые каменя разбивался.
И поднимались руки, и неслись
Проклятия — но не лукавцу-зверю,
А только древу жизни. «Всё оно —
Химера, и предательство, и ложь!» —
Несли по ветру громкие стенанья.

Глядел на это Каин, и ему
Ножом, казалось, рассекали сердце.
Ему казалось, что вся боль, все муки,
Вся горечь и сомненья миллионов
В его душе бушуют, сердце в нем
Клещами сжали, внутренность сожгли.
И, заслонив лицо свое руками,
Воскликнул он: «Умилосердись, боже!
Я видеть больше не хочу сего!»
Мгновенно солнце потонуло, сумрак
Упал на землю, закрывая рай.
Но боль в душе у Каина осталась,

Неистовая боль. Он застонал
И на обледенелые каменья
Как мертвый рухнул.

Пробудил его
Жестокий холод. В ясном небе солнце
Сияло тускло, холодно смеялось,
Как тщетная, бесплодная надежда.
Где рай вчера мерцал, теперь стояла
Стеной до неба полумгла седая,
Глухой завесой. Каин не жалел
Видений рая; властно в нем звучал
Один лишь голос: «Прочь отсюда! Прочь!»
И точно вор, забравшийся в чужую
Сокровищницу и взамен сокровищ
Схвативший раскаленное железо,—
Так Каин вниз спешил с вершины снежной.
И мысли черные вороньей стаей
Носились, глухо каркали над ним.

И думал он: «Так вот в чем бог солгал
Отцу, и мне, и людям. Ведь такое
Без воли и без ведома его
Немыслимо! Кто разделил навечно
Жизнь и познание, лютыми врагами
Их сделавши? Не бог ли это сделал?
Еще тогда, когда в своем раю
Деревья эти он сажал, Адама
Не сотворив еще,— его тогда
Он проклял, род его обрек на муку,
На вековечную! Ведь если знание
Враждебно жизни, для чего желать
Познания? Зачем же мы не камень?
А если он хотел, чтоб не вкушали
Плодов познания, для чего же дерево
Он вырастил, в плоды соблазн влагая?
Желая, чтобы живы были мы,
Зачем сперва не приказал питаться
Плодами дерева жизни?»

Словно чайка,
Которая, летая над трясиной,
Зовет детей и грудью рвет тростник,

То снова к солнцу в вышину взвѣется
И всё кричит, и вѣется, и кружит,—
Так Каина мучительная дума
В кольце безвыходном металась, билась,
Бессильная. Усевшись под скалою,
Он отдыхал, облит холодным потом.
Закрыв глаза, и вновь пред ним возникло
Виденье рая, и другой дорогой
Мысль потекла его.

«Так в чем же — знанье?

И вправду ли оно враждебно жизни?
Выходит так! Ведь это жажда знанья
В моей душе воспламенила злобу
На брата, сделала меня убийцей —
За то, что он, не мысля, по-простому
Хотел меня, родного, обратить
К той детской простоте, чья прелесть мною
Давно забыта? А куда оно
Ведет моих потомков? Зверя, птицу,
Себя терзают, землю обнажили,
Ища себе добычи для убийства.
Малейший камень, будь остер и тверд,
Годится им для стрел, ножей и копий;
Затем рога ломают у оленя,
У зверя зубы. От жены я слышал,
Что люди отыскиали некий камень,
Который плавится в огне, как воск,
И этот камень превращают в стрелы,
Ножи и копыя, тверже и острее,
Чем из кремня. Вот — знания дорога!
Кровь, раны, смерть оно приносит людям.
Так для чего стремимся к знанью мы?
Желаем смерти, значит? Нет, неправда!
Я разве смерти Авеля желал?
Я жить хотел по-своему — и только.
Желает ли охотник смерти зверя?
Он хочет жить, ему потребно мясо!
Он хочет жить и должен защищаться,
Чтоб зверь его не съел! А тот, кто лук
И стрелы выдумал, желал ли он,
Чтоб смерть явилась? Нет, лишь жить хотел он,
Придумывал опору, чтобы жить!

Итак, познание — не жажда смерти,
Не враг живым! Оно — дорога в жизни!
Оно спасает жизни! И в этом — всё!
Как та стрела, что убивает птицу,
Сама — не птица! Как тот нож, что режет,
Сам — не убийца! Не виновно в том
Познание! Оно — ни зло, ни благо.
Тогда лишь благо или зло оно,
Когда направлено на зло, на благо.
Кто ж направляет знание? В руках
Кто держит знанье, как охотник стрелы?
И кто охотник?»

Не привыкший мыслить,
Ум Каина, как раненая птица,
Метался, содрогался в темноте,
Но на вопросы ясного ответа
Не мог найти. И вновь иным путем
Пошел.

«А древо жизни — это что?
В его плодах какая сила скрыта?
И вправду ли они дают бессмертье?
Как видно, нет! Ведь даже эти люди
В раю, которые плодов вкусили,
Под злобными ударами толпы,
Я видел, падали и погибали.
Так что же плод давал им? А! Узнал!
Они на смерть спешили, как на праздник,
С улыбкой умирая; и своих
Мучителей они благословляли.
Что значит это? Смерть им не страшна!
Источник жизни в их сердцах таятся!
Что ж это за источник? . .

Вот, я видел:
Едва от древа жизни кто вкусил —
Вмиг просветлился, благостным покоем
Охваченный, и звал других, скликая
Их всех к себе; врага, убийцу злого,
Как друга, обнимал; и был он, точно
Сотовый чистый мед, благоуханный
И сладостный, и светлый, и приятный,
Одним священным чувством весь наполнен.

Так вот: одна великая любовь —
Источник жизни!»

И вскочил тут Каин,
Как зверь испуганный, и озирался
Вокруг себя, шепча, как в исступленьи:
«Одна любовь! Ужели так, о боже!
Ужели в этих двух словах лежит
Разгадка всех судеб, какой вовек
Ни древо знания, ни зверь не скажет
Таинственный? Несчастные вы люди!
Зачем вы к дереву тому стремитесь?
И что найти хотите вы у зверя?
К себе взгляните в сердце, и оно вам
Расскажет больше, чем все звери рая!
Добро, любовь! Ведь мы в себе их носим!
Их благостная завязь в каждом сердце
Живет — и надо лишь взрастить ее,
И разовьется! Значит, мы храним
В себе источник жизни, значит, к раю
Нам нечего и незачем стремиться!
О боже мой! Ужель возможно это!
Ужели с нами ты шутил, как шутит
Отец с детьми, в тот день, когда из рая
Нас изгонял, и тут же в сердце нам
Вложил свой рай, нас одарил в дорогу?»

И тотчас Каин дивно просиял.
Спокойствие чудесно разлилось
В его душе. Забыты все страданья!
И солнце грело, и земля сияла
Вся золотом и пурпуром одета,
Как девушка, умытая росой.
На краткий миг от счастья опьянев,
Он позабыл о всем, за грудь рукою
Схватился, сам себе не веря.

«Боже!

Так это правда? Даже в этом сердце,
Увявшем, дряхлом и оцепенелом,
Живет еще, и дышит, и цветет
Тот райский крин, священная любовь!
О да! Я чувствую! Теперь впервые
За годы странствий возрождаюсь я

И оживаю! Точно гряда снега,
В моей душе бесследно тает злоба.
Как жаль мне этих маленьких людей,
Несчастных, ослепленных! Как люблю
Их с этой слепотой, с их лютым горем,
С порывами к добру! Ведь из пути
Могучие соблазны ты им, боже,
Воздвигнул, и бессильной, беззащитной
Природу их ты создал! Эта искра
Познания, какую берегают
Они и раздувают,— что в ней! Тьма
И тайна знание хранят, как стражи.
А путь иной, ведущий прямо к сердцу,
К любви простой и чистой, зверь иной
Замкнул им — быстрокрылая химера,
Она целительную эту правду
В мираж, в бесплодный призрак превращает.
И мечутся они, как лист сухой
В осеннем ветре,— режут, убивают
Друг друга, исступленной злого зверя,
Копают землю, к небу страстно рвутся,
Плывут по морю, в небесах, за морем
Взыскав рая, счастья и покоя,
Взыскав благ, какие только в сердце,
В любви взаимной могут отыскать!»

Что ж, неужели вечны их блуждания?
Ужель вовеки не найдут они
Пути прямого? Неужель напрасно
Дано им это вечностремленье?
Нет, жить любому хочется! И разум
На то и дан любому, чтобы жизнь
От смерти отличить. И если он
Однажды лишь найдет дорогу в жизнь,
То вряд ли он пойдет дорогой смерти.
Я укажу им светлую дорогу!
Я, прадед их, открою правду им,
Добытую в веках моим страданьем,
Прижму к груди своей и научу
Людей — любить друг друга и оставить
Раздоры, и обиды, и убийства.

Убивший первым, искуплю свой грех
Тем, что людей избавлю от убийства.
О люди, дети, внуки дорогие!
Довольно плакать об утрате рая!
Я вам несу его! Несу вам мудрость,—
Она поможет новый рай построить,
В своих сердцах создать тот рай прекрасный!»

Так думал Каин, и к людским селеньям
Он устремился, сладостной тоской
По людям и любовью к ним влекомый;
Он шел вперед, спеша и спотыкаясь,
Не останавливаясь отдохнуть
И отдышаться. Сердце, точно птица
Плененная, металось. Вихрем ярым
Воспоминания забытых лет
В нем поднялись, когда из-за холма
Вдруг синей тучкой показался дым
Людских жилищ. Как резвый мальчик, он
Взбежал на холм что было сил и стал
И долго-долго любовался видом,
Раскинувшимся перед ним,— стократ
Чудеснее, чем все виденья рая.

Какое зрелище! Там, в глубине,
Гладь озера раскинулась, синяя,
Как зеркало из хрусталя, вдали
Сливаясь с небом. Берега, роскошно
Одетые в зеленые уборы,
Роняя в воду рукава одежды,
Полощутся, любуются собой
В том зеркале, спокойном и глубоком.
А ближе — взгорья, в зарослях могучих,
Как бы венком роскошным отделили
Тот уголок от всей вселенной.

Глянь!

Вон в тихой заводи, не слишком близко
От берега, как выводок утят,—
Поселок виден. На больших столбах,
Забитых в дно озерное, стоят

Дома людей, укрытые осокой,
С навесами, с широкими мостками.
Дымки над кровлей. Женщины в домах
Перекликаются. А по воде,
Как пауки, челны снуют проворно —
Там рыбаки широкий невод тянут
И, с криком, веслами гребут, на солнце
Сверкая костяными острога́ми.

А позади селения, на взгорье,—
Широкая площадка; но не пчелы
По ней летают, не шмели гудят:
Там веселится молодежь. На солнце
Лоснится смуглое, нагое тело,
И голоса разносятся, и ветер,
Играя, развеивает черный волос.
Одни бегут вперегонки, другие,
Сплетаясь в танце, ходят, собирают
Большие раковины на побережье
Иные дружно напрягают лук,
Стреляя в цель, а прочие кольцом
Столпились возле старика. Седой,
Сидит на камне он, бренча струнами,
И напевает.

Каин видел это

Как на ладони, плакал и смеялся
От радости. Он так давно не видел
Людей! И вид их мирного труда,
И радостей, и горестей вседневных
Таким ему прекрасным показался,
Что, очарованный, застыв на месте,
Глядел он не мигая, упивался
Тем зрелищем, как величайшим счастьем.
Тут детвора крик подняла: у лука
Порвалась тетива. «Дедуня Лемех,
Поправьте лук!» И дед игру оставил,
За лук взялся, внимательно ощупал
Со всех сторон, седою головой
Покачивая благодушно. Каин
Тотчас же догадался: дед — слепец.
Вот вынул из-за пазухи струну
И натянул на лук, и вдруг ударил

По ней. Как ласточка, защебетала
Струна,— и что-то осенило старца.
«Эх, дети! — крикнул он и поднялся.—
Уж я старик, слепец, а все ж готов
Померяться в стрельбе с любым из вас».

— «Ого! дед Лемех за стрелу берется! —
Заголосили мальчишки.— Дедуня!
Давайте же начнем стрелять по цели!»

— «А где же цель? Ведите и меня
Туда, где надо статьи!»

Но тут другие
Заметили, что Каин приближался
К площадке их.

«Спасите! Там чужой
Идет! Разбойник! Дикий человек!
Спасите, дедушка!»

И, как цыплята
От ястреба, они сбежались к старцу.
Дед Лемех вздрогнул.

«Где, какой дикарь?» —
Спросил сурово.

— «Из-за кедра вышел!
Сюда идет!»

И тут старик, ни слова
Не говоря, взял новую стрелу
Вложил и — выстрелил.

«Стой, Лемех, стой! —
Раздался голос.— Я твой прадед Каин!..»
Но в этот миг пернатая стрела
Ему вонзилась прямо в сердце. Резко
Взметнулся Каин и ничком на землю
Упал,— и острие пронзило спину,
А руки судорожно в землю врылись
И замерли на ней.

«Ура, дед Лемех!» —
Мальчишки вскрикнули, но Лемех только
Махнул рукой. Он, бледный как мертвец,
Стоял недвижно, уронив на землю
И лук, и стрелы.

«Что с тобой, дедуня?» —
Зашебетали дети, но старик
Чуть выговорил тихо: «Что сказал
Тот человек?»

— «Что будто бы он — Каин,
Ваш прадед».

— «Каин? Это невозможно!
Мой прадед Каин! Дети! Горе нам,
Большое горе, если это правда!
Скорее гляньте, что с ним?»

— «Он упал
Вот там, под кедром, и лежит спокойно».
— «Скорей к нему! Ведь, может быть, он жив!
О господи, не дай греху свершиться —
Не дай пролить мне Каиновой крови!»

И, спотыкаясь, содрогаясь весь,
Пошел дед Лемех, а за ним толпою
Шла детвора. Незрячий, всё же прямо
Он шел туда, куда пустил стрелу,
Пока он не споткнулся, не упал
На тело Каина.

«Да! Это он! —
Как исступленный, вскрикнул Лемех.— Дети,
Погибли мы, и весь наш род погиб,
Погиб навеки! Каин принял смерть
От рук моих! Зовите же отцов,
Зовите всех сюда!»

Покуда дети
Скликали старших, старый Лемех сел
У трупы и, рукою прикасаясь
К лицу его, к простреленной груди,
Завел тихонько, как над колыбелью,
Дрожащим голосом такую песню:

«Слушай, Цилла, слушай, Ада,
Дома моего отрада,
Слушай божий глас:
Кто над Лемехом смеется,
Тем насмешка отзовется
За один — семь раз.
А кто Каина коснется,

С тем — пойми — сам бог сочтется
Семьдесят семь раз».

Не умолкая, как безумный, пел
Он песню. Всё селенье между тем
Здесь собралось. Кольцом широким люди
И тело, и убийцу обступили.
Вот наконец как бы очнулся Лемех
И, голову поднявши, будто сонный,
Промолвил: «Что же, есть ли кто со мной?»
— «Мы все тут, старый!» — зашумели люди.
— «Так плачьте, дети! Вот наш пращур Каин,
Он проклят богом за убийство брата
И семикратно проклят им за то,
Что к нашему приблизился поселку
И смерть приял от рук моих! И смерть
Его всех нас проклятью обрекла,
Злой каре — и детей, и внуков наших!
Так плачьте, дети! Плачьте над собою!
А мертвое, отверженное тело,
Не прикасаясь, схороните тут,
Чтоб света божьего не осквернял он,
Чтоб на него и солнце не глядело,
Чтоб зверь, его наевшись, не взбесился
И птица, наклевавшись, не издохла!
Возьмите камни, ими забросайте
Его, как пса, сухим песком засыпьте
И обсадите терном! И навек
Будь проклято и место, где лежит он!»

И кинулись все люди с диким криком
И воплями закидывать камнями
Убитого. Лежал он, как дитя
Уснувшее, с простертыми руками,
С лицом спокойным, ясным, на котором,
Казалось, не изгладила и смерть
Улыбки просветленья и любви.
Но скоро грудю каменьев труп
Закрыло вовсе; а случайный камень
Расплющил череп, придавил к земле.
Похоронил навеки под собою.

СУРКА

Мне, Сурке, бедной еврейке,
Бог не дал красоты и росту:
Мала я, станом не вышла,
Лицом и вовсе дурна я.
Да как же и стать могла бы
Прямою и стройной Сурка
Без ласки матери милой,
Сызмала между чужими,
Сызмала в тяжелой работе,
Вечно в толчках да в побоях!
Вот так жила я лет двадцать,
И не жила, а сгибалась,
По разным корчмам слонялась.
Работа и днем и ночью,
Корчмарка зла и ленива,
Корчмарь — смирен, да ворюга,
И привередливы гости. . .
Одно у каждого в мыслях —
Служанке задать работы,
Служанку щипнуть, ударить,—
Служанка пикнуть не смеет,
Еще улыбаться надо,
Хоть душат и гнев и слезы.
Вот так жила я лет двадцать.
Но раз мне хозяин шепчет:
«Приди ко мне, Сурка, ночью,
Как только жена уедет!»

Хоть я мала, некрасива,
Хоть выросла темной, глупой,
Читать, писать не училась,
Молитвы даже не знаю,—
А всё-таки догадалась,
На что меня кличет Юдка.
Сперва убежать хотела,
Потом — рассказать корчмарке,
А после так порешила:
«И так мои годы проходят,
Подобно воде болотной,
Без счастья и без утехи!
Умру, не изведав даже
Того, чем тешатся люди,
А там, в небесах, бесплодным
Ни входа нет, ни почета.
Так пусть и у Сурки будет
Ребенок маленький! Боже,
Ведь как любить его буду!
Те малые ручки, ножки
Горячими греть устами!
Отдам последний кусочек,
Лишь бы дитя было сыто.
Пусть меня бьют, обижают,
Лишь бы ребенок, мой цветик,
Рос по-людски, как надо!»
Вот так я думала часто,
С ведром идя за водою,
На кухне моя посуду,
Стирая тряпье хозяйки.
Я слышала, как под сердцем
Дитя всё больше и больше
Весть о себе подавало.
Бывало, вздохнуть нет силы,
Как пьяная становлюсь я,
Работу из рук роняю —
Зажмурю глаза, присяду...
И чудится, полусонной,
Ребенок — розовый, малый,
Ребенок — мягонький, пухлый,
Прильнул к груди материнской,
Смеется, ножками сучит.

И так сидела бы вечно,
Покамест злая корчмарка
Не налетит, не ударит
И не прикрикнет сердито.
А я мечтать перестану,
Смотрю на нее — без злобы!
И не было злобы вовсе
В сердце моем в ту пору —
А гордо, будто царевна,
Вот так бы сказала ведьме:
«Хоть ты — корчмарка, богачка,
А я лишь твоя служанка,
Но я равна тебе ныне!
Я матерью стала, слышишь!»
Когда же родить пришлось мне,
Тогда корчмарка дозналась.
Ой, шуму, ой, крику было!
Меня из корчмы прогнала,
Хоть снег был, ветер и стужа.
А Юдка жены боялся,
Не смел он сказать ни слова.
Но всё же был милосерден:
Запряг он кобылу в санки,
Отвез меня к повитухе
И сунул немного денег,
Сказавши: «Сурка, бедняжка,
Живи тут, покуда сможешь,
Я о тебе позабочусь.
Но, ради бога, ни слова
Не говори ты корчмарке,
Что от меня твой ребенок!
А то не быть мне живому!»

Дал бог, родился мой мальчик,
Здоровый, милый, как ангел!
Живу у старухи месяц,
Уже я совсем здорова,
Но не приходит мой Юдка!
Старуха бедна, убога,
И нет у самой ни крохи,
И заработка не видно —
Пришлось нам круто, ой, круто!

И вот говорит старуха:
«Ты видишь, Сурка, бедняжка,
Что нам тут жить невозможно,
Гнездо потеплее нужно.
Запру я на зиму хату,
Пойду в работницы к войту,
А ты забирай ребенка —
Ступай-ка, милая, к Юдке!
Если ж не примет Юдчиха,
Ступай, ищи места в людях!»

Мороз был лютый и ветер,
Всё поле снегом курилось.
А я разута, раздета,—
Что потеплей только было,
Всем обвернула ребенка,
А о себе не забочусь!
Иду потихоньку к Юдке.
Пришла я в корчму. Юдчиха
Коршуном так и воззрилась. . .
(На кухне служит другая.)
«Чего ты хочешь?» — спросила.
— «Пять лет,— говорю,— трудилась,
Теперь пришла за расплатой. . .»
Как раскричится Юдчиха!
«Скажи-ка, змея, сейчас же,
Скажи-ка мне, чей ребенок?»
— «Мой,— отвечаю,— да божий».
— «Скажи, кто отец ребенка,
А то не увидишь денег!»
— «Нет, не скажу никогда я!»
— «Так марш, оборвыш, из хаты!
Исчезни с глаз моих вовсе
С приплодом своим поганым!»
— «Юдчиха, побойтесь бога,—
Шепчу,— ведь стужа какая,
А я разута, раздета,
Со мною грудной ребенок,
Куда мне деваться к ночи?»
— «Прочь, не погань моей хаты!
Ступай хоть к волчице в зубы!» —

Да как подскочит, гадюка,
И вытолкала за двери
В метель и в стужу ночную.
Пошла я, себя не помня.
Легла мне на сердце тяжесть...
Куда ж это Юдка делся,
Что же не глянул и глазом,
Что ж не промолвил и слова,
Рта не закрыл он гадюке?
Куда мне теперь податься,
К кому попроситься в хату?
Пять лет в той корчме жила я,
Деревни ж совсем не знала,
Людей не знала, что в хатах
Крестьянских серых ютятся.
Страшны для меня все были,
Все пьяными мне казались,
Все, мне казалось, готовы
Избить, изругать еврейку.
И стало мне сразу страшно,
Как будто я в чаще леса,
Между волками.

Темнело.

Расплакался мой ребенок.
И чувствую — сохранилось
В груди молоко. Я села
На снег, под плетень, где тише,
Хочу накормить ребенка.
А он, мой маленький, сразу
Приник к груди материнской —
Мороза еще не слышит,
И только щечки краснеют.
Сосет, а черные глазки
Так на меня и уставил,
Как будто всё понимает,
Как будто сказать мне хочет:
«Не бойся, мама, не бойся!»
И стало вокруг так ясно,
Так радостно, мило стало,
Как будто и снег растаял,
И ветер теплый повеял,

И ветви зазеленели. . .
Гляжу я не налюбуюсь
На моего ангелочка —
Весь мир, всё горе забыла. . .
Вдруг псы где-то близко взвыли,
И ветер свистнул над ухом,
В глаза мне швыряя снегом,—
И я очнулась мгновенно. . .
И слышу: руки и ноги
Застыли, окоченели,
Ребенок замерз и плачет,
А сон меня долу клонит —
О боже, я замерзаю!
Была такая минута —
В моей голове блеснуло:
«Что ж, замерзаю, и ладно!
Не буду мучиться больше».
Но тоненький плач ребенка,
Как нож пронзил мое сердце,
Прогнал недобрые мысли.
Нет, нет, пускай я погибну,
За что ж погибать малютке!
Все силы свои напрягши,
Я выбралась из-под снега —
А он нас почти засыпал —
И завернула ребенка. . .
Бежать бы куда придется,
Да сил уже нет. Хотела
Согреть своего малютку,
Да в теле тепла уж нету,
А тут дороги не видно,
И ноги вязнут в сугробе,
И ветер в глаза мне свишет. . .
Я шла без мысли, вдруг вижу:
Стоит хатенка, мигает
Неясный свет из оконца.
Я и надумала сразу
Под то оконце к ограде
Дитя положить тихонько.
Наверно, не все заснули
И плач младенца услышат,
Возьмут его, обогреют. . .

Сама ж пойду без оглядки,
Пока не сгину в сугробе.
И сделала, как решила.
Поцеловала ребенка,—
Мороз уж его коснулся
И снег засыпал упорно,—
Укрыла, как только можно,
И — возле плетня, в затишье,
Под тем окном положила.
Сама ж, как тень среди ночи,
Пошла по сугробам в поле.
Была тяжела дорога!
На каждом шагу казалось,
Что стопудовая тяжесть
В моих ногах — и не сдвинешь
А ветер в глаза мне хлещет
И свищет — и внятно слышу,
Слова мне свищет: «Мерзавка,
Что натворила ты, Сурка!»
Иду и стану. . . А в сердце,
Как иглами, что-то колет.
И слухом ловлю все звуки,
И всё, мне кажется, слышу:
Пищит и плачет ребенок.
И стали страшные мысли
Мне в голову забираться:
«А что, если все заснули,
Не слышат детского плача
И мой малютка замерзнет!
А вдруг учуют собаки,
Живым загрызут ребенка!»
Остолбенела я сразу.
И сколько хватало силы,
Кричать начала: «Спасите,
Там мой малютка, малютка!»
Но пусто и глухо всюду,
А вьюга глушит мой голос. . .
И вот, как конь из упряжки,
Рванулась я, побежала
Назад в село. Спотыкаюсь,
Встаю и падаю снова,
Кричу и плачу — напрасно!

Бегу, бегу и терзаюсь,
Сдается, час уж и больше,
Сдается, целую вечность,
А светлой хаты не видно.
Стога какие-то, вербы,
Собаки воют далеко.
Какие-то рвы большие,
Плетни — а хаты не видно!
И тут отчаянье злое
Мою охватило душу:
Мечусь, совсем обезумев,
Истошно кричу и плачу.
Вдруг кто-то сзади подходит.
«Ты что тут делаешь?» — слышу,
Оглядываюсь я — стражник!
Блестит ружье за плечами,
Фонарь на поясе светит.
Хотя в корчме когда-то
Боялась стражников сильно —
Сильней боялся их Юдка! —
Но этот стражник несколько
Не показался мне страшным.
И я к нему вдруг припала,
Как будто он — мой спаситель.
«Ой, пан, — говорю, — я Сурка,
Та, что у Юдки служила, —
Ищу своего ребенка!»
И всё ему рассказала.

Взял меня за руку стражник,
Повел вдоль села большого,
Пока мы свет увидали.
«Вот эта хата?» — спросил он.
— «Не знаю, пан! Может, эта!»
Пошла я — боже мой милый! —
Плетень и хата все та же,
Ребенка ж — нигде не видно!
И помертвела я сразу.
«Нет, — говорю я, — ребенка!»
А в хате светло и шумно. . .
Стучится стражник. . . Вошли мы.
Но уж при входе я слышу:

Кричит ребенок. «О боже!» —
Вот только могла я вскрикнуть
И повалилась у входа.
Что было дальше — не помню.
Одно сквозь сон вспоминаю:
Лежу я в крестьянской хате,
Тепло в ней, светло и чисто. . .
Сидит со мною старушка,
Всё головою качает
И тихо так говорит мне:
«Смешная, глупая Сурка!
Зачем ты не постучалась?
Мы ж не собаки, как Юдка
С его Юдчихой, мы люди!
Слыхано ль дело такое —
В снегу младенца оставить!
На счастье, я не уснула,
Молилась богу — и слышу:
Что-то у нас под оконцем
Мяучит, будто котенок. . .»
И вновь беспамятство. . .

Снова

Очнулась я уж в больнице
Тюремной. Это в горячке
Я три недели лежала. . .
Суд, говорят, еще будет. . .
Так что ж, пусть судят, бог с ними!
Меня их суд не пугает,
Меня не гнетет их кара!
Я суд прошла тяжелее,
Снесла тяжелее кару
В ту страшную ночь под вьюгой.
Что будет дальше — неважно!
Меня не страшит работа,
Ничто для меня не страшно,
Когда мой мальчик со мною.
Я всё для него готова
Снести! . . Говорят, хотели
Забрать у меня ребенка,—
Ну, да спасибо горячке,
Этого не допустила!

Я, говорят, так кричала,
Рвалась, металась всё время
И всё малютку искала,
Что врач наконец сказал им:
«Отдайте вы ей ребенка,
А то за жизнь не ручаюсь!»
Уже он теперь постарше,
Уже смеяться умеет.
Смотрите, как он играет,
Хватает грудь мою ручкой!
Моя единая радость!
Баловень мой ненаглядный!

7—8 сентября 1889

БЕДНЫЙ ГЕНРИХ

Чей это там замок опустелый
В Швабии прекрасной так печален?
В нем бурьяном поросли ступени,
А сычи свивают гнезда в башнях.

Славный рыцарь Генрих фон дер Ауэ
Жил совсем недавно в этом замке —
Был он цветом рыцарства, красивый,
Чистый, словно зеркало, и храбрый,
Верный, как скала, прекрасный сердцем.
Праведный душой и всем несчастным
Щит надежный, прочная опора,
В песнях и в сражениях искусный.

Но простер господь свою десницу
Над несчастным рыцарем, болезнью
Поразил его неизлечимой,
Струпьями гнилыми, злой проказой.

И хоть раньше был он мил всем людям,
А беда пришла — и с отвращеньем
Эти люди все его забыли,
Все друзья его чураться стали.

И в отчаянии проклял Генрих
День и час, когда на свет родился.

Долго изнывал в тяжелом горе,
Но не мог найти он утешенья.

Он покинул замок свой высокий,
Все свои богатства он оставил
И в крестьянской хате поселился.
На опушке леса, у долины,
Хата одинокая стояла,
В этой хате жил его крестьянин.
Здесь-то и нашел приют болящий.

Если горе злого господина
Радует рабов его забитых,
То несчастье доброго нередко
Злом для них становится тяжелым.
Господин недобрый — словно волки! —
Слуг своих в несчастье сторонится,
Тот же, кто у них в минуту горя,
В поисках защиты и приюта,
И любовь находит, и заботу,
Тот, как видно, злым для них и не был.

И любовь, и теплую заботу
Встретил Генрих в той крестьянской хате.
Сам хозяин ходит, как за сыном,
За больным; как малого ребенка,
Так его хозяйка утешает;
А их дочь, которую шутливо
Генрих женошкой звал своею,
Та другого дела и не знает,
Как за ним присматривать усердно,
Чтоб своими шутками и песней
Утешать его в тяжелом горе,
Боль его и муку облегчая.

Третий год недуг ужасный длится,
И однажды, сидя на кровати,
Генрих был охвачен мрачной думой.
Рядом с ним хозяин и хозяйка,
Дочь их вместе с ними у кровати.
И тогда хозяин слово молвил:
«Господин, зачем терять надежду?»

Ведь немало докторов ученых
В Мунпасилии, да и в Салерно,—
Там бы вы совета попросили».

Улыбнувшись горько, молвил Генрих:
«Был я в Мунпасилии, в Салерно,
Года три назад искал совета,
Спрашивал я докторов ученых,
Не нашел у них я утешенья.
Лишь один из них совет мне подал,
Да такой, что лучше бы не слышать,—
Лишь одно на свете есть лекарство,
Но его найти никто не сможет».
И сказал хозяин: «Это странно.
Что это такое за лекарство,
Коль его никто найти не сможет?»»

Молвил Генрих: «Я и сам немало
Удивлялся, услышав об этом.
Только скоро мне всё ясно стало.
„Приведите,— говорит мне доктор,—
Деву непорочную, такую,
Что за вас сама по доброй воле
Умереть захочет и живое
Из груди своей даст вынуть сердце —
В нем и будет ваше исцеленье'»».

И замолкли оба. Тихо стало.
Наклонились головы в печали,
Лишь тихонько, те слова услышав,
Дочь вздохнула, сидя у кровати.

Ночь пришла, и старики уснули,
А у ног их дочь легла, но дума
Невеселая ее тревожит,
Горе злое сон далеко гонит.
Как подумает о господине,
Так из глаз рекою льются слезы,
Льются на родительские ноги,
Сон отца и матери тревожат.
Дочь тогда отец спросил в тревоге:
«Что это? О чем ты плачешь, дочка?»»

А она в ответ ему ни слова
И спросил отец тогда построже:
«Что ты плачешь, спать другим мешаешь?»
Дочь молчит и лишь сильнее плачет.
Пожалел ее отец и снова
Ласково просить ее он начал,
Чтоб сказала, что ее печалит.
«Только лишь подумаю, отец мой,
Я о тяжких муках господина,
Только вспомню я, какой он добрый,
Так из глаз невольно слезы льются».

Ей тогда отец и мать сказали:
«Это правда, доченька родная,
Господин наш добрый и сердечный,
Но ему слезами не поможешь.
Бог простер над ним свою десницу,—
Божья воля! Успокойся, дочка».

Дочь умолкла, перестала плакать,
Но всю ночь так и не заснула.
И весь день, безмолвная, грустила.
Ночь пришла, и спать легли все трое,
Только дочери опять не спится,
В сердце что-то новое возникло,
И растет, и душу наполняет,
Покоряет ум ее и волю.
А как стала непоколебимой
Эта мысль в душе, чтоб господину
Кровь свою отдать и с нею сердце,
Так светло, легко тогда ей стало,
И явилась новая забота,
И тревогой охватила душу:
Согласятся ли на эту жертву
Мать с отцом и вместе с ними Генрих.
Так она подумала, бедняжка,
И лились из глаз рекою слезы
Снова на родительские ноги,
Сон отца и матери тревожа.

И отец, проснувшись, строго молвил:
«Как ты неразумна и упряма!

Что себя и нас напрасно мучишь?
Только бог один помочь тут может!»

А она им отвечает тихо:
«Господин сказал нам, что на свете
Есть одно лишь для него спасенье;
Почему бы мне не быть готовой
Стать для Генриха его спасеньем?
Мать, отец, прошу вас, умоляю,
Не пытайтесь помешать мне в этом,
Пусть я кровь из сердца в миг единый
Радостно отдам за господина!»

Стариков сердца сковало страхом,
И сказал отец, перекрестившись:
«Боже мой, что ты сказала, дочка?
Понимаешь ли, что ты сказала?
Смерти злой еще ты не видала;
То, что ты решила, неразумно.
Нет, оставь негодные мечтанья,
Спи и не тревожь нас понапрасну!»

И затихла дочь, но ей не спится,
Сон в ту ночь ее и не коснулся,
И весь день печальная ходила.
Ночь пришла, и спать легли все трое,
Но рыдает девушка в постели,
И текут из глаз рекою слезы,
Льются на родительские ноги,
Сон отца и матери тревожат.

И от сна очнулась мать-старуха,
Строго молвит дочери, бедняге:
«Что взбрело на ум тебе, несчастной?
Ведь тебя под сердцем я носила,
Ведь тебя я в муках породила,
Ты, что нам должна бы стать опорой,
Нашим утешением под старость,
Дома — радостью, а в людях — честью,
Погубить свою ты хочешь душу,

Жизнь свою отдать и в самом деле,
Чтобы мы навек осиротели!»

Дочь на это говорит сквозь слезы:
«Если б мне найти слова такие,
Чтобы вам свое открыть мне сердце!
Вы послушайте, мои родные,
Разве я была для вас недоброй,
Непокорной или непослушной,
На пустое падкой и упрямой?
Или, может быть, была я глупой?
Разве же не вы меня учили,
Чтоб любить людей, бояться бога?
Так не ждите, чтоб науку вашу
Я забыла или растеряла,
Нет, своей души не погублю я,
Сиротами вас я не оставлю,
Эту мысль господь вложил мне в сердце.
Знать, на то его господня воля,
Знать, меня к себе он призывает.
Смерти не боюсь я малодушно,
К ней я хорошенько присмотрелась,
Боль ее измерила я сердцем,
И меня она уж не пугает.
Умирать и в старости придется,
Но ведь в горе стариться легко ли?
Если же в грехах кто умирает,
Лучше бы на свет он не родился.
Бог же, мне свою даруя милость,
Посылает смерть совсем без горя,
В юности моей велит отдать мне
Душу свою чистую и тело
Девичье, чтоб стал больной здоровым.
Разве эта жертва в грех зачтется,
А не в наибольшую заслугу?
Люди говорят, что я красива
И всем телом хороша на редкость;
Что же будет, как я старше стану,
Сколько в жизни ждет меня соблазнов!
Грех и красота всегда ведь рядом.
Если же я даже выйду замуж,

То, хотя и станет муж мне милым,
С ним уже не будет мне покоя,
Как подумаю о господине,
Что так тяжко мучится, а мог бы
С помощью моей вернуть здоровье.
А коль будет муж мой нелюбимым,
То двойное ждет меня несчастье,
Жить не захочу я с нелюбимым;
А теперь возлюбленный светлейший
Всё к себе зовет, сулит мне счастье,
Не изменит он и не обманет.
А когда мой господин здоровым
Станет, как и прежде, разве сможет
Боль моя минутная сравниться
С тем добром, что долгими годами
Станет он творить для всей отчизны?
Разве будете вы сиротами,
Если вам останется он сыном?
О, подумайте, мои родные:
Если жизнь свою я пожалею,
Скоро в гроб его болезнь уложит,
Будет новый господин над нами,
А какая ждет тогда нас доля?»

Как ножом ударили по сердцу
Стариков слова ее такие.
Охватил их страх; им показалось:
Властная, таинственная сила
Их из уст ее проговорила.
Не могли они сопротивляться.
«Может, это дух святой вещает,
Как из уст святого Николая,—
Молвили отец и мать друг другу,—
Пусть же будет, как сама желает».

Дочь обрадовалась несказанно,
Весело рассвета дожидалась,
А отец и мать рыдали тяжко,
До утра бессонные сидели,
Всхлипывая горько, словно дети,
На руки тихонько слезы лили,
Света ждали, господу просили,

Чтоб годами ночь тянулась эта.
Вот такая-то борьба большая
Темной ночью шла в крестьянской хате —
В трех совсем простых крестьянских душах.

А едва на зорьке солнце встало,
Поднялася девушка, оделась
И пошла скорее к господину.
«Вы не спите, господин?» — спросила.
— «Нет, не сплю,— ответил бедный Генрих.—
А как женушке моей спалось?
И зачем так рано заглянула?»

— «Прихожу я к вам с одной заботой,
Всё меня тревожит ваше горе».

— «Как тебя, дитя, благодарить мне,
Что ты приняла так близко к сердцу
Это горе! За любовь такую
Бог тебя вознаградит стократно,
Хоть помочь ты горю и не в силах».

— «Нет,— сказала девушка с улыбкой,
И глаза у юной засверкали,—
Думаю, что помогу я горю.
Вы сказали, что придет спасенье,
Если б ради вас расстаться с жизнью
Девушка невинная решилась.
Я еще чиста и непорочна,
И не буду дня я жить на свете,
Если вы так мучитесь ужасно,
А в моей крови здоровье ваше.
Так возьмите ж эту кровь, живите,
Я бедна, что я на свете стою!
Вы же всей отчизны честь и слава,
Едете ж в Салерно, я готова!»
Диву дался, слыша это, Генрих,
Диву дался и ушам не верит,
А потом печально улыбнулся.

— «Милое дитя мое, спасибо!
Видю я любовь твою большую»

И твою великую решимость,
Только не могу ее принять я.
А за слово за твое спасибо,
Слово то сказать никто из близких
Не посмел. Мне и того довольно,
Что узнал я, как меня ты любишь,
Но, дитя мое, в Салерно ехать
Незачем. Оставь затею эту!
Жду я утешения иного,
Что всю боль навеки успокоит,—
Доктора другие бесполезны».

Девушка тут горько зарыдала:
«Чем я перед вами провинилась,
Чем я не мила, что так жестоко
Отвергаете мою вы жертву?»

— «Женушка,— сказал ей бедный Генрих,—
Говоришь ты, как ребенок малый,
Тот еще совсем не понимает,
Что ему во вред и что на пользу:
Как чего захочет, дай сейчас же,
Что отдаст, о том жалеет завтра.

Так и ты, дитя, ведь пожалеешь,
Смерть страшна — и умереть легко ли?»

Девушка ответила спокойно:
«Вы меня не знаете, как видно,
Как же вы тогда судить беретесь?»

И сказал печально бедный Генрих:
«А к тому же ты не одинока,
У тебя отец и мать-старуха,
Что они тебе на это скажут?»

Не сказала девушка ни слова,
Лишь отца и мать она позвала.
Горько плача, старые в печали
У кровати Генриха склонились.
«Господин, как видно, божья воля!
Мы ее три ночи убеждали,

Умоляли словом и слезами,
Но, как видно, мысль ее сильнее
Наших слов и наших слез горючих.
Так прими от нас дитя ты наше,
Может, даст господь тебе здоровья».

И заплакал горько бедный Генрих,
Первый раз заплакал в тяжком горе,
И в душе, годами наболевшей,
Сразу жажда жизни и здоровья,
Жажда счастья, радости проснулась.
Быть здоровым! Вдруг освободиться
От болезни страшной! Мысль такая
Все другие чувства заглушила
Вдруг в душе его, и он промолвил:

«Люди добрые! Господь воздаст вам
За великую любовь такую,
Я воздать вам за нее не в силах,
Хоть бы отдал всё, что есть на свете.
Если воля ваша неизменна,
Жертву вашей дочери и вашу
Благодарным сердцем принимаю!»

И раздался плач неуправимый
После этих слов в крестьянской хате:

Плакали отец и мать от горя —
Ведь у них была еще надежда,
Что не примет господин их жертвы,
Девушка от радости всплакнула,
Но потом спокойно улыбнулась.
Жаждой жить исполнен, плакал Генрих,
Да и жаль ему всем сердцем стало
Жизни, что должна была погибнуть,
Чтоб ему вернуть его здоровье,
И сомнения томили душу,
Не на грешное ли шел он дело,
И не дрогнет ли девичье сердце,
И не будет ли напрасной жертва.
Девушка смогла их успокоить,

Придала отваги всем и веры,
В них свою уверенность вдохнула.

Собирается в Салерно Генрих,
Слуг торопит, в путь душою рвется.
Еще больше девушка стремится.
Генрих слугам приказал богато
Девушку одеть в шелка, в атласы,
Как на свадьбу юную княгиню,
Но она не рада украшениям,
И одна лишь мысль ее тревожит.

Вот и день отъезда. Со слезами
Старики с тяжелой болью в сердце
В вечную последнюю дорогу
Дочь единственную проводили.
И над нею, над еще живою,
Словно над умершею, рыдали;
Но она спокойными словами
Утешала их и, как на свадьбу
Собираясь, руки их и ноги,
Оросив слезами, целовала.

Вот и прибыли они в Салерно.
Вот уж Генрих доктора находит,
Девушку ведет к нему тотчас же,
Говорит он: «Девушка вот эта
Рада умереть, чтоб возвратить мне
Силу и здоровье, как сказал ты».

Диву дался доктор седоусый
И, взглянув на девушку, подумал:
«Верно, господин ей под угрозой
Приказал пойти на это дело».
И сказал ему такое слово:
«Выйдите отсюда на минутку,
Должен с девушкой поговорить я
С глазу на глаз».

Удалился Генрих,
И, свой взгляд проникновенный, острый
Устремив в лицо ей, доктор начал
Говорить такими ей словами:
«Ты, дитя мое, меня не бойся,

А признайся мне по божьей правде.
Может, по приказу господина
Согласилась ты на это дело,
Просьбами заставил он, а может,
Вымогал угрозами, не правда ль?»

— «Нет, неправда,— девушка сказала,—
Всё это сама по доброй воле
Я решила, еле господина
Упросив, чтоб принял эту жертву».

Еще больше удивился доктор
И сказал: «Ребенок безрассудный,
Что ты говоришь — сама не знаешь.
Жить тебе бы, жить и веселиться,
А не думать бы о страшной смерти.
Знаешь ли, что ждет тебя, подумай,
Страх какой и страшные мученья?
Ты пойми, что самый стыд девичий
Не позволит нежной этой груди
Лечь под нож. Но этого ведь мало,
Всю тебя раздеть я должен буду,
За руки и за ноги веревкой
Привязать тебя к железным кольцам
И кромсать ножом живое тело,
Перепиливать пилою ребра,
Чтобы в грудь твою вложить мне руку,
Буду шарить я в груди рукою,
Чтоб нащупать трепетное сердце,—
Ты, еще живая, будешь слышать,
Как я стану к сердцу прикасаться,
Как руками вены буду трогать;
Ты, еще живая, будешь слышать,
Как я вены разорву и сердце
Выну из груди! При этой мысли
Сам я весь дрожу, мороз по коже
Пробегает!.. Но всего страшнее
То, что среди этой страшной боли,
Лютых мук — их ни одна на свете
Девушка вовеки не терпела —
Если ты в своей предсмертной муке
Только вскрикнешь, иль вздохнешь, и даже

Хоть одной-единственной мыслью
Пожалеешь о своем поступке,
То напрасны все твои мученья,
Ты спасти не сможешь господина,
И погибнет жизнь твоя бесследно.
Девушка несчастная, опомнись,
Ведь еще не поздно отказаться».

Но она ответила с улыбкой:
«Господин любезный мой, спасибо
Вам за то, что правду мне сказали,
Что за смерть меня здесь ожидает,
Я за это вам скажу всю правду.
Одного лишь я боюсь, признаться,
Чтобы не погибло наше дело,
Я боюсь теперь тревоги вашей —
Задрожит рука у вас, быть может,
Сердца моего вдруг не поймает,
Не порвет в моей груди сосудов,
Ибо всё, что вы сейчас сказали,
Женщине к лицу, а не мужчине.
Смело, господин! Кромсайте, режьте,
Я же всё перенесу без страха!
Не затем сюда я торопилась,
Чтоб в последнюю минуту дрогнуть.
Да и надолго ль мои мученья?
Ведь не час, не два они продлятся.
Господин зато здоровым станет,
Я же вечной жизни удостоюсь».

И остолбенел от удивленья
Доктор. — он решимости подобной
Не встречал у девушки доньне.
«А, — сказал, — коль так, пусть так и будет!»
И повел ее с собою доктор
В комнату, где Генрих дожидался.
Обратился к доктору болящий
И спросил печально: «Что же, доктор,
Буду ль я еще живым, здоровым?»

И спокойно отвечает доктор:
«Эта девушка и вправду чудо —

Всех предсмертных мук не испугалась
И сама идет навстречу смерти.
Кажется, что будет всё удачно.
Вы теперь решайте сами: резать
Иль не резать? Всё от вас зависит».

И, глаза руками закрывая,
Только глухо крикнул Генрих: «Режьте!»

Доктор девушку повел с собою
И сказал: «Пойдем сюда, бедняжка!»
Радостно пошла она, свободно,
Тяжко шел старик. Перед дверями
Встал он, долго ключ искал в кармане,
А потом с замком всё долго медлил,
Всё он ждал, что Генрих скажет: «Стойте!»
Только Генрих не сказал ни слова.

И остался с девушкой доктор,
И замкнул, закрыв еще засовом,
Сразу доктор двери за собою.
И взглянула девушка на стены:
Всюду клещи и крюки, и трубы
Странные и страшные орудья,
Череп и кости человечьи
И огромный стол посередине,
Красный весь, с крюками и цепями,
А на том столе ножи блистают.

«Раздевайся!» — приказал ей доктор.
Радостно она и торопливо
Верхнюю и нижнюю одежду
Сбросила, чтоб времени не тратить,
Сдернула, по швам всю распорол
И без страха, без стыда предстала
Обнаженной перед седоусым.
Как на красоту ее он глянул,
Красоту, которой нет подобной
В мире,— у него и сердце сжало,
Как клещами. Через час погибнет
Среди мук цветок этот чудесный!

Только сам ничем не обнаружил
Этой мысли, приказал ей строго:
«Влезь на этот стол и ляг», — и тут же
С радостью легла она послушно.
Привязал он руки ей и ноги
К кольцам металлическим ремнями,
Прикрутил их скобами в суставах,
Протянул к ножу затем он руку.
Нож широкий был, блестел зловеще,
Но его попробовал он пальцем
И увидел, что он притупился.
И тогда взял мраморный он камень
И потом, прохаживаясь, начал
Этот нож точить неторопливо.
Точит, точит, тронет пальцем, скажет:
«Нет, еще, еще. . .» И снова точит.

Генрих же один остался в зале,
Чтобы исцеленья дожидаться.
Он пытался ни о чем не думать,
Стал потом он думать о здоровье
И о новой, о счастливой жизни.
Эти мысли в голове мешались.
То ужасное, что за стеною
Скоро здесь должно было свершиться,
На душу легло тяжелым грузом.
Сердцу своему тогда он молвил:
«Бедное, больное мое сердце,
Будь ты каменным одну минуту,
Потерпи всего одну минуту!»

Всё же сердце мучилось, болело
И ему покоя не давало.
И напрасно он твердил раз десять,
Что она сама того желала,
Что она желаньем тем счастлива,
Что недолог миг ее терпенья, —
Всё же сердце мучилось, болело,
По ветру слова все разбросало.
Как услышал он, что за стеною
Доктор ходит, точит нож о камень,
Охватила Генриха тревога,

Облилось холодным потом тело;
Он, как зверь, по комнате забегал,
До тех пор, покуда небольшую
Щелку он в двери не обнаружил,
Сквозь нее он глянул быстрым взглядом
И тотчас же девушку увидел,
На столе привязанную крепко,
В красоте нагой и непорочной;
И душа его тут встрепенулась,
А из глубины ее сокрытой
Раздалось тревожное стенанье:

«Боже, что я сделал, окаянный!
То, что присудил мне суд господень,
Смыть хочу я сестриною кровью,
Эту каплю радостей ничтожных,
Призрачных утех, забав никчемных
Окупить неслыханным убийством!
Господи, пошли ты лучше силы
Донести мне крест свой до могилы,
На душу не брать невинной крови,
В злодеяньи не искать спасенья!»

Ринувшись с отчаянною силой,
В дверь он стал стучаться кулаками,
Тряс ее за скобы и навесы
И кричал: «Эй, слушай, доктор, слушай!»

И тогда ему ответил доктор:
«Скоро, скоро, подожди минуту!»
Но еще сильнее стучался Генрих:
«Открывай скорей, сказать я должен...»

— «Скоро, скоро! — отвечает доктор. —
Я закончу всё через минуту».
— «Нет, — кричит в отчаянии Генрих, —
Не хочу, чтоб это совершилось.
Стой, не режь, оставь ее живою!»

Услыхав слова такие, доктор,
Опустил из рук и нож, и камень
И открыл ему сейчас же двери.

Генрих входит и перед собою
Девушку привязанную видит.
Подошел и, горькими слезами
Обливаясь, восклицает: «Доктор!
Отвяжи ее. Я не позволю
Никогда, чтоб для меня, для трупа,
Этот ангел пролил каплю крови.
То, что мне судил господь, смиренно
Буду я терпеть до самой смерти,
Но не дам ей за меня погибнуть».

И они тотчас освободили
Девушку, ремни все развязали
И велели одеваться живо.
А она заплакала так горько
И сказала: «Чем я провинилась,
Почему же вам я показалась
Непригодной для того, чтоб кровью
Возвратить здоровье господину,
А самой воскреснуть к новой жизни?
Что вы делаете, господин мой!
Свет считал вас мужественным, смелым,
И я вас всегда таким считала,
Но теперь я горько в вас ошиблась.
Видно, вы, как женщина, трусливы,
Не могли снести и в отдаленьи
То, что на себя я взять готова».

Слушал Генрих те слова упрека,
И они не только не кололи,
Но водой целительною были
Для его души больной и скорбной.
В тот же миг почувствовал он, будто
Кровь по жилам у него иная —
Свежая и чистая струится.
Скорлупа же мерзкая, больная,
Словно чешуя, спадала с тела.
И свершилось чудо. С той минуты
Боль его утихла и проказа
Понемногу покидала тело.
Но, еще не веря в эту радость,

Глубоко ее он спрятал в сердце.
С доктором он щедро расплатился
И с печальной девушкой вместе
Сразу же на родину уехал.

А когда доехал до границы,
Миновались все его страдания,
И он стал здоров, как был когда-то,
И по Швабии такая слава
Шла об этом, что его родные,
Близкие, знакомые, соседи
Рыцарю навстречу выходили,
Чтоб его приветствовать сердечно.

Но никак не выразить словами
Радость и великое то счастье,
Что узнали бедные крестьяне,
Мать с отцом той девушки прекрасной,
Видя, что их дочь жива, здорова,
Что вернулась вместе с господином.

Месяц или два прошло, и как же
Изменилось всё в высоком замке
На горе в прекрасном швабском крае!
Кони во дворе его гарцуют,
Ходят слуги стройные за ними.
Жизнь бурлит по комнатам просторным,
И шумливые толпятся гости.
Это Генрих славный пир справляет,
Пригласил к себе он всех знакомых,
Всех соседей, всех родных и близких.
А как в зале собрались все гости,
Вышел к ним навстречу сам хозяин,
Вышел рядом с девушкой прекрасной
И гостям такое слово молвил:

«Господа! Друзья мои и гости!
Скорбь великую господь послал мне,
И, в великой скорби утешенье,
Я нашел отзывчивое сердце,
Что само себя хотело в жертву

Принести. Но чем же я, скажите,
Отблагодарить могу за это?»

И сказали все единодушно:
«Если б всё ты отдал, что имеешь,
То всего, пожалуй, было б мало».

— «Что имею я? — ответил Генрих.—
Тело, что от смертного недуга
Девушка вот эта исцелила,
Сердце, что неслыханное счастье,
Встретив эту девушку, узнало,
Душу, что душевной красотой
Этой девушки обогатилась,—
Ей отдам, единственной, всё это».
Все сказали: «Брат наш, так и надо!»

И широкий, свадебный, веселый,
Небывалый пир начался в замке.

Долго, долго жили они оба
Вместе со своими стариками,
И пошла о них по свету слава,
Что не смолкнет, не умрет вовеки.

ПЬЯНИЦА

*Посвящаю «великому писателю
русской земли» гр. Л. Н. Толстому.*

Как-то жил да был пьянчужка:
Всё до нитки пропил он.
Мясопуст или пирушка —
Для него один закон:
Чарка, стопка ли, косушка —
Пьет и повторяет он:
«Дай нам, боже, на потребу,
А помрем — пойдем на небо!»

Женщины или мужчины —
Рад любой компании был.
Пьют, не пьют ли — всё едино,—
Со сволоком даже пил:
«Выпьем, что ли, старичина,
Свой черед ты пропустил!
Дай нам, боже, на потребу,
А помрем — пойдем на небо!»

Уж такой была натура:
Рюмки он не миновал.
Водка, спирт иль политура,
Начинал или кончал,
Благолепно, а не сдуру
Божье имя поминал:
«Дай нам, боже, на потребу,
А помрем — пойдем на небо!»

Выпив раз в корчме зимою,
Тропки ночью не узнал,
Заблудившись с перепоею,
Он в снегу заночевал
И под снежной пеленою
Так заснул, что уж не встал.
Дух его пичужкой белой
Сонно выпорхнул из тела.

Он проснулся. «Брр! Погано!
Да никак я умер? Вот
Труп чернеет на поляне,
Дух стрелю вверх идет».
Стало жутко так и странно:
«Ну как черт меня возьмет?
Напит смолой кипящей!
В «Обществе» и то уж слаще!»

Да теперь уж было поздно:
Двери рая перед ним.
С высоты глядит так грозно
Огнекрылый херувим.
И в ворота осторожно
Постучал бедняга Клим.
Теплой ласки ждет на небе:
«Дай нам, боже, по потребе!»

Бог на небе стук услышал,
Знает, кто там, но молчит.
Он к Петру склонился свыше:
«Погляди-ка, кто стучит!»
Петр с ключами тотчас вышел,
И к воротам он спешит:
«Кто там? Эй! Нужда какая?
Кто стучится в двери рая?»

«Извините,— отозвался
Голос,— я — пьянчужка Клим!»
— «Что?! Пьянчужка?! — раскричался
Райский ключник перед ним.—
Ты б, голуба, в ад подался,
Нету места здесь таким!»

Дрогнуло у Клима сердце,
Но сказал он через дверцы:

«Божья воля — суд небесный,
Тут нельзя протестовать.
Но скажи мне, пан мой честный,
Как тебя мне величать?
Слышу голос твой чудесный,
Но персоны не видать».
Разобиделся апостол,
Закричал на Клима грозно:

«Верно, ты, дурак, считаешь,
Что и здесь ваш польский строй?
Паном ты за что ругаешь?
Иль паны перед тобой?
Все равны мы в небе, знаешь!
Братья все мы меж собой,
Вовсе я не пан-канчучник,
Я — апостол, райский ключник!»

— «Это ты, святой апостол? —
Клим, довольный, закричал.—
Лучше б ласково да просто
Ты в раю гостей встречал,
Иль забыл, с каким упорством
Ты Иисуса отвергал?
Правда, пил я через меру,
Но хранил христову веру».

Слышит Петр. Поскреб затылок,
Губы запер на замок,
Отхлебнул он «горькой» было,
Да тотчас же — в уголок.
Клим стоит, молчит уныло,
После снова он разок
Стукнул, сам дрожит и шепчет:
«Дай нам, боже, что полегче».

Стуку бог в раю внимает,
Знает, кто там, но молчит.

Павлу он повелевает:
«Глянь-ка, Павел, кто стучит!»
Меч свой Павел вынимает
И к воротам он спешит:
«Кто там? Жил ты, знать, безгрешно,
Что колотишь так прилежно».

— «Извините,— отозвался
Голос,— я — пьянчужка Клим».
— «Чтобы пьяный здесь шатался?!
Не в корчме мы тут сидим!
Лучше б в ад ты убирался!
Ну-ка, марш в смолу и в дым!»
Клим стоял, как облит варом,
После так ответил с жаром:

«Уж когда в аду мне место,
Так его не миновать.
Но кто ты, отец небесный?
Это я хотел бы знать.
Голос, кажется, известный,
Да лица мне не видать».
С неба слышен глас громовый:
«Павел я, слуга христовый!»

«Это ты, святейший Павел? —
Обратился Клим к нему.—
Сам ты здесь в довольстве плавал,
А меня ты шлешь — во тьму?
А забыл, недавний Савел,
Как по знаку твоему
Христиан терзали, били
И в узилищах томили?»

И хотя грешил я много
И за ворот заливал,
Но, известно это богу,
Никого не истязал.
Почему же ты так строго. . .»
Павел тут его прервал,
Вправо, влево оглянулся
И скорей назад вернулся.

Ждал наш Клим, тая обиду,
После стукнул раз, другой.
Говорит тут бог Давиду:
«Посмотри-ка, кто такой?»
Взял тотчас свою «хламиду»
И к воротам пошел святой:
«Это кто? Что там за птица
Спозаранку к нам стучится?»

— «Извините, — отозвался
Голос, — я — пьянчужка Клим».
— «Ты еще откуда взялся?
Нет приема здесь таким!
Лучше б в ад ты отправлялся,
Где огонь, смола и дым!»
От обиды чуть не плача,
Клим вздохнул, и так он начал:

— «Твой приказ суров, да, верно,
Вправе ты повелевать.
Но скажи, молю усердно:
Кто ты? Рад бы угадать.
Голос страшен твой безмерно,
Но персоны не видать».
— «Экий ты дурак безмозглый!
Царь Давид я, славный, грозный!»

— «Это ты, сынок Ессея?
Ишь каким ты строгим стал!
А забыл, как, не робея,
Урия жену украл,
Да и сам ему скорее
Смертный приговор послал,
Как — уже на труп похожий —
Брал девчат к себе на ложе?»

Не тогда ль ты «освятился»?
Я — пьянчужка, видит бог,
Но когда бы погрузился
В скверну и такой грешок
Хоть один имел, — пустился

Прямо б в ад, не чуя ног».
Плюнул царь Давид с досады
И подался от ограды.

Снова Клим стучит и стонет,
Бог всё слышит, но молчит.
После молвит: «Соломоне,
Глянь-ка, кто там так гремит?»
Соломон в своей короне
Вышел к двери и ворчит:
«Кто такой? Чего желаешь?
Что ты двери разбиваешь?»

— «Извините,— отозвался
Голос,— я — пьянчужка Клим».
— «Чтобы пьяница здесь шлялся?!
Входа нет сюда таким!
Лучше б в ад ты убирался,
В серу лез, в смолу и дым!»
Клим был сильно озадачен,
Помолчал, а после начал:

«Уж в четвертый раз я слышу,
Что в аду мне быть, на дне.
Но пока приказ не вышел
В вечном жариться огне,
Умоляю, снизойди же
И открой себя ты мне!»
— «Это сделать мне нетрудно:
Соломон я, царь премудрый».

— «Соломон? Меня напрасно
Ты едва не погубил,
А забыл, как сам ты страстно
Восемь сотен жен любил?
Я с одною жил... Всечасно
Я кумирам не кадил,
Как с тобою то бывало,—
Их ведь и у нас немало».

Услыхав такое слово,
Сразу скрылся Соломон.

Стукнул Клим в ворота снова,
А затем воскликнул он:
«Боже, твой ли суд суровый
Иль один святейший сонм
За небесными вратами
В серу шлет меня и в пламя?»

Господи, я гадкий, грешный,
Но все те, что от дверей
Гонят в ад меня кромешный,
Кажется, еще грешней!
Здесь для них приют утешный,
И меня, молю, пригрей:
Я не крал, сирот не трогал,
Повторял я имя бога».

Бог на небе это слышит,
Усмехаясь, ждет конца.
Клим уж не стучит, не дышит.
Словно блудная овца,
Он заплакал. Бог тут вышел,
Кликнул нашего отца
Ноя. «Глянь-ка, не иначе
Там, под дверью, кто-то плачет».

Ной засеменял к воротам,
Верно: кто-то слезы льет.
Кротко спрашивает: «Кто там?»
Отвечают у ворот:
«Клим. Мученьям и заботам
Потерял давно я счет.
Я стремился в божью сферу,
А мне пить велели серу».

— «Серу пить в аду?! Бедняга!
Даже матерым чертям
Не по вкусу эта влага.
Даже им. Тем паче нам!
Уж кто-кто, а Ной без страха
Поручиться может сам,
Что горилки доброй капля
Лучше сотни райских яблочек».

О, попробовал, не скрою,
Этой капельки и я.
К ней теперь еще порою
Тянется душа моя.
Будет милостив с тобою
Бог. Открою не тая:
Если грешен только этим —
Мы тебя с почетом встретим».

И Ной, прадед седоглавый,
Пьяницу впускает в рай.
Сам бог добрый, величавый
Говорит ему: «Гуляй!»
Если ж спросит кто лукаво:
«А какая здесь мораль?» —
То морали здесь три бочки.
Вот две-три важнейших точки.

То, что люди пьют, — не диво,
Этот грех грехам не в счет.
Лучше пьющий мед и пиво,
Чем иной, кто кровь сосет.
Не для пьяницы огниво
Дьявол в пекле бережет.
Если ж умер от горячки —
В рай ползи, хоть на карачках.

Пусть святые обругают —
Духа нечего терять.
Ведь они обряды знают,
А не божью благодать.
Просьбы, слезы помогают,
Если к Ною нам воззвать.
Да: коль выпил, помни паки —
Спи в корчме, не в буераке!

Декабрь 1892
Вена

САТНИ И ТАБУБУ

1

Однажды шел царевич Сатни
По площади широкой Пта,
И там он девушку увидел;
Была она красы необычайной,
Нигде подобной не встречал царевич.
Камнями драгоценными была
Украшена ее одежда;
Шли девушки за нею и рабы,
Их было пятьдесят два человека.

Так загляделся на нее царевич,
Про всё забыл, залюбовавшись ею,
И вот слугу позвал он молодого,
Что шел за ним, и так сказал ему:
«Иди за этой госпожою вслед,
Вплоть до ее жилища,
И как ее зовут узнай немедля!»

Поспешно молодой слуга
Стал исполнять его приказ.
Остановил той госпожи служанку
И спрашивал ее вот так:
«Кто госпожа?»

Служанка отвечала:

«Пророка дочь из Бастид — Табубу,
Она дворцом владеет в Онктуи,¹
Она сегодня в храм
Спешит молиться богу Пта».

Тогда слуга вернулся к Сатни
И передал ему невольницы слова.
И молвил Сатни:

«Вернись ты к госпоже и передай ей:
Меня послал тут Сатни-Хамоис,
Сын самодержца Усирмари,
Он повелел сказать тебе вот это:
„Я золота три фунта дам тебе,
Чтоб провести с тобою
Час один.
Когда ж не согласишься,
То всё равно я силою добьюсь.
Велю тебя отправить я
В такое место,
Где не найдет тебя никто вовеки“».

Слуга вернулся снова к Табубу,
И вновь заговорил он с молодою
Невольницей и всё ей передал.
И вскрикнула она от этих слов,
От страшного такого непочтения.
Но Табубу посланцу молодому
Сама тогда сказала так:

«Брось разговаривать ты с этой дурой!
Иди ко мне и расскажи, что знаешь».

Услышав это, молодой посланец
Приблизился скорее к Табубу
И молвил так:
«Я золота три фунта дам тебе,
Чтоб Сатни-Хамоис,
Сын самодержца Усирмари,

¹ Так называлось одно из предместий Мемфиса.

Наедине часок провел с тобой,
А будешь несогласна —
Он силой своего добьется.
Велит тебя отправить он
В такое место,
Где не найдет тебя никто вовеки».

И Табубу ответила:

«Иди и передай так господину:
Я — непродажна, непорочна я,—
А если мной ты хочешь насладиться,
То приходи ко мне домой в Бубаст.
Там будет всё готово,
Там ты со мною будешь наслаждаться,
И не увидит нас никто.
А здесь я на пути стоять не буду,
Как девка, торг ведя на раздорожье».

Тогда слуга вернулся снова к Сатни
И передал ему подробно разговор,
А после сам себе еще сказал,
Как бы предчувствуя тот час недобрый:
«Несчастный тот, кто будет с господином».

2

Велел себе доставить лодку Сатни
И сел в нее, и скоро через Нил
Он переправился, сошел в Бубасте,
Потом пошел по городу на запад,
Покуда дома не увидел.
Высок был дом, вокруг каменные стены,
Раскинут к югу был красивый сад,
Перед стеной крыльцо с навесом было.
Увидев слуг, приблизился к ним Сатни,
Спросил у них: «Чей этот дом?»
Ответили: «Дом этот Табубу».

Тогда, пройдя через ворота, Сатни
В саду остановился возле дома.
И сразу известили Табубу, что князь

Пришел. Она сошла к нему,
И за руку взяла, и так сказала:

«Клянись ты мне, что уважаешь дом
Пророка из Бубаста,
А также госпожу из Онктуи,
Что тут стоит перед тобою.
Тогда я буду рада всей душою
Ввести тебя в мой дом сейчас же».

И сделал князь всё, что она просила,
И с нею в дом поднялся по ступенькам.
И наверху, куда поднялся он
С красавицей, пред ним предстала зала:
Украшена орнаментом чудесным
Она была. И не одно из камня голубого
Сверкало ложе, парчой покрытое,
Над ними чаши были золотые.

В одну из чаш
Немедля слуги налили вина
И подали ее тотчас же гостю,
А Табубу тогда ему сказала:
«Прошу, отведай что-нибудь!»

Но Сатни ей, взволнованный, ответил:
«Я не за этим в дом твой ныне прибыл».
Она не поняла его как будто
И приказала над огнем поставить
Сосуд. И слуги быстро принесли
Отменные и дорогие яства
И пряности для царственного пира,
Всё положили перед Сатни;
Он веселился с Табубу и всё же
Девичьего ее не видел тела.
Кончался пир, сказал царевич: «Хватит!
Пора бы нам пойти в твои покои!
Горит моя любовь».

Она ж ответила спокойно:
«Мой дом — твоим ведь домом будет,

Но непорочна я,
Продажной девкой быть мне не пристало.
А если вправду так желаешь ты
Со мною пить любви напиток сладкий,
Мне на бумаге клятву принеси
И список дай мне всех твоих дарений,
Казны твоей, имения твоего».

Он, очарованный ее красой, промолвил:
«Пускай писец приходит и напишет
То, что ты хочешь!»
Тогда писец немедля появился,
И Сатни подписал для Табубу
Святую клятву, дарственную запись
На всё свое именьё и казну,
Всё, что имел,— красавице он отдал.

3

Так час прошел уже и вскоре
Царевичу поспешно доложили:
«Пришли сюда твои, царевич, дети,
Зовут отца».
— «Пускай войдут сюда»,— промолвил Сатни.

Услышав это, вышла Табубу,
В прозрачную одежду нарядилась
И вновь вошла в покой,
Красой сверкая, как в тумане месяц,
И сквозь прозрачную такую ткань
Мог всю ее теперь увидеть Сатни.
Его любовь так сильно разгорелась,
Что он про всё забыл, горя желаньем,
И крикнул:
 «Табубу! Довольно! Хватит!
Пойдем исполним вместе то, что знаешь!»

— «Нет,— Табубу ответила.— Мой дом —
Твоим же будет домом.
Но девушка ведь я.
Продажной девкой быть мне не пристало.

А ты, коль хочешь выполнить желанье,—
То прикажи сейчас же детям,
Пускай они свою поставят подпись
В том, что обратно твоего добра
Не будут требовать они».
Всё так и сделал Сатни.
Он привести велел своих детей,
Велел им подписать, что подарил он,
Всё то, что захотела Табубу.
Тогда он ей сказал: «Ну, хватит!
Пускай уж кончится всё это!
Идем в покой, чтоб я то исполнил,
За чем пришел сюда».

4

Она ж ответила: «Мой дом —
Твоим же будет домом.
Но я ведь девушка,
Не девка я, не из простой семьи.
Чтоб я свершила то, что ты желаешь,—
Ты прикажи убить своих детей,
Чтоб не отняли от моих детей
Твое наследство!»

И Сатни, очарованный любовью,
Согласье дал!
«Пускай свершится это,— молвил он,—
Чтоб сердца твоего иссякла злоба!»
Тогда она велела на глазах отца
Убить детей царевича немедля
И приказала их тела в окно
Псам выбросить кровавым на съеденье.
Пока терзали звери их тела,—
С красавицей царевич пировал.

И снова Табубу сказал он так:
«Ну хватит, что ль!
Идем же исполнять мое желанье. . .

Ведь всё, что ты хотела, что просила,
Я сделал для тебя».

Она ответила: «Иди в покои!»
И он пошел туда, на ложе лег,
Что из слоновой кости и гебена,
И жар любви всего его сжигал.

Потом и Табубу к нему пришла
И опустилась рядом с ним на ложе.
И Сатни, руки протянув в истоме,
Обняв чудесное девичье тело,
Привлек к себе и выполнил тогда
Свое горячее желанье.

<1899>

ПОЭМА О БЕЛОЙ СОРОЧКЕ

Ой, летели журавли всё к югу,
По-над Веной ключ их протянулся,
Окликали журавли собрата:
«Хватит, хватит дома оставаться,
Время с нами к югу собираться».

То не к югу журавли летели,
Рыцарство могучее сбиралось,
Чтобы выйти в путь, в поход неблизкий,
В край турецкий, далеко за море.
Это молодой король немецкий
Созывает рыцарей отважных,
Собирает немцев, итальянцев,
Чтоб надменных турок усмирили,
Чтоб их руки злые обрубил.

Рыцари в дорогу собирались,
Словно туча, Вену обступили —
Отдохнуть среди людей крещеных
И пойти на Буду по Дунаю.
Отдыхают да коней седлают,
Созывают рыцарей из Вены:

«Хватит, хватит по домам сидеть вам,
На турнирах копьями сшибаться,
В песнях величать красу девичью,
Бить по струнам, медом упиваться».

Вы на бой священный подымайтесь!
Мусульманину рога обрубим,

Турка мы прогоним к Вифлеему,
Славный крест Христов тогда заблещет
На соборе в Иерусалиме,
И вернем несчетные богатства
Те, что турок по свету наградил».

В Вене рыцарь жил один в ту пору
Александр, был набожным, богатым,
С верною женою Юлианой.
Как два голубя, согласно жили...
Но однажды как-то ночью, в полночь,
Александр неожиданно пробудился,
Пробудился, тяжело вздыхает
И жене такое слово молвит:

«Юлиана, верная подруга,
Мне приснился сон необычайный:
Я в колодец падаю бездонный
И в студеную ныряю воду,
Я на дно глубокое ныряю,
Нахожу зерно там золотое,
И оно наверх меня выносит.
Трижды в ночь от сна я пробуждался,
Трижды сон мне тот же самый снился,
Видно, горе он мне предвещает,
Знать, мы чем-то бога прогневили.
Слушай, милая, что я надумал:
Я возьму оружие стальное,
К рыцарству я славному отправлюсь,
К Генриху могучему отправлюсь
И пойду в поход на басурмана.
Коль погибну — бог грехи отпустит,
А коль будет славная победа —
И меня коснется эта слава!»

Стало страшно верной Юлиане,
Слезы ронит, личико склоняет
И такое слово молвит мужу:
«Александр, супруг ты мой любимый,
Не ходи ты в тот поход далекий!

Сердцем чую, счастья нам не будет,
Не по правде Генрих поступает,
Он свою присягу нарушает,
За неправду всем вам отомстит.
Если ж ты и в самом деле грешен,
Можешь дома господу молиться».

Александр на это отвечает:
«Милая жена, ты не противься,
Сердцем знаю: это — божья воля.
То, что бог судил, неотвратимо.
Ты живи здесь тихо и спокойно,
Да блюди порядок в нашем доме.
И всего, что злое, опасайся,
На меня же ты не обижайся!»

Юлиана тихо слезы ронит,
Слезы ронит, глубоко вздыхает.
Вот уж сон опять смежил ей веки,
Ангел божий ей во сне явился
И промолвил ей такое слово:

«Юлиана, не противься мужу,
Сшей ему ты белую сорочку,
Пусть ее всё на себе он носит,
И, пока ему верна ты будешь,
До тех пор сорочка будет белой».

И спокойной Юлиана стала.
Принялась сорочку шить для мужа.
Сшив ее, приносит Александру,
Молвит ему ласковое слово:

«Александр, супруг ты мой любезный,
С богом поезжай, тебя зовет он!
Я здесь буду за тебя молиться,
Буду поджидать тебя обратно.
Вот возьми ты белую сорочку
И носи ее во всех походах.

И пока сорочка будет белой,
До тех пор тебе я буду верной».

Тихо, тихо волны на Дунае
Катятся от Вены и до Буды,
А от Буды к Белграду стремятся,
Вот они уже и в Черном море,
А за морем басурманы правят.
Словно волны, рыцари поплыли,
На восток плывут, навстречу горю.
С ними Александр, блестя оружием,
На коне на вороном уходит.
Провожала мужа Юлиана
Все четыре мили вдоль Дуная,
Провожала и прощалась, плача.
И стояла долго на дороге,
На вершине кручи каменистой
До тех пор, пока войска виднелись,
И пока оружие сверкало,
И коней их ржанье доносилось,
И земля от топота гудела.
А когда исчезли в мгле вечерней
И домой вернулась Юлиана,
До утра она молилась богу,
Стала ожидать спокойно мужа.

Ой, как солнце красное всходило,
Да затмилось тучею кровавой.
То не солнце красное восходит,—
Рыцарские стяги с ветром бьются.
Впереди король немецкий юный,
Словно ясный цветик меж цветами,
Весь в броне едет перед войском,
Весь он — радость, вера и надежда.
Выезжает, чуть не распеваает,
Рад бы за Босфор лететь на крыльях,
Градом бы обрушиться на турок,
Чтобы завтра ночевать в Никее.

Ой, как солнце красное всходило,
Да затмилось тучею кровавой.

Вот уже войска пришли к Дунаю,
Словно три реки золотоволных,
Вот вошли уже в Константинополь,
На челны могучие садились.
А надежда дула им в ветрила,
Вера твердая вела на берег,
Дальше, дальше, к землям басурманским,
Да не то их за Босфором ждало.
В том краю они под Анкарою
Табор свой раскинули последний,
Сила их турецкая настигла
И закрыла, словно туча солнце.
Ой, погиб, погиб король немецкий,
Полегли и рыцари с ним рядом.
Тот, кто не погиб в бою кровавом,
Тот в неволе в кандалах томится.

Александр попался в плен с другими.
Хоть в бою и храбро он сражался,
Но, однако, не был даже ранен.
Только саблю турки исцербили,
Только светлый панцирь порубали,
С головы шелом на землю сбили,
Без оружия увели в неволю.
Лишь немногих увели в неволю —
Было их четыреста четыре.
Всем им руки за спину скрутили
И погнали связанных в Никею,
А за ними турки с батогами,
Перед ними аги, баши злые,
А на копьях головы убитых,
А передний — с поднятой на пике
Королевской головой кровавой, —
Всё дары, любезные султану.

Вот в Никее визири пируют
С башами четвертую неделю,
А на пятой пленных поделили,
И достался Александр Осману,
Что из города из Трапезунда.
И погнал его Осман жестокий
В край чужой, неведомый, далекий,

В кандалах не одного погнал он —
Вместе с ним погнал он восемь пленных,
И в ярмо впрягать их повелел он,
Чтоб они его поля пахали.

Так и миновало божье лето:
Александр ходил с ярмом на шее,
Плуг таскал, распахивая землю,
Но бела на нем его сорочка,
Словно только вымыта сегодня.
Турки, видя это, удивлялись
И о том Осману рассказали.
И отпрячь им пленного велел он,
Привести к себе его немедля.
Александр Осману поклонился,
Тот ему такое слово молвил:

«Александр, скажи мне, что за диво —
Ты уже работаешь всё лето,
Плуг таскаешь ты и землю пашешь,
Стал ты черен, как земля святая,
А сорочка остается белой,
Хоть ее ты не снимал ни разу?»

Отвечает Александр Осману:
«Ой, Осман, ведь это вправду чудо;
У меня осталась в славной Вене
Юлиана, верная супруга.
Как меня в дорогу собирала,
То дала мне эту вот сорочку
И сказала мне: „Супруг любимый,
Видишь эту белую сорочку?
Ты надень ее, носи в походе,
И пока сорочка будет белой,
До тех пор тебе я верной буду“».
Тут Осман, узнав об этом чуде,
Призывает бека Галанбека,
Говорит ему слова такие:

«Слушай, Галанбек, мой витязь верный,
Собирайся в дальнюю дорогу,
В город Вену на реке Дунае,

Разыщи, найди там Юлиану,
Александра-пленника супругу,
Серебра и злата не жалея ты,
Не жалея и дорогих подарков,
Наипаче хитрых уговоров,
Чтоб она свою забыла клятву,
Чтоб с тобою ночьку ночевала.
Если мудро это дело справишь,
Дам тебе я серебра и злата,
Своего коня дам вороного».

Галанбек не медлил ни минуты,
Чтоб Османову исполнить волю.
Прибывает скоро в город Вену,
К Александру в дом он шлет посланца,
Юлиану на беседу просит.
Юлиана гостя приглашает,
Говорит ему слова такие:

«Гость любезный из страны далекой,
Что за вести для меня принес ты?
Что меня ты просишь на беседу?»
Отвечает Галанбек на это:
«Ты и есть, скажи мне, Юлиана,
Верная супруга Александра,
Что живет сейчас в краю турецком,
Пленником Османа в Трапезунде,
И, в ярмо впряженный, землю пашет?»

Защемило Юлианы сердце,
Заблестели на ресницах слезы,
Злую боль она в себе сдержала
И спокойно спрашивает бека:
«Ты скажи мне правду, гость мой милый,
А не болен ли в неволе пленник
И бела ль на нем его сорочка?»

Отвечает Галанбек на это:
«Нет, твой муж в неволе не болеет,
Год уже он не менял сорочки,
Но она как снег на нем белеет.
Ты меня послушай, Юлиана,

Передам тебе его я просьбу:
Ты нарушь супружескую верность,
Перебудь со мною эту ночь,
И, клянусь тебе я Магометом,
Скоро выйдет муж твой на свободу.
Если ж ты так сделать не захочешь,
То погибнет Александр в неволе,
Не увидишь ты его вовеки».

Защемило сердце Юлианы,
Заблестели на ресницах слезы:
Злую боль она в себе сдержала
И спокойно беку отвечала:
«Гость любезный, пережди денечек,
Дай всё хорошенько мне обдумать.
Тяжело, как камень, твое слово,
Сердцу моему полыни горше!
Дам тебе я знать поутру рано,
Что на это я могу ответить».

Не спала всю ночь Юлиана,
Слезы ронит, сердцем бога молит:
«Дай совет мне, боже милосердный,
Что мне делать, чтоб не ошибиться?
Я, как в темном лесе, заблудилась:
Слева — пропасть, а направо — бездна.
Рушить верность — мужу дать свободу?
Мужа потерять — остаться верной?»

На рассвете твердо всё решила,
Галанбеку ясно написала:
«Гость любезный мой, не дай то боже,
Чтобы просьбу мне твою исполнить,
Осквернить супружеское ложе
И нарушить свадебную клятву!
Если я останусь верной мужу,
То сам бог благоволить мне будет,
Выведет он мужа из неволи.
Если ж только слово я нарушу,
Погублю себя я вместе с мужем».
Написала, сразу отослала,
А сама придумала другое.

Всё монашеское одеянье
Раздобыла, гусли захватила,
Среди ночи с домом попрощалась
И из Вены двинулась в дорогу.
А за городом в двух милях, в роще,
Старая часовенка стояла,
И зашла в часовню Юлиана,
Сбросила богатую одежду
И, надев монашескую рясу,
Косы пышные свои остригла,
Нацепила бороду седую,
Через плечи гусли повязала,
Всю одежду в землю закопала
И пошла к востоку по Дунаю.

Шла она три дня без приключений,
Стала третья ночка опускаться.
Что за шум из города донесся?
Трубят трубы, и оружие блещет,
Конские подковы искры мечут.
И сбежались толпы любопытных,
Чтоб на турок посмотреть проезжих.
Шумно едет Галанбек из Вены,
Рядом едут двадцать янычаров,
А прислуги — той и вдвое больше.
На ночлег они остановились
В чьем-то доме и за ужин сели.
Вдруг все слышат звуки на крыльчке:
Плачут гусли, как ребенок малый,
То ли плачут, то ли речь заводят,—
То гудят, как будто пчелка в мае,
Развевают грусть они, как тучу,
И веселье пробуждают в сердце.
Встали турки, бросили свой ужин,
Музыка им слух заполонила.

Галанбек тут на крыльцо выходит
Посмотреть, кто чудно так играет.
Он увидел странника-монаха,
И к нему он вежливо подходит,
Говорит он страннику учтиво:

«Здравствуй, странник божий! Ты ответь мне —
А куда сейчас ты путь свой держишь?»

И монашек-странник отвечает:
«Здравствуй, господин ты мой любезный!
Из далекого иду я края,
Я иду в святую Палестину,
Чтоб господню гробу поклониться».

Галанбек обрадовался очень
И такое слово молвит старцу:
«Честный отче, поезжай со мною!
Будешь ты играть нам по дороге,
Наши души веселить игрою,
Отплачу тебе тройною платой:
Дам тебе коня я верхового,
За моим столом ты будешь кушать,
Буду защищать тебя в дороге».

Юлиана сразу согласилась,
С Галанбеком двинулась в дорогу.
Кончилась четвертая неделя —
Перед ними Икония-город.
Говорит тут старец Галанбеку:
«Господин мой, Галанбек любезный,
Здесь дороги наши разойдутся:
Мой направо путь, к господню гробу,
Твой налево, к твоему Осману».

Отвечает Галанбек на это:
«Ты исполни, отче, мою волю:
Вместе поезжай со мной к Осману!
Развлеки его своей игрою —
И об этом ты не пожалеешь».

Не перечит старец Галанбеку,
Вместе с беком едет он к Осману,
И в полях под самым Трапезундом
Старец бедных пленников увидел,
Что работали с ярмом на шее,
Между них увидел Александра.

Он в ярме сгибается дугою,
Виснут руки от тяжелой муки,
Всё лицо бедняги почернело,
Лишь бела на нем одна сорочка,
Словно нынче выстирана утром.

Прибывает Галанбек в свой город,
И Осман за беком посылает,
Издали его встречает смехом:
«Здравствуй, Галанбек, мой витязь верный!
Видно, повезло тебе не очень,
Не добился в Вене ты победы,
Злата-серебра не заслужил ты
И коня лишился вороного!
Всё бела сорочка Александра,
Не запачкалась она нисколько».

Отвечает Галанбек по правде:
«Ой, Осман, мой добрый повелитель!
Охранял меня Аллах в дороге,
Только ничего я не добился,
Да не жаль мне, что туда ходил я,
Не жалею ни труда, ни денег,
Что пришлось потратить мне в дороге:
Диво дивное я там увидел —
Александра-пленника супругу.
Красоту ее хвалить не буду,
Ибо кто воспеть достойно может
Дня вешунью, звездочку златую
Пред восходом солнца, в ярком блеске!
И кто может выхвалить достойно
Аромат весны неотразимый,
Жаворонка трели в поднебесье,
Тихий лепет ручейка лесного,
Свежесть роши, полночи безмолвье!
Но не так краса ее чудесна,
Как тот блеск невинности лучистой,
От которой вся она светлеет,
Как тот запах чистоты небесной,
Что и мысли грешной не допустит,
Убивает низкие порывы,

Отмечает замысел нечистый,
Чтоб никто не смел ее коснуться.
Но всего в ней кажется чудесней —
Это воля сильная, прямая
И к добру высокое стремленье.

Верь, Осман, мой добрый повелитель.
Я же ведь не юноша безусый,
Женщин знал я на веку немало,
Но когда увидел Юлиану
И лицом к лицу с ней повстречался,
Черный замысел в душе имея,
Чтоб своим искусным уговором
Убедить ее нарушить клятву,—
Стыд такой почувствовал я в сердце,
Словно мать убить я собираюсь».

Тут Осман на это улыбнулся.
«Ой ты, друг мой, витязь ты мой верный,
Видно, вправду там случилось чудо,
Что тебя в поэта превратило!
А скажи мне, кто это с тобою?»
— «Ой, Осман, мой добрый повелитель,
Он монах, как видишь, божий странник,
Путь его лежит к господню гробу.
Он к тому же музыкант искусный,
Всю дорогу веселил нам душу,
Разгонял печаль своей игрою.
Вот его сюда с собой и взял я,
Чтоб и ты изведаль наслажденье,
Чтоб и ты узнал его искусство».

И велел Осман играть монаху,
Полились чарующие звуки
И Османа сердце полонили,
И не мог от них он оторваться.
День и ночь бы напролет их слушал,
Пил бы их, как жаждой одержимый.

Так прошли четыре воскресенья.
Говорит тогда монах Осману:

«Ой, Осман, мой добрый повелитель,
Мне пора с тобою распротиться,
В путь-дорогу дальнюю собираться,
В путь-дорогу да к господню гробу».

Отвечает тут Осман монаху:
«Жалко мне с тобою расставаться,
Но ведь не могу держать я силой,
А за то, что чудною игрою
Очаровывал мое ты сердце,
Разгонял мою тоску и часто
Веселил в тяжелые минуты,
Дам тебе богатые подарки:
Серебро, и золото, и одежду,
Дам коня в придачу верхового,
И еще в дорогу дам охрану».

А монах Осману отвечает:
«Ой, Осман, мой добрый повелитель,
Не дари мне серебра и золота:
Дал обет я господу на бедность;
Мне не надо дорогой одежды —
Хватит мне одной вот этой рясы;
И коня не надо вороного —
Дал обет я господу, что пешим
Буду я идти к святому гробу;
И не шли охраны ты со мною —
Бог моя надежная охрана,
А другая — мой карман порожний,
Третья — гусли звонкие вот эти.
Если же от милости великой
Одарить слугу ты всё же хочешь,
Подари мне одного из пленных,
Тех, что поле за городом пашут,
Дай об этом грамоту на случай,
Подпиши на ней свое ты имя
И повесь султанские печати,
Чтобы турки всюду пропускали,
Взгляды бы косые не бросали».
Полюбилась эта речь монаха,
Очень уж Осману полюбилась.
Он велел, чтоб грамоту писали

Золотом по розовому полю
Чтобы шелковым шнурком прошили
И печать большую прикрепили.
А потом зовет он Галанбека:
«Ой ты друг мой, Галанбек, мой визирь!
Ты иди с монахом вместе в поле,
Дай ему там пленника любого,
Пусть он выберет, кого захочет!»

И пошли они вдвоем с монахом
В поле, где в ярме бедняги ходят.
Говорит тут Галанбек монаху:
«Честный отче, выбирай любого,
Отпущу того, кого захочешь».

Отвечает тут монах разумно:
«Галанбек, мой господин любезный,
Выбирать — мое ли это дело,
Отпусти, кого ты сам захочешь!»

Галанбек тут говорит монаху:
«Отпущу с тобою Александра,
Пленника в сорочке белоснежной,
И не для него совсем, ей-богу,
Для жены его, для Юлианы».

Тут ярмо снимали с Александра,
Сняли с ног и рук его оковы,
И пошел с монахом он в дорогу,
В Палестину, ко святому гробу.
А когда у гроба помолились
И святому месту поклонились,
То направились к родному краю.
А когда уж к Вене приближались,
За две мили до конца дороги
Сели вместе отдохнуть немного
У часовни в зеленой дубраве.

«Александр,— монах тогда промолвил,—
Милый друг, пора нам расставаться,
Здесь дороги наши разошлись,

Ты теперь пойдешь налево, в Вену,
Я — направо в монастырь отправлюсь».

Горько, горько Александр заплакал
И монаху в ноги поклонился:
«Честный отче, вечное спасибо,
Что свободу вы мне даровали!
Жить ли буду, умирать ли буду,
Всё, что я имею, вашим будет!»

Тут монах на это улыбнулся.
«Александр, мой брат, давая слово,
Обещай лишь то, что ты исполнишь.
У тебя семья осталась дома,
Молодая верная супруга!»

Отвечает Александр печально:
«Честный отче, жаль мне, что супруга,
Услыхав о том, что я в неволе,
Не пыталась мне добыть свободу,
Не хочу и жить я с нею больше.
В монастырь хочу уйти, в монахи,
Перед богом быть твоим слугою».

Улыбнулся тут монах на это,
Александра он на слове ловит:
«Слушай, Александр, мой брат любимый!
Если это рыцарское слово,
Твердое и честное решение —
Присягни здесь, в этой вот часовне,
Подпишись на этой вот бумаге,
На которой есть печать Османа,
Подпишись, что ты моим слугою
Хочешь быть, пока живым ты будешь».

Александр дает свое согласие,
Всей душой в часовне присягает,
Пишет всё как надо на бумаге,
Написав, передает монаху.

Оба тут сердечно попрощались
И по разным разошлись дорогам:

Александр пошел дорогой торной,
Той, что к Вене меж горами вьется,
А монах сначала в роще скрылся,
А потом в часовенку вернулся:
Снял монашеское одеянье,
Женскую достал себе одежду,
Ключевой водою он умылся —
И не стало старого монаха,
Снова появилась Юлиана,
В женскую одежду нарядилась,
Помолилась набожно в часовне
И домой тропинками прямыми
В Вену из лесу поторопилась.

Там ее свекровь и повстречала,
Александра мать, уже старуха,
Повстречала и бранит сердито:
«Эх, жена неверная, красотка,
Где же ты так долго пропадала?
Нет у тебя совести и бога,
Что тайком от всех из дома скрылась,
Где-то лето целое блуждала,
Не другого ль милого искала?»

Юлиана весело сказала:
«Мама милая, не беспокойся!
Я уж знаю, как мне оправдаться.
Лучше ты послушай, что за новость:
Мне через людей известно стало,
Что сегодня Александр вернется,
Милый муж мой, а твой сын любимый,
Из неволи, из страны турецкой».

Ей свекровь сурово отвечает:
«Лучше бы ему не возвращаться,
Чем с такой бедою повстречаться!
Не на радость он тебе вернется,
И не радость он свою увидит».
Но уже на улицах раздался
Шум и говор, толпы наплывают,
Дом уже стеною обступают,

И летят их крики прямо в небо:
«Александр вернулся из неволи!»

И ему навстречу выбегает
Мать-старуха вместе с Юлианой.
И она его приветить хочет,
Как жене законной подобает,
Но свекровь ее не допускает,
Гневными словами окликает:
«Прочь, жена неверная, отсюда!
Не посмей к нему ты прикоснуться!
У тебя ни совести, ни бога,
Ты нарушила святую клятву,
Где-то лето целое гуляла,—
Видно, за иным дружкой ходила».

Побледнела, вздрогнув, Юлиана
И свекрови жалобно сказала:
«Пусть вас, мама, бог за то осудит,
Что меня так тяжко оскорбили
Перед домом, перед всем народом!
Александр, супруг ты мой любимый,
Не хочу здороваться с тобою,
Не скажу тебе я ни словечка
И не съем с тобою ложки яства
До тех пор, покуда суд рассудит.
Завтра же устрой ты пир богатый,
Пригласи к себе родных, знакомых.
Перед их глазами я предстану,
Приведу свидетелей я верных,
А тогда уж пусть меня все судят».
Так сказала, слезы осушила
И затем ушла в свои покои.
Сын же матери с упреком молвил:
«Мама, мама, что вы натворили?
Милой стыд, а мне одна забота!
Юлиана мне верна, как прежде,
Я и доказательство имею.
Мне она еще перед походом
Подарила белую сорочку
И такие мне слова сказала:
«До тех пор пока бела сорочка,

Буду я верна тебе, мой милый».
 Год носил я на себе сорочку,
 Целый год носил и три недели —
 А она еще бела, как прежде».

Мать-старуха гневом запылала
 И у сына вырвала сорочку,
 Говорит ему: «Всё это чары!
 Ты не верь им, правды добивайся!
 Подожди, сейчас пойду я в церковь,
 На престол я положу сорочку,
 Пусть она лежит там до рассвета.
 Вот тогда развеются все чары,
 И увидишь ты, что с нею будет».

Сын не стал тут матери перечить,
 Жалостью томилось его сердце,
 Жалостью и смутным недоверьем:
 Хоть жена и праведной казалась,
 А из плена всё ж не вызволяла
 И всё лето где-то пропадала!

Ночь прошла, уже и утро встало,
 Вот уж солнце выше поднялось —
 Тишина в покоях Юлианы.
 Вот уж собрались у Александра
 В доме гости — графы да бароны,
 Все друзья, знакомые, родные,
 И его приветствуют сердечно,
 Спрашивают о краях далеких —
 Да нерадостны сегодня гости,
 Тяжело у каждого на сердце.

Суд пора бы начинать, пожалуй,
 Только нет и нет всё Юлианы,
 Не выходит из своих покоев.
 Александра мать подходит к сыну
 Бледная, и лишь глаза сверкают,
 Грязная в руках ее сорочка,
 Вверх она сорочку поднимает
 И тихонько молвит Александру:
 «Посмотри же, сын мой, что случилось --

Чары все исчезли на престоле,
Вот что случилось с белою сорочкой!»

Вздрогнул Александр, услышав это,
Что-то сердце, как клещами, сжало.
«Горе,— он воскликнул,— горе, мама!
Не на радость я пришел из плена!
Как же быть! И что теперь мне делать!
Лучше правдой раз переболею,
Чем за пазухой неправду спрячу.
Ведь неправда, как гадюка злая,
Разовьется, в сердце мне вопьется!»

И велит позвать он Юлиану.
Да напрасно в двери к ней с тревогой
Мать стучится и стучатся слуги —
Как в гробу, в ее покоях тихо.

Вдруг — кто это на крыльце играет?
Плачут гусли, как ребенок малый,
То ли плачут, то ли речь заводят,
Каждым звуком за сердце хватают.
Александр внезапно встрепенулся
И гостям промолвил торопливо:
«Гости милые, друзья родные,
Подождите вы меня минутку!
Эту музыку не раз я слышал,
Это же ведь тот монах играет,
Что меня освободил из плена.
Пригласить его хочу я в гости
И его попотчевать достойно».
На крыльцо тут Александр выходит
И монаху кланяется в ноги,
Горячо ему целует руки,
Горькими слезами обливает.
И монаха просит он в светлицу,
И сажает на почетном месте,
Сам за ним становится покорно,
Чтоб служить ему слугою верным.

А монах гостей обводит взглядом,
К Александру слово обращает:

«Александр, хозяин мой любезный,
У тебя в доме гостей немало,
Где же верная твоя супруга?
Почему же здесь ее не видно,
Почему она гостям не служит?»

Александр же слезы утирает,
К матери он слово обращает:
«Прикажите, чтоб замки разбили,
И сюда ведите Юлиану!»

И старуха мать уходит быстро,
Слуг зовет, чтобы замки разбили.
Но к гостям она вернулась скоро,
Громко сыну при гостях сказала:
«Разбивать замки, мой сын, напрасно!
Я все комнаты пообysкала,
Ни в одной не видно Юлианы.
Значит, знала, чем всё это пахнет,
Еще ночью, видно, убежала!»
Будто холод охватил собрание,
Рыцари от страха задрожали,
Словно всем клещами сердце сжало.
Пусть позор на голову падет ей!
Ведь сама вчера суда просила,
А суда дожидаться не посмела.

Александр склонился, как побитый.
Тут монах спокойно выступает,
Из-за пазухи он вынимает
Розовую грамоту Османа,
Где стоит печать его и подпись,
А под нею клятва Александра.
Положил монах на стол бумагу,
И такое говорит он слово:
«Александр, хозяин мой любезный,
Та ли это грамота, с которой
Отпустил Осман тебя на волю
В городе далеком Трапезунде?»

— «Как не знать мне грамоты Османа!
За нее тебе спасибо, отче!»

— «При свидетелях теперь скажи мне,
Ты ли написал своей рукою,
Что клянешься быть моим слугою
Неотступно, до скончанья века?»

— «Честный отче, я собственноручно
Расписался на бумаге этой».

— «При свидетелях еще скажи мне,
Твердо ли стоишь на этом слове
Или, может, вольным быть желаешь?»

— «Честный отче, для чего мне воля,
Если сердца моего не стало,
Если нет моей супруги верной,
Погасило солнышко ненастье,
Изменила, видно, Юлиана,
Изменила, бросила навеки.
Не хочу здесь больше оставаться,
Я пойду в монахи постригаться».

— «Александр, подумай хорошенько,
Чтоб раскаяться не слишком поздно!
Ведь жена и слова не сказала,
Как же можешь ты судить заочно?
Или так уж это всё бесспорно,
Что она, боясь суда, исчезла?
Может, за свидетелями вышла?
Или в самом деле это правда,
Что нарушила она присягу?»

Александр тогда ответил гневно:
«Честный отче, доказать могу я —
Видишь, как сорочка почернела?»

Отвечает тут монах сурово:
«Та ли это самая сорочка?
Разве ты не согрешил душою,
А она за грех твой почернела?»
И его глаза вдруг заискрились,
И досада сердце охватила,
Он воскликнул: «Хватит, отче, хватит!
В сердце нет ни жалости, ни веры.»

Ты убей, о боже, Юлиану;
Пусть она не ведает покоя,
Пусть ее отчаяние жалит,
Как змея, за мой позор великий!»

Застонал монах тут горьким стоном,
Застонал, как от смертельной раны,
Руки вскинул, взглядом умоляет:
«Стой, несчастный! Удержи проклятье!
Сам ведь ты себя им убиваешь!
Сам не знаешь, что сказал ты, бедный,
И кому сказал ты, сам не знаешь!
Присмотрись-ка ты ко мне поближе,
К голосу прислушайся получше.
Неужель твое безмолвно сердце?
Или так оно окаменело,
Что меня узнать оно не может?
Александр, единственный ты друг мой!»
И монах тут бороду срывает
И, клубок монашеский откинув,
Белу грудь тотчас же открывает,
Александра крепко обнимает.

Александр не может слова молвить,
Только слезы горькие он ронит
И к груди подругу прижимает,
Но в глаза ее не смеет глянуть,
Слезы ронит, тяжело вздыхает,
К Юлиане слово обращает:
«Горе, горе! Видимо, неволя
Так глаза мне сильно ослепила,
Так мне уши сильно оглушила,
Сердце мое в камень превратила,
Что тебя не мог узнать я сразу,
Юлиана, милая супруга!»

Говорит и голову склоняет,
Юлиане ноги он целует,
А за ним и мать его старуха;
А все гости, графы и бароны,
Юлиану громко величали.
И пошла по свету ее слава,

Ей, покуда свет стоит, не сгинуть,
Если в свете добрые есть люди,
Если песня сердце их чарует.

Вот вам песня, вот и величанье:
Нет цветка прекраснее на свете,
Чем цветок любви подруги верной.

1899

ПОХОРОНЫ

I

Сверкают люстры пышного чертога,
Огонь их яркий в хрустале дробится,
И ливень искр широкою дорогой

По зеркалам огромным вниз струится.
На галерее музыка играет,
То плачет, как дитя, то веселится.

А среди зала длинный стол сияет
От серебра и хрусталя посуды,
Ее цветов букеты разделяют,

Как жемчуга, рубины, изумруды.
И словно снег сверкающее поле
Окружено вельможным панством всюду:

Блеск туалетов взор слепит до боли,
Горят алмазы, слышен шелест шелка,
А свет очей прекрасных сердце колет.

И замечаешь там, блуждая долго
Растерянным и изумленным взором,
То личико, то плечи. Без умолку

Беседа льется кружевным узором
Причудливым, где сплетены признанья,
Смех серебристый с шепотом и спором,

Признания, вопросы без вниманья
Смешались, создавая впечатленья
Живого единенья, где страданья

Души стихают, гаснут сожаленья,
Всё личное уходит, пропадает,
Живет толпа лишь — общее творенье.

Свои места шляхетство занимает
Вокруг стола — за белым полем фрак
И платья женщин. Слуги наблюдают

Бесшумно за порядком, чтобы всякий
За стол уселся только там, где может
Позволить честь, года, отличий знаки.

В разгаре пир веселый, не тревожит
Там никого в чертог богатый званных
Тех шестисот ничто, тоска не гложет,

И нет врагов, и в ясных бликах ранних
Цветет над ними пурпуром чудесным
Весь мир. И нет убогих, бесталанных.

Как звонок смех тех ангелов небесных
В одеждах модных. Шутят всей душою
Владыки мира. В сладком ритме песни

Слагаются гармонией одною
Посуды звон с беседою застольной
И в кубках вин сверканье хмельное.

Все дышат полной грудью здесь привольно,
И радостью у всех пылают очи,
Что больше нет беды, и все довольны,

Что день пришел на смену страшной ночи,
Добыта величавая победа,
Что больше вновь подняться не захочет

Грозящий меч разбитого соседа.

II

И я сидел меж избранных счастливых,
Но только сердце отвечало стоном
Речам свободным и словам шутливым.

Иудой я среди синедриона,
Которому Христа продал на муки,
Сидел, на пир панами приглашенный,

И, улыбаясь, пожимал я руки,
Что кровью братьев праведной омыты,
И сердце словно жалили гадюки.

В нарядах дамы, радостями сыты,
Порой мне то лукаво, то спесиво
Бросали взгляд вокруг с улыбкой скрытой,

А я, хоть сердце и рвалось, лениво,
Спокойно поводил на них глазами
И улыбался сонно и счастливо.

Гремит оркестр. В моем мозгу огнями
Далекie зажглись воспоминанья,
И, сразу, резко загремев дверями,

Вдруг некий рев ворвался и стенанья
Кровавые со скрежетом зубным:
«Предатели! Ты обрек народ страданью!»

Оркестр гремит со смехом адским, злобным,
И этот ужас дрожью ледяною
Пополз по телу моему ознобом.

Ой, музыка! Зачем так предо мною
Ревет и душу мучает, терзает,
Как ветер хату стужей ледяною?

Зачем та скрипка плачет и рыдает,
Как матери рыдают над сынами?
Зачем тот бас к отмщенью призывает?

Зачем, зачем такими голосами
Напоминать о том же самом снова,
Что до могильной буду помнить ямы?

Я помню, что вчера, к боям готово,
Нас множество по бранному шло полю,
И каждый полон был огня святого.

Я помню: за права людей, за волю
Мы поднялись на недругов извечных,
Чтоб нашей кровью всем добыли долю.

Мы много вражьих войск разбили встречных,
С землею много их твердынь сравнивали
И мужеством своим в жестоких сечах,

Как зайцев, их всё дальше, дальше гнали,—
Тех, кто теперь здесь радостно пирует,
Тех, что от нас вчера еще бежали;

Теперь храбрятся, шутят и ликуют,
Но, видно, страх еще их обжигает,
Коль так над побежденными лютуют.

Страх,— крайнюю жестокость он рождает!
Я помню, что вели мы их упорно,
Как рыбу в сеть. Отряд наш преграждает

Им путь для отступленья ночью черной,
Вот их кольцом железным окружаем,
Чтоб гнать в долину, словно в ступу зерна,

Их мощь их кровью затопить мечтаем,
Уже удар обрушить мы готовы,
Уже мечи из ножен вынимаем,

В решеньи жарком тысячеголовом
Мы, стиснув зубы, знака к бою ждали,
В груди дыханье затаив, без слова...

Они же, словно овцы в стаде, спали.
Унылость, безнадежность и смятенье
От них и осторожность отобрали.

Один из них не спал лишь в те мгновенья —
Старик согбенный, дряхлый князь, с лицом
Смертельно бледным, словно привиденье.

Переодевшись нищим, он тайком
Ко мне пришел и стал шептать лукаво...
Прикинулся мне другом и отцом!

Он, сатана, рыдал, чтобы отраву
Мне в душу влить, он раскрывал объятия,
Чтоб сердце жалом мне пронзить кровавым.

О, лютый змей, я шлю тебе проклятья!
Ты победил. В душе моей дупло
Нашел и влез. И вот я предал братьев,

Я предал мстителей и выбрал зло,
Отступником я стал, братоубийцей!..
День миновал, и солнце лишь зашло,

Как положило нашу мощь в гробницу.
Герои наши полегли снопами
В крови; тогда их, как коса пшеницу,

Косила смерть коварными руками.
Никто не побежал, сражались смело,
Предательство узнав, шли на смерть сами.

Стой, музыка, чтоб сердце не сгорело!

III

Оркестр умолк. Сняв со стола посуду,
Вино в бокалы вновь поналивали.
Стихает говор избранного люда,

Все наперед порядок тостов знали
И знали — первым слово князь попросит,
И с любопытством речи этой ждали.

Он встал и так с улыбкой произносит:

«Надо того панам
Благодарить,
Кто позволяет нам
Есть тут и пить.

Он нам дыхание
Всем возвратил,
От поругания
Нас оградил.

Было нам круто ведь,
Вихрь нарастал,
Слышалось — люто весь
Ад клокотал.

Думалось, уши уж
Черт наострил,
На наши души уж
Рот свой раскрыл.

Шел он к нам с вилами,
Жег нас смолой.
Горло сдавило нам
Черни петлей.

—
Нам занеможилось,
Жар до костей,
Словно нас множество
Било плетей.

Трудно угадывать
Даже сейчас,
Кто нас от адовой
Пасти той спас?

Видно, не мешкая
Черт подсчитал,
Что бы при спешке он
Сам потерял.

Что их терзать в огне?
Пусть поживут!
Большую пользу мне
Здесь принесут.

Пусть позабавятся,
Я подожду,—
Время представится —
Будут в аду!

Что, не логично он
Так бы решил?
Сильным обычно он
В логике был.

Тропкой реальности
Он лишь идет,
Фразу банальную
Не признает.

Принцип, идеи
На смех поднять,
Тем, кто глупее,
Всех их отдать.

Все идеалы —
Бред и брехня.
Черт — славный малый
И наша родня.

Лучше в политике
Нет никого,
Наши мыслители —
Дети его.

Он наш учитель ведь
С давних времен,
Он наш спаситель ведь,
Гений ведь он.

Верной к нему любовь
Наша была.
Сдвинем бокалы вновь,
Черту хвала!»

Оркестра гром. Но панство как-то мнетя
Да криво улыбается: «Чудак!»
Лишь «браво, князь!» — истошный вопль несется.

Князь, усмехаясь, глянул, после, знак
Рукой подав, оркестр остановил
И, вновь поднявшись с места, молвил так:

«Простите, но я речь не завершил,
Трехструнным инструментом я владею,
На той струне, быть может, резок был,

Вот на другой закончить вмиг сумею!

IV

Панство вельможное
Буду просить
Эти безбожные
Речи простить.

Прочь поди, сгинь от нас,
Честь мы блюдем!
Apage, Satanas,¹
Перед крестом!

Мы не соколики,
Дьявольский род,
Мы все католики,
Веры оплот.

Не атеисты мы,
Не лезем в споре
В пекло к нечистому
Ради теорий.

¹ Изыди, сатана (лат.).— *Ред.*

Черту, случается,
Свечку мы ткнем,
Богу покаяться —
По две зажжем.

Слабость телесная
К черту влечет,
Искра ж небесная
В душах цветет.

Кто в искушении
Пал на земле,
Пусть искупление
Сыщет в смоле.

Но чтобы душу бог
Нашу прогнал,
В ад чтобы сунуть мог,
В затхлый канал,

Чтоб мы среди жуликов
Были, друзья,
Среди мазуриков
И мужичья,

Чтоб среди черни той
Послан был в ад,
Словно мужик простой,
Аристократ,

Чтоб ту прекрасную
Душу терзать,
Звездочку ясную
С грязью смешать,

Самое лучшее
В божьем саду,
Чтобы замучили
Черти в аду, —

Кто бы сказать так смог,
Это же смех!

Чтоб так позволил бог,—
Думать нам грех.

Бог выше всех других
Аристократ,
Для мужиков простых
Разве он брат?

Стал бы он нас судить
Черни по нраву?
Нет, могут так твердить
Дурни лишь, право!

Я, господа, одно
Думаю, знаю:
Что нас готовит бог
К дивному раю.

Что, коль вельможный пан
Землю покинет,
С богом лишь быть ему
В райской долине.

Ведь когда нынче нас
Гнали холопы,
Всех, словно Ноя, спас
Бог от потопа.

А коль глумиться чернь
Смела над нами,
Поле усеял бог
Хамов костями.

Помнят пусть век они:
Раб есть скотина,
Честью лишь мы одни
С богом едины.

Бог только нам отец,
Черни же — отчим,
С нами он добрый лишь,
С ней грозен очень.

Бог, чтоб на миг развлечь
Наши сердца,
Сотен рабов возьмет
Жизнь до конца.

Чтоб на минуту нам
Не было скуки,
Сто их на целый век
Бросит на муки.

А чтобы чтили тех,
Кто ими правит,
За один волос наш
Сто их раздавит.

Двигается в свете так
Всё божьей мерой!
В том моя этика,
В том моя вера.

То, что свершилось
С нами, паны,
Это свидетельство
Нашей цены.

Довод блестящий нам:
Бог нас спасал,
Бог нас тем ящерам
Съесть не отдал.

Бог своих избранных
Верно берег,
Чтоб уничтожить их
Сброд тот не мог;

Чтоб не закрыло нас
Дикой толпой,
Свет не затмило нам
Варварства тьмой;

Чтоб среди этой тьмы
Цвет наш не глох.

Бог — дворянин, как мы,
Vivat¹ наш бог!»

Оркестра гром. Но панство как-то мнется
Да криво улыбается: «Чудак»,
Лишь «браво, браво!» — чей-то вопль несется.

Князь, усмехаясь, глянул, после, знак
Рукой подав, оркестр остановил
И с места, вновь поднявшись, молвил так:

«Простите, но я речь не завершил,
Иль сакраменты трачу не жалея?
Ну, что ж, меня так дух мой научил.

Еще лишь миг, и кончить я сумею.

V

Господа, оставим смех,
Будем говорить практично,—
На последний наш успех
Я смотрю вполне критично.

Бог ли там иль черт нас спас,—
Кто, как хочет, так и ведай.
Но еще одна победа
Вроде той — и нету нас!

Знаем, род ведем мы свой
Не от пашни, не от соли,
Только мир теперь другой,
И коль бьют, то *bardzo boli*.²

Пользу в том найдем какую?
Может, много есть таких,
Кто вину и поцелуям
Предпочли бы синяки?

¹ Да здравствует (лат.).— *Ред.*

² Очень больно (польск.).— *Ред.*

Но покорно признаюсь я:
Не товарищ я для них,
Без войны, без битв лихих
И без славы обойдусь я.

Тех не стану прославлять,
Кто в сражениях вчерашних,
Как герои, так сказать,
Шли на подвиги бесстрашно.

(Поглядел тут князь на нас,
Усмехаясь, поднял плечи,
И к другим ушам тотчас
Он направил стрелы речи.)

Господа, я дипломат
Тот, кто после битв считает,
Где найдет, где потеряет,
Чтоб врагу дать шах и мат.

То, что мы добыли с бою,—
Часть победы над врагом,
Лишь работай головою,
И тогда мы всё возьмем!

Трупы... кровь... ну, слава — всё
Выглядит обычно, хмуро.
Что за плод нам принесет?
Будем думать про futuro.¹

Кто укажет, как в руках
Нам держать свою добычу,
Племя как смирить мужичье,
Не тягаясь с ним в боях.

Без пожаров, битв кровавых,
Мирной крепкою рукой,—
Тот достоин высшей славы,
Тот мудрец и тот герой».

¹ О будущем (лат.).— Ред.

Оркестра гром. Рукоплесканья, bravo.
Но князь рукоплесканиям не внял:
Он знал, что сто́ит здесь такая слава.

Через минуту граф с бокалом встал,
Бокалом звякнув, князю поклонился:
«Позвольте, князь, мне речь держать»,—
сказал,

Здоровый, гладкий. Граф расположился,
Чтоб двигаться свободно мог, как слон,
Что на зверином сейме очутился.

И начал. Резким был у графа тон.

VI

«Прок ли в рассужденьях долгих,
Тот ли много рассуждает,
Кто идет на схватку с волком,—
Он стреляет.

Спас нас бог рукой своею,
Утопил в крови восстанье.
Что с живыми делать станем —
Драть сильнее.

Всё тут нам для дела нужно:
Тюрьмы, проповеди сила,
Чтоб ярмо свое послушно
Чернь носила.

Чтоб всегда в грязи валялась
Нищею, полуодетой,
Чтобы выйти не пыталась
К доле светлой.

И потом, должны мы сами
Ей внушать, что мысль безбожна,
Что мужик перед панами
Червь ничтожный.

Чернь должна быть нам покорной,
Всё сносить должна с терпением,
Знать, что есть для кости черной
Лишь презренье.

Как смирить ее натуру?
Приласкаем терпеливых,
В то же время со строптивых
Снимем шкуру.

А тем псинам-дурачинам,
Кто мечтать о счастье смеет,
Палкой длинной иль дубиной
Бух по шее!

Школы эти, что взрастили
Лютых псов на нас когорту,
Доцентуру, профессуру, —
В пекло, к черту!

А газеты те, что воем
К бунту подлый люд подняли,
Надо, чтобы мы сравняли
Их с землею.

И союзы, лавки, кассы,
Общие читальни, школы —
Это гнезда всё крамолы
Без прикрасы.

Под законом нет им места,
Отдадим их катам в руки,
Дать им надо манифесты
Пыток, муки!

Или сгинем по-бедняцки,
Или сильными руками
Выбьем дух их гайдамацкий
Канчуками.

Прочь права! Оставим речи
Об иных каких-то эрах,—
Надо бунт лечить картечью,
Манлихером.

Грабли им нужны — не шпага,
Подати, а не тетрадка,
Им в труде — не в книгах благо,
Суть порядка.

Надо им молиться богу
О картошке, хлебе, соли,
Им в трактир да в храм дорога
И не боле.

Вот в чем суть: пожрут драконы
Нас, коль крепкими руками
Не удержим те законы.
Dixi. Amen!»¹

Оркестра гром. Аплодисментов звуки.
Паны столпились, графа поздравляют,
Усердно графу пожимают руки,

Лишь губки дамы, чванясь, поджигают
За веерами. Слышится: «Fi donc!»²
О, как грубы мужчины все бывают!

Как речь дерзка, как неприличен тон!»
Тут всплеск звонка раздался серебристый,
То князь дал знак, и слово взял барон.

Вскочил он с места, как кузнечик, быстро,
Грудь выпятив (он прозван втихомолку
Барончиком за облик неказистый),

Вертляв, как кукла, говорлив без толку,
Прослыл он меж панами либералом
(Недаром дед его носил ермолку).

¹ Я сказал. Аминь (лат.) — *Ред.*

² Стыдно (франц.) — *Ред.*

Он в речи был как конь, что, мчась путями,
То ржет, то фыркнет, то копытом грянет
Тут пафосом, там общими словами.

Вертляв, как уж, когда на хвост кто встанет.

VII

«Еще Монтескье говорил, что народ
Любой по такому закону живет,
Какой по заслугам имеет.
И правильно Милль, господа, утверждал,
Что только высокий, большой идеал
Поднять тех, кто пали, сумеет.

Мы нынче в упадке тяжелом, двойном.
Никто нас не любит, и нет нам ни в ком
Опоры в минуты невзгоды.
Державы своей не имеем давно,
Осталось от предков наследство одно —
Под нашей рукою народы.

Остались незыблемой унии той
Заветные узы любви святой,
Союз, утвержденный сердцами,
Та сумма симпатий всех кровных племен,
Что нам укрепляла с далеких времен
Господство отцов над сынами.

И должен я в спиче, паны, подчеркнуть,
Что плуг, а не меч — вот правления суть,
Культурности, а не разбоя,
Мы не для захвата в край этот пришли,
А в жертву себя мы ему принесли,
Его защищали собою.

Мы светоч прогресса в той варварской тьме.
Что гнулся народ раньше в панском ярме.
То нужным, естественным было.
Мы, светоч прогресса храня, в свой черед
Порядку, труду обучали народ,
Обрел он моральные силы.

Вот это и есть, господа, наш завет,
Которым живем уже тысячу лет,
Нельзя, чтобы он позабылся.
Печально, что раб взбунтовался, но нам
Не мстить ему надо, а сделать, чтоб сам
Он вновь добровольно смирился.

То благо, что бунт мы могли сокрушить,
Но дело должны до конца завершить,
И этому время настало.
Свершим, чтоб свой гнев укротил наш народ,
Чтоб видела чернь в нас природных господ,
Любила бы нас, уважала.

Кнуты и темницы, лишение прав,
Гнет, цепи и всё, что советовал граф,—
Теперь всё анахронистично
И всё ненадежно, грозит лишь скандал:
Что скажет Европа? Сочтет трибунал
Истории это приличным?

Я к вам обращаюсь не с фразой пустой,—
Должна ведь для нас оставаться святой
Традиция нашего рода.
Как могут совпасть кнут, жандармы, рабы
С девизом тем пламенным нашей борьбы:
«За нашу и вашу свободу»?

Настал органичной работы черед,—
Пусть шляхты былой навсегда отомрет
Натуры ленивой безделье.
Политику так мы должны проводить,
Чтоб землю и сердце народа добыть,
To chłopstwo uobywatelić.¹

Теперь и в имениях, и в деревнях,
На бирже и в кассах, в союзах, в полях
Придется вдвойне нам трудиться.
И в мыслях своих уж я вижу сейчас,
Как зреют плоды благодатной для нас
Политики инвестиций.

¹ Сделать из мужиков граждан (польск.).— *Ред.*

Кончаю. Так будь же ты, слово мое,
Набатов, что ночью заснуть не дает,
И тучи развей грозовые,
Недавние страхи рассеять сумей,
Чтоб шоры пристрастия пали с очей,
Исчезли виденья былые.

А то, что решите вы, так же и я
Решу, хоть душа, сокрушаясь, моя
В том видела горестей бездну.
И я акцентирую в речи своей:
О всем вы пекитесь, но прежде о ней,
О нашей отчизне любезной!»

Оркестра гром. Но рукоплещут мало.
Паны кривятся. В ассамблее той
Быть как-то неуместно либералом.

Барон умолк, на стул уселся свой,
Вспотел, измучен, раскраснелся,— прямо
Как будто был он проведен сквозь строй.

Князь позвонил, и шум затих упрямый,
И речь держать поднялся генерал,
В боях познавший честь и горечь срама,

Рубака старый. Боевой сигнал
Ему как для коня лихого шпоры,
Но он стратегии ни в зуб не знал —

Служили меч да бог ему опорой,
Страх смерти для него был звук пустой,
«Честь или смерть — вот путь простой и скорый!» —

Его девиз. Дорогою крутой
К победам шел, им отдавая силы,
Лукавство дипломатов всей душой

Он ненавидел. Лишь сраженье было
Ему как праздник, он в бою одном
Видал и жизни, и людей мерило.

Начал, прополоскавши рот вином:

VIII

«Когда при Саламине победили,
То стали думать сыновья Эллады:
Кого заслуги больше пред отчизной,
Кто всех достойней высшей был награды.

И по большому мудрому раздумью
Решили: каждый так боролся смело,
Таким горел огнем патриотичным,
Так общее вершил всем сердцем дело,

Что никому награды наивысшей
Народ отдать не может, не желает,
Коль той награды первой справедливой
Себя любой достойнейшим считает.

Вот так и в нашем том бою последнем,
Когда враг грозно снова бил и снова
Не в армию, не в башни и не в стены —
В существованья нашего основы,

Когда казалось, что на нас восстали
Не только люди, но и всё в природе:
Земля, и ветер, и вода, и скалы,
Что уж конец последний нам приходит,---

В сраженьи том так твердо мы стояли,
Связав с душою ум одним порывом,
Что дать кому-то одному награду
И невозможно, и несправедливо.

Пусть каждый сам возьмет себе такую,
Какой достоин пред самим собою.
Другую же награду отдадим мы
Тому, кто мертвым пал на поле боя.

На третью же награду кандидатов
Двоих назвать могу панам вельможным,
Заслуги их нам хорошо известны,
Решим, кого же наградить возможно.

Один в миг наивысшего смятенья,
Когда топор блестел уже над нами
И виделось — уже спасенья нет нам,
Нас вызволил лукавыми словами.

Не воинскою хитростью, не жаром
Души поднял на подвиг он смятенных,
Он сердце напоил врага отравой,
Его вовлек в предательство, измену.

Ведь правда, враг наш кое-как разгромлен,
Нас так иль сяк минула гибель злая,
И я считаю, что гнилой победе
Награда также следует гнилая».

Шум меж панами. Вытянулись лица.
Князь подскочил, как голый из крапивы,
Но генерал того как бы не видел,
И дальше речь он вел медоточиво.

«Другой же кандидат — тот, кто недавно
Нас вражескою силой без пощады
Топтал, и бил, и гнал перед собою
В железную без выхода ограду.

Тот самый, кто уже теснил нас в пропасть,
Но изменил в последний миг решенье,
К нам перешел, врагов нам выдал планы
И, словно шамир, нам принес спасенье,

Как камень тот чудесный, что стальные
И все иные сокрушает стены,
Дал силу духа, укрепил нам руку
И вывел нас из гибели и плена.

Плебей воздвиг триумф аристократов
На трупах братьев, шедших с ним в сраженье,
Укоры совести он залил кровью
Неслыханного самоотреченья.

Я в планы не вхожу его. Пусть судит
Их бог. Его же велико, ужасно дело,

Оно меня гнетет своим размером,
Ему награду присуждаю смело».

Рукоплесканий гром и крики «браво».
Все поднялись. И с чарою большою
В руке своей, хоть бледный, но спокойный,
Встал генерал тогда передо мною.

«Ну, пан Мирон! — сказал. — Вы наш спаситель,
За это слава вам от нас и чара,
Но подождать прошу, — от сердца слово
Рубака скажет вам, тупой и старый.

Вы демократ, плебей, и неуклонно
По долгу принимали вы решенья.
Вы подняли на нас народ восставший,
Я, как к врагу, питал к вам уваженье.

Но как предать свое решили дело
И к тем пришли, кто хоть и принимает
Услугу вашу, но для вас чужие
И равным никогда вас не признают, —

Тогда вы для меня, как звук аккорда
Нестройного, исчезли во мгновенье.
Вы принесли нам пользу, но питаем
Мы к вам одно глубокое презренье!

Не верьте комплинтам и улыбкам,
Для нас вы враг, предатель и простак.
Не ждите, я не протяну вам руку,
А за здоровье ваше пью вот так!»

И, размахнувшись, чару со всей силы
Он под ноги мне бросил; звякнув раз,
На тысячи кусков она разбилась,
Вино ж, как кровь, обрызгало всех нас.

Тишь мертвая. Никто из бывших там
Не ждал такого, видимо, финала.
Тревожно «ах!» послышалось меж дам,

И музыкантам не дал князь сигнала,
Забыл. И каждый голову нагнул
Пониже в ожидании скандала.

Лишь я спокойным был: перун сверкнул,
Ударил. Так чего ж еще бояться?
Безмерный холод сердце полоснул

Ножом. «Ты предал, предал нас!» — клубятся
Слова во мне, а может быть, вокруг.
Уста ж бесстыдно стали улыбаться.

Тогда шепнул князь одному из слуг,
Тот подбежал ко мне и обратился:
«Пан что-нибудь промолвить хочет вслух?»

Услышав то, я князю поклонился.
Он позвонил: «Речь держит, господа,
Наш гость». И каждый здесь насторожился,

И вновь настала тишина тогда.

IX

И начал я: «Мой генерал почтенный,
Позволь, чтоб я тебе сказал два слова.
Твоя десница, может, из железа,
Но разум твой, прости меня, дубовый.

Награды от тебя иль порицанья
Не жду и твоего суда не стою.
А то, что говорил ты, подтверждает,
Как мало ты еще знаком со мною.

Поступок мой, своей измерив меркой,
Твердишь: «Предатель! Это всякий знает».
Вот так слепой, слона потрогав ноги,
Слона столбу подобным объявляет.

За это я тебя не упрекаю,
Ты молвил то, что все сказать могли бы

И лишь скрывают, ты их откровенней,
Не прядеш дум, за это и спасибо.

Но также здесь не одному тебе лишь,
Коль вынужден поведать я такое,
То этому собранью, всему свету
Правдиво душу я свою открою.

(От этих слов смягчилось напряженье,
И те, кто раньше головы пригнули,
Теперь опять повеселели взором
И с любопытством на меня взглянули.)

Сказал, что я плебей, наш генерал,
Что предал я восставший плебс богатым,
Что на костях мужицких я помог
Владычество создать аристократам.

А это правда? Чем же я плебей,
Тем, что родился в низкой темной хате?
Ужель и князь не мог родиться там?
Родятся ведь плебеи и в палате!

Плебейское что есть в моем лице?
В моих поступках, чувствах, мыслях, слове?
Нет, отродясь я враг плебейству, рад
Его разрушить самые основы.

От первых лет, как я обрел сознание,
С плебейством всем без устали воюю.
И я плебей? Нет, я аристократ,
Таким родился и таким умру я.

Ведь я из тех, кто гнуться не привык,
В глаза как жизни, так и смерти смело
Глядит, и любит бой, и в бой идет
Без всяких пышных фраз во имя дела.

Из тех, кто люд ведет, как столп огнистый
Израиль вел из плена фараона,
Кто власть и цель великую имеет,
Кому и жизнь и смерть равно — законы.

(Тут кое-кто из слушавших с улыбкой
Рот искривил напыщенно и гордо
И словно по сердцу меня ударил,
Но я еще держусь спокойно, твердо.)

Да, это я народ на бунт поднял,
Чтоб он из вашей вырвался неволи,
Чтоб разогнать его тяжелый сон,
Чтоб для себя свою нашел он долю.

Я вел его, как скот ведет пастух,
В трудах, в огне, опасностях и сечах,
Чтоб всё его плебейское исчезло,
Чтоб закалить тех рыцарей запечных.

Уже была близка моя победа,
Но понял я, что то победа масс,
Жестоких сил, невежества, плебейства.
Так победить мне не хотелось вас.

Я понял, что победою такую
Свое бы дело завершить не смог,
Так я врага бы посадил на троне,
Так сам бы дом я собственный поджег.

Я видел, как те рыцари без страха,
Что гибли, как орлы, в огне борьбы,
В душе своей неблагодарной, темной
Всё те же были, как и встарь, рабы.

Я видел — искру некую им надо,
Чтоб души их разжечь и запалить,
Чтоб уголь их в алмазы превратился,—
С такими только мог я победить.

Побед дешевых я отверг приманку
И разломал непрочный этот меч,
Ведь лучше, чем плебейская победа,
Героями им в битве было лечь!

(Смеялись дамы. Кое-где паны
Улыбкой кислою, всей миною своею

Сказать хотели: «Ладно, ладно, ври!»
Что ж, я на этот раз ударю посильнее!

Хотел я погубить народа дело,
Чтоб ваша власть усилилась с тех пор?
Ужель так слепы вы, что ваш же разум
Вам не кричит: да это ложь и вздор?

Чего ж нам не хватало для победы?
Могучих рук? Народ имел их тьму!
Стремлений высших мало было, веры?
И это, господа, я дал ему!

Все те, кто пали в той последней битве,
Чем были бы в другой, спокойный час?
Рабы, волю, что прожили бы век свой,
Влача ярмо, работая на вас.

Теперь они погибли, как герои,
И мучеников приняли венец.
Их смерть разбудит жизнь в народе нашем,
Борьбы начало в ней, а не конец!

Как мучеников стал их чтить народ,
Он в них пример для жертв грядущих взял,
Их смерть лицо изменит поколений,
Бессмертную даст силу — идеал.

А вы? Что вам дала победа эта?
Вас укрепила? Нет! Лишь цепи укрепила,
И памятна она для вас лишь тем,
Что вероломство вам ее добыло.

Для вас она — заплесневевший хлеб,
Гнилье! Вам дальше гнить осталось с нею.
Вам сил я не дал, я замкнул вас в склеп,
Ведь я аристократ, а вы плебеи!

Что ж, стискивайте в злобе кулаки!
Я говорю вам гордо и без страха:
Вас ненавижу, всех вас презираю,
Плебеи вы, хотя вы и во фраках!

Вы паразиты с дряблой сердцевиной,
Нетрудовые, грабящие руки,
Вы, у кого из всех примет звериных
Остались только хитрости гадюки!»

Тут гам и крик свирепый заглушил
Мои слова. Все с мест своих сорвались,
Расправиться со мною всяк спешил,

Паны за сабли, мне грозя, хватались.
Кричали: «Замолчать! Руби! Долой!»
Укрыться дамы за мужчин старались.

Не дрогнул я пред грозною толпой.

Х

Вдруг гулкий звон раздался. Бам! Бам! Бам!
Двенадцать бьет. Часов ли это звуки?
Бам! Бам! Бам! Бам! Гремит и тут и там,

Как будто колокольни по округе
Ревут. Бам! Бам! Всё громче, всё сильней,
Как бури натиск, как рыданье вьюги.

О, страшный звон. А бронза всё звончей
Гудит, и звуков вырастает сила,
Бьет в сердце острой жалобой своей.

Бам! Бам! То, может быть, заголосила
Сама земля и в ужасе дрожит,
И вся она — разрытая могила.

А голос крепнет, небу он грозит.
Нет, небо отозвалось гулким звоном,
А великан по небу всё стучит.

Бам! Бам! Гремит грозой, проклятьем, стоном,
И ко́су смерть костлявою рукой
Берет, чтоб жизнь скдсить одним разгоном.

И в зале каждый в той толпе большой
Окаменел. И по-иному литься
Стал яркий свет. Вот красною струей

Он хлынул, как кровавая криница,
Вот пожелтел, и в желтом блеске том
Вид трупов разом приняли все лица.

Вот свет стал синим, и тяжелый гром —
Небес ли, ада — грянув, основанье
Земли потряс, и покачнулся дом.

Лиловым света сделалось сиянье,
Потом зеленым. И в его огне
Все стали словно тени на экране,

Сквозь них всё было видно на стене.
Лишь князь сидел, цинично улыбался
И знак давал какой-то взглядом мне.

И глаз его так вдруг я испугался,
Что вздрогнул, как ужаленный. Где я?
Зачем я тут? Куда же я забрался?

На свет, на свет! И вся душа моя
Кричит: «На свет!» И пусть земли основы
Ломаются. Пусть адская змея

Грозится жалом мне. Пускай оковы
Там ждут меня. Отсюда надо прочь!
От мертвецов, что не воскреснут снова.

И к свету звезд бегу из зала в ночь.

XI

Ночь ясна. Не слышно грома. Спит глубоким сном земля.
В небе чистом месяц пролил свет лиловый на поля.
Тихо. Звон лишь колокольный слышен по лугам кругом.
Улица длинна, безлюдна. Путь усеян серебром.

Вдаль куда-то путь уходит, вдаль уходит путь стрелой.
Ряд домов высоких спрятан в тень, а ряд домов другой
Непрерывною фалангой, сотнями своих окон
Смотрит на землю тревожно, похороны видит он.

Войско в два ряда проходит, стяги опустив свои.
Кровью залиты мундиры, и оружие в крови.
Полковой оркестр шагает. Трубы медные блестят,
Только музыки не слышно, хоть, видать, играть хотят.
Дальше кони. В такт оркестру землю бьют ряды копыт,
Но ни стука и ни ржання, и команда не звучит.
Дальше в копоти сражений пушки грозные идут,
Но идут совсем неслышно, тени так не проплывут.

А за ними вновь пехота, снова конница, как дым.
Вновь оркестр, и генералы, и священник. Вслед за ним
Четверо коней беззвучно, медленно дорогой той
Черный, словно мгла ночная, тянут катафалк большой.
Нет венков на нем, укрыт он лишь знаменами кругом,
И безмолвный, как могила, сверху черный гроб на нем.
Гроб весь черный, лишь по краю блеск струится золотой,
Обруч кованый на крышке — искры жизни прожитой.

Матери, жены иль сына — никого за гробом нет,
Не идут за катафалком, не рыдают горько вслед.
Но идет толпа большая, и конца ей не видать,
Эти в горе рвут одежду, те начнут сейчас рыдать.
До крови терзают лица и ломают пальцы рук,
Но ни плача, ни рыданья. Тишина одна вокруг,
Словно мгла плывет лугами, иль над омутом волна.
Колокольный звон всё слышен. Смотрит в звездах
вышина.

И о мертвом том безвестном скорбь почувствовал
я тут,—
Столько там людей, горюя, тихо вслед за ним идут.
Я почувствовал, что близок той толпе, ее слезам,
Что к тем похоронам должен я примкнуть сейчас же сам.
Я почувствовал, что горе сжало сердце, давит грудь,
Словно в похоронах этих я виновен чем-нибудь.

Кто умерший? Но боялся я о том людей спросить,
Чтобы, тишину разрушив, грех великий не свершить.
Как змея, вопрос тревожный жалил сердце мне опять:
Кто умерший тот, кого же толпы вышли провожать?

Кто те люди, что, сдается, сотни тысяч их идут,
Но ни гомона, ни крика — ничего не слышно тут?
Им смотрю напрасно в лица, чем-то мне знаком любой,
Но черты у всех прикрыты будто легкой кисеей.
У одних подняты веки, но без жизни тусклый взгляд,
У других они сомкнулись, словно бы идут и спят.
Траурный кортеж проходит тихо-тихо, словно мгла;
Улица, глуха, безлюдна, протянулась, как стрела.

Два ряда домов вплотную встали гвардией немой,
И, сдается, нет им краю и конца дороге той.
Кто умерший? Острой болью сердце жжет вопрос опять.
Кто умерший? У соседа я отважился узнать.
Не подняв лица и взора не открыв, ответил он
Голосом глухим и тихо: «Звать умершего Мирон».

Кто Мирон тот? Он откуда? Всё я расспросить готов,
Почему ж похолодело сердце вдруг от этих слов?
Отчего бледнеют губы и ни слова не сказать?
Или рот уже закрыла мне смертельная печать?
Снова взгляд я поднимаю. Вот и улицы конец.
Арка черная большая. Огненный на ней венец.
Под венцом зловещим этим букв горящих череда:
«Кто сюда вошел, надежду пусть оставит навсегда!»

ХИ

Кресты, кресты, кресты в венках терновых
Без надписей, лишь пламя, что горит
На каждом гробе,— знак: в досках дубовых

Там чье-то сердце пламенное спит.
Кресты, огни широкими рядами,
И, где последний ряд крестов стоит,

Приблизившись к глубокой новой яме,
Остановился катафалк. Весь люд
Встал рядом с гробом плотными кругами,

И по умершем все рыдали тут.
Вот с катафалка люди гроб снимают
И у могилы на землю кладут.

Вперед один из войска выступает
На холм, чтоб было всем его видать,
И тихо он чело свое склоняет:

«Позволят ли паны мне речь держать?»
И, как от ветра колоски на поле,
Толпа качнулась: «Можешь начинать!»

«Товарища в борьбе за нашу долю,
Бойца, что был вождем умелым нам,
И сеятеля лучшей нашей доли,

Строителя, что будущего храм
Прекрасный заложил,— хороним ныне.
Как жил, что сделал,— ведомо всем вам.

Скорблю я о безвременной кончине. . .»
Внизу возвысил резко голос поп:
«Безвременной? А по какой причине?

Не окроплю самоубийце гроб!»
— «Он не самоубийца, нет, героя
В час горький подкосили, словно сноп.

Он поражен предательской рукою,
Той, что и мы, повержен не мечом,
А словом, что гордыней дышит злою».

Тут всё слилось в рыдании одном,
И молвил говоривший у могилы:
«Прощай же, брат наш, ты своим плечом

Нас защищал, когда нас буря била,
Твой разум путь нам освещал средь тьмы,
И твой пример в труде давал нам силы.

И вот здесь без тебя остались мы.
Прими ж обряд последний целованья,
Последний цвет разлуки и зимы».

Вновь раздалось великое рыданье,
Коснулся кто-то крышки гробовой,
Ее открыл, и началось прощанье.

Шли к мертвому старик и молодой,
Они устами мертвых уст касались
И кланялись потом земле сырой.

«Что, все уж с нашим братом попрощались?» —
Спросил державший речь. «Все, все!» — кругом
Вскричали. «Нет! — другие отозвались, —

Не все! Один остался. За крестом
Он там стоит, его укрытый тенью,
И взор его земным наполнен злом».

А я дрожал, в отчаяньи, смятеньи,
Что должен мертвеца поцеловать,
Что жертвой пал чьего-то преступленья,

От чьих-то рук. Тут начали кричать:
«Иди, иди! Прощайся с нашим другом,
Ты должен здесь, у гроба, рядом статьи!»

На этот крик я с трепетом испуга
Без сил, без воли, словно неживой,
Прошел и встал среди людского круга.

Взглянул на гроб — оледенел душой,
Взор помутил мне ужас без предела
И волосы поднял над головой.

В гробу был я! Да, я лицом, всем телом.
Всё было там мое, мое совсем...
И всё тогда во мне окаменело.

«Целуй, целуй!» — кричит народ, как гром.
Но не шагнул я, ужасом разбитый,
А на колени пал при гробе том.

«Целуй, целуй! — ревет народ сердитый.—
Поднять его и к трупу привести. . .»
И у могилы пал я, как убитый.

«Целуй!» Но не успел я поднести
Уст побледневших к телу, как струею
Из уст его кровь начала идти.

«Убийца!» — поп воскликнул надо мною,
«Убийца!» — крикнул тот, кто речь держал,
«Убийца!» — вопль взметнулся над толпою.

«С ним суд у нас короткий! — тут сказал
Державший речь.— И он пойдет в могилу,
Да так, чтоб на убийце труп лежал!»

— «Да будет так! Тащите его силой.
Труп на него клади,— толпа ревет.—
Сыпь землю, чтоб убийцу задушило!»

Хоть был я жив, и темный небосвод
Еще я видел, звезды мне сверкали
И слышал я, как яблоня цветет,—

Но был я мертв. Надежды угасали,
И волю жить сменило забытье.
Последние мгновения настали!

Пространство, время, чувства, всё мое
Померкло. Мрак сдавил меня бездонный.
Шум комьев глины. Тишь. Небытие.

Я поглощен его волной студеной.

ЭПИЛОГ

Друзья меня нашли в горячке тяжелой
На кладбище под утро. Весь застыл
Я там. Ведь был в одной рубашке.

В себя я три недели приходил
От той болезни злой, когда часами
В бреду был я. Почти уж мертвым был.

«Какими же блуждаешь ты путями?
Зачем же ты на кладбище полез
И кто в сорочке странствует ночами?» —

Друзья мне говорили. Что за бес?
Как? Для чего? Не помнил я сначала.
Но после забытья туман исчез,

Окрепнув, память снова воскрешала
Передо мной виденья ночи той.
Припомнил я, с чего вдруг страшно стало.

В ту ночь я с тяжелой думою одной
Сидел, и сердце мучила тревога,
И важный встал вопрос передо мной:

Верна иль неверна у нас дорога?
И сможем ли трудом поднять народ,
Иль он калеккой, нищенкой убогой

Так до конца весь путь свой и пройдет?
Зачем средь нас отступники бывают,
Их почему измена не гнетет?

Чего ж их стяг родной не привлекает?
Иль на своем трудиться поле — стыд,
А в найме у чужих стыда не знают?

И почему в родных полях царит
Всегда вражда, разлад и спесь пустая?
И служба тем, кто нас топтать велит?

И рой тех дум, как будто мгла густая,
Налег на душу, в ней покоя ждал,
Но не несла покоя тишь ночная.

А с неба месяц мне в окно взирал
И, усмехаясь тихо, белолицый,
Меня своим лучом околдовал.

«Иди за мной, и, может, в веренице
Чудесных снов найдешь ты что-нибудь.
Так окунись же в забытья криницу.

И не дивись, ступив на этот путь,
Ни ужасам, ни чарам, ни виденьям.
Моя лишь форма, а твоя вся суть».

Хотел иль не хотел я в те мгновенья
Ему внимать, но тот дурман всё рос,
И погрузился тут же я в забвенья.

Что видел там, всё это в дар принес.
Не сетуйте, что не дал вам иное,
Получше. Все еще мы в царстве грез.

Мы все здесь — племя сонное, больное
И маловеры. Искушений рой
Таких идет к нам с маемой дневною.

Примите дар. В нем, кроме тяжелой той
Душевной боли, дум моих, сомнений,
Всё сказка, всё мечта ночной порой,

Все эти муки лютые, сраженья,
И кровь, и блеск, что затмевал мне очи,
И речи те, и духи — всё виденья,

Всё это колдовство той лунной ночи.

ИВАН ВИШЕНСКИЙ

Посвящаю А. Крымскому

I

Пирамидою зеленой
На волнисто-синем фоне,
Исполинским изумрудом
На равнине синевы,—

Над прекрасным южным морем,
Под спокойным теплым небом
Дремлет, пышно зеленея,
В тихом сне гора Афон.

Дремлет ли? Ведь мать-природа
С неустанною заботой
Наряжает, забавляет
Дочь любимую свою.

Там, внизу, из волн шумливых
Величавые утесы
Гордо устремились к небу —
Стены, портики, столпы;

Там, внизу, оркестр могучий
Ни на миг не умолкает,
Плещут волны о камень,
Пена брызжет серебром.

А сверху — крутые склоны,
Сплошь поросшие лесами,

Что-то шепчут неустанно,
Без начала, без конца.

Но гора затихла в дреме;
День и ночь плывет над нею
Как бы розовая дымка,—
Нет ни звука. Тишина.

Хоть повсюду вдоль ущелий
Узкие ползут тропинки,
Но ни голосов, ни смеха
На тропинках не слышать.

Хоть рассыпаны повсюду
По лесам, обрывам, скалам,
По нагорным луговинам
Поселения людей,—

Но глубокое молчанье
Залегло в селеньях этих,
И торжественным молчаньем
Запечатаны уста.

Тишина, покой, молчанье,
Строгие, худые лица,
Одноцветные одежды,
Непоспешные шаги.

Лишь три раза в день по склонам
Колокольный звон несется,
Будто где-то над горами
Лебединый дальний крик.

В скорбном плаче колокольном
Как бы скрыта укоризна
Хмурым людям, умертвившим
Благодатный этот край

И гнездо высоких мыслей,
Школу мужества и силы,
Взлет орлиный превратившим
В черную тюрьму души.

II

В воскресенье по вечерне
Зазвонили на Афоне;
Подад голос Прот великий,
Отозвался Ватопед.

Дальше звякнул Эсфигмену,
Загудел Ксеропотаму,
Там Зографу, после — Павлю,
Раззвучался Иверон.

Покатились по отрогам
Скорбные рыдания меди,
И ответствуют утесы,
И ущелья, и скиты.

И ответствуют им вздохи,
Крестятся худые руки,
Тихий шепот отвечает:
«Со святыми упокой!»

Этот скорбный голос меди —
Знак прощанья с жизнью бренной —
Никого здесь не тревожит:
Это будничная весть.

Скитник ли в скиту скончался
Так, как жил, — один, безмолвный,
И узнали о кончине
Только через много дней —

По тому, что не пришел он
К монастырскому подворью,
Не принес своей работы,
Пригоршни бобов не взял?

Или инок в тесной келье
Умер над святою книгой,
Киноварью и лазурью
Украшая письма?

Или послушник скончался —
В грешном мире князь и воин —
Здесь же, в кухне монастырской,
Скромный служба с давних пор?

Или иерарх скончался,
Настоятель ли, игумен —
Всем почет здесь одинаков:
«Со святыми упокой!»

Или кто-то из живущих,
Кто-то путь свой завершает,
Мир привольный покидает,
Чтоб в пещере смерти ждать?

Глянь, вон там — в стене гранитной,
В крутизне скалы, нависшей
Над неистовым прибором,—
Ласточек ли гнезда там?

Нет, там выдолблены норы,
Недоступные, глухие,
Выбиты в горах пещеры,
Словно птиц морских приют.

Это норы для аскетов,
Здесь свершают путь последний,
Здесь находят, без возврата,
В вечность узкие врата.

Кто изведал послушанье,
Строгий йскус монастырский
И тяжелый, молчаливый
Труд в таинственном скиту,

Кто стремится здесь закончить
Строгий подвиг аскетизма,
В одиночестве, в молчаньи
Внемля голосу души,

Кто порвал все связи с миром,
Поборол соблазны плоти,

Кто почувствовал желанье
В очи вечности взглянуть,—

Тот, с соизволенья старших,
Ищет для себя пещеру,
Ищет для себя могилу,
Из которой нет пути.

И тогда рыдают звоны,
И в стенах Афона древних
Шепчут чернецы чуть слышно:
«Со святыми упокой!»

III

В воскресенье по вечерне
Зазвонили на Афоне:
Подал голос Прот великий,
Отозвался Ватопед.

После звякнул Эсфигмену,
Загудел Ксеропотаму,
Там Зографу, после — Павлю,
Раззвучался Иверон.

Покатились по отрогам
Скорбные рыданья меди,
И ответственуют утесы,
И ущелья, и скиты.

Звон затих, но отголоски
Долго в воздухе звучали,
И в монастыре Зографу
Петли скрипнули ворот.

Раскрываются ворота;
С монастырского подворья
С монотонным, тихим пеньем
Выступает крестный ход.

Веют рдяные хоругви,
Будто отсветы пожара;

Деревянный крест с Распятием
Тихо впереди плывет.

Бородатые монахи
В ярко рдеющих фелонях,
А за ними вслед — монахи
В власяницах, босиком.

Посреди согбенный старец,
Сморщенный, седебородый,
В самотканой власянице,
Крест березовый несет.

Крест из двух кусков березы,
А от моря ветер веет,
Борода седая старца
Разметалась по кресту.

И плывет усталый голос
В лад с напевом монотонным,
Повторяющим уныло:
«Со святыми упокой!»

По тропе крутой, змеистой.
Крестный ход идет всё дальше,
Лугом, лесом — прямо к морю,
А оно шумит вдали.

Над цветеньем рощ несутся
Похоронные напевы,
Над пахучими лугами
Стелется кадильный дым.

Вот остановились люди
У отвесного обрыва,
Над бездонной глубиной,
Ужасающей сердца.

Как твердыня из гранита,
Голая скала отвесно
Поднялась из бездны моря
В голубую вышину.

Глянуть сверху — челн на море,
Колыхаемый волнами,
Кажется как белый лебедь
На безбрежной синеве.

Глянуть снизу — эти люди
У отвесного обрыва
Кажутся овечьим стадом,
Что пасется на скале.

Снизу виден в той твердыне
Черный четырехугольник —
Исполинскую печатью
В половине высоты.

Это виден вход в пещеру,
Вход в могилу для живого,
Высеченную когда-то
И неведомо зачем.

Не пробраться в ту пещеру
Ни ползком, ни по ступеням,
Можно только на канате,
Точно птица, долететь.

На краю скалы приметен
След, протертый здесь канатом,
Как неложная примета,
Что внизу — в пещеру вход.

Тут остановились люди,
Стали править панихиду...
Где же тот, кого хоронят?
Где блаженный тот аскет?

IV

Отслужили панихиду,
И последнюю молитву,
Преклонив колени, шепчут
Схимники и чернецы.

И встает игумен первым,
И встают за ним другие,
Тишина вокруг настала,
Только моря слышен гул.

И тогда, возвысив голос,
Говорит игумен старцу,
Посреди толпы монахов
Предстоящему с крестом.

Игумен

Старец Иоанн, пред богом,
Перед солнцем лучезарным
И перед крестом господним
Заклинаю я тебя!

Отвечай чистосердечно:
По своей ли доброй воле
И по зрелому решению
Ты идешь в пещеру?

Старец

Да.

Игумен

Отрешился ли ты сердцем
От греховных помышлений,
От соблазнов брэнной жизни,
От друзей и от родных?

Отрешился ли навеки
От всего, что дух уводит
Прочь с единственной дороги
К вечному покою?

Старец

Да.

Игумен

Взвесил ли умом всё бремя
Испытания, все муки

Одиночества в пещере,
Искушений маету?

Взвесил ли умом всю горечь
Бесполезных сожалений,
Яд раскаянья, готовый
Отравить твой подвиг?

Старец .
Да.

Игумен
Восхвали же имя бога!
Он внушил тебе сей подвиг,
Пусть же бог тебе поможет
До конца пройти сей путь!

До сих пор между живыми
Был ты — Иоанн Вишенский;
Но отныне это имя
Вычеркнуто на земле.

Так ступай своей дорогой!
Крест, какой в ладонях держишь,
Вот тебе наш дар единый,
И не надобно иных.

Пропитание, какое
Телу твоему потребно,
Брат ключарь еженедельно
Будет опускать тебе.

Так прощай! И в знак прощанья
Поцелуй прими последний.
Да сподобит нас всевышний
Вскоре отойти к нему!

Целовал игумен старца,
Прочие монахи тихо
Руки старца лобызали
И его одежд края.

После двое самых младших,
Преклонившись, обвязали

Старца, и концы каната
Крепко стиснули в руках.

И перекрестился старец,
Подошел к обрыву смело,
Сел и начал опускаться
В ужасающую глубь.

Ветер буйно дул от моря,
Бороду седую старца
Развевал, и он, прижавши
Крест к груди, ушел из глаз.

V

«Здравствуй, мирная обитель,
Пристань тихая, благая,
О которой непрестанно
Тосковал я с давних пор!

Камень, ставший мне оградой,—
Знамя веры необорной,
Мой приют, мое жилище,
Изголовье и покров.

Крест вот этот — мой товарищ,
Спутник мой в годину скорби,
Оборона от соблазна
И опора в смертный час.

Небо синее, порою
Видное в раствор пещеры,—
Светлая моя надежда
Отойти в небесный путь.

Солнце ясное, в пещеру
Сыплющее при восходе
Пламя — золото и пурпур,—
Лучезарный божий дух:

Он в блаженные минуты
Грешный разум человека

Всеми радостями рая
Одаряет без конца.

Море ж синее, беспечно
Искрящееся на солнце,
Но ревущее сердито
Здесь внизу, у грозных скал,—

Это образ нашей жизни,
Привлекательный и ясный,
Если глянуть издалека,—
Мрачный, яростный вблизи.

Вот мой мир. Что было бренно —
Всё исчезло. Стихли крики,
Голоса житейской битвы
До меня здесь не дойдут.

Всё исчезло — все тревоги,
Все заботы, все волненья,
Всё, что душу отвращает
От возвышенных путей.

Остается лишь величье
Постоянства и покоя —
О великом лишь и вечном
Помышляй, душа моя».

Так наедине с собою
Говорил в пещере старец —
Тот, кого Вишёнским звали,
Кто отныне мертв для всех.

Говорил он не устами —
Издавна уже устами
Говорить он разучился,
Внемля голосу души.

И в углу своей пещеры
Сел на камень он, плечами
Оперся о свод холодный,
Тихо голову склонил.

Голова его большая
На иссохшей, длинной шее
Наклонялась мимовольно,
Как тяжелый, спелый плод.

Бородой о грудь опершись,
Вдаль глядел он неподвижно
И сидел так долго, долго,
Как бы погруженный в сон.

Поначалу всё, казалось,
Смерклось перед ним, и дрожью
Сотряслось худое тело,
Помутилась мысль его.

А потом, теплом повеяв,
Разливая в теле сладость,
Что-то нежно и щекотно
Прикоснулось вдруг к нему.

На мгновенье — мать мелькнула:
Да, вот так, в далеком детстве,
Мать, лаская, щекотала
Сына, и смеялся он!

Слухом после ощутил он:
Словно нити из алмазов,
Звук протяжный вдруг возникнул —
Ласковый и светлый звук!

И, как мотылек к лампаде,
Так душа стремится к звуку,
И всё больше, больше звуков,
Всё стремительней они.

Вот слились они рекою
В гармонических аккордах —
Кажется, в аккордах этих
Слиты небо и земля.

И плывет душа аскета
В гармоническом потоке,

Точно лебедь, колыхаясь
По волнам — то вверх, то вниз.

Между небом и землею
Вверх и вниз душа аскета,
Колыхаема, несется
Всё свободней, всё быстрее!

И поток гармоний этих
Светится, цвета меняя:
То лиловый, то лазурный,
То пурпурно-рдяный цвет.

Вот из этих волн пурпурных
Брызнул пламень золотистый,
Огненный вулкан взметнулся,
Реки света пролились.

Разлилось сплошное море
Света ясно-золотого,
Изумрудно-золотого,
Ярко-белого, как снег.

Бьют каскады световые,
Исполинские колеса,
Радужным огнем играя,
Катятся по небесам.

И незримою рукою
Ткутся огненные ленты,
Ткутся мириады звуков,
Наполняя целый мир.

Собираясь, разбегаясь,
Смешиваясь, собираясь,
Как в стекле калейдоскопа,—
Вся вселенная плывет.

Как дитя, душа аскета
Потонула в этом море
Звуков, красок, в этом ярком
Празднестве,— и он заснул.

День за днем идут, сменяясь,
Как в безбрежном океане
За волной волна проходит,
Как на небе — облака.

В тишине пещеры старец
Вновь на камне неподвижно
Почивает, взор уставя
В ярко-синий свод небес.

Вдруг — о чудо! — шевельнулось
Что-то! На почти не видной
Нити с потолка пещеры
Опускался вниз паук.

Затаив дыханье, старец
Следовал за ним глазами,
Как за неким чудом или
Пришлецом с другой земли.

А паук меж тем проворно
Сверху донизу у входа
Нитку натянул, по нити
Снова кверху побежал.

И забегал неустанно,
Добывая, заплетая
Нить, и вскоре паутина
Вход в пещеру заплела.

Мыслит старец: «Видно, это
Жизнь земная посылает
Соглядатаев за мною,
Хочет выследить она —

Нет ли малой паутинки,
Чтоб связать с былою жизнью
Дух мой и по этой нити
Помыслы увлечь мои?

Сей паук, быть может,— дьявол,
Он своей лукавой сетью
Хочет уловить, проклятый,
Думы и мечты мои».

И уже занес он руку,
Чтобы сбросить паутину,
Но внезапно мысль иная
Промелькнула в голове:

«В оны дни ушли семь братьев
От языческой погони,
На пути найдя пещеру,
В ней заснули крепким сном.

А паук вот так же сетью
Затянул весь вход в пещеру,
Спрятал братьев от погони,
Спас во славу божью их.

Паутиною сокрыты,
Спали братья в той пещере
Триста лет, пока господь их
Не позвал к себе на суд.

Пробудясь по слову бога,
Встали братья, как живое
Доказательство, что триста
Лет — для бога только миг.

Не господним ли веленьем
Сей паук здесь нижет сети,
Не меня ли бог поставил
Как свидетеля себе?»

Но тихонько зазвенела
Паутина; это муха,
В сеть запутавшись с налету,
Стала дергаться, пищать.

И паук тотчас явился
И поспешно паутиной
Стал опутывать добычу,
Муху накрепко вязать.

То подскочит и укусит,
То отскочит, снова вяжет;
Муха мечется в тенетах,
Дергается и пищит.

«А, проклятый кровопийца,—
Молвил старец,— для того ли
Ты проник в мою пещеру,
Чтобы убивать и здесь?»

И уже занес он руку,
Чтобы сбросить паутину,
Пленницу от мук избавить,—
Но остановился вновь.

«Без господнего веленья
Даже муха не погибнет;
Пауку, убийце злomu,
Дар его — от бога дан.

Неужели же я вправе
Паука лишить той пищи,
Для которой положил он
Столько силы и труда?»

И опять, кладя поклоны,
Начал ревностно молиться,
Но и сквозь молитву слышал
Муху; как дитя, она

Трепетала в паутине,
И пищала, и молила.
Сердце старца содрогалось,—
Но рука не поднялась.

«До утра метался ветер,
Жалобно стонал в утесах,
Выло море и каменья
Грызло, яростно кроша.

До утра жестокий холод
Душу леденил и тело,
Как на судбище последнем
Я дрожал и костенел.

Я дрожал, в углу пещеры
Укрываясь, и тревогой
Был охвачен, и молитва
Замерла в моей душе.

Видел я себя бессильным,
Нищим, жалким, одиноким,
Бесприютным сиротою,
Без семьи и без родни.

Чудилось — земля застыла,
Вымерли все люди в мире,
И один лишь я остался
Изнывать в горниле мук.

Чудилось — сам бог на небе
Мертв, и лишь диавол черный
Ныне властвует вселенной,
И пирует, и ревет.

И казался я пылинкой,
Столь презренной и ничтожной,
Что и бог, и черт, и люди
Позабыли про нее.

Но теперь блеснуло солнце,
Скрылись демоны ночные,
Бешенство ветров утихло
И повеяло теплом.

И теплом согрето тело,
И душа воскресла в теле,
Обрела, как прежде, бога
И молитву обрела.

Что же это за теснины,
Где мечта моя блуждает?
Этого тепла частица
В теле душу родила!

Так удар огнива искру
Из кремня зовет наружу,
Искра ж — порождает пламя,
Жар и блеск, тепло и жизнь.

Жар и жизнь, тепло, сиянье,
Где и смерть, и разрушение,
И рождение и бессмертье,—
Вот душа вселенной: бог.

Капля лишь тепла и света,
Вспыхнув искрой, в мертвом теле
Пробуждает душу,— значит,
Без тепла в нем нет души.

А в душе тепло рождает
Ясность, и восторг, и веру,—
Значит, без тепла ни веры,
Ни восторга нет в душе.

Вера ж чудеса рождает,
Высшее рождает чудо —
Вера порождает бога,
Открывает нам его.

Бог явился нам — о чудо!
Он являлся лишь при солнце,
Только в жарких южных странах,
В блеске молний и в огне.

В реве вихря, в тьме полночи,
В снежной буре и метели

Никому он не являлся.
Значит, бог — тепло и свет!

Но ведь бог — всему создатель,
Он творец тепла и света...
Кто же лед и холод создал?
Библия о том молчит.

Да, тепло в бездушном теле
Возрождает душу снова,
А в душе — рождает веру,
Высший плод той веры — бог...

Так возможно ли помыслить,
Что сама душа, и вера,
И сам бог — лишь порожденье
Этой капельки тепла?

Мысль такая — не грешна ли?
Но ведь бог велит стремиться
К правде... Ведь без воли бога
Мысль такая не придет!»

Так боролся с мыслью старец,
И молился, и томился,
Но былого просветленья
Он не мог уже вернуть.

И рыдал он: «Для того ли
Я свою оставил келью,
Бросил скит укромный, чтобы
Здесь в сомненьях погибать?»

VIII

«Неожиданные гости
Забрели в мою пещеру!
Кто послал их и откуда
Ветер их сюда принес?»

Лепестки, белее снега,—
Снег ли это? Нет, не тают!
Дивным запахом пахнуло...
Боже мой, вишневый цвет!

Цвет вишневый — в этих скалах!
Где тут вишни на Афоне?
Гости дивные, скажите,
Не таясь,— откуда вы?

Этот запах ваш чудесный
Прямо в сердце проникает,

Счастьем душу наполняет,
Веет близким и родным.
Вы, наверно, с Украины,
Из краев родных, далеких:
Там теперь в цвету вишневом
Села белые стоят.

Слышу, слышу милый запах,
И мое больное сердце
Встрепенулось! Боже правый,
Значит, я не позабыл?

Значит, эта Украина —
Этот ясный и веселый,
Этот ад кровавый, страшный —
Не чужая для меня?

Что мне до нее? Конечно,
Тяжко ей, несчастной, биться
С иезуитами да с панством,—
Но и мне ведь не легко.

Ждет меня иная битва,
Битва та, какую должен
Каждый выдержать с собою,
Прежде чем идти к другим.

Разве лучшие стремленья,
Чувства, помыслы, порывы

Я не отдал, помогая
Родине в ее борьбе?

Разве не был ей поддержкой
На неверных перепутьях?
Разве не вливал отвагу
В пошатнувшихся бойцов?

Разве не терзала душу
Злая их неблагодарность,
Самовластье, непокорство
Их бессмысленной толпы?

Разве тягость их гордыни
Прочь меня не оттолкнула?
Разве прах земной навеки
Не отряс я с ног моих?

Что ж вы, ласковые гости,
Милые мои скитальцы,
Забрели с весенним ветром,
Запахи свои неся?

Нет, не для меня ваш запах!
Ни к чему мне больше память
О далекой Украине —
Для нее я мертв давно!

Мертв! Зачем же сердце бьется,
Кровь живет заструилась,
Дума легкой чайкой реет
Над родным моим селом?

Пиги! Пиги! Пахнут травы...
Вишни в молоке цветенья...
Вербы в зелени весенней...
Дым над крышами села...

Соловей в ветвях калины
Свищет так, что сердце стонет...
Дети бегают... Девичьи
Песни за селом слышны...

Прочь, непрошенные гости!
В пристань тихого покоя
Вы приносите тревогу,
Жизни шум в мой мирный гроб!»

IX

Вечереет. Тень густая
От скалы легла на море,
А вдали сверкают волны
Золотом и багрецом.

Со скалы своей высокой
Старец смотрит вниз, на море,
По волнам золото-рдяным
Он дорогу проложил.

Дальняя легла дорога
Через горы, через доли,
На родную Украину
Старец мыслями летит.

Шлет он ей привет сердечный,
И любовь свою, и горесть
Все те чувства, что, казалось,
Похоронены давно.

Вдруг дорогой этой ясной
Судно тихо подплывает,
Брызжут золото и пурпур
Из-под весел и руля.

Ветерок вечерний, теплый
Раздувает белый парус,
И плывет, как лебедь, судно,
Путь держа к горе Афон.

Братчики ли в нем ходили
Странствовать в края чужие,
Собирая подаянье?
Или местные купцы?

Или из иного края
Набожные пилигримы
Собрались на поклоненье?
Или к Проту посланцы?

Старец проводил глазами
Судно до тех пор, покамест
Не исчезло за скалою,
А исчезло — он вздохнул.

Вдруг привиделись на судне
Старцу кунтуши казачьи,
Шапки с алыми верхами,—
Нет, почудилось ему!..

Х

Снова ночь, и снова утро,
И поклоны, и молитва,
Но тревога в сердце старца,
И смятенье, и тоска.

И внезапно стук он слышит —
Кто-то наверху о камень
Мерно камнем ударяет;
И ответил он на стук.

И спускается корзинка
С бедной трапезой обычной,
А на дне ее посланье
Неизвестное лежит.

Затряслись у старца руки:
Скорописью украинской
Писано посланье это,
И знакомая печать.

«Старцу честному Ивану,
Одиноко на Афоне
Путь вершащему нелегкий,
Путь, указанный Христом,

Православные с Украины,
Ради братского совета
Собравшись в местечке Луцке,
Шлют моление и поклон.

Слава господу вовеки:
Он о нас не забывает
И суровые, для блага,
Испытания нам шлет.

Тяжкие его удары
Нас куют, как бы железо,
Нас от скверны очищают,
Закаляют, аки сталь.

Слава господу вовеки
И молитвам богомольцев,
Бремя крестное за братьев
Возложивших на себя.

Милостью его святою
И молитвой богомольцев
Мы не пошатнулись в вере,
Не утратили надежд.

Враг свирепый, ненасытный
Явно борет нас и тайно,
И обманом, и изменой
Подрывает, точит нас.

Отреклись от нас вельможи —
И князя, и воеводы
Кинули Христово стадо,
За мамоною спешат.

Наши пастыри святые,
Волку лютому подобны,
Рвут, грызут Христово стадо
И отраву в души льют.

Аки ярый лев в пустыне,
Так рычит над нашим горем

Голос лютого насилья:
«Где ваш бог? Где ваша мощь?»

Оттого-то все мы — утлый
Челн среди волненья моря —
Со слезами и молитвой
Собрались вершить совет.

Помня заповедь Христову:
Царство божье — труд великий,
Лишь трудящиеся честно
Могут обрести его,—

Помня о твоём завете:
В час, когда изменит пастырь,
Надлежит помыслить пастве
О спасении своем,—

Рассуждали мы соборне,
Как бы нам от грозной бури
Хоть каким-нибудь оплотом
Церковь божью защитить.

И решили мы все силы
Съединить в одном усильи,
Чтобы общее нам дело
Преуспело и росло.

Вот затем и посылаем
Наших братчиков с мольбою
К старцу честному Ивану:
Будь отныне кормчий наш.

Воротись на Украину,
Согревай нас теплым словом,
Будь как бы костер великий
В тьме ночной для пастухов.

Как костер, в ночи горящий,
Согревающий замерзших,
Зверя дикого гонящий,
Радующий всех живых.

Будь для нас отцом духовным,
Будь возвышенным примером,
Будь молитвой душ усталых,
Нашим кличем боевым.

Рассуди: страданий горечь
Злобу насаждает в душах.
Непрестанные обиды
Замыкают нам уста.

Рассуди: неправда злая,
Точно алчная волчица,
В логове своем смердящем
Порождает лишь волчат.

Рассуди: изменой, ложью
Уничтожена правдивость;
У кого отравы в сердце —
Лишь отравой дышит тот.

Отче, отче! Злое горе
Изъязвляет наши души;
Пусть беззубы, но волчата
Ползают уже средь нас!

Отче, отче! От ударов
Гнутся головы и спины,
И жестокою отравой
Переполнилась душа!

Появись же между нами,
Старый воин непреклонный!
Твой приход нас, ослабелых,
Выпрямит и укрепит.

Слышишь: кличет Украина,
Мать-старушка в час невзгоды
Со слезами призывает
Милое свое дитя.

Время трудное настало,
Перекрестная дорога

Перед нею,— кто покажет
Путь, каким вперед идти?

Не пренебреги молением!
Матери спеши на помощь!
Может, голос твой и разум
Дело обратят к добру».

А поверх письма приписка:
«Посланные с Украины
Завтра утром ждут ответа,
Завтра будут на скале».

XI

По пещере ходит старец,
Крест по-прежнему сжимая,
Тихо шепчет он молитвы,
Гонит мысли о письме.

«Крест — единое богатство,
Крест — единая надежда,
Крест — единое страданье
И единый мой приют.

Всё иное — лишь мечтанье,
Лишь бесовские соблазны;
Путь единый ко спасенью
И правдивый — путь креста.

Что мне и письмо, и голос?
Кличут старца Иоанна.
Нет здесь старца Иоанна,
Он давно уж мертв для всех.

Что теперь мне Украина?
Пусть спасается, как знает,—
Мне бы самому тихонько
Дотянуться до Христа.

Я бессилен и греховен!
Я не светоч, не мессия,

Их от муки не избавлю,
С ними пропаду и сам.

Нет, не изменю я богу,
Не нарушу я обета,
Бремя крестное достойно
До могилы донесу.

Близок час. Не оттого ли
Вал последний подступает
И последний путь скитальца
Так мучительно тяжел?

Ждать недолго. Боже, боже!
Облегчи мне это бремя!
Освети мне путь последний,
Затерявшийся во мгле!»

Так всю ночь молился старец,
Обливал лицо слезами,
Крест руками обнимая,
Точно к матери приник.

Он рыдал, шептал, молился,
Но вокруг — темно и глухо,
И в душе — темно и глухо,
Просветление не шло.

А когда воскресло солнце,
Он сидел и ждал тревожно,
Ждал, пока взгрохочет камень,
Раздадутся голоса.

Вот грохочет камень глухо.
Старец сразу встрепенулся,
Но рука не протянулась,
Не ответила на зов.

«Старец Иоанн! Откликнись!» —
Слышен зов, и в зове этом,
Чудится, — звучит тревога,
И надежда, и мольба.

«Старец Иоанн! Откликнись!
Здесь посольство с Украины,
Здесь твои родные дети!
Старец Иоанн! Ответь!»

Старец, затаив дыханье,
Жадно слушал этот голос,
Звуки речи украинской,
Но ответа не дал он.

«Старец Иоанн! Откликнись!»
Долго посланные звали,
Но лишь море рокотало,
Не ответил им Иван.

ХИ

Вечереет. Будто сизый
Полог, тень легла на море,
А из-за горы — закатный
Луч по морю пробежал.

Золотистая дорожка
Пролегла от волн шумливых
Вплоть до верхних скал Афона,—
А внизу шумит волна.

У преддверия пещеры
Сгорбленный сидит пустынный
И рыдает безутешно,
Наклонившись над письмом.

«Слышишь, кличет Украина,
Мать-старушка в час невзгоды
Со слезами призывает
Милое свое дитя».

— «Милое дитя, еще бы!
А дитя в такую пору,
В дни тягчайших испытаний,
Покидает мать свою!

А дитя, в своем безумьи,
Лишь себе спасенья ищет,
Братьям же, терпящим горе,
И не думает помочь!

Разве вправе ты, несчастный,
Глиняный сосуд разбитый,
Думать о своем спасеньи
Там, где гибнет весь народ?

Вспомни заповедь Христову:
Пастырь добрый тот, кто душу
Положить готов за паству;
Разве ты не пастырь им?

Вспомни заповедь Христову:
Кто устами «любит бога»,
Но не помогает брату,
Тот — неисправимый лжец.

Ты за все людские души,
Что теперь впадут в безверье
Без твоей поддержки,— богу
Должен будешь дать ответ.

Ибо вся твоя гордыня,
Все надежды на спасенье
Тут, вдали земных соблазнов,—
Тягостный соблазн и грех.

Не господень путь избрал ты,
А диаволу ты служишь,
Мастеру гордыни, вровень
С богом вздумавшему встать.

Не господень путь! И даже
Если рая ты достигнешь,
Но земля твоя родная,
Твой народ погибнут тут,—

Ведь тогда в мученья ада
Обратится рай! Одна лишь

Мысль: «Я мог им быть спасеньем» --
В пекло превратит твой рай!»

И смертельная тревога
Охватила сердце старца,
Лоб холодный пот усеял,
И дыханье пресеклось.

И взглянул он вновь на море,
Где чертой золототканой
Над волнами прочертились
Тени от горы Афон.

Вот из глубины залива
Судно тихо выплывает,
Стороною затененной
К солнцу светлому бежит.

Турчин судном управляет,
Рядом кунтуши казачьи;
Шапки с алыми верхами,
Весла брызжут багрецом.

Посланные с Украины!
Встрепенулось сердце старца,
И в тоске, себя не помня,
Руки он, дрожа, простер:

«Стойте! Стойте! Воротитесь!
Я живу еще! Как прежде,
Я люблю свою Украину,
Ей отдам остаток дней!

Стойте! Стойте! Воротитесь!» —
Но куда! Не слышат зова.
И по водам золотистым
Судно уплывает вдаль.

И ломает руки старец,
И больное сердце стиснул,
И перед крестом на камни
Он кидается ничком.

«О Распятый! Ты оставил
Нам завет свой наивысший:
Возлюбить всем сердцем ближних,
Жизнь за други положить.

О Распятый! Снизойди же!
О, не дай мне погрузиться
В бездну безысходной муки,
В глубину, где веры нет!

Дай любить всем сердцем братьев,
Жизнь за други полагая!
Дай мне только раз увидеть
Мой любимый край родной!

Вот, взгляни: остаток нити,
Что меня вязала с жизнью!
О, не дай ей оборваться!
Обрати ее сюда!

Ниспошли противный ветер!
Подыми волну до неба!
Или дай, подобно птице,
С вышины скалы слететь!

Ты ведь благостен, всесилен!
Если же моя молитва,
И молчание, и подвиг,
И работа, и посты

Хоть крупицу заслужили,
Хоть пылиночку награды,—
Я охотно, о Распятый,
Всё без жалости отдам.

Всё отдам, готов, как грешник,
Изнывать в смоле навеки,
Лишь одно теперь сверши ты
Чудо: судно возврати!

Или птицею крылатой
Дай мне вниз слететь отсюда,

Или по лучу заката,
Словно по мосту, сбежать.

Ты и сам, еще младенцем,
По лучу прошел из храма
И по морю среди бури,
Как по суше, проходил.

Дай, о дай мне это чудо!
Лишь одно, на миг единый!
Не оставь меня в тревоге,
Как бессильное дитя!»

Так молил Иван Вишёнский,
Крест в руках своих сжимая,
И почувствовал, как дивно
Облегчилась боль его.

Так легко, покойно стало,
Вдруг исчезли все тревоги,
Вера дивно овладела
Обновленную душой.

Вера в то, что бог услышал
Неотступное моление,
Что пришло мгновенье чуда —
Просветление пришло.

То, чего он ждал так долго,
Вдруг овеяло, как ветер,
Как гармония святая,
Райской кущи аромат.

И в восторге он поднялся,
И перекрестился трижды,
И благословил лучистый
Путь, струившийся в волнах.

Ничего уже не видя,
Только этот путь лучистый
И в далеком море судно, —
Шаг ступил он — и исчез.

А в пещере опустелой
Только белый крест остался,
Как скелет былых иллюзий,
И волны немолчный шум.

1900

НА СВЯТОЮРСКОЙ ГОРЕ

30 ОКТЯБРЯ 1856

*Посвящается
Миколу Витальевичу Лысенку*

I

Солнце клонится над Львовом
Ярче пестрого ковра,
Вся блестит в лучах заката
Святоюрская гора.

На горе столбы да трубы
Обгорелые торчат;
Вдоль дороги верб безлистных
Цепенеет длинный ряд.

Средь руин шатры белеют,
К стенам лепятся тесней,
Чем грибы с широкой шляпкой
Между обгорелых пней.

Кучками между шатрами
Отдыхают казаки,
Блещут копыя и высоких
Шапок красные верхи.

Кой-где стон раздастся в стане,
Песня там и сям слышна,

Звон бандуры, окрик стражи,
Зов протяжный чабана.

На горе уже к вечерне
Благовестят,— и на звон
Гнутся головы казачьи,
Богу отдают поклон.

И внизу все колокольни
Львовские отозвались
Многозвучной перекличкой,
Подымающейся ввысь.

А у церкви Святоюрской,
На челе горы крутом,
Близ шатра, под старым дубом,
Ходят чарки за столом.

Тут Богдан, казацкий батько,
Пять полковников с ним в ряд
И Иван Выговский — писарь —
За беседу сидят.

От Богдана справа — гости,
Что спешили издали,
Что от Яна-Казимира
Дар и письма привезли.

Тут старинный кум Богдана,
Любовицкий — важный лях,
В Чигирине он когда-то
До войны бывал в гостях.

Рядом с ним сидит пан Грондзский;
Словно крыса, быстрый взгляд
Мечет он на стены Львова,
На шатров походных ряд.

Замер благовест вечерний,
Писарь чары налил вновь,
И заслушалось застолье
Важных гетмановых слов.

II

«Пане-куме Любовицкий,—
Хмурясь, вымолвил Богдан,—
Чарку! За былую дружбу!
Пей, покамест полон жбан!

Говоришь — король ваш плакал,
Как письмо сие писал?
Что душой за Украину
Он болеет — ты сказал?

Выпей! Плакал! Иезуиты
Любят плакать, слезы ж их
Душу жгут иным и тело...
Выпей, кум, и слов моих

Не прими в обиду! Молвишь —
Признавал король и сам,
Что ни крохи не исполнил
Из обещанного нам?

Так чего ж теперь он хочет?
Что ж он упрекает нас,
Будто по вине казацкой
Кровь рекою полилась?

Что как будто бы под Польшу
Мы подкопы подвели
И великую твердыню
Всей державы подожгли?

Милый кум, я королевский
Уважаю древний сан,
Но король такую речью
Сам себе чинит изъян.

Ибо сказанное прежде
Лжи былой конец кладет,—
Он же знает, что пошли мы
Не от радости в поход,

Что немало мы терпели
Надругательств от панов:

Канчуками нас пороли,
Быдлом звали казаков,

Жен позорили казачьих,
Шкуру драли за оброк,
В божью церковь не пускали,
Хоть иди молись в шинок!

Хаты наши жгли, рубили
Наши бедные сады,—
С паном пан не поделился,
А казак хлебнул беды.

Даже в душу захотели
Нам залезть в конце концов!
Подменяют нашу веру,
Веру дедов и отцов.

«Туркогреками» бранят нас,
Церкви — сам ты посуди —
Запирают,— некрещеный
И невенчаный ходи!

Шлют еще прелатов алчных,—
Тех, что нас за чуб берут,
Этот брак насильный с Римом
Унией они зовут...

Тут мы, друже, не стерпели!
Так нам стало горячо...
На погибель живодерам —
Выпей, кум, одну еще!

III

Пишет нам король: «Клянусь вам
Крестной мукой и крестом,
Что хотел я, да не смог, вас
Защитить — моих детей».

Ха, ха, ха! Крестом он клялся,
Ну, а черт махнул хвостом

И ту клятву смазал! Знаю,
Знаю я таких чертей!

Говоришь — король на сейме
Уделил словечко нам,
Что пора, мол, справедливость
Оказать и казакам,—

Но магнаты заревели,
И всё сборище панов
Да орава подпоенных
И подкупленных послов
Королю свирепым гвалтом
Не дали докончить слов. . .

Верю, хоть чудно всё это. . .
А теперь что делать вам?
Если сам король ваш тряпка —
Грош цена его словам!

И о чем нам толковать с ним,
Бога клятвами дразнить,
Коль ему на сейме слова
Не дали договорить?

Кум, подумай, не довольно ль
Помелом нас угощать?
И не надо, как с котенком,
С нами прутиком играть.

Пожелаем справедливый
Заключить отныне мир,—
Мы найдем панов постарше,
Чем король Ян-Казимир.

Да не скоро это будет!
Знай: пока нам сабля — друг
И не выпали пищали
Семипядные из рук.—

Не замрет на Украине
Чертов пляс на полный ход;

Иль казацкий иль шляхетский
До остатка сгинет род.

Плакал ваш король? Пусть плачет,
Раз не может пособить!
Но ему бы не над нами —
Над собою слезы лить.

И над Речью Посполитой
Пусть поплачет над своей:
Страшное она видала,
Но увидит — пострашней!

Не копьем казацким рана
Ей была нанесена,—
То нарыв поганый лопнул,
Гноем полный издавна.

Коль его не уничтожить,
Он всю Польшу изъязвит,
Съест у вас и кость и мясо
И всю нашу жизнь сгноит.

Малость мы нарыв давнули,
Гной оттуда стали гнать —
Вишневецких, Конецпольских,
Калиновских, как их звать. . .

И за это мы достойны
Благодарности, не кар!
Но пока владычит панство,
Не покончим ссор и свар.

Пусть плохим пророком буду,—
Вспомните мои слова:
Коль из этой заварухи
Польша вылезет жива,

Коль ее магнаты силой
В гроб навеки не сведут,
Так они ж ее соседям
На съеденье продадут!

IV

Выпьем, кум, еще по чарке!
Чарка добрая несет
Сердцу чистому — веселье,
А нечистое — пусть жжет!

Говоришь: «Кровавый, старый
Спор да будет позабыт!
Истребим из сердца память
Кривд взаимных и обид!

Братья равные, любовью
И доверием дыша,
Жили бы мы в доброй дружбе —
В двух телах одна душа...»

Славные слова, ей-богу!
Проникают в плоть и кровь.
Даже Коссову Сильвестру
Не придумать лучших слов.

Слушай, кум, ты муж ученый,
Мудрая ты голова, —
А меня почел за дурня,
Тратишь попусту слова.

Знаешь сам: они — приманка,
Свежий, скажем, червячок,
Чтобы с ним казачья щука
Ухватила ваш крючок.

Не клянись же, кум, напрасно!
Слушать клятвы бог устал!
Лучше присказку послушай,
Что от деда я слышал.

V

Жил да был себе хозяин,
Поле он имел и сад,
Крепкий дом, скотины много,
Пчел колод за пятьдесят,

И жену, и слуг примерных,
И деньжонки под ключом,—
Люди с завистью смотрели,
Называли богачом.

У него был змей домашний,
Что не жалил, не кусал,
А везде свободно ползал,
По ночам коров сосал,

На день же ему хозяин
С незапамятной поры
Ставил мисочку со сладким
Молоком возле норы.

Был тот змей хозяйским счастьем:
От росы и от воды
В двор добро плыло, сторицей
Награждались все труды.

Добрый скот тучнел на диво,
Пуще всех — хлеба росли,
Сад родил, роились пчелы,—
Ну как будто бы гребли

Счастье в дом к нему лопатой,
А несчастье гнали прочь:
Град побил весь хлеб соседний,
Полсела сгорело в ночь,

На его ж земле — ни искра,
Ни градинка не легли,
Саранча летела мимо,
Стороной болезни шли.

VI

Но беда стряслась, однако.
У хозяев был сынок —
Батькин баловень, любимец,
Малый хлопчик-ползунок.

Вот однажды мать на завтрак
Для любимого сынка
Налила и прямо на пол
Ставит миску молока.

Ест малыш и, как все дети,
Разливает на полу.
Тут и змей услышал запах
Молока в своем углу.

Из норы на запах выполз,
Начал молоко лакать.
Мальчик, видно, рассердился —
Да как змея ложкой хватя!

Змей, к побоям не привыкший,
Взвился грозно и, свистя,
Будто молния, ужалил
Несмышленное дитя.

Завизжал малыш от боли;
А отец, как прибежал,
Понял сразу, что случилось,
Только чем помочь — не знал.

Он за змеем в лютой злости
Кинулся, убить хотел,
Но и змей, угрозу видя,
Заползти в нору успел.

С палкой прибежал хозяин,
Но уж в яме змей укрыт,
Только хвост еще снаружи
За собою волочит.

Тут, не долго рассуждая,
Как ударит человек,—
И у змея, у бедняги,
Напрочь длинный хвост отсек.

Да несчастья не поправил,
Сына милого не спас:
От змеяного укуса
Умер мальчик в тот же час.

VII

Страшно тосковал хозяин,
Сна лишился. Но и змей,
Глубоко в норе, не меньше
Раной мучился своей.

И хоть рана затянулась —
Змей бесхвостый с этих пор
Отлучил от старой дружбы,
Невзлюбил хозяйский двор.

И бывшее счастье дымом
Улетело со двора:
Летом град побил пшеницу,
Иссушила степь жара.

Черви добрый сад сгубили,
Подкосил скотину мор,
В дом болезни повалили,
Смерть повадилась во двор.

Что тут делать? Ну, за словом
Слово, он — к ворожее:
«Погадай, что за причина
Перемен в моем житье?»

Ворожейка погадала
На бобах да на звездах,
Говорит: «Ты сам повинен,
Сам себе выходишь враг.

Верного имел ты друга,
Он от зла тебя берег,
Только первой же обиды
Ты простить ему не мог.

Ты его обидел тяжко,
Тяжко гневается он,—
Этим гневом весь великий
Причинен тебе урон.

И покуда этот лютый
Гнев его горит огнем,
Ты не жди себе спасенья,
Прахом пропадет твой дом!

У тебя одна надежда:
Снова друга приручить
И навечно с ним сердечный
Мир по правде заключить».

VIII

И тогда хозяин понял,
Как себе он навредил
Тем, что в злобе неразумной
Хвост у змея отрубил.

И подумал: «Непременно
Помириться надо с ним,
Ведь погибнет вся скотина,
Улетит добро, как дым».

И сказал жене: «Поставь-ка
У змеиного угла
Молока, чтобы удача
Снова в хату к нам пришла».

И опять уже хозяйка
Ставит миску поутру.
Змей же, выйдя и насытись,
Снова прячется в нору.

А хозяину всё хуже:
Что ни день, то тяжелей,
Хоть топись! Вот он однажды

Подстерег, как выполз змей,
И промолвил: «Змей мой милый!
Что на нас с тобой нашло?
Что мы ссоримся? Что делим?
Позабудем гнев и зло!

Что минуло, то пропало,
Хоть и горько нам пришлось;
Заживем в любви и мире,
Чтоб, как прежде, нам жилось!»

Змей на то ответил: «Хватит!
То, что было, то прошло.
Только как забудем горе,
Что нам на сердце легло?

У тебя, как вспомнишь сына,—
А его не воротить,—
Чешется рука, чтоб череп
Поскорей мне раздробить.

Да и я, как только гляну
На обрубленный мой хвост,—
Вгрызся бы в тебя зубами,
Так во мне лютует злость.

Где уж нам с тобой сдружиться!
Как тебе был дорог сын,
Так мне — хвост мой. И не нужно
Наших ссор искать причин.

И пока живет в нас память,
Не привяжется твое
Сердце вновь ко мне, к тебе же
Не привяжется мое.

Лучше нам навек расстаться!
Без меня в своем дворе
Ты хозяйствуй, без тебя я
Проживу в своей норе».

Пан почтенный Любовицкий,
Ты, я знаю, голова!
Верно, ты без пояснений
Раскусил мои слова?

Тот хозяин — ваша Польша,
Змей — то наши казаки,
Что служили вам, рубили
Басурманские полки,

Что ходили за пороги,
Лезли и в Стамбул и в Крым,
Так, что хану и султану
В очи бил пожаров дым.

И жилось тогда не худо:
Наживал богатство лях
За казацкими плечами,
А казак — в степях, в полях

На свободе жил и каплю
Брал себе он молока,
Что сберечь и что припрятать
Помогла его рука.

Но пошли раздоры. Полно
Нам искать теперь вины;
Мы терпели, вы терпели,
Наши сгнули сыны.

Ну скажи, как жить нам вместе?
Как забыть былое зло,
Что кровавою межою
По сердцам у нас прошло?

Как в любви мы склоним сердце,
Злобой полное,— скажи?
Где душа возьмет доверья
После всех измен и лжи?

Нет, приятель! Разойдемся,
Порознь лучше будем жить:
Ваша Польша — вашей будет,
Украине — нашей быть.

Вы себе пануйте дома
На вине да на меду,
Ну а мы, бог даст, осилим
И без вас свою беду!

А пройдет лет сто иль двести,
Наши раны заживут,
Все обиды, споры, ссоры
Вешним паводком уйдут,—

И взамен измен и распрей,
Не на лжи, не на крови,
Встанет сила общих целей,
Братства, дружества, любви.

Мы, не в школе иезуитской,
В школе тягостной борьбы
Возмужав,— проложим сами
Добрый путь своей судьбы.

Вот тогда-то час настанет
Кривду старую избыть,
Час настанет, кум любезный,
Нам про дружбу говорить.

Х

Морщишь брови? Стиснул зубы?
Иль недуг тебя трясет?
Мол, роса и очи выест,
Пока солнышко взойдет?

Что ж, возможно! Но, признайся,
Это правда или ложь?
На словах в любви клянемся,
А за пазухою — нож?

Дружба ли, что говоришь ты
Нам про братство, про любовь,
Про напрасно пролитую
Нашу кровь и вашу кровь,—

Что пора, мол, помириться,
Память зла развеять в дым,—
А ведь ты, я точно знаю,
Завтра едешь к хану, в Крым!

Подбивать ты станешь хана,
Мурз поганых подкупать,
Чтобы шли на Украину —
С казаками воевать. . .

Побледнел? Дрожишь? Не бойся!
Знаю вас не первый год!
Да ведь это ж — иезуитской
Вашей школы цвет и плод!

Знаю, кум: за той же самой
Пазухой, где ты привез
Королевское посланье,
Полное и клятв и слез,—

Королевское второе —
К хану — есть письмо! И в нем
Он же хана заклиняет,
Чтоб нагрязнул к нам, как гром,

Чтобы хан гадюк казацких
Раздавить ему помог. . .
Не дрожи, мой кум! А ну-ка,
На прощанье посошок!

Чарку! Поезжай счастливо!
Хану кланяйся, мурзам!
Да скажи, что коней надо
И дамасских сабель нам.

Коль у них коней и сабель
Много, а своих голов
Им не жаль — пускай приходят!
Ну, довольно! Будь здоров!»

1900

МОИСЕЙ

Родной народ, замученный, разбитый,
Как паралитик, что на раздорожье,
Презреньем, словно струпьями, покрытый!

Грядущее твое меня тревожит,
И стыд, что и в потомках сохранится,
Спать не дает спокойно, сердце гложет.

Иль на железных вписано таблицах
Тебе служить соседям перегномом
И тяглом в их летящих колесницах?

Ужель твое призвание такое —
Злость тайная, покорства лицемерность
Всем, кто изменою или разбоем

Тебя заставил присягнуть на верность?
Ужель тебе и не мечталось дело,
Что показало б сил твоих безмерность?

Иль множество сердец зря пламенело
К тебе наисвятейшею любовью,
Всё жертвуя тебе, и дух и тело?

Иль орошен твой край напрасно кровью
Твоих борцов? Ему уж не гордиться
Свободой, красотою и здоровьем?

В твоих речах напрасно ли таится
Улыбка, кротость, сила молодая
И всё, чем может к высям дух стремиться?

Напрасны ль песни мука вековая,
И звонкий смех, и страсти нетерпенье,
Надежд и счастья искра золотая?

О нет! Не только слезы и мученья
Удел твой! В силу духа верю снова,
В день твоего я верю воскрешенья.

Мгновеньем бы владеть, послушным слову,
И словом, что в мгновении блаженном
Стать животворным пламенем готово!

О, гимн сложить бы пылкий, вдохновенный,
Что миллионы кличет за тобою
И открывает путь благословенный!

Когда б! Но обессиленным тоскою,
Сомненьем раненным, стыдом разбитым,
Не нам тебя вести на поле боя.

Но время близко — ты, с лицом открытым,
Сияя, вступишь в вольный круг народов,
Тряхнешь Кавказ, повяжешься Бескидом,

Покатишь Черным морем шум свободы,
Окинешь, как хозяин домовитый,
Свой дом и землю, позабыв невзгоды.

Прими ж запев мой, пусть тоской повитый,
Но полный веры, скорбный, но свободный,—
Грядущему залог, слезой омытый,
Дар скромный свадебный душе народной.

20 июля 1905

I

Сорок лет проблуждал Моисей
В аравийской пустыне,
Наконец он с народом своим
Подошел к Палестине.

Словно ржавчина, алы пески,
Голы скалы Моава,
Но за ними течет Иордан,
Там дубравы и травы.

Там в долинах Израиля жизнь
Протекает в скитаньи.
Он скалистый рубеж перейти
Не имеет желанья.

Там кочевье ленивое спит
Под дерюгою драной,
А волы и ослы там грызут
Будяки да бурьяны.

В тот чудесный обещанный край,
Где сапфир благородный,
Где смарагды красою блещут,
Веры нет у народа.

Сорок лет говорил им пророк
Величаво, пространно
Об отчизне обещанной той —
Пусто всё и туманно.

Сорок лет голубой Иордан
И долины цветенье
Их манили и гнали вперед,
Как в пустыне виденье.

Разуверился люд и сказал:
«Нам налгали пророки!
Здесь нам жить, а потом умирать!
Миновали все сроки».

Перестал он и ждать, и желать,
И куда-то в просторы
Рваться, новых гонцов посылать
Через ржавые горы.

День за днем — тот же скудный Моав
И жара донимает.
Весь Израиль в дырявых шатрах
В сладком сне пребывает.

Только жены готовят обед
Иль прядут неустанно,
А волы и ослы их грызут
Будяки да бурьяны.

В раскаленной степи детвора
Игры странные водит:
То воюет, то строит дома,
Укрепленья возводит.

И не раз полусонным отцам
Играм тем удивляться.
«Кто учил их забавам таким —
Никогда не дознаться.

Не видали такого у нас,
Не слышали в пустыне!
Иль пророка слова перешли
К малолетним отныне?»

II

Лишь один среди этих людей
Сновидений не знает
И на крыльях печали своей
Через горы летает.

Моисей, позабытый пророк,
Древний старец без силы,
Жен лишенный и стад, одинок,
Стал у края могилы.

Всё, что в жизни имел,— отдал он
Для единой идеи.
Для нее был трудом поглощен,
Жил измученный ею.

Словно буря, свой вырвал народ,
Из неволи в Мицраим
На свободу он вывел рабов,
Гнет неволи свергая.

Как душа их души, он взлетал,
Множественно так было,
К поднебесью, к пределам земным
Вдохновенья и силы.

И на волнах мятущихся душ
Бесконечность измерив,
Вместе с ними он падал не раз
Прямо в пропасть безверья.

Но теперь его голос затих
И ушло вдохновенье,
И не слушает речи его
Молодых поколенья.

Слово то про обещанный край
Людям сказкою мнилось;
Ведь для них мясо, масло и сыр —
Наивысшая милость.

Что в Мицраиме деды, отцы
Поднялись для похода —
Это, думают здесь, смех и грех
И паденье народа.

Среди них Авирон и Датан
Верховодами ныне,
И пророку они говорят:
«Скот без корма в пустыне».

На призыв его выйти в поход —
«Не подкованы кони».

А на то, что добьемся побед,—
«Лютый враг нас погонит».

На приманку богатых земель —
«Мы и здесь будем сыты».
А напомним про божий приказ —
«Замолчи, искунитель!»

И когда пригрозил им пророк
Новым гневом Иеговы,
То ему запретил Авирон
Богохульное слово.

А на сборище израильтян,
Где Ваалу моление,
Предлагает крикливый Датан
Вот какое решенье:

«Кто провидцем себя выдает —
И бессвязно бормочет,
И то ласку, то божеский гнев
Темным толпам пророчит,

Тот, кто смеет народ к мятежу
Призывать, к переменам,
И за дальние горы манить,
Где конец несомненный,—

Тот, грядущим безумцам на страх,
Всем, кто сеет сомненья,
Пусть оплеванный всеми падет
И побитый камнем».

III

Вечерело. Дневная жара
Понемногу спадала;
И пылал над горой, как пожар,
Край небес темно-алый.

И прохлада, как дождь золотой,
Пролилась с небосвода;

И движенье в шатрах началось
Кочевого народа.

Вольно, плавно сбегая с горы
По камням в глубь долины,
Черноокие жены несут
Там из глины кувшины.

Взяв на головы, тихо идут
К роднику под скалою,
А в руках их из кожи мешки,
Чтоб наполнить удоем.

Дети старшие в голой степи,
Как зайчата, играют,
Вперегонки бегут и кричат
Иль из лука стреляют.

Кое-где слышен плач из шатра,
Кто-то звонко хохочет,
Кто-то грустную песню поет,
— Словно степь среди ночи.

Вот и старшие — деды, отцы —
Из шатров прочь выходят,
Эти горы и голую степь
Долгим взглядом обводят.

Не видать ли врагов на конях
Там, за желтым туманом?
И не мчится ль полуденный бес
Злобным вихрем песчаным?

Нет, всё тихо. Беседы пошли
И обычные вздохи:
«Меньше всё от овец молока,
И ягнята вон плохи.

Тут не могут ослицы сыскать
Даже корм свой колючий!
Значит, надо куда-то идти
К новым пастбищам, лучшим.

Авирон кличет в край Мадиям,
А Датан и подале.
Моисей — тот скорей промолчит,
Помня то, что решали».

Только в таборе гомон, возня,
Восклицанья, движенье;
Из шатров выбегает народ —
Стар и млад в удивленьи.

Что такое? Напал на нас враг?!
Зверь в тенета попался?
Нет, не то! Погляди, Моисей
У шатра показался.

Хоть года его клонят к земле
И заботами мучат,
Всё ж в глазах его пламя горит,
Как две молнии в тучах.

Хоть и пряди белы, словно снег,
Метят век его строго,
Но два гордых встают завитка
Над челом, как два рога.

Он на площадь большую идет,
В храм походный Завета,
Что раскинул четыре угла
На все стороны света.

В том шатре есть тяжелый ковчег,
Прочно кован из меди —
Иеговы веления в нем,
Зовы к воле, к победе.

Но давно не входил ни один
В то пристанище бога,
Страх на страже его день и ночь,
Словно пес у порога.

Только камень огромный лежит
У шатра возле входа.

Встать на камень обычай велит
С обращеньем к народу.

И на камень встает Моисей —
Ужаснулись люди.
Неужель, воле всех вопреки,
Вновь пророчить он будет?

И придется разбить, растоптать,
Как гнилую колоду,
Человека, что множество лет
Был отцом для народа?

Вот краснеет уже Авирон,
Есть для гнева причины,
А другим что-то шепчет Датан,
Хитрый демон общины.

IV

«Очень глупое приняли вы,
Мои внуки, решенье,
И хочу я сказать вам теперь
Это вместо вступленья.

На язык и на душу мою
Вы печать наложили,
Но сегодня ответствовать вам
Всё ж я в праве и в силе.

Так запомните слово мое
Вы, слепцов поколенье,
Если станете душу глушить —
Завопят и каменья.

Уши вы затыкали вчера,
Не внимали вы слову,
Не моих, этих глиняных уст,—
Гневных уст Иеговы.

Берегитесь, он сможет для вас
Говорить по-другому,

Это будет страшнее в сто раз
Грохотания грома.

Ведь от слов его горы дрожат
И земля вся трясется.
Ваше сердце, как лист на огне,
Зашуршит и сожмется.

Пусть вчера отвергали вы бунт
И кляли его все,—
Но, проклятьям слепым вопреки,
Ваше сердце бунтует.

И, как дрожжи, что в тесто кладут,
В ваше сердце вложил он
Силы, к далям влекущие вас,
Вдохновения силы.

Вам вчера еще только покой
Самым лучшим казался;
С вашим господом-богом о том
Разум ваш совещался?

Разве он для покоя позвал
Вдаль из Ур и Гаррана
Авраама и племя его
На луга Ханаана?

Для покоя ли на Иордан
Свой народ уводил он?
Семилетним их голодом гнал
Вплоть до берега Нила?

Если б кто вас в покое держал,
Словно мертвого в крипте,
Вы донине, подобно волам,
Гнули б шеи в Египте.

Слово властное не от себя
Мне сказать вам нетрудно,
Чтоб вы знали, что с богом всегда
В спор вступать безрассудно.

Ведь у бога в руках уже лук
Со стрелою пернатой,
Он уже натянул тетиву —
Иудеи — стрела та.

Вы — стрела, устремленная в цель,
Заостренная к бою,—
Разве может стрела говорить:
«Я желаю покоя»?

Ну а то, что по-женски клялись,
Чтоб меня опорочить —
Обещаний не слушать моих,
И угроз, и пророчеств,—

То нарочно я с вами опять
Поведу разговоры:
Я пророчество новое дам,
Что исполнится скоро.

И вы будете слушать, хоть злость
Жалом в сердце вопьется,
Но я рад бы узнать, чья рука
На меня замахнется!

v

Отказались вы слушать, что есть
Иеговина милость.
Что ж, как детям, я вам расскажу
То, что в сказке случилось:

Вот однажды деревья сошлись
На широком раздолье:
«Изберем для себя короля
По своей вольной воле,

Чтоб давал нам защиту и честь,
Был опорой, подмогой,
Господином, и верным слугой,
И мечтой, и дорогой».

И сказали одни: «Выбирать
Одного все мы званы:
Пусть царем нашим будет навек
Кедр высокий Ливана».

Все деревья сошлись вокруг него
С обращением единым:
«Ты сойди с своих гордых высот,
Будь для нас властелином».

И промолвил им кедр и сказал:
«Вы чего захотели?
Чтоб оставил я сам ради вас
Мои горы, ущелья?»

Чтоб оставил я сам ради вас
Солнца свет и свободу —
Волен я — так на что мне служить,
Угождая народу?»

Вы корону уже принесли?
Мне не надобно сана!
Я и так — украшение земли
И корона Ливана».

К стройной пальме деревья пришли
С обращением единым:
«Ты меж нами растешь, нам родня,
Будь для нас властелином!»

— «Вы одумайтесь, братья, — в ответ
Пальма им прошумела, —
Ваши править, порядок вводить —
Да мое ль это дело?»

Только лишь для того, чтоб меж вас
Утверждались порядки,
Потерять мне цветов аромат,
Плод свой сочный и сладкий?!

Солнца жар, согревавший мой сок,
Будет даром потерян?

И искать понапрасну мой плод
Будут люди и звери?

Пусть любой станет вашим царем,
А на трон я не сяду —
Всем хочу я дарить свою тень,
И плоды, и отраду».

В тяжких думах деревья тогда
Все поникли ветвями:
«Ведь ни пальма, ни царственный кедр
Не хотят править нами.

Будем розу просить, но и так
Наша роза пригожа,
Без короны — царица цветов
И избранница божья.

Будем дуб умолять! Но ведь дуб,
Как хозяин богатый,—
Корни, желуди, ветки храня,
Озабочен, куда там!

Ну-ка, спросим березу! Она
В платье белого шелка,
Косы пышные клонит к земле
И грустит втихомолку».

Кто-то вымолвил, прост как дитя,
Или в шутку, быть может:
«Терн осталось еще пригласить,
Вдруг он нам и поможет».

Все деревья сказали — он прав,
Зашумели ветвями,
Обращая к терну с мольбой:
«Будь царем ты над нами».

Терн сказал: „Дан вам добрый совет,
И за это в награду
На предложенный вами престол
Не колеблясь я сяду.

Станом я не высок, словно кедр,
Я не пальма, не роза,
Не такой себялюбек, как дуб,
Не грущу, как береза.

Добрый грунт раздобуду для вас,
Хоть он мне не потребен,
Сам стелиться я буду внизу,
Вы ж растите до неба.

Входы-выходы к вам заслону
Я оградой колючек,
Скрашу купами белых цветов
Придорожные кручи.

Стать убежищем зайцу смогу,
Птиц укрою я многих,
Чтоб росли вы всё краше, а я
Сгину возле дороги“».

VI

И в глубоком молчаньи народ
Слушал речь Моисея.
«Что же вам я хотел втолковать
Этой сказкой своею?

Те деревья — народы земли,
А король их не боле,
Чем избранник, он сын и слуга,
Верный господа воле.

Бог народы когда создавал,
Как растения в поле,
В их душе Иегова читал
Сына каждого долю.

К ним заглядывал в душу, чтоб знать
Их удачи, основы,
И такого искал, чтобы мог
Сыном стать Иеговы.

Гордых, шумных он сразу не взял,
К небу рвущихся речью,
Что шагают могучей пятой
По телам человеческим.

И не взял он князей-богачей,
Разоряющих землю,
Что на злате и поте людском
Свои склепы подъяют.

И не взял он красавцев-повес,
Что на лирах играют,
Тех, что в мраморе, в песнях свой дар
Обессмертить желают.

Так отверг он всю славу, весь блеск,
Всё, что власть знаменует,
Ароматы чудесных искусств
И премудрость земную.

И как терн среди прочих дерев —
Он красой неприметен,
Славы нет никакой у него
Ни в плодах и ни в цвете,—

Так и выбранный богом народ
Нищ среди прочих народов —
Там, где пышность и честь, для него
На порог нету входа.

Меж премудрыми он не мудрец,
Не солдат в пекле боя,
Он в отчизне своей только гость
С кочевой судьбою.

Но вложил ему в душу свой вклад
Сердцевидец Йегова,
Чтоб он был, словно солнце во тьме,
Верный страж его слова.

Для бескрайних путей на всю жизнь
Дал народу в подмогу —

Завещанья, обеты свои,
Точно хлеб на дорогу.

Но завистлив Иегова, наш бог,
Гнев и злобу он сеет —
То, что он полюбил, уж никто
Полюбить не посмеет!

И надел на избранника бог
Плащ любви своей верной —
Недоступный, в колючих шипах,
Что остры, словно терны.

Как крапива, и острым и злым —
Стал он бога веленьем,
Чтоб души его мог только бог
Ощущать дуновенье.

В руки страшную грамоту дал,
Семь печатей поставил
И того, кого братья клянут,
Он к потомкам направил.

На себя пусть пеняет посол,
Коль в дороге задремлет
Иль посмеет печать разломать,
Гласу бога не внемля!

Кто-нибудь страшный свиток возьмет
Из ленивца ладони,
Добежит и, достигнув мечты,
Засияет в короне.

Будет счастлив посол, что письмо
Точно, быстро доставит,
Даст венец ему царский господь
И безмерно прославит.

О Израиль! Ты сам тот посол,
Царь грядущий планеты.
Долг посольства не выполнил ты
И не внял ты завету!

Твое царство не эта земля
И не слава земная!
Горе, если прельстит вдруг тебя
Мишура мировая.

И не солью земли станешь ты —
Подлой пылью земною,
И, не дорог для всех, будешь сам
Ты любви недостойн.

И не в силах весь мир уберечь
От раздора и страха,
Сдохнешь, словно раздавленный червь,
Средь дорожного праха».

VII

«Господин Моисей,— тут сказал
Авирон, издеваясь,—
Испугались мы — нас потрясла
Твоя присказка злая!

Терном между народами быть!
Ради этой награды
Твоего Иегову признать
Нам владыкою надо.

И послом его быть, это честь!
И к неведомым далям
Запечатанный свиток нести —
Мы о том лишь мечтали.

Это именно — участь осла,
Что с поклажей тяжелой,
Хлеб другим на утеху несет,
Ну а сам терпит голод.

Но евреи с ума не сошли,
Суждено им иное,
Коль к Ваалу, к Астарте они
Обратятся с мольбою.

Иегова пускай там гремит
На скалистом Синае —
Нам Ваал даст богатство и власть
В плодороднейшем крае.

Иегове пускай по душе
Терн, шипами покрытый,
Нас Астарты рука поведет
Через розы и мирты.

Наш удел Сенаар и Гарран,
На восток путь указан.
А на запад, где твой Ханаан,
И не взглянем ни разу.

Ясно это и так, и болтать
По-пустому не стоит!
Но мы помним решение свое,—
Что ж нам делать с тобою?

Камнем эту руину разбить?
Разве стоит трудиться?
Израильскому люду она,
Может быть, пригодится?

Любит он небылицы плести,
Сказок множество знает,
Что же, нянькой приставим его,
Пусть детей забавляет».

Так сказал он, и хохот стоял,
Но, вещая невзгоду,
Словно в туче, что с градом идет,
Рокот шел по народу.

«Так и быть! — не смутясь, Моисей
Отвечал Авирону.—
Тот, кто должен повиснуть в петле,
И в воде не утонет.

Ханаана тебе не видать,—
А востока тем боле;

С места этого ты не сойдешь,
- Не в твоей это воле».

Гробовая легла тишина
На устах всего люда,
Побледнел Авирон, задрожал
В ожидании чуда.

Чуда нет! Хохотал Авирон,
Но, вещая невзгоду,
Словно в туче, что с градом идет,
Рокот шел по народу.

VIII

Разъяренный поднялся Датан:
«Что грозишь и пророчишь!
Если я тебе правду скажу,
Слушать ты не захочешь.

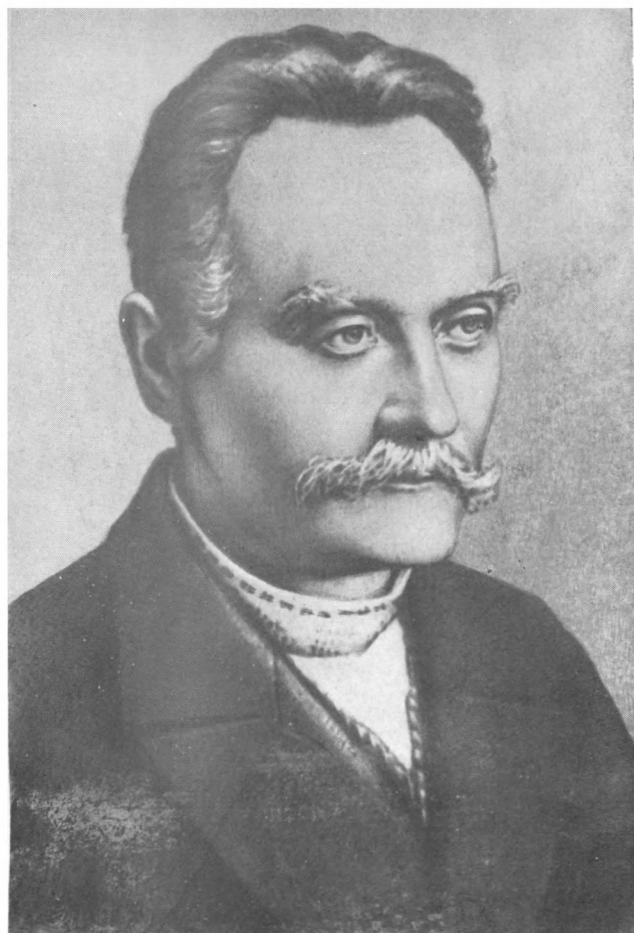
Кайся: верно, учился затем
Ты в египетской школе,
Чтобы, выросши, цепи ковать
Нашей чести и воле?

Кайся: шел к египтянам в совет
Ты затем с целью злою,
Чтобы нам с мудрецами потом
Угрожать кабалою?

Кайся: было когда-то у них
Предсказанье о дубе,
То, что дуб и двенадцать ветвей
Власть Египта погубят?

Знали все, фараон и жрецы,
Дуб и ветви — все знали —
Это наших двенадцать колен,
Что над Нилом вставали.

Ужасались, что пытки и гнет
Ни к чему не приводят,



Ведь Израиль растет и растет,
Словно Нил в половодье!

Знали: первого сына когда
Мать-еврейка рожает,
То в семье египтян в тот же день
Первый сын умирает.

Не придумал защиты никто
От суровых законов,
Только ты, перебежчик, один
Лег у ног фараона

И сказал: «Ты позволь только мне
Увести их в пустыню —
Обессилю и сделать смогу
Их покорными ныне!»

И, сдержав те слова, нас повел,
Словно в поле отару,
Фараону на радость, в пески,
Нам на горе и кару.

Сколько мертвых в пустыне легло!
Сосчитаешь едва ли.
Сотням тысяч те скалы, пески
Домовиною стали.

А теперь, коль от наших племен
Горсть одна сохранилась
И Израиля грозная мощь
По пескам распылилась,

И, как малый ребенок, упал
Храбрый дух исполина,
Страсть и смелость размякли в душе,
Словно мокрая глина,—

Увлекаешь нас в тот Ханаан
И ведешь к волчьей яме,
Ты ведь знаешь, что тут фараон
Всеми правит князьями.

Но безумье идти в западню
Нам по собственной воле!
С египтянами биться нам тут
Или сдаться им, что ли?»

— «Не печалься, мой сын! — Моисей
Так ответил Датану.—
Стан свой гордый тебе не сгибать,
Не видать Ханаана.

И еще я тебе предскажу —
Умирать будешь скоро,
Под ногами и пяди земли
Не найдешь для опоры».

— «Эй, евреи, — Датан закричал, —
Вы ж клялися Ваалу!
Иль забыли той клятвы слова,
Будто их не бывало?»

Бей камнями! Как прежде не раз,
Вновь глумится он ныне.
Пусть погибнет он лучше один,
А не то все мы сгинем!»

— «Пусть погибнет!» — Датану в ответ
Всё кругом загудело.
Только чудо — рука ни одна
Камень взять не посмела.

И Датан сразу выход нашел:
«Убирайся скорее!
Чтобы к ночи нам не осквернять
Руки кровью твоею!»

Как безумная выла толпа:
«Пусть сегодня же сгинет!»
И летел ее рев, словно вихрь,
Словно смерч, по долине.

IX

Только снова воззвал Моисей
В гневе пылком и яром,
Прокатились над степью слова,
Словно грома удары.

«Горе вам, неразумным рабам,
Ведь гордыня слепая
За собой, как незрячих, вести
Хитрецам позволяет.

Бунтари! От Египта начав,
Безрассудные, снова
Против собственной пользы всегда
Восставать вы готовы.

Горе вам, непокорным и злым
И в упрямстве единым,
То упрямство ведь ваше нутро
Рассекло, словно клином.

Руки жжете крапивою вы
Тем, кто вас опекает;
Вы разите, как бык пастуха,
Что добра вам желает.

Горе вам, что вас создал господь
Человечества цветом,
Ведь тягчайшим проклятьем для вас
Будет дар высший этот.

Ведь когда озарит вас господь
Своей ласки гореньем,
То послов и пророков его
Вы побьете камнем.

Но за кровь своих слуг, своих чад,
Что не знает он краше,
Отомстит Иегова сполна
Вам и правнукам вашим.

Будет мучить он вас, истязать,
И, заплакав от боли,
Присягнете послушными быть
Его праведной воле.

Но забудется кара едва —
Вновь вы к распрям готовы.
Черета преступлений и бед
Повторяется снова.

Горе вам, ведь придется века
Жить, учиться в той школе,
Чтобы гладко суметь прочитать
Книгу божеской воли!

Вот ваш образ: пастух, что в лесу
Старый бук обдирает,
Мочит, сушит кору, а затем
Бить ее начинает,

Чтобы сделалась губка мягка,
Словно пух под руками,
Чтобы взять у огнива могла
Это пылкое пламя.

Так и ты, мой народ! И тебя
Станет бить Иегова,
Чтоб, как трут, ты сумел воспринять
Искру божьего слова!

И ты двинешься к цели своей —
Вол, что тянет орало...
Горе тем нерадивым, кого
Бога длань покарала.

Ты далеко в былое глядишь,
Видишь в завтра дороги,
Но о близкий терновник и пни
Ты собьешь свои ноги.

Словно конь одичалый, летишь
Прямо в пропасть с разгона,

И когда-нибудь ты на ярмо
Променяешь корону!

Берегись, чтоб обеты свои
Не забыл Иегова,
И за то, что упрямуешь ты,
Не нарушил бы слова!

Чтоб, народам на страх, он тебя
Не покинул, карая,
Растоптав, как змею, что лежит
На пути, издыхая!»

И, согбенные, слушали все,
Молчаливо, устало,
Только что-то глухое в груди,
Словно смерч, клокотало.

Х

Добегало уж солнце до гор
Шаром красным, огромным,
Было, словно герой и пловец,
Что тонул в море темном.

И в безоблачном небе плыла
Тьма печали нежданной,
И томило шакалов нытье,
Словно жгучая рана.

И тогда что-то дрогнуло вдруг
В старом сердце пророка,
И на миг задержался полет
Его думы высокой.

Что же, быть ему вестником бед
Для людей истомленных?
Что-то всхлипнуло горько в груди,
Как голодный ребенок.

«О Израиль, когда бы ты знал,
Что мне вымолвить трудно!

Если б знал, как люблю я тебя,
Как люблю безрассудно.

Ты мой род и мое ты дитя,
Ты вся честь моя, слава,
Дух в тебе мой, грядущий мой день,
И краса, и держава.

Я ж всю жизнь, всё упорство тебе
Отдал, сил не жалея,—
И пойдешь по дорогам веков
Ты с печатью моею.

Нет, в тебе не себя самого
Полюбить я желаю;
Лучшим, высшим, что только постиг,
Я тебя одаряю.

О Израиль, прошу, не внимай
Богохульному слову:
Я люблю тебя крепче, сильнее,
Чем сам бог Иегова.

У него миллионы детей —
Всех он греет и холит,
Ну а ты у меня лишь один,
И не надобно боле.

Богом из миллионов ты был
В слуги избран вначале,
Но без выбора я — твой слуга
От любви и печали.

И когда для себя он берет
Дань твою трудовую,
То, Израиль, поверь, от тебя
Ничего не хочу я.

Если требует он фимиам
И похвал неустанных,
От тебя я обиды приму,
И насмешки, и раны.

Ведь не только своей добротой —
И грехами своими,
И ошибками дорог ты мне,
Хоть и плачу над ними.

Нет! За гордость тебя я люблю,
За упрямство слепое,
Что, не слушая бога, ведет
Неразумной тропюю.

И за грешную совесть твою,
За обман твой упорный,
И за то, что в земное добро
Ты вошел, словно корни.

За бесстыдство твоих дочерей,
За любви полыханье,
И за нравы твои, и за речь,
За твой смех и дыханье.

О Израиль! Ты чадо мое!
Плачься богу Шаддаю!
Как люблю я безмерно тебя,
И, однако, бросаю.

Ведь уже приближается час
Мой последний, неожиданный —
А я должен; я должен дойти
До границ Ханаана.

Вместе с вами хотел я дойти,
Трубный слушая рокот,
Но смирил меня бог, и теперь
Я вхожу одиноко.

Мне бы мертвым хотя бы упасть
У воды Иордана,
Чтобы старые кости сложить
В крае обетованном.

Буду возле Моава лежать,
Видеть горы вот эти,

Ждать, чтоб вы потянулись за мной,
Как за матерью дети.

К вам пошлю свою скорбь, чтоб она
Вас вела за собою,
Словно пес, что охотника в степь
Кличет лаем порою.

И я знаю, вы двинетесь все,
Словно воды весною,
Но в победном походе своем
Нет, не быть вам со мною.

Так вперед устремляйтесь в поход,
Словно быстрые реки!
О Израиль, ты чадо мое,
Будь же счастлив навеки!»

XI

А как вышел из табора в степь,
Еще горы горели,
И манил дымным пламенем путь,
Точно звал к дальней цели.

А оврагами тьма залегла,
Прямо в доли сбегаю,
Что-то плакало в сердце его:
«Не вернусь никогда я!»

Вот навстречу бежит детвора,
Та, что в поле гуляла,
Окружив Моисея, за плащ
И за руки хватала.

«Ты куда же так поздно идешь?
Ты побудь лучше с нами!
Видишь, стены построили мы,
Башни встали рядами!»

— «Ладно, дети, достройте одни,
Тороплюсь я, поверьте —

Я иду к пограничной стене
Между жизнью и смертью».

— «Посмотри — мы в овраге сейчас
Скорпиона убили!
А в колючем терновнике трех
Мы зайчат изловили».

— «Ладно, дети! Так бейте всегда
Скорпионов вы смело!
Хоть несправедно это, а всё ж
В жизни важное дело.

Хоть несправедно — ведь скорпион
Жить желает на свете,
Ну а в том, что в хвосте его яд,
Невиновен он, дети.

Зайцев вы отнесите туда,
Где колючие терны.
Там ведь плачет их мать! А о том
Вы не думали, верно?»

Ко всему, что живет, надо быть
Милосердными тоже!
Ибо жизнь — это клад, не сыскать
Ничего нам дороже».

— «Сядь же, дедушка, не уходи!
Ты побудь с нами рядом,
Расскажи про скитанья свои!
Все послушать мы рады.

Расскажи, как ты был молодым,
Сколько видел ты дива,
Когда тестя стада ты водил
На вершинах Хорива.

Как открыл ты терновника куст,
Что горит — не сгорает,
И как голос звучал из куста
Так, что страх пробирает».

— «Дети, мне говорить вам о том
Не пришло еще срока.
Ночь, глядите, туманы несет,
Дня смыкается око.

Только время придет и для вас
В бурном жизни порыве,
Вам покажется огненный куст,
Как и мне на Хориве.

Словно в храме очутитесь вы.
Там над горною кручей
Обратится из пламени к вам
Этот голос могучий:

«Обувь скинь повседневных забот,
Подойди сюда смело,
Ведь послать я желаю тебя
На великое дело».

Не гасите ж святого огня,
Чтоб, коль зов грянет свыше,
Вы ответствовать сердцем могли:
„О господь мой, я слышу!“»

Долго думали дети тогда
Над пророческой речью,
В час, когда он неслышно пошел
Тьме и ночи навстречу.

И висели унынье и скорбь
Над примолкшей гурьбою,
Пока темный его силуэт
Скрылся вовсе за мглюю.

XII

«Одиночество рядом со мной,
Словно море без края,
И душа, точно парус, в себя
Дуновенье вбирает.

О, давно я подвластен, давно
Той опеке жестокой!
И всю жизнь — и в степях и с людьми —
Я брожу одинокий.

Как планета, скитаясь, лечу
В бесконечную бездну,
Ощущаю лишь — божья ладонь
Прикоснулась чудесно.

Тихо всюду, замолкли уста,
Запечатано слово,
Ты лишь в сердце моем глубоко
Говоришь, Иегова.

Лишь тебя ищет сердце мое
В безысходном порыве. . .
Ты оклики меня хоть бы раз,
Как тогда на Хориве!

Вот я путь завершил, что, отец,
Указал мне тогда ты,
И опять пред тобой одиноко,
Я один, как когда-то.

Сорок лет я трудился, учил,
Весь в тебя углубленный,
Чтобы, выйдя из рабства, народ
Стал, как ты, непреклонным.

Сорок лет я усердно ковал
Их сердца, их стремленья!
И не бросили камня в меня,
Я ушел от глумленья.

В край нам обетованный пора,
Всех он краше на свете. . .
О всеведущий, разве же знал
Ты последствия эти?

Угрызение в сердце моем
Шевелится тревожно,

Я, быть может, заветы твои
Исполнял не как должно.

Иегова! Я слезно молил:
«Нем я, стар и увечен!
Дай другому жестокую власть,
Страшный дар своей речи!»

И сомнение в душу мою
Заползло ледяное...
О всеильный, скажи, отзовись —
Ты доволен ли мною?»

Так молился в пути Моисей
Сердцем, полным печали,
Но немою пустыня была,
Только звезды мерцали.

ХІІІ

Только вдруг еле слышимый смех
Помешал его думам,
Словно кто-то шагал рядом с ним
По дороге без шума.

Еле слышно звучали слова,
Как шипенье гадюки:
«Цвет бездумья приносит плоды —
Только терны и муки.

А когда будет трудно нести
Этот плод по дорогам,
То не лучше ли бремя его
Возложить нам на бога?»

Моисей

Чей-то голос! Иль в сердце моем
Боль моя отдается?
Или демон какой-нибудь здесь
Надо мною смеется!

Г о л о с

Что теперь вдруг в сомненье ввело
Реформатора дело?
Сорок лет ты уверенно вел,
Хоть и слепо, но смело!

М о и с е й

Кто ты, кто? Почему же мой лоб
Покрывается потом?
Страшно? Нет! Словно огненный клин
В грудь вонзает мне кто-то.

Г о л о с

Ты в бескрайней гордыне народ
Свел с привычной дороги,
Чтобы сделать иным. Но теперь
Разве час для тревоги?

М о и с е й

Кто же ты? Я не вижу тебя,
Пред тобой я не струшу!
Но я чувствую — огненный взгляд
Мне вонзается в душу.

Г о л о с

Разве важно кто я? Тот, кто мог
Дать веление морю,
Знает — важно не кто здесь, а что,
Справедливо ли спору.

М о и с е й

Это ложь, что из гордости я
Начинал свое дело,
Когда люд я увидел в ярме,
Мое сердце болело.

Г о л о с

Ты в себе видел брата рабов,
От стыда сердце ныло,

Ты другими их сделать хотел,
Чтоб тебе лучше было.

Моисей

Я хотел их из мрачных низин
Увести с собой вместе,
Чтоб поднять их до светлых высот
Для свободы и чести.

Голос

Но творца, что их в бездну послал,
Не спросил ты в ту пору;
Только в горе, в паденьи твоём
Ищешь в нём ты опору.

Моисей

Нет, на это лишь послан я был
Всёмогущим веленьем,
В тьму души из Хорива огонь
Мне дохнул просветленьем.

Голос

Но ведь, может, хоривский огонь
Не горел на Хориве,
А лишь в сердце упрямом твоём
И в безумном порыве?

Может, голос, что вывел тебя
На несчастья дорогу,
Не из неопалимых купин,—
Голос твой, а не бога?

Только страсть ослепляет глаза,
А желанье прикажет —
Видеть оку и мир и богов,
Как в пустыне миражи.

И в душе твоей, словно шакал,
То желание выло —
Вожакom их, пророком тебя
Лишь оно сотворило.

Моисей

Ах, от слов тех страшнее стократ
Одиночество ныне.
Кто ж ты, недруг мой?

Голос

Я — Азазель,
Темный демон пустыни.

XIV

Только звезды сверкали в ночи
И мигали в просторах.
И в сиянии их Моисей
Поднимался всё в гору.

Без дороги. Вели его ввысь
Только странные звуки:
Завыванья гиены во рву
Или шорох гадюки.

Он без усталости шел, как герой
Для последнего боя,
Только тяжкая в сердце борьба
Продолжалась с собою.

«Иль желанье,— в нем слышался крик,—
Плод стыда лишь и боли,
Этот огненный куст, что велел
Вырвать люд мой на волю?»

Иль желаньем и был тот огонь,
Тот порыв и та сила,
Что и бога и слово его
Для меня сотворила?

Иль желание — братьям помочь
Утолить их страданья —
Это грех, за который теперь
Я достоин изгнанья?

Нет, не то! Берегись, не криви
Ты своею душою!
То святое желанье! Но грех
Не подполз ли змеєю?

Разве ты их не вел, не владел
И душою и телом?
Но святые желанья та власть
В твоём сердце не съела?

Разве злей, чем любой фараон,
Для народа не стал ты?
Посягая на помыслы их,
Совесьть их проверял ты? . .

В спор с природой опасно вступать,
Рушить жизни основы;
Выдавать свою прихоть легко
За веленье Иеговы.

Что, коль ты эти все сорок лет
Болен яростью божьей,
И не божеским планом — своим
Их напрасно тревожишь?

Может статься, в Египте они,
В муках род продолжая,
Сил набраться могли, чтобы стать
Властелинами края.

Оторвал их от почвы, повел
Средь пустынного зноя;
Ты подумал: не сделал ли я
Преступление злое?

Ибо что безземельной толпе
Обещанье свободы?
Всё равно ведь что выкопать дуб
И пустить его в воду?

Разве правду не молвил Датан:
Бросив старые гнезда,

Нынче новые нам создавать
Не под силу и поздно?

Отзовись, Иегова, скажи:
Я внимал твоей воле —
Иль всего лишь игрушкой я был
Ослепленья и боли?

Отзовись, Иегова, скажи —
Или дар своей речи
Ты берешь только в наших мечтах,
В пылких снах человеческих?»

Но молчал Иегова... Вокруг
Лишь зловещие звуки:
Завыванье гиены во рву
Или шорох гадюки.

XV

Солнце встало, как пламенный круг,
Над долиною голой,
И лучами, как стрелами, тьму
Пробивало, кололо.

В том сиянии Небо-гора
В царский пурпур одета,
Были выше всех гор остальных
Ее ребра воздеты.

А на самой вершине горы,
Там, в сиянии багряном,
Кто-то высится, словно один
Из предвечных титанов.

Далеко от раздоров земли
И всех шумов и звуков
Он стоит, протянув к небесам
Распростертые руки.

И в рассветном горении небес,
В том пурпурном сиянии

Колоссальный его силуэт
Виден на расстояньи.

И туда из еврейских шатров
Беспокойные взоры
К великану летят, как послы
На далекие горы.

«Моисей там!» Друг другу уста
Прошептали несмело,
Но не высказать людям всего,
Что в сердцах наболело,

Это он на молитве стоит
И беседует с богом,
И молитвою бьет в небеса,
Словно огненным рогом.

И хоть сомкнуты крепко уста
И не слышно ни слова,
Это сердце его говорит
И кричит: «Иегова!»

Поднимается солнце, лазурь
Тяжким зноем палима,
На молитве стоит Моисей,
Как скала нерушимый.

Демон полдня бессилие шлет,
Жаром огненным пышет,
А его словно власть чьих-то рук
Поднимает всё выше.

Солнце медленно катится вниз,
Там, где Фазга вершина,
И ложится огромная тень
От вершин на равнину.

Моисея огромная тень
В лагерь падает дальний,
Словно шлет к иудейским шатрам
Зов отцовский, прощальный.

Пробегают по табору страх:
«Боже, если осудит,
То проклятие это иметь
Силу страшную будет!

Ведь колеблет молитва его
И земные основы,
Тают скалы, как воск, и дрожит
Вечный трон Иеговы.

Если он проклянет нас теперь,
Стоит солнышку скрыться,
То народ и весь край наш в ночи —
Всё навеки затмится».

XVI

Так в неравной борьбе Моисей
К своей цели стремился,
А когда ночь коснулась вершин,
Наземь он опустился.

И под ним зашаталась скала.
Где вершины темнели,
Он без памяти долго лежал,
Как дитя в колыбели.

И печальная песня над ним
Еле слышно звенела,
И он чувствовал ласку руки
Пухово́й, снежно-белой.

Он прислушался к тихим словам:
«Сын мой, бедный, усталый,—
Как за этот коротенький срок
Жизнь тебя изломала!

А давно ли тянулись к тебе
Материнские руки?
Для того ль ты явился на свет,
Чтобы вытерпеть муки?

О, как много морщинок на лбу
И как высохло тело!
Твои кудри, что гладила я,
Словно снег стали белы.

А когда-то к боям от меня
Устремлялся ты ране.
Вот к чему ты пришел! А скажи,
Как ты сердце изранил!

Бедный, бедный сыночек ты мой!
Ты растратил все силы!
И сегодня... на солнце весь день!
И к чему это было?

В день прошедший народа вникал,
В день грядущий стремился.
Неразумный ребенок, о том
Ты напрасно молился!

Вот я камень с вершины столкну,
И начнет он валиться,
От скалы и до новой скалы
И скакать и катиться.

Тут ударится он об уступ —
На куски разобьется,
Новый камень столкнет за собой,
Вместе в бездну сорвется.

Тут оставит кусок, там другой,—
И летит, и грохочет,
Кто же знает, где каждый кусок
Лечь навеки захочет?

Утверждаю: не знает и бог!
Бей поклоны отменно,
Но где должен осколок упасть,
Упадет непременно.

В нем самом и кормило и власть,
В нем самом скрыта сила,

Что назначила место ему,
Что его сотворила.

Пусть же твой Иегова могуч,
Но своим повеленьем
Даже малого камешка он
Не удержит движенье.

Вот пылинка: ты трепет ее
Еле видишь, а всё же
Увести ее в небытие
Иегова не может.

И не может ей бог приказать
Изменить направленье,
Ведь извечная сила ее
Направляет движенье.

То пылинка! А как же народ —
Многодушная сила,
Ведь любая душа в тот поток
Часть полета вместила.

Слышал песню, наверное, ты
Про слепца Ориона,—
Чтобы зренье вернуть, он искал
К солнцу путь непреклонно.

На плечах нес он поводыря,
Шутника нес молодого,
Что, смеясь над слепцом, каждый час
Путь указывал новый.

«Ты меня прямо к солнцу веди!»
Вел он утром к востоку,
В полдень к югу, на запад в ночи,
Насмехаясь жестоко.

Всё идет да идет Орион,
Полный веры в светило,
Полный к свету стремленья, что вот
Заблестит во всю силу.

Через горы и море свой шаг
Устремляет он дальше,
И не ведает, что на плечах
Потешается мальчик.

Орион — человечество всё
С верой неутомимой,
Что в усилении страшном спешит
К своей цели незримой.

Необъятное любит оно,
В неизвестность влекомо;
Чтоб к несбыточным далям дойти,
Топчет то, что знакомо.

Строит план, что осилить невмочь,
Цель громаднее актов,
И смеется над планом ее
Мальчик — логика фактов.

Как диковинный бедный слепец,
Вверясь зренью чужому,
Ты идешь не туда, куда шел,—
Всякий раз по-иному.

А, ты молишься! Бедный мой сын,—
Где твой разум, где сила?
Всё пытаешься пену молить,
Чтоб реку укротила».

XVII

И сперва те казались слова
Родниковой отрадой,
Веял свежестью и добротой
Дух какой-то прохлады.

Но повеяла вновь духота,
Сушь пустынного зноя,—
Страшно, словно ребенку в ночи,
Окруженному тьмою.

Моисей ужаснулся и встал,
Сил едва лишь хватило,
И сказал: «Меня мучишь зачем?
Чтобы слег я в могилу?»

Ты не мать, ибо в слове твоём
Не любовь замечаю.
Ты не мать! Демон зла Азазель —
Дух отчаянья, знаю.

Отступись! Грозным именем тем
Я тебя заклинаю!
Хоть ты будь и бессмертным, ты лжец!
Верить я не желаю».

— «Неразумный! — он слышит в ответ,—
Делать так не годится:
Ты клянeshь меня Им, я же сам
Божьей силы частица.

Что проклятие жалкое мне!
Ты бы умер, страдая,
Если б горя хоть сотую часть
Знал того, что я знаю.

Ты клянeshь, коль твою слепоту
Луч пронзает, который
Часть огня, где живу я и Он
Вне времен и просторов.

Горизонты смещу, чтоб ты мог
Край увидеть тот самый,
Заповедный, что Он обещал
Праотцу Аврааму!»

Озарился весь запад огнем,
И тогда Палестина
Моисею открылась с горы
Вся — широкой картиной.

А незримый товарищ его
Тихим голосом спорил:

«Видишь, зеркалом черным внизу
Стынет Мертвое море.

По ту сторону горная цепь
К небу скалами встала,
Так высоко простерлись они —
Это Кармела скалы.

Глянь на север, где горы Сион,—
Табор там иесеев;
Если крикнуть с горы, этот зов
Привлечет амореев.

Серебристый стремится Иордан
К морю Мертвому воды,
Возле устья его Иерихон
Жадно тянется к броду.

Одинока долина над ним,
В тесноте рядом с нею
Амониты с одной стороны,
А с другой — хананей.

А на западе горы встают
Ширью пастбищ зеленых,
А на севере, глянь, озерцо —
Снова горные склоны.

Вот тебе Палестина твоя
Ячменем колосится!
От Кадеса до Кармела, глянь,
Вся в ладони вместится.

Тут не видно широких дорог,
Нет и к морю прохода!
Где ж тут жить, развиваться, расги,
Размножаться народу?»

Хмуро молвил в ответ Моисей:
«Кто из камня дал воду,
Этот край переменит на рай
Для родного народа».

ХVIII

Вновь послышался сдержанный смех.
«Вера двигает горы!
Пред тобою ряд новых картин:
То, что станет скоро!

Видишь, двинулось племя твое,
Иордан переходит,
Пробивается в Иерихон,
В реках крови он бродит.

Ведь борьба эта длится века
За клочок Палестины:
Амореи, евреи, хетта,
Амалик, филистины.

Вот еврейское царство! Оно
Горя стоит и муки!
А помехи земле от него,
Как скотине от мухи.

Не успеет еще и расцвести,
Разлетится на части,
Попадая соседям своим
Прямо в жадные пасти.

Видишь, тучи какие летят
От Дамаска, Галада!
Ассирийцы евреям несут
Муки мора и глада.

Погляди, багровеют поля,
Горы трупов вздымая.
Это страшный встает Вавилон,
Иудеев сметая.

Видишь, храм Иеговы в огне!
Как букашки по полю,
Толпы скованных вместе бредут —
Их уводят в неволю.

Слышишь плач? На разбитых камнях
То пророк одинокий,
Что советовал сдаться, уйти
От расправы жестокой.¹

Смрад гниения в пустыне. Но вот
Что-то в тьме заблестало...
Тех, что веря пророку пошли,
Возвратилось так мало!

Что-то мелкое движется там,
У ограды Салима:
Новый люд, новый бог, новый храм —
Эта сила незрима.

И растет она, бьется в беде,
Прижимается к грунту,
Словно низкий и цепкий бурьян,
Вечно рвущийся к бунту.

Снова над головами людей
Бурь всемирных стремленье.
Царства встанут, чтоб снова упасть,
Словно хмурые тени.

Но упорную стойкость свою
Люд тихонько скрывает,
Лишь проклятье и ненависть он
Всем другим посылает.

Эта ненависть всех тяжелей,
«Ради бога иного»,
Вот у храма порога она,
Видишь, прячется снова.

Зло плодит она. Видишь, уже
Вняв тирану, рядами
Силы вышли, чтоб племя твое
Снова вырвать с корнями.

¹ Пророк Иеремия.

Слышишь стук! Легионы идут —
Тяжким шагом ступают,
Иудейские топчут поля,
В пустыри превращают.

Слышишь плеск! Это вражьи мечи
Кровь потоками гонят.
Слышишь крики! Твоих дочерей
Тащат волоком кони.

И ребенка голодная мать,
Видишь, там поедает!
Рядом тысячи лучших сынов
На крестах умирают.

Ныне, видно уже навсегда,
Рухнул храм Иеговы:
То, что эта разрушит рука,
Не поднимется снова.

Уцелевшие в рабство текут,
Как печальные реки,
К ним отчизна уже никогда
Не вернется вовеки.

Израильская больше звезда
Не заблещет лучами;
Только ненависть вырвется в мир,
Что взросла в этом храме.

Веры нет? Сомневаешься ты?
Веришь, ждешь неустанно!
Вот тот рай, что ждет племя твое
В крае обетованном!

Для него ты трудился! Скажи —
Надо ль было трудиться?
Может, чтобы приблизился он,
Будешь жарко молиться?»

И поник головой Моисей.
«Горе мне в горькой доле!

Иль не вырваться людям моим
Никогда из неволи?»

И упал он на землю лицом:
«Обманул Иегова!»
Словно эхо, тут демона смех
Повторил его слово.

ХІХ

Грянул гром. Содрогнулись вдруг
Гор глубоких основы;
И один за другим понеслись
Там предтечи Иеговы.

И стеною до свода небес
Взвилась черная туча,
Словно матери-Ночи лицо,
В своем гневе могуча.

Замигала в сгустившейся тьме
Огневными глазами,
Словно мать — нерадивую дочь
Распекая словами.

И с тревогой внимал Моисей
Речи пламенной молний,
Сердцу божьего гласа еще
Не услышать в безмолвьи.

Прогремел над вершинами гром,
В страхе дыбится волос,
Сердце обмерло, словно... да нет,
Не Иеговы то голос.

Среди скал завывают ветра
И клещами сурово
Душу рвут, словно стон, только в них
Не слышать Иеговы.

Вместе с градом проносится дождь,
Стужа мечется злая,

И во власти бессилья душа
Отступает больная.

Но всё стихло, лишь плачет вода,
Словно кто-то в печали;
Запах свой теребинт и миндаль
С теплым ветром смешали.

И в том теплом порыве была
Тайна вещего слова.
Сердцем вдруг ощутил Моисей,—
Говорит Иегова.

«Обманул вас Иегова? Ведь ты
Был согласен со мною?
И контракт подписал, и за то
Награжден был с лихвою?»

Знал мой план, в книге судеб прочел
Ты мои предвещанья?
Знал, что будет в конце и что я
Не сдержал обещанья?

Не носила под сердцем тебя
Мать еще той порою,
Каждый волос и каждый твой вздох
Предугадан был мною.

Ур еще для гарранских равнин
Авраам не покинул,
А я знал всех потомков его
До последнего сына.

Узок, тесен убогий ваш край,—
Ты твердишь неустанно.
А забыл, как тесна и узка
Колыбель великанов?

Час настанет и выведу вас
Для борьбы и труда я,
Так ребенка подростшего мать
От груди отлучает.

Тут на поле скупом, словно терн
Средь песков раскаленных,
Вырастайте, чтоб всё изменить,
Вы — сильны, непреклонны.

Ваша цепкость и жадность души
Мне давно уж понятна!
Вы б волчками давно расползлись
По земле благодатной.

Свое тело и душу отдать
Вы за это могли бы,—
И поймал бы вас в сети Маммон,
Словно крупную рыбу.

Вы в Египте, под тяжким ярмом,
Всё ж могли наесться...
Только знайте — тем мясом всю жизнь
Будет вам отрыгаться.

Оторвавшись от этой земли
И разбив все преграды,
Вы хотите весь мир полонить,
Добывать его клады.

Наложу на добычу зарок,
Чтоб не зарились руки,
Как змею на сокровища, дам
Вам сомненья и муки.

Кто сокровища мира возьмет,
Всех сильнее их полюбит,
Станет сам тех сокровищ рабом,
Клад души он погубит.

Ведь богатства — хозяин и раб,
Слез и крови ценою
Множа их, погубить должен сам
То богатство земное.

Как пиявку, что лечит других
И сама погибает,

Так и вас золотой океан
На мели покидает.

В золотом океане на миг
Не оставит вас жажда,
И не сможет вас хлеб золотой
Накормить хоть однажды.

И свидетели будете мне
Вы от края до края,
Что лишь духа кормильцев из всех
Я себе выбираю.

Кто предложит вам хлеб, должен сам
С хлебом стать перегноем,
А кто сможет насытить ваш дух,
Тот сольется со мною.

Вот где обетованный ваш край,
Беспределен и чуден,
Ты к нему провожатым слепым
Взялся быть моим людям.

Осиянная родина там —
Лучше целого света!
Только малый задаток ее
Палестина вам эта!

Только память она, только сон
С неизбывной тоскою,
Что в скитаньях обрел мой народ
Всё богатство земное.

А за то, что не верил совсем
Ты моей воле божьей,
Лишь увидишь ты эту страну,
А достигнуть не сможешь.

Тут и кости истлеют твои,
В назиданье для многих,
Что, всю жизнь свою к цели стремясь,
Умирают в дороге!»

XX

Ходит горе по голой горе,
Как туман по пустыне;
Сеет думы, желанья свои
По широкой равнине.

Листья сыплет, цветы, что давно
Пожелтели, увяли;
Поднимает в душе голоса,
Что давно замолчали.

То, что было ненужным вчера,
Ныне то уважают;
Что растоптано было вчера —
То священным считают.

Шумный табор еврейский всю ночь
Неусыпен, тревожен;
Скоро свет, все глядят: там ли он,
На скалистом подножье?

Нет его! В роковом этом «нет»
Ужас смерти холодный,
Знали: нечто ушло, без чего
Жизнь пуста и бесплодна.

То, к чему прикоснуться нельзя,
Что меж ними горело,
Что давало им жизненный смысл,
Освещало и грело.

И безмерное горе легло
Скорбной, траурной тенью,
Охватило весь табор тогда
Отупенье, смятенье.

Люди в лица друг другу глядят,
Побледнев от испуга,
Словно те, что убили во сне
Драгоценного друга.

Слышен топот. Иль буря в степи?
Чудо это, быть может?
То Егошуа, всадников князь,
Впереди молодежи.

Со стадами куда-то спешат...
Враг прорвался, быть может?
Гонит всех неприкаянный страх,
Перст неведомый божий.

Духа голод и страх быть одним,
Где как пропасть бывшее...
А Егошуа громко кричит:
«Все в поход! Все за мною!»

И пронесся тот зов, как орел,
Над безмолвной толпою,
И ударил, как эхо, среди гор:
«Все в поход! Братья, к бою!»

Миг один, и они сбросят плен
Отупенья слепого,
Не узнает никто, что виной
Пробужденья такого.

Тыщи глоток Егошуи крик
Пронесут над толпою;
И номады ленивые вмиг
Превратятся в героев.

И затрубят,— пустыни песок
Как болото замесят,
Авирона камнями побьют,
А Датана повесят.

Полетят, расплескав Иордан,
Через горные склоны,
Трубным звуком растопят, как лед,
Стены Иерихона.

И в столетий безвестье пойдут
В страхе, в горе, в тревоге,
Будут духу прокладывать путь,
Умирать на дороге.

Июль 1905
Львов

КОЛЮЧКА В НОГЕ

Полдень. Пышет лето. День чудесный.
Улыбается в лазури небо,
Ветры всюду дышат ароматом.
С горных пастбищ, с луговых покосов,
С вырубок пахнут малиной спелой,
От холмов — смолистой свежей пихтой.
В садик со священником мы вышли.
На холме под яблонею сели.
Вон там Черемош под нами вьется
Изумрудно-светлою змеею;
Он бурлит, шумит, как сумасшедший,
Под бугром грызет скалистый берег.
А над ним, всё в праздничном покое,
Греется гуцульское селенье.
По-над берегом тропинок ленты,
На тропинках тех толпятся хлопцы
Да гуцулки в ярко-красных юбках.
Детвора купается у моста,
И хозяева на клячах едут.
Горделиво девушка гуцулка
По цветной тропе идет и курит.

Долго-долго молча мы сидели,
Напоили грудь тем ароматным,
Теплым ветром, напоили душу
Тишиною, дикой красотою.
И промолвил старенький священник:
«Что, любуетесь? И правда, славно!

Здесь живется лучше, чем во Львове,
Меньше шуму, грому, и, однако...»

— «И, однако, горя здесь не меньше»,—
Сразу я к его словам добавил.
— «Горя! Это зелье всюду лезет.
Но хотел сказать я не об этом.
Простота здесь, всё простые люди,
Гляньте, вон в горах, по горным склонам,
На крутых вершинах недоступных,
Всюду жизнь, везде гуцул гнездится.
Он орлиным сердцем любит волю,
Любит жить он посреди природы,
Так что иногда полдня, пожалуй,
Он идет к ближайшему соседу.
Ну, так можете себе представить,
Что за люди тут, с какой душою
Вырастают на таком просторе,
Под ветрами с гор, под шум потоков,
В неустанном, грозном стоне леса,
При стадах и всю-то жизнь в безлюдье!
Как же дико здесь бушуют страсти,
Как же близко здесь от слова к делу,
Как здесь быстры, скажем, переходы
От геройства высшего порывов
До порывов злобы самой лютой!»

Он замолк и голову повесил,
Словно думой где-то был далеко.
Так помедлив, вновь заговорил он:
«Вот хотя бы о себе скажу вам!
Тридцать лет живу я между ними,
Время было ко всему привыкнуть,
А меж тем не раз такое вижу,
Так глубоко часом в сердце должен
Заглянуть, что страх меня пронзает.
Иногда мне вновь из уст народных
Так сверкнет, такое вдруг заблещет,
Что оно, как светоч, озарит всё,
Путь покажет там, где весь мой опыт
И наука тропки не находят.

Вот рассказ мой про одно несчастье,
Что совсем недавно приключилось!

Год тому минуло, так, пожалуй. . .
Косовица шла. Я пообедал
И хотел идти на этот холмик,
Где как раз докашивали сено.
Но пришел гуцул тут. «Здравствуй!» —

«Здравствуй!
Ты откуда?» — «Я,— сказал он,— здешний,
Кочеранюков Олекса». Тут лишь
Я его признал. Отец Олексы
У вершины жил Катрафийевой,
От него ведь шесть часов дороги
На коне по страшным горным тропам.
«Как дела?» — «Всё хорошо, но только
Мой отец, я вижу, к смерти близок».
— «Твой отец? Но ведь неделей раньше
На плоту еще ходил он в Куты».
— «Да, ходил, а как домой вернулся,
Он почувствовал недомоганье,
И как лег, так и не встал поныне.
Я вот к вам на лошади приехал,
Чтобы передать отцову просьбу —
Исповедаться скорей он хочет.
«Поезжай, Олекса! — так сказал он —
Да проси, чтоб не было отказа. . .»
Будьте же любезны. . .» Пал он в ноги.

— «Что ж,— я говорю,— тут не любезность,
Это долг мой. Ты же сбегай быстро
За дьячком!» — «Да я уж был там, отче,
Он сейчас придет. . . Вот он подходит».

Мы немедля собрались в дорогу,
На коней верхом мы трое сели
И отправились по тропкам в горы.
Здесь дорога не для скороходов:
Словно нитка вьется по-над кручей,
Чрез обломки скал, под крутизною,
Шаг за шагом, кони друг за другом,
Погонять их даже и не думай!

Конь гуцульский здесь хозяин полный,
Здесь он свой показывает разум.
Ты сиди на нем да лишь любуйся,
Как спокойно темно-синим оком
Он с тропинки бездну измеряет,
Как легко, беспечно, деликатно
Он идет тропой, не шире пяди,
Над такими дебрями, что сразу
Замирает дух. Тебе сдается,
Что лишь крикни здесь, то даже голос
И тебя и клячу skinет в пропасть.

Молча едем мы, я размышляю,
Думаю о старике гуцуле.
Богатырь-гуцул, на всю округу
Сыздавна он самый славный кормчий,
Человек порядочный, степенный,
Все его за честность уважают,
Слушают совет его охотно;
Он не стар — семидесяти нету,
У него в семье два взрослых сына
И вот этот хлопец. Отчего же
Захворал Кочеранюк так сильно?
Ведь неделей раньше был здоров он!
Что ж, я мыслю, на всё воля божья!
У гуцулов-рулевых здоровье —
Словно поздней осени погода:
То она смеется, то бушует.
Черемош изменчив. Вероятно,
Где-то кормчий захватил простуду,
Много раз всё хорошо сходило,
А в конце концов и расхворался.

Солнце быстро за гору садилось,
Когда мы достигли нашей цели.
Под вершиною горы, в долине,
Словно в пригоршне какой огромной,
Посреди полянки ароматной
Кочеранюка стояла хата.
На сосновой ладно сбитой крыше
Пурпуром еще лучи горели,

Тишина везде была разлита,
И покой, и пряный запах лета.

Мы коней пустили на полянку,
Сами в тесный двор вошли немедля.
Тут сидели два иль три соседа,
Трубочки покуривая тихо,
А под чистым небом, на лужайке,
Лишь одной дерюжкой покрытый,
Наш больной лежал. Лицо запало,
Очи странным пламенем горели,
Устремленные недвижно в небо.
Поздоровался я тут со всеми
И к больному подошел. «Микола,
Что ты делаешь? Ты шутишь, что ли?»
— «Нет, достойный отче, не шучу я,—
Смерть моя подходит, знаю твердо».
— «Что же у тебя болит, Микола?»
— «Всё болит, мой отче! Грудь всю колет...
Может, время к вечному покою».

Попросил я всех отсюда выйти,
Исповедовать я стал Миколу,
Причастил его, святым елеем
Лоб помазал, после с сыновьями
Разговор повел, вопросы задал:
Как давненько их отец хворает,
Что с ним делали и чем лечили?
«Как из Кут пришел, так и сказал он:
«Вот, сынки, последний раз ходил я.
Черемоша больше мне не видеть,
Умирать настало, видно, время».

Так сказал, а сам здоров как будто,
Не видать совсем его болезни,
Лишь глаза горят необычайно.
Мы и не тревожимся нисколько.
Думаем: «Отец, быть может, выпил?» .
Только ночью застонал он сильно,
Колотьем всю грудь его схватило.
Всякие советы мы давали,

Привозили доктора из Жабья,
Да, как видите, не помогает».

«Что ж сказал вам доктор?» — «Да ни слова!
Поглядел, да и повел усами,
Выписал лекарство и поехал.
Всё же дать пришлось ему десятку.
А когда мы в Жабье возвращались,
Он тогда сказал мне так: „Отец твой
Может одолеть болезнь, он сильный,
Выдержал бы он и втрое хуже.
Только что-то у него на сердце,
Так грызет его,— сказал мне доктор,—
Что вот-вот и в гроб его загонит“».

Ну, меня беседа удивила,
Ничего такого с глазу на глаз
От Миколы я ведь не услышал.
«Что ж отец,— я спрашиваю сына,—
Говорил вам, чем он огорчался?
Что его тревожило в ту пору?»
— «Лишь одно твердил он нам всё время:
„Деточки, печалиться не надо,
На лекарство для меня не тратьтесь,
Мне теперь ничто уж не поможет,
Я ведь знаю: смерть моя приходит“».

Вот о чем мы тихо говорили,
На бревне у хаты сидя вместе,
От больного старика в сторонке.
Он лежал всё так же неподвижно,
Взор, как прежде, устремлен был к небу,
Не стонал, лишь тяжело дышал он,
Будто спал он, так нам показалось.

Вдруг он попытался приподняться,
Застонал и тяжело головою
На подушку пал. «Олекса, где ты?»
Сын к нему. «Что, здесь еще священник?»
— «Здесь он, здесь, у нас и заночует,

Ведь внизу совсем уже темнеет.
Может быть, перенести вас в хату?»
— «Нет, не надо, здесь еще побуду.
Батюшку зови!»

Я встал поближе.

«Мучаюсь,— так мне сказал Микола,—
Мучаюсь, а смерть вот не приходит!»
— «Ну, не говорите так, Микола!
(Видно, вам засело в душу это)
Что так непременно ждете смерти?»
— «Ой, отец мой, всё я это знаю,
Только не оно грызет мне душу,
Непрощенный грех лежит на сердце,
Только смерть одна его искупит».
— «Что за грех такой? Скажи, Микола,
Ты же исповедовался только!
Так какой же тайный грех ты носишь?
Что ж, я исповедь могу продолжить.
Уходите все!»

— «Нет, нет, не надо!

Пусть все подойдут ко мне поближе.
Странный грех есть у меня, отец мой.
И я сам не знаю, что с ним делать,
Как его с души своей мне сбросить?
Трижды исповедался и трижды
Я из-за него ходил в Сучаву,
Шел пешком к святому Иоанну,
Трижды этот грех с меня снимали,
Всё ж он на моей душе поныне,
Словно камень, он лежит на сердце,
Грех тот не дает и умереть мне!

Вот лежу, гляжу в святое небо,
И мне кажется, что кто-то гневно
Замыкает небо предо мною;
Что-то там такое, словно туча,
Мне тропинку в небо закрывает;
Что-то здесь на мне висит такое,
Как мешок, камней и глины полный,
Так, что не могу ступить я с места.

Посоветуйте, отец достойный,
Помогите облегчить мне душу!»

Ну скажите, что я мог поделать?
Грех большой его тревожит душу,
Хоть и трижды был он исповедан.
Может статься, искренним он не был,
Скрыл подробности греха большого
И грызет тот грех нещадно совесть?
«Что ж, открой,— я говорю,— Микола,
Весь свой грех открой, о нем поведай».
— «Да, отец, вы хорошо сказали,
Всем, кто есть, не только вам, открою,
Расскажу, и сердцу станет легче.
Сядьте все вот здесь, ко мне поближе,
Слушайте, что вам скажу по правде».

Сели все мы около больного,
Около него стояли также,
Как три явора,— его три сына,
Две невестки — две гуцульских крали.
А на небе потемневшем звезды
Первые тихонько загорались.
«Слушайте меня, достойный отче,
Слушайте, любезные соседи!—
Начал речь и застонал Микола.—
Сорок лет тому назад, пожалуй,
Был я молодым тогда. Так ясно
Помню: день был летний, как сегодня,
На лугах вовсю звенели косы,
Вел я плот из Рабенца в ту пору.
Будто бы теперь его я вижу:
Лесь Гутюк стоит за рулевого
Впереди. Я — позади. И в полдень
Встали отдохнуть мы в Ясенове.
Детворы на берегу немало.
К берегу мы плот свой привязали,
Закусить пошли скорей в корчомку,
Закусили, табаку купили
И вернулись плот вести свой дальше.
На плоту, как и обычно, дети:

Бегают, с него ныряют в воду,
Плещутся, да нам не в диво это.
От причала плот мы оттолкнули,
На берег с него сбежали дети.
Вдруг я вижу — на плоту остался,
Съездившись сидит один подросток,
Лет ему двенадцать иль тринадцать.
Съездившись сидит, не замечая,
Что на быстрину наш плот выходит.
«Хлопчик,— обратился я к мальчонке,—
Ты куда?» — «Туда!» — он мне ответил
И кивнул небрежно головою
Вниз на Черемош, а на меня он
Даже не взглянул, сидит спокойно,
Будто бы он в воду загляделся.
Это, скажем, тоже мне не в диво,
Думаю: прокатится мальчонка,
На другую сторону проедет,
А сойти захочет — что нам стоит
С быстрины отплыть на мелководе,
Ну а там пускай бредет, бедняга.
А вода вовсю бурлит под нами —
Видно, шлюзы в Шибеном открыли.
Впрочем, Лесь и я места тут знали,
Где сойти на берег можно было.

Я себе стою и, как обычно,
Руль держу и управляю плотом,
Трубочку курю, смотрю лишь мельком
На мальчонку. Ну а мой мальчонка
Молча встал, не проронив ни слова,
Закатал штанины по колена,
Подошел к концу большого плота
И легонько, словно так и надо,
Свесил ноги и спустился в воду,
Не подав и голоса, безмолвно
Он исчез в волне, в пучине мутной. . .

Вышло это быстро так, неожиданно,
Как-то так естественно и тихо,
Что я, глупо вытаращив очи,

Каждое движенье хлопца видя,—
Не успел сказать ему ни слова.

Даже и смешно мне стало как-то,
Думаю: пловец он, видно, смелый,
Хочет с быстриную побороться.
И гляжу — пропал, исчез мальчонка.
Может быть, за плот он уцепился?
Нет, не видно! Может быть, нырнул он.
Чтобы после вынырнуть далеко?
Нет как нет! Уже, я вижу, плот наш
Отошел далеко от селенья,
А мальчонки нет, как не бывало!
Тут мороз меня продрал по коже,
Так не по себе мне сразу стало,
Будто это я убил мальчонку,
Будто я толкнул его в пучину,
Будто нес я своего ребенка
И рукой недоброй в воду кинул.

Я со страхом посмотрел на Леся,
Видел он иль нет, что за спиною
Было у него? Но Лесь, как прежде,
Впереди меня стоял спокойно.
Страх еще сильнее сжал мне сердце,
На село, на берег посмотрел я —
Может, там кто что-нибудь заметил?
Нет, заснули берега на солнце,
И в воде купают вербы ветви,
Кое-где дымок над хатой вьется,
Ни души на улицах пустынных,
Даже на реке детей не видно.
Перевел я дух, смотрю на волны,—
Далеко мы от села отплыли,
А мальчонки нет, как не бывало.
Так тревожно у меня на сердце,
Словно уколол кто иль железным
Раскаленным прутом тронул рану.
Страшно так, что настает удушье.
В то же время из груди стесненной
Слово на уста идет,— не слово —

Страшный крик. . . Клокочет будто,
Будто что кипит в горшке закрытом.
Пережил я миг такой в ту пору,
Полный страха и тревоги дикой,
Что не многие переживают.

Позади уж стали Устерики,
Где Черемош Черный слился с Белым,
На большую там мы вышли воду,
А на ней и плыть нам безопасней.
Там и у меня спокойней стало
На душе, и я вздохнул глубоко,
Словно груз тяжелый с плеч свалился.
Плот потом пригнали мы в Вижницу,
Получили плату за работу,
Накупили кое-что для дома.
Отдохнув немного, спозаранку
Тронулись обратно, в наши горы.
Перешли мы из Вижницы в Куты
И домой идем толпой большою
С шутками, с веселым разговором.
Я был самый среди них веселый,
Будто бы вчерашнего несчастья
Не было со мной, не приключалось.
Но пока мы шли до Ясенова,—
Вся наша компания распалась,
Только двое — я да Лесь остались.
И когда мы приближаться стали
К той корчомке, около которой
Мы вчера свой плот остановили,
Вновь мне в душу холодом пахнуло,
Я вокруг со страхом огляделся:
Не идет ли кто спросить про хлопца.
А в корчму ни за какие деньги
Не пошел бы я, ведь мне казалось,
Что меня там кто-нибудь узнает
Да и спросит сразу: «Где же хлопец?»
А в корчомке той мне надо было
Взять для косарей бутылку водки,
Вот и попросил тогда я Лесья:
«Вот тебе, дружок хороший, деньги,

Ты купи в корчме бутылку водки,
Ну и заплати сполна шинкарке,
Я тебя дождусь, с покупкой встречу».

Лесь меня всегда покорно слушал,
Деньги взял он и пошел в корчомку;
Будто кто меня ударил сзади,
Так меня тревога обступила,
Что тогда я, крепко стиснув зубы,
Нахлобучив на голову шапку,
Побежал дорогой что есть силы,
Не бежал, а будто бы летел я,
И ни разу я не оглянулся.
Не в своем уме я был в ту пору,
Страх безумный гнал меня отсюда!
Так бежал я, мчался без оглядки,
Замер дух в груди моей от страха.
Очутился я за Ясеновым
И присел на камень у дороги,
Тут я Лесья старого дождался.
Полчаса прошло как мы расстались,
«Ты прости,— сказал он мне,— дружище,
Я в корчме немного задержался,
Трубочку обжечь мне было надо,
И вот на тебе твою бутылку».

Взял бутылку я, и захотелось
Выпить из нее хоть половину,
Чтоб немного отлегло от сердца.
Но как только я открыл бутылку,
Только к горлышку чуть приложился,
Что-то вновь ударило мне в сердце
Так, что сразу я, объятый страхом,
Чуть не выронил из рук бутылку.
Но, опомнившись через минуту,
Отдал ее Лесью и промолвил:
«Ну-ка, выпей!» И ни слова больше
Я не мог тогда ему промолвить.
Только знаю, что с минуты этой
Я ни капли в рот не брал хмельного.
Я тогда поклялся, что отныне

Я на Черемош ходить не буду,
По нему плоты гонять не стану.

Так я прожил две иль три недели
Дома при работе по хозяйству.
И однажды, как-то в воскресенье,
Я услышал, что разлив во вторник
Должен быть, хоть и не в диво это,
Но меня кольнуло что-то в сердце.
Ни о чем тогда не размышляя,
В понедельник утром я собрался,
С топором, чуть свет, пошел я в Жабье.
Там я Леся взял себе на пару,
И мы с ним вдвоем пошли в Дземброно,
Где и стали оба плот готовить.
Плот собрали, переночевали,
А во вторник дождались разлива
И погнали плот наш по теченью.

Не было заботы и печали,
Только как мы вышли к Ясенову
Да приплыли к памятному месту,
Где в реку на быстрине глубокой
С плота в воду соскочил мальчонка,—
Вновь меня тревога охватила,
Пристально смотреть я начал в воду,
Думалось, утопленник вдруг выйдет.
Но лишь волны бились неумолчно,
Черемош клубился под скалою,
И вперед наш плот летел стрелою,—
А мальчонки и не видно следа.

И тогда я стал у плотогонов
Спрашивать, что, может, приходилось
Видеть им утопленника-хлопца,
Всплывшего пониже Ясенова.
Но никто мне не сказал об этом.
А обратно, к дому возвращаясь,
Я опять всё в том же Ясенове,
И в корчме, и где-нибудь в дороге
Начал я спрашивать прохожих —
Чей здесь мальчик утонул недавно?

Но никто мне не сказал об этом,
Страх мой уходить стал понемногу.

Всё ж беда меня не миновала!
Как, бывало, с кем-нибудь поссорюсь,
Женку ли ударю иль сынишку,—
То всегда за этим той же ночью
Снится мне, что я плыву рекою,
На плоту моем сидит мальчонка,
Тот же самый, скорчившийся, тихий,
В мутный Черемош он всё глядится
И тихонечко с большого плота
Опускает ноги он босые.
А потом, неслышно повернувшись,
Между бревен на живот ложится,
За бревно руками ухватившись,
Медленно совсем уходит в воду.
Тонет в волнах и с волны высокой
Много раз он мне руками машет.
Эти ночи грудь сводили страхом,
Я потом весь день ходил печальным,
Что-то мне грызет и точит душу
Так, что грех свой искупить я должен.

Я пришел на исповедь святую
И священнику, что был пред вами,
Рассказал про всё свое несчастье.
Помолчав тогда чуть-чуть, священник
Так сказал, подумав, так ответил:
«Что ж, бедняга, я не понимаю,
В чем же здесь ты можешь быть виновным?
Ты ведь не столкнул мальчонку в воду.
Что не остерег, греха в том нету,
Потому что ведь не мог же знать ты,
Что реку он хорошо не знает.
А на то, что сердце страх тревожит,
Не могу я дать тебе совета».

Так вот я два года этих прожил,
Часто забывал свое несчастье
И не ощущал совсем я страха,
Проплывая возле Ясенова.

Всё ж беда со мною приключилась:
Как-то из-за пустяков однажды
Очень рассердился я и в гневе
Сильно так побил свою Маричку,
Что водою отливал бедняжку.
И хотя она не заболела,
Всё же эта ночь была мне страшной,
Ведь мне снова Черемош приснился,
Мне приснилось, как тонул мальчонка
В быстрых, беспокойных, мутных волнах.

Я лицо мальчонки ясно видел,
Будто помощи просил он взглядом.
Я провел без сна остаток ночи
И тогда, покаяться надумав,
Я решил пешком идти в Сучаву,
Снять с души своей там грех великий.
Несчастлив был мой приход в Сучаву:
Там свершал обряд священник старый,
Торопился он и плохо слушал
Исповедь тяжелую такую.
И когда я исповедь окончил,
Он заговорил со мной сердито:
«Глупый ты, гуцул, ведь дурь всё это,
Вздор, что в голову твою приходит.
Ты мне настоящий грех поведай,
А не сны, что пьяному приснились!
Ты, наверно, много выпиваешь,
Потому и сны плохие видишь».

Я не захотел ему признаться,
Что уж сколько лет не пью я водки,
И, конца обряда не дождавшись,
Я, перекрестясь, ушел отсюда.
Всё ж мне было в жизни облегченье,
Я старался жизнь свою наладить,
Не давал я сердцу воли в гневе,
Дружно жил с соседями своими.
А когда жена моя скончалась,
Не прожив и десять лет со мною,
Я опять во сне увидел хлопца,
Из воды он мне махал рукою.

Снова я тогда пошел в Сучаву,
Там застал я старого монаха,
Что, спокойно исповедь прослушав,
Мне сказал тогда слова такие:
«Дорогой мой сын, коль это правда
То, что сказано тобою было,—
Я даю тебе сейчас прощенье,
Хоть за что, ей-богу, сам не знаю.
Я не назначаю наказанья,
Ты и сам в грехе не разобрался,
Сам себе избрал ты наказанье».

Вот и всё, что я узнал в Сучаве.
За моей спиной в ту пору было
Двадцать лет житья в труде, в работе,
Вы их, мой отец достойный, знали,
Так что говорить о них не буду,
Их я прожил без грехов тяжелых,
Ну а в чем-то я и не безгрешен.
Всё ж скажу — не проходило года,
Чтобы тот утопленник-мальчонка
Ночью мне во сне не появлялся,
Совести моей укором страшным.

Вот, пожалуй, две недели будет
С той поры, как плыл я вновь к Вижнице,
Плыл последний раз я под крутыми
Скалами, что ниже Ясенова.
И в тех мутных водах я увидел:
Высунулось что-то, забелело,
Как рука ребенка показалась.
И один раз, и второй, и третий
Поднялась она, бела, как пена.
После показалось мне, что крепко
За конец руля она схватила,
Я услышал, будто руль толкнуло,
Будто бы меня толкнуло в сердце.
И тогда мне сразу ясно стало,
Что уже недолго ждать мне смерти».

Вот что всем нам рассказал Микола,
И не знал я, что ему ответить.

И соседи все молчали тоже,
Не было меж ними разговора,
Тишина ничем не нарушалась.

И тогда старейший из соседей
Юра Романюк вот так промолвил:
«Не в обиду я тебе, Микола,
Выскажу, коль прошлое затрону,
Не сердись, пожалуйста, коль вспомню,
Как же молодость свою ты прожил.
Не скажу, что ты плохим был вовсе,
Всё же ты был гордым и богатым,
Был красив и славен меж парнями.
Только кровь тогда в тебе играла,
Руки были силой налитые,
Был задира ты, скажу, немалый.
Не было в селе такого парня,
Чтобы с ним ты ссориться иль драться
Из-за пустяков каких не стал бы.
Да и я твою запомнил руку.
Впрочем, ворошить старье не стоит!
Не скажу, что ты в отца удался,
Твой отец был человек спокойный,
Полагаю,— не через тебя ли
Раньше срока он ушел в могилу.
И на мать ты не похож нисколько,
Вежливой она была, учтивой,
Славную жену нашла для сына.
Что-то от разбойника в натуре
Было у тебя, и, как разбойник,
Удержу не знал ты в злобе страшной,
Да и мстительным тогда был очень».

Тяжко от тех слов вздохнул Микола
И сказал: «Спасибо тебе, Юра,
Что ты вспомнил мои годы злые,
Те, что прожил я как бы в тумане.
Память их почти не сохранила.
Только до сих пор одно я помню,
Как меня перед моим венчаньем
Мать моя в своей каморке тесной

На коленях слезно умоляла,
Чтоб я никогда не бил Маричку,
Ту, которую она избрала
Быть невестой мне, женою верной».

— «Ты нехорошо с ней жил, Микола,
Первый год, не то два первых года,—
Молвил дальше, вспоминая, Юра,—
Было и не раз, что прибежала
К нам твоя жена глубокой ночью,
Убегая от твоих побоев.
И не раз мне западала думка:
По добру не кончится все это!
Смерть она безвременную примет
То ль от топора, то ль от веревки».

— «Бог с тобою! — весь дрожа от страха
При словах тех Юриных, Микола
Громко вскрикнул и перекрестился.—
Знаешь, временами самому мне
Приходилось думать и об этом.
Видно, всё же сердце зачерствело
И не знал я удержу нисколько».

— «Но,— спокойно молвил дальше Юра,—
Ты сошел с пути такого сразу,
Сразу все бесчинства ты оставил,
Пить вдруг перестал, не стал буянить,
С недругами как-то помирился.
Я тогда был удивлен всем этим,
Ведь не знал я про твое несчастье,
О котором ты сказал сегодня.
Понимаешь ты его значенье?»

— «Не понять еще мне как-то, Юра»,—
Тихим голосом сказал Микола.

— «Вот, послушай, что со мной случилось
Той порой, когда я был мальчишкой,

Может статься, и твое несчастье
Самому тебе понятней станет:
Было мне лет восемь или девять,
Не было тебя еще на свете,
Как одним деньком хорошим, летним
Мы решили, хлопцы, с гор спуститься,
Захотели сбегать вниз, в долину,
Или в Черемоше покупаться.
Захотели, ну и побежали.
Сверху вниз бежать не трудно было,
Перешли второй горы вершину
И с горы увидели в долине —
Черемош серебряный змеился.
Небольшой лесок был под вершиной,
Мы его стремглав перебежали.
Из того леска сбегала тропка
Круто вниз зеленою лукою,
После надо через яр глубокий
Перебраться всем нам на поляну,
Да перескочить плетней немало,
И перебежать через дорогу,
Перепрыгнуть через два потока,
После выйти на берег отлогий,
Галькою покрытый, здесь купанье!

Так со мной бежало восемь хлопцев,
Были все почти меня постарше,
А когда примчались мы к потоку,
Хлопцы, услышав, что речка близко,
Крикнули, галопом побежали.
Я через ручей за ними прыгнул
Неудачно, так как накололся
На сухой, безлистый куст терновый.
Вскрикнул я тогда от острой боли,
Потому что крепкая колючка
В пятку мне, почти что вся, вонзилась.
Что со мною, сразу я не понял,
Мне скорей догнать хотелось хлопцев,
Пробежал я так еще немного.
А потом почувствовал, что в пятке
Крепко у меня сидит заноза,

Что осталась от терновой ветки.
Было так со мною не впервые.
Я таких колючек знал немало,
Бегая повсюду босоногим
По оврагам и густым чашобам.
Знал я, что сейчас мне надо делать,
Сразу же, не говоря ни слова,
Сел я на траву среди тропинки,
Взял иголку, что в мою рубашку
Мама вкалывала постоянно
С ниткою, коль если что порвется,
Смог бы на себе зашить я сразу.
Я присел и поглядел на пятку,
И увидел, что колючка влезла
Глубоко и что у самой кожи
Обломилась как-то так, я вижу,
Что уж пальцами никак не схватишь.
Тут спокойно поспешил я пятку,
Быстро кожу распорол иголкой,
Острием иглы схватил занозу,
Расшатал и подтянул немного
Эту очень крепкую колючку,
Чтобы пальцами схватить и вырвать.

Сколько я минут провел на тропке —
Пять иль десять, что ли, — я не помню,
Но мои друзья за это время
Мыс и два ручья перебежали,
За плетни гурьбою перелезли
И легли на бережке отлогом.
Скинули штаны и рубашонки
И с веселым криком и со смехом
Заплескались в волнах серебристых.
Этот плеск издали я слышал,
И тогда, совсем забыв о боли,
Что есть духу я через поляну
Мчался, чтоб скорей начать купаться.
Я уже примчался на дорогу
И услышал — издали от Жабья,
Крик разносится над всей рекою:
«Берегитесь! Прочь скорей! Спасите!»

Разные кричали это люди.
Но не слышали тех криков хлопцы,
Что в реке так весело купались.
Я же, слыша крик, остановился,
Посмотрел, откуда он раздался,
И увидел вдруг я, как рекою,
Чистой до этого водою,
Вал стремглав катился желтый, мутный
И почти что в сажень высоту;
Нес, крутя, деревья, щепки, ветки
И шумел, ревел при этом страшно.
Он, как вихрь, стремительно катился,
Ровно с берегами поднял воду.
Я, когда увидел это диво,
Закричал друзьям своим: «Бегите!»,
Но они за шумом не слышали.
Вал через минуту подкатился
К ним, и через миг исчез весь берег,
Вся одежда и все хлопцы сразу,
Словно их и не было вовеки.
Только я один из них остался,
И тогда мне сразу ясно стало,
Что, пожалуй, если б не заноза,
Если б с нею я не задержался,
То и мне б погибнуть вместе с ними.
Так вот и с тобой, Микола, было!
Если бы не хлопец в Ясенове,
Будто при тебе там утонувший,
Ты бы вовсе спился, распустился,
Иль погиб в какой кровавой драке,
Иль в тюрьме за буйство очутился».

Так сказал тогда гуцул старейший,
И словам его я удивился,
Показались мне они как светоч,
Что развеял мрак глубокой ночи.

Потемнело, но не веял холод,
Сыновья внесли Миколу в хату,
Нас поужинать всех попросили,
Все мы там и переночевали,

А когда мы встали утром рано —
Спал Микола на своей постели,
Тихо и спокойно, без дыханья:
Ночью он заснул сном непробудным».

1907

ПРИМЕЧАНИЯ

В сборнике представлена значительная часть наиболее интересных и характерных поэтических произведений И. Я. Франко. При жизни Франко его стихотворения были изданы семью книгами: «Вершины и низины», «Увявшие листья», «Мой изумруд», «В дни печали», «Semper tigo», «Старое и новое», «Из лет моей молодости». Принцип расположения стихотворений — по книгам, а внутри книг по циклам — был сохранен во всех последующих изданиях, в том числе и в настоящем. Стихотворения, не вошедшие в книги, выделены в особый раздел. Поэмы, независимо от того, включались ли они автором в указанные сборники, публикуются отдельно, в порядке хронологической последовательности.

В основу переводов положены тексты двадцатитомного собрания сочинений Франко (Иван Франко. Твори в двадцяти томах. Державне видавництво художньої літератури, Київ, 1950—1956).

В тексте указаны точные даты стихотворений и поэм Франко, а также частично даты первой публикации, заключенные в угловые скобки. Даты первой публикации приведены лишь для произведений, напечатанных, согласно имеющимся сведениям, до выхода сборников, в которые они вошли.

К примечаниям приложен словарь встречающихся в тексте украинизмов и полонизмов.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Из книги «Вершины и низины» (3 вершин і низин)

Впервые — Львов, 1887, с посвящением жене поэта Ольге Хоружинской. В предисловии ко второму изданию (Львов, 1893) Франко писал: «Весной 1887 года вышел небольшой сборник моих стихотворений «Вершины и низины», в котором, кроме нескольких десятков мелких пьес, лирических и эпических, была помещена также поэма «Панские забавы». Книжечка эта, тепло принятая читательской общественностью Галиции и Украины, разошлась довольно быстро и уже два года как распродана. Долго я носился с мыслью издать

заново или этот сборник, или хотя бы «Панские забавы», и наконец теперь появилась возможность выпустить в свет более обширный сборник моих стихотворений, в который вошло бы также все, что было в книжке 1887 года. Книжке этой я оставляю старый заголовок «Вершины и низины», хотя объем ее, как каждый видит, почти вчетверо больше первого издания. Может, под старым стягом не покинет ее и старое счастье. Собрать в этой книжке все, написанное мною в стихотворной форме за двадцать лет моего писательского труда, не было у меня ни мысли, ни охоты. Многие из того, что за это время было мною напечатано, не стоит теперь даже чтения, не то что перепечатки. Каждому, кто следил за развитием галицко-украинской литературы за эти двадцать лет, ясно будет и без долгих пояснений, что иначе и быть не могло с сочинениями человека, который вступил на литературную ниву молодым и неподготовленным, да и позже, вместо искреннего совета и наставления, слишком часто встречал болезненные удары, циничные насмешки, а чаще всего тупой индифферентизм и грубое невежество. Лишь трех-четыре человек мог бы я назвать, симпатия и искреннее сотрудничество которых помогли мне вырабатывать язык и форму моих поэтических сочинений, их композицию и основные мысли». Второе издание, установившее «канонический» состав сборника, по сравнению с первым было расширено за счет включения сатирической поэмы «Ботокуды», легенд «Смерть Каина», «Пьяница», «Царь и аскет», отрывков из поэм «Резуны», «Новая жизнь», цикла стихотворений «Еврейские мелодии» и других произведений, частично печатавшихся ранее в периодических изданиях (журналы «Світ», «Зоря», «Друг», «Народ» и др.), частично — опубликованных в сборнике впервые. Франко отказался от хронологического принципа построения книги, предпочтя организацию материала по определенным идейно-тематическим циклам. В процессе подготовки издания ранее публиковавшиеся произведения подверглись серьезной переработке, суть которой изложил сам Франко в цитированном выше предисловии: «Нужно ли говорить, что, выбирая свои давние стихи для этого сборника, я не считал их историко-литературными документами, которые нужно печатать, не меняя «ни буквы, ни запятой». Я пользовался авторским правом и, не касаясь основной мысли, подправлял язык, выработка которого до степени языка литературного за последние двадцать лет все-таки значительно продвинулась вперед, может быть и не без моей скромной помощи». Книга состоит из семи разделов: «De profundis», «Профили и маски», «Сонеты», «Галицкие картинки», «Еврейские мелодии», «Панские забавы» (поэма) и «Легенды». В свою очередь, три первых основных раздела включают в себя по несколько циклов, каждый из которых дает законченное развитие определенной идеи. Открывает книгу «Гимн» («Вечный революционер»), которому Франко дал подзаголовок «Вместо пролога». «Гимн» — своего рода идейный камертон сборника «Вершины и низины». «Вся первая поэтическая книга Ивана Франко — это одно из самых бодрых и вдохновенных слов в честь борьбы за социалистическое грядущее, сказанных европейской поэзией того времени, — отмечает Л. Н. Новиченко. — И если попытаться определить главный пафос книги «Вершины и низины», то можно было бы

сказать: это — поэзия *социалистического пробуждения* трудового человечества, поэзия, которая в полный голос приветствует начало великой эпохи социальных битв и переворотов» (Л. Новиченко. Наш Франко.— Сб. «Вінок Івану Франкові». К., 1957, стр. 229). Книга «Вершины и низины», пронизанная идеями революционного переустройства мира, закономерно вызвала беспокойство и возмущение в лагере реакции. Откликаясь на первое издание книги, львовский литератор, видный деятель буржуазно-националистического движения «народовцев» Гр. Цеглинский упрекал Франко в натурализме, увлечении «низменными» мотивами и сюжетами, рекомендовал призыв к революции заменить «более верным», с его точки зрения, призывом к милосердию, воззвать к «добрым чувствам» угнетателей. «Народовская» критика прилагала все усилия, чтобы дискредитировать книгу Франко, не дать ей проникнуть в народ. Тем самым «народовцы» выступили в трогательном единении с царской цензурой, которая запретила книгу к распространению в пределах Российской империи. В цензурном рапорте «крамольная» книга была охарактеризована следующим образом: «Автор изображает положение малороссов в Австрии и России в самом мрачном свете, как находящихся в неволе, в тюрьме, в цепях и гибнущих с голода. Он приглашает их «сеять думы вольные», выступить на борьбу со своими угнетателями, то есть с правительством и всеми сильными и богатыми людьми, «добывать волю», жертвовать за народ своей кровью и спалить огнем то, чего нельзя смыть кровью... выступает ярым защитником лиц, стремящихся путем насильственного переворота изменить существующий общественный строй. Царя он сравнивает с хищным беркутом, который впоследствии и сам должен будет погибнуть от руки тех, кровь которых он пьет». (Цит. по кн.: И. Басс. Иван Франко. М., 1957, стр. 196.) Прогрессивная общественность встретила книгу Франко восторженно. По свидетельству современников, стихи переписывались от руки, заучивались на память.

DE PROFUNDIS.

Гимн (Вместо пролога). Перевод стихотворения «Гімн (Замість пролога)». Стихотворение написано поэтом в тюрьме. В марте 1880 г. Франко был вторично арестован и под нелепейшим предлогом содержался под стражей до 6 июня, а затем был отправлен по этапу к месту жительства, в село Нагуевичи. Тяжкие физические и нравственные испытания не сломили поэта. В тюремной камере он продолжает интенсивный творческий труд: записывает из уст товарищей по заключению песни и рассказы, пишет стихи, обдумывает повесть «На дне». Интересно отметить, что «Гимн» был впервые напечатан латинским шрифтом на страницах львовской польской рабочей газеты «Prasa» (1882, № 9) под названием «Hymn. Wiczynti rewolucyjnego».

Веснянки (Веснянки)

І. «Удивлялась зима...» Перевод стихотворения «Дивувалась зима...»

II. «Гремит! Благодатная ближе погода...» Перевод стихотворения «Гримить! Благодатна пора наступає...»

III. «Греет солнышко!..» Перевод стихотворения «Гріє сонечко...»

IV. «Уж солнышко вновь по лугам...» Перевод стихотворения «Вже сонечко знов по лугах...»

V. «Свет мой, Земля, ты всего нам роднее...» Перевод стихотворения «Земле, моя всеплодущая мати...»

VI. «Распускайся, развивайся...» Перевод стихотворения «Розвивайся, лозо, борзо...»

VII. «Не забудь, не забудь...» Перевод стихотворения «Не забудь, не забудь...»

VIII. «Лицо небес яснее стало...» Перевод стихотворения «Лице небесне прояснилось...»

IX. «Ой, поет в саду, щебечет соловей...» Перевод стихотворения «Ще щебече у садочку соловій...»

X. «Время весеннее, делось куда ты?..» Перевод стихотворения «Весно, ох, довго ж на тебе чекати...»

XI. «Рад бы, весна, я порою отрадной...» Перевод стихотворения «Рад би я, весно, в весельші нуті...»

XII. «Что за дым клубится в поле?..» Перевод стихотворения «Ой, що в полі за димове...»

XIII. «Песни доли вешней...» Перевод стихотворения «Весняні пісні».

XIV. «Думы, песни мои...» Перевод стихотворения «Думи, діти мої...»

XV. *Vivere memento!* Перевод одноименного стихотворения. *Телл вчера, как Лазарь*, я и т. д. Согласно евангельской легенде, Иисус Христос воскресил на четвертый день после смерти праведника Лазаря, жителя города Вифании.

Думы пролетария
(*Думи пролетарія*)

I. На суде. Перевод стихотворения «На суді».

II. Милосердным. Перевод стихотворения «Милосердним».

III. *Sempreg idem!* Перевод одноименного стихотворения.

IV. Идеалисты. Перевод стихотворения «Идеалісти».

V. «Всюду преследуют правду...» Перевод стихотворения «Всюди нівечиться правда...»

VI. Покой. Перевод стихотворения «Супокій».

VII. Товарищам. Перевод стихотворения «Товаришам».

VIII. «Не люди нам враги, о нет...» Перевод стихотворения «Не люди наші вороги...» *Лаокоон* (греч. миф.) — троянский жрец, пытавшийся помешать своим согражданам ввести в город оставленного греками на поле боя деревянного коня, в котором спрятались греческие воины. Боги, предрешившие гибель Трои, послали на Лаокоона огромных змей, которые удушили героя и его двух сыновей.

IX. «Не долго я на свете жил...» Перевод стихотворения «Не довго жив я в світі ще...» Написано в тюрьме.

X. «Вы плакали фальшивыми слезами...» Перевод стихотворения «Ви плакали фальшивими сльозами...» Подобно предыдущему, написано в тюрьме. Франко предугадал реакцию галицкого «хорошего общества»: после его второго ареста оно окончательно отвернулось от «отъявленного социалиста».

Excelsior!

I. Батрак. Перевод стихотворения «Наймит». *Руина* (укр.) — разрушение, разорение. В фольклорных памятниках и дореволюционной историографии так назывался период после смерти Богдана Хмельницкого, когда в результате предательской политики части старшины, пошедшей наговор с панской Польшей и Турцией, украинские земли подверглись невиданному разорению и разграблению. *Как титан былого* (греч. миф.) — имеется в виду Антей, сын бога морей Посейдона и Геи (Земли). Прикосновение к земле делало его непобедимым. Образ Антея стал символом силы, которую дает человеку связь с матерью родиной.

II. Беркут. Перевод стихотворения «Беркут».

III. Христос и крест. Перевод стихотворения «Христос і хрест».

IV. Челн. Перевод стихотворения «Човен».

V. Камнеломы. Перевод стихотворения «Каменярі».

VI. Идиллия. Перевод стихотворения «Ідилія». *Дил* — поросшая лесом горная цепь в Карпатах, полукругом огибает родное село поэта Нагуевичи.

**ИЗ РАЗДЕЛА «ПРОФИЛИ И МАСКИ»
(ПРОФІЛІ І МАСКИ)**

*Из цикла «Поэт»
(«Поет»)*

I. Песня и труд. Перевод стихотворения «Пісня і праця».

II. Чем песня жива? Перевод стихотворения «Чим пісня жива?»

III. Певцу. Перевод стихотворения «Співакові».

IV. Родное село. Перевод стихотворения «Рідне село». Стихотворение написано поэтом в первые дни пребывания в Нагуевичах, куда он после освобождения из тюрьмы был препровожден под жандармским конвоем. «Каменистой улицей высокий австрийский жандарм с петушиными перьями на шляпе вел какого-то «пана», вероятно, к сельскому старосте. «Пан» был невымытый, заросший, босой и такой измученный, что еле-еле передвигал ноги. Мы видели, как сквозь дорожную пыль из пальцев его сочилась кровь», — вспоминал о возвращении Франко в Нагуевичи односельчанин поэта (Ілько Бадинський. Спогади бориславського шахтаря.— Іван Франко у спогадах сучасників». Львів, 1956, стр. 148—149). Лишенный всяких средств к существованию, больной, Франко вынужден был заниматься физическим трудом, не имея возможности покинуть Нагуевичи.

*Из цикла «Украина»
(«Україна»)*

Моя любовь. Перевод стихотворения «Моя любов».

**СОНЕТЫ
(СОНЕТИ)**

Значительная часть «Сонетов» была написана поэтом осенью 1889 г. в Львовской тюрьме. Обеспокоенные разоблачительными выступлениями Франко во время предвыборной кампании, австрийские власти арестовали поэта вместе с группой польских и украинских прогрессивных деятелей и более двух месяцев продержали в заключении, не предъявив никакого обвинения.

*Свободные сонеты
(Вольні сонети)*

I. «Сонеты — как рабы. На них оковы...» Перевод стихотворения «Сонети — се раби. У форми пута...»

II. «Зачем, мужик, ты к знатным затесался...» Перевод стихотворения «Чого ти, хлопе, вбравсь у стрій лицар».

ський...» *Резец Петрарки*. Итальянский поэт Франческо Петрарка (1304—1374) известен своими сонетами.

III. Котляревский. Перевод стихотворения «Котляревский». *Котляревский* Иван Петрович (1769—1838)— выдающийся украинский драматург и поэт, творчество которого ознаменовало первый этап развития новой украинской литературы.

IV. Народная песня. Перевод стихотворения «Народна пісня».

V. «Слепцы клянут наш век напрасно, веря...» Перевод стихотворения «Незрячі голови наш вік кленуть...»

VI. «О сердце женщины! Ты лед студень...» Перевод стихотворения «Жіноче серце! Чи ти лід студений...»

VII. «Страшитесь вы той огненной стихии...» Перевод стихотворения «Вам страшно тої огняної хвилі...»

VIII. «Мы ищем в юности нетерпеливо...» Перевод стихотворения «В снах юності так сквапно ми шукаєм...»

IX. «Когда железо силою живою...» Перевод стихотворения «Як те залізо з силою дивною...»

X. «Смешон мне этот мир. Еще смешней поэт...» Перевод стихотворения «Смішний сей світ! Смішніший ще поет...»

XI. Сикстинская мадонна. Перевод стихотворения «Сікстінська мадонна».

XII. «Вот спит дитя, невинный ангел чистый...» Перевод стихотворения «Ось спить дитя, невинный ангел чистий...»

XIII. Песня будущего. Перевод стихотворения «Пісня будущини».

XIV. «Долой пустые словосочетанья...» Перевод стихотворения «Досіть, досіть слова до слів складати...»

XV. «Нет, не любил доселе никогда я...» Перевод стихотворения «Ні, не любив на світі я нікого...»

XVI. «И довелось же мне узнать страданье!...» Перевод стихотворения «І довелось мені за се страждати...» *Конвенциональный* — обыденный, банальный.

XVII. «Когда в сонетах Данте и Петрарка...» Перевод стихотворения «Колись в сонетах Данте і Петрарка...» Спенсер Эдмунд (1552—1599)— крупнейший поэт английского Возрождения. Virtuозный мастер стиха, Спенсер создал, в частности, замечательные образцы сонета (цикл «Аморетти»). «Панцирный» сонет. Франко дал к этой строке следующее примечание: «Речь идет об известных в немецкой литературе «Geharnischte Sonette» Фр. Рюкерта». Фридрих Рюкерт (1788—1866)— немецкий поэт, реакционный романтик. Стойла Авгиевы (греч. миф.). Элидский царь Авгий владел огромным стадом, стойла которого не очищались 30 лет.

*Тюремные сонеты
(Тюремні сонети)*

I. «Се дом печали, плача, въздыханья...» Перевод стихотворения «Се дім плачу, і зітханья...» *Строки итальянца* — т. е. Данте, см. стр. 740.

II. «Узка и тяжела к добру дорога...» Перевод стихотворения «Вузька, важкая до добра дорога...»

III. «Впрямь, как скотину, всех тут описали» Перевод стихотворения «Гей, описали нас, немов худобу...»

IV. «Сижу в тюрьме я, как стрелок в кустах...» Перевод стихотворения «Сиджу в тюрмі, мов в засідці стрілець...»

V. «Хотите знать, как время мы проводим...» Перевод стихотворения «Вам хочесь знать, як нам в тій казематі...»

VI. «Ах, вы шуметь?» — охрана закричала...» Перевод стихотворения «Не будеш тихо! Крикнув пост і шпарко...»

VII. «Ночь. Камера уснула. Там и тут...» Перевод стихотворения «Вже ніч. Поснули в казні всі, хрупуть...» *Волчок* — тюремный смотровой глазок.

VIII. «Едва лишь сон начнет смыкать нам очи...» Перевод стихотворения «А ледво тільки сон нам зломить очі...»

IX. «Нет и пяти, а утренней порою...» Перевод стихотворения «А рано, поки час ще виб'є п'ятий...» *Войско лопотовское*. Лопотов — название тюрьмы. *Петрарка* — см. стр. 705.

X. «Давным-давно, в одном почтенном доме...» Перевод стихотворения «Колись в однім шановнім руськім домі...» *Читали мы «Что делать?»* Идеи Н. Г. Чернышевского оказали большое влияние на формирование мировоззрения Франко. В конце 1876 г. Франко принялся за перевод романа «Что делать?» и часть перевода успел в 1877 г. опубликовать в студенческом журнале «Друг».

XI. «Встаем с рассветом, лица умываем...» Перевод стихотворения «Встаём раненько, миёмось гарненько...» *Однажды в Бориславе так*. В г. Бориславе находились крупнейшие в Галиции нефтяные промыслы. Еще будучи гимназистом последних классов, Франко познакомился с рабочими-нефтяниками. Со временем эти связи окрепли. Франко не раз бывал в Бориславе, изучал быт и условия труда «рипников». Накопленный им обширный материал лег в основу цикла «Бориславских рассказов», повести «Борислав смеется» и других произведений. Сопоставление эпизода из жизни нефтяников с тюремными картинами чрезвычайно показательно.

XII. Прогулка. Перевод стихотворения «Прохід».

XIII. «Нет, иногда тюремные порядки...» Перевод стихотворения «Ні, наш тюремний домовий порядок...»

XIV. «Берут дыру, железом обкуют...» Перевод стихотворения «Беруть діру, залізом обкують...»

XV. «Да высшая, не думайте вы, власть...» Перевод стихотворения «Та ви не думайте, що вища власть...»

XVI. «Когда, как рыба, что попала в сети...» Перевод стихотворения «В тих днях, коли, неначе риба в сіти...»

XVII. «Замолкла песня. Не взмахнет крылами...» Перевод стихотворения «Замовкла пісня. Чи ж то їй, свободній...»

XVIII. *Ha usordning*. Перевод одноименного стихотворения.

XIX. «Велят, чтобы в тюрьме мы не курили...» Перевод стихотворения «Не вільно в казні тютюну курити...»

XX. Ключники и смотрители. Перевод стихотворения «Ключники і дозорці».

XXI. «Что мне шумит, что мне звенит, как в туче...» Перевод стихотворения «Що ми шумить, що ми дзвенить, мов в хмарі...» Первая строка — перефразированное выражение из «Слова о полку Игореве».

XXII. «Вошла особа. «Имя?» Отвечаю...» Перевод стихотворения «Ввійшла фігура. «Як зветесь ви?» — „Франко“...»

XXIII. Тюремная культура. Перевод стихотворения «Тюрємна культура». *Фемида* (греч. миф.) — богиня правосудия и законности. Изображалась с повязкой на глазах (олицетворение беспристрастия).

XXIV. Разговоры. Перевод стихотворения «Розмови».

XXV. Арестантская песня. Перевод стихотворения «Пісня арештантська».

XXVI. Кто ее сложил. Перевод стихотворения «Хто її зложив». Франц-Иосиф (1830—1916) — император австрийский (с 1848 г.).

XXVII. «Народ наш видел беды... Весть худая...» Перевод стихотворения «Народ наш в бідах добрий практик: зла вість...» *Атлант* (греч. миф.) — титан, держащий на своих плечах небесный свод.

XXVIII. «Нет, вы не знали власти надо мною!...» Перевод стихотворения «Ні, ви не мали згляду надо мною...»

XXIX. «Раз мне во сне явились две богини...» Перевод стихотворения «У сні мені явились дві богині...»

XXX. «И первая сказала: „Я любви!“» Перевод стихотворения «І говорила перша: „Я любов...“».

XXXI. «„Я ненависть“,— другая говорила...» Перевод стихотворения «І говорила друга: „Я ненависть...“»

XXXII. «Сидел пустынный старый возле скита...» Перевод стихотворения «Сидів пустинник біля свого скиту...»

XXXIII. «Россия, край печали и терпенья...» Перевод стихотворения «Росіє, краю туги да терпіння...» *Летят, косями ложатся в снежном поле*. Речь идет о революционерах-народовольцах. *Спит витязь Святогор*. Образ спящего богатыря Святогора Франко неоднократно применял к России. «Как-то в одной из бесед со мной,— вспоминал А. Е. Крымский,— он сказал: „Россия — это богатырь Святогор. Он дремлет в пещере! Но наступит час, он проснется и даст свободу не только своему народу, но и другим народам. Я верю в великую миссию русского народа, который всегда был другом всех угнетенных народов“» (Агафангел Крымский. Він з нами! — Иван Франко у спогадах сучасників, стр. 523).

XXXIV. «Как я вас ненавижу, вы — машины...» Перевод стихотворения «Як я ненавиджу вас, ви машини...»

XXXV. «Что волк овцу ест — жалко, да не диво...» Перевод стихотворения «Що вовк вівцю їсть, жалко, та не диво...» *Фарисеи* — сторонники одного из важнейших религиозно-политических течений в Иудее. Рьяно защищали чистоту иудейского вероучения и морали в борьбе с ранним христианством, не брезгая при этом никакими средствами. В переносном смысле: лицемерные защитники прогнивших основ. Понтий *Пилат* — римский правитель (прокура-

тор) Иудей. Согласно евангельской легенде, дав, вопреки своему убеждению, согласие на казнь Иисуса Христа, «взял воды и умыл руки перед народом», чтобы показать свою личную непричастность.

XXXVI—XXXVIII. Легенда о Пилате. Перевод стихотворения «Легенда про Пилата». В стихотворении использован один из малопопулярных апокрифов о кончине Пилата (согласно другому, пользовавшемуся большим распространением,—Пилат покончил жизнь самоубийством).

XXXIX—XLIII. Кровавые сны. Перевод стихотворения «Криваві сні». «*Се человек*» — слова Пилата о Христе (Евангелие от Иоанна, XIX, 5). *Бруно* Джордано (1548—1600) — итальянский философ и естествоиспытатель. Сожжен на костре инквизиции за еретические взгляды. *Кампанелла* Томазо (1568—1639) — итальянский философ, один из ранних представителей утопического коммунизма. В 1598 г. был арестован по обвинению в заговоре и после страшных пыток осужден на пожизненное заключение. Провел в тюрьме 27 лет. *Дамиан* Роберт-Франсуа (1715—1757) — французский рабочий-слесарь. Совершил покушение на жизнь Людовика XV. Был казнен после страшных мучений, специально предуказанных приговором трибунала. *Вот Гонта, почерневший от побоев*. Казацкий сотник Иван Гонта вместе с крестьянином Максимом Зализняком в 1768 г. возглавил народное восстание против польской шляхты, известное под названием «*Колывщина*» (от «*кол*» — основное оружие повстанцев). Схваченный царскими войсками, Гонта был выдан польскому правительству. По приговору суда казнь-пытка должна была растянуться на 14 дней. «*Смиловившись*», палачи отрубили Гонте голову после трех дней жесточайших мучений. Подвиг Гонты воспел Т. Г. Шевченко в поэме «*Гайдамаки*». Описывая мучения Гонты, Франко явно исходит из примечания к поэме, данного Шевченко: «*Привезли его в кандалах в польский лагерь недалеко от Балты, с отрезанным языком и правою рукою... потом палачи раздели его, как мать родила, и посадили на раскаленное железо; потом сняли со спины двенадцать полос кожи*» (Т. Г. Шевченко. Стихотворения. «Библиотека поэта», Большая серия, Л., 1954, стр. 191). *Аутодафе* — обряд сожжения «еретиков» и грешников по приговору инквизиции, существовавший в некоторых католических странах до конца XVIII в. *Пестель* Павел Иванович (1793—1826) — один из виднейших деятелей декабристского движения, основатель и руководитель Южного общества. 13 июня 1826 г. вместе с четырьмя другими декабристами повешен на кронверке Петропавловской крепости. *Каракозов* Дмитрий Владимирович (1840—1866) — русский революционер, участник Ишутинского кружка, сторонник тактики индивидуального террора. 4 апреля 1866 г. совершил покушение на жизнь Александра II. 3 сентября казнен на Смоленском поле по приговору верховного уголовного суда. *София*—Софья Львовна Перовская (1853—1881), одна из руководителей и вдохновителей «Народной воли». Принимала деятельное участие в подготовке покушения на Александра II, осуществленного 1 марта 1881 г. Казнена 3 апреля 1881 г.

вместе с другими участниками покушения. *Достоевский*. Ф. М. Достоевский за участие в революционном кружке петрашевцев в 1849 г. был приговорен к смертной казни, которая в последний момент была заменена каторжной тюрьмой. *Тарас* — Т. Г. Шевченко. За участие в тайном Кирилло-Мефодиевском братстве, за сочинение «возмутительных стихов» в 1847 г. был арестован и отдан в солдаты «с запрещением писать и рисовать». Лишь спустя десять лет поэт был освобожден.

XLIV. «Меж стран Европы мертвое болото...» Перевод стихотворения «Багно гнилее між країв Європи...» Этот и следующий сонеты во втором издании сборника «Вершины и низины» были из цензурных соображений адресованы России. В экземпляре, подаренном А. Е. Крымскому, поэт исправил обращение «Росіє» на «О, Австріє», восстановив тем самым подлинный смысл сонетов.

XLV. «Тюрма народов, обручем из стали...» Перевод стихотворения «Тюрмо народів, обручем сталеним...»

Э п и л о г. Перевод стихотворения «Епілог». *Катрены, терцеты* — части сонета, состоящего из двух четверостиший (катренов) и двух трехстиший (терцетов).

ИЗ РАЗДЕЛА «ГАЛИЦКИЕ КАРТИНИ» («ГАЛИЦЬКІ ОБРАЗКИ»)

I. В ш и н к е. Перевод стихотворения «В шинку».

IV. М и х а й л а. Перевод стихотворения «Михайло».

VI. Г а л а г а н. Перевод стихотворения «Галаган». Историю возникновения стихотворения, небезынтересную с точки зрения творческой лаборатории Франко, рассказала Михайлина Рошкевич (Иванец), сестра Ольги Рошкевич (см. примечание к сб. «Увядавшие листья»): «В начале нашего знакомства я рассказала Франко случай из детских лет. Как-то воскресным днем я со старшим братом были одни на кухне. Пришел хлопец из села, в одной рубашке, как обычно ходили горские дети. Была зима, выпал большой снег. Брат держал в руке монету в 4 крейцера, такую монету называли крестьяне «галаган». Брат сам закапывался в снег и сказал хлопцу, что если он так зароется в снег, то получит галаган. У хлопца заискрились глаза, и он исполнил эту проделку, за что получил галаган. Я сказала об этом маме, мама сердилась на брата, и случай этот остался в моей памяти. Почему рассказала его Франко, зачем и для чего — не знаю. Хлопцу ничего не случилось, он из-за этого не захворал. Вскоре появилось стихотворение «Галаган», и я тогда показывала этого хлопца Франко, вот ведь — живет, не умер, большой вырос. Зачем же было так трагически изображать?» (Михайлина Рошкевич. Спогади про Івана Франка. «Іван Франко у спогадах сучасників», стр. 146). Наив-

ное негодование М. Рошкевич, увидевшей в стихотворении отступление от жизненной правды, лишь оттеняет положенный в основу всей поэзии Франко принцип реалистической типизации явления. Рассказ о детской шалости, осмысленный Франко в свете всей тяжелой, полуголодной жизни горцев, превратился под его пером в трагическую новеллу.

VII. Журавли. Перевод стихотворения «Журавлі». «Курлы, курлы, журавлі» и т. д. В подлиннике «Круцю, круцю, журавлі, Ваша мати на воді».

VIII. Думы на меже. Перевод стихотворения «Гадки на межі». *Terminus* (римск. миф.)— бог межей и пограничных межевых знаков. *О сыне, что в Боснии дальней убит*. Речь идет об оккупации австрийскими войсками в 1877—78 гг. Боснии и Герцеговины, бывших тогда турецкими провинциями.

IX. Думы над мужицкой пашней. Перевод стихотворения «Гадки над мужицькой скибою».

X. В лесу. Перевод стихотворения «В лісі».

XI. Голод. (Отрывок из поэмы «Резуны») Перевод стихотворения «Голод» (Уривок з поеми «Різуні»). Темой задуманной Франко поэмы должно быть восстание крестьянское в 1846 г. в Западной Галиции. Многочисленные отзвуки этих событий слышны в поэме «Панские забавы». *Кровавый год сорок шестой*— см. примечания к поэме «Панские забавы», стр. 734. *До Покрова*— праздник Покрова пресвятой богородицы отмечался церковью 1 октября.

XIII. Отрывок из поэмы «Новая жизнь». Пролог. Перевод стихотворения «Нове життя. Уривки з поеми. Пролог». Над поэмой Франко усиленно работал в 1883—1885 гг. Сохранилось несколько отрывков и план поэмы, оставшейся незаконченной. Некоторые мотивы поэмы «Новая жизнь» использованы Франко в поэме «Панские забавы».

Увядшие листья (*Вів'яле листя*)

Впервые — отдельным изданием, Львов, 1896. В предисловии к этой «лирической драме» Франко писал: «Герой этих стихов, тот, кто в них выявляет свое «я», — покойник. Был это человек слабой воли и буйной фантазии, с глубоким чувством, но мало приспособлен-

ный к практической жизни. Судьба обычно насмехается над такими людьми. Кажется, что сил, способности, охоты к труду у них много, а, однако, они никогда ничего путного не сделают, ни на что большое не осмелятся, ничего в жизни не добьются. Самые их порывы не видны постороннему глазу, хоть безмерно болезненны для них самих. Вот потому-то, исчерпав силы в таких порывах, они обычно застревают где-нибудь в каком-то темном углу общественной жизни и прозябают день за днем, мешают себе и другим. Герой этих стихов кончил немного счастливей: раз в жизни отважился на решительный шаг и пустил себе пулю в лоб. Причина этой неожиданной решимости никому не была известна, потому что мой бедный приятель не имел обыкновения с кем-либо говорить о своей особе, о своих планах, надеждах или страданиях. Только через несколько месяцев после его смерти случайно попал мне в руки его дневник — измятая и испачканная тетрадь, исписанная второпях, по ночам. Я неохотно принялся читать его и долго мучился, пока дочитал до конца. Дневник писался беспорядочно; были это преимущественно лирические возгласы, вздохи, проклятья и самобичевания, а о фактах рассказывалось очень мало. Я понял лишь, что покойник влюбился в какую-то барышню, получил от нее отказ (видно, умная барышня была, знала, какой муж ей не нужен), а потом мучился своей любовью долгие годы, пока его возлюбленная не вышла замуж. Тогда он покончил с собой. Поняв эту фактическую основу дневника, я начал внимательнее перечитывать отдельные его части. Много было там неумелой болтовни, много немудрящего философствования и непонятных упреков, — но среди этой мякины попадались места, полные силы и выражения непосредственного чувства, места такие, в которых мой покойный приятель, хоть вообще не сильный в прозе, добывал из своей души истинно поэтические ноты. Эти места производили на меня сильное впечатление. Вдумываясь в ситуацию, в душевное настроение автора дневника, я пробовал передать эти места стихотворным языком и выпускаю их теперь в свет. Зачем? Стоило ли трудиться, чтобы выпустить в свет пару горстей увядших листьев, бросить в круговорот нашей современной жизни несколько капель, отравленных пессимизмом, или, вернее, безнадежностью, отчаянием и беспомощностью? У нас и так этого добра достаточно! Но кто его знает, — думалось мне, — может быть, это горе что оспа, которая лечится прививкой оспы? Может быть, образ мучений и горя большой души исцелит какую-нибудь больную душу в нашем обществе? Мне припомнился гетевский Вертер и припомнились те слова, которые Гете написал на экземпляре этой своей книги, посылая ее одному своему знакомому. С теми словами и я вручаю эти стихи нашему молодому поколению: «*Sei ein Mann und folge mir nicht nach!*» (Будь мужчиной и не следуй за мной!)). Реакционная и консервативная критика расценила «Увядшие листья» как отказ Франко от борьбы за социальные идеалы, уход в сферу «чистой лирики». В ряде статей Франко был отнесен к поэтам-декадентам, а книга его признана пронизанной безнадежным пессимизмом. При этом совершенно игнорировалось предисловие Франко, в заключительных словах которого с афористической точностью сформулирована идейная задача книги. Совсем иначе восприняла

«Увядшие листья» передовая общественность. «Трагизм личной жизни часто вплетается в терновый веноч жизни народной. У Франко есть прекрасная вещь — лирическая драма «Увядшие листья», — говорил М. М. Коцюбинский. — Это такие легкие, нежные стихи, с такой широкой гаммой чувства, пониманием души человеческой, что, читая их, не знаешь, кому отдать предпочтение: поэту борьбы или поэту-лирику, певцу любви и настроений» (М. М. Коцюбинский. Собрание сочинений, т. 3. М., 1951, стр. 49—50). О борьбе противоречивых суждений вокруг «Увядших листьев» писал сам Франко в предисловии ко второму изданию, вышедшему в Киеве в 1911 г. (предисловие датировано 10 ноября 1910 г.): «Спустя четырнадцать лет после появления «Увядших листьев» потребовалось второе издание этого сборника лирических песен, самых субъективных из всех, которые появились у нас со времени автобиографических стихов Шевченко, но при этом наиболее объективных по способу изображения сложного человеческого чувства. Не могу сказать, что тогдашняя литературная критика хорошо поняла намерения и характер моего сборника. Самое подробное сочинение о нем Василия Щурата в «Зорі» (речь идет о статье В. Г. Щурата «Поэзия увядших листьев в свете общественных задач искусства», опубликованной в журнале «Зоря», 1897, №№ 5, 6, 7. — В. С.) старалось осудить его как проявление совершенно излишнего у нас пессимизма. Не только сам я, но — это стало мне известно уже тогда — также значительная часть публики совсем иначе поняла эти стихи, и я надеюсь, что и нынешнее поколение найдет в них немало такого, что отзовется в его душе совсем не пессимистическими нотами. Отдавая в печать это второе издание, я, где можно, сделал языковые поправки, хоть это не всюду оказалось возможным. Не нужно, кажется, добавлять, что прозаическое предисловие к первому изданию, которое и здесь печатается без изменения, не более чем литературная фикция. Давать ключ для объяснения отдельных стихотворений не вижу надобности; мне кажется, что и без автобиографического ключа они имеют самостоятельное литературное значение». Анализируя на примере «Увядших листьев» особенности лирической поэзии Франко, М. Рыльский писал: «Франко владел большим лирическим даром. Однако интересно, что в предисловии к сборнику «Увядшие листья» он подчеркивал объективный характер своей лирики, говоря, что это сборник песен, «самых субъективных из всех, которые появились у нас со времени автобиографических стихов Шевченко, но при этом наиболее объективных по способу изображения сложного человеческого чувства. Эту «объективность в способе изображения» мы имеем право, как мне кажется, охарактеризовать термином реализм. «Увядшие листья» — не просто несколько «горстей» лирических признаний, а лирическая драма в полном смысле этого слова, драма самого Франко, а не «лирического героя», как это старался доказать автор, выпуская первое издание книжки. Тем удивительней и тем сильнее влияет на нас этот спокойный тон, который мужественно высекает поэт из своего наболевшего сердца» (Максим Рыльский. Классики и современники. М., 1958, стр. 226—227).

**ПЕРВАЯ ГОРСТЬ
(ПЕРШИЙ ЖМУТОК)
(1886—1893)**

I. «На смену тоске отупенья...» Перевод стихотворения «По довгим важким отупінню...»

II. «Ну что меня влечет к тебе до боли?..» Перевод стихотворения «Не знаю, що мене до тебе тягне...»

III. «Не боюсь я ни бога, ни беса...» Перевод стихотворения «Не боюсь я ні бога, ні біса...»

IV. «За что, красавица, я так тебя люблю...» Перевод стихотворения «За що, красавице, я так тебе люблю...»

V. «Повстречались мы с тобою...» Перевод стихотворения «Раз зішлись ми случайно...»

VI. «Ты, только ты моя единая любовь...» Перевод стихотворения «Так, ти одна моя правдивая любов...»

VII. «Эти очи—словно море...» Перевод стихотворения «Твої очі, як те море...»

VIII. «Не надейся ни на что». Перевод стихотворения «Не надійся нічого».

IX. «Ни на что я не надеюсь...» Перевод стихотворения «Я не надіюсь нічого...»

X. «Бескрайнее поле, где снег пеленою...» Перевод стихотворения «Безмежне поле в сніжному завою...»

XI. «Ты на улице при встрече...» Перевод стихотворения «Як на вулиці зустрінеш...»

XII. «Зря смеешься, девочка...» Перевод стихотворения «Не минай з погордою...»

XIII. «Преступник я. Чтоб заглушить...» Перевод стихотворения «Я нелюд! Часто, щоб зглушити...»

XIV. «Судьба—стена меж нами. Как волнами...» Перевод стихотворения «Неперехідним муром поміж нами...»

XV. «Нередко мне является во сне...» Перевод стихотворения «Не раз у сні являється мені...»

XVI. Похороны пани А. Г. Перевод стихотворения «Похорони пані А. Г.»

XVII. «Никогда тебя не клял я...» Перевод стихотворения «Я не кляв тебе, о зоре...»

XVIII. «Ты плачешь. Частые слезинки...» Перевод стихотворения «Ти плачеш. Сліз гірких потоки...»

XIX. «На тебя я не в обиде, доля...» Перевод стихотворения «Я не жалуюсь на тебе, доле...»

XX. Призрак. Перевод стихотворения «Привид».

Эпиграмм. Перевод стихотворения «Епілог».

ВТОРАЯ ГОРСТЬ

(ДРУГОЙ ЖМУТОК)

(1895)

I. «Где Сан течет зеленый, в Перемышле...» Перевод стихотворения «В Перемишлі, де Сян пливе зелений...»

II. «Мне трудно...» Перевод стихотворения «Полудне...»

III. «Явор зеленый, явор зеленый...» Перевод стихотворения «Зелений явір, зелений явір...»

IV. «Стройная девушка, меньше орешка...» Перевод стихотворения «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...»

V. «Красная калина, что ты долу гнешься...» Перевод стихотворения «Червона калино, чого в лузі гнешся...»

VI. «Ах ты, дубок, дубочек кудрявый...» Перевод стихотворения «Ой ти, дубочку кучерявий...»

VII. «О, печаль моя, горе...» Перевод стихотворения «Ой, жалю мій, жалю...»

VIII. «Я не тебя люблю, о нет...» Перевод стихотворения «Я не тебе люблю, о ні...» *Я, как на стипцах Иксион* (греч. миф.). Царь лапифов Иксион, удостоенный Зевсом приглашения на Олимп, стал добиваться любви Геры, за что Зевс приказал приковать его к вечно вращающемуся огненному колесу. *Кого предатель Сфинкс поймал*. Сфинкс (греч.—душительница) в греческой мифологии — крылатое чудовище с львиным туловищем и головой женщины, убивавшее путников, которые не могли разгадать задаваемую им загадку.

IX. «Зачем ты совсем не смеешься?...» Перевод стихотворения «Чому не смієшся ніколи...»

X. В вагоне. Перевод стихотворения «В вагоні».

XI. «Смейтесь, звезды, надо мною!..» Перевод стихотворения «Смійтесь з мене, вічні зорі...»

XII. «Зачем приходишь ты ко мне...» Перевод стихотворения «Чого являєшся мені...»

XIII. «Вьется та тропиночка...» Перевод стихотворения «Оце тая стежечка...»

XIV. «Знать бы чары лучше, что сгоняют тучи...» Перевод стихотворения «Як би знав я чари, що спиняють хмари...»

XV. «Что счастье жизни? Лжи струя...» Перевод стихотворения «Що щастя? Се ж ілюзія...» *Шлемиль* — герой повести немецкого писателя-романтика Адальберта фон Шамиссо (1781—1838) «Удивительная история Петера Шлемиля» о человеке, продавшем черту свою тень.

XVI. «Коль не вижу тебя...» Перевод стихотворения «Як не бачу тебе...»

XVII. «Если ночью услышишь ты, что за окном...» Перевод стихотворения «Як почувеш вночі край свого вікна...»

XVIII. «Хоть не цвести тебе в тиши полян...» Перевод стихотворения «Хоч ти не будеш квіткою цвісти...»

XIX. «Как вол в ярме, вот такя, день за днем...» Перевод стихотворения «Як вил в ярмі, отак я, день за днем...»

XX. «Сыплет, сыплет, сыплет снег...» Перевод стихотворения «Сипле, сипле, сипле сніг...»

ТРЕТЬЯ ГОРСТЬ
(ТРЕТІЙ ЖМУТОК)

(1896)

I. «Льдом студеным покрыта...» Перевод стихотворения «Коли студінь потисне...»

II. «Да, умерла она. Бам-бам! Бам-бам!...» Перевод стихотворения «Вона умерла! Слухай! Бам! Бам-бам!...»

III. «Мне теперь навеки дела нет...» Перевод стихотворения «Байдужісінько мені тепер...»

IV. «Как тень, я шел порой ночью...» Перевод стихотворения «В алеї нічкою літною...»

V. «Два белых окна с кружевной занавеской...» Перевод стихотворения «Покоїк і кухня, два вікна в партері...»

VI. «Отчаянье! Что я считал...» Перевод стихотворения «Розпука! Те, що я вважав...»

VII. «Жить не могу—не погибаю...» Перевод стихотворения «Не могу жить, не могу згинуть...»

VIII. Да, я хотел себя убить...» Перевод стихотворения «Я хтів життю кінець зробити...»

IX. «Любовь три раза мне была дана...» Перевод стихотворения «Тричі мені являлася любов...» Автобиографический комментарий к стихотворению дал автор в письме к А. Е. Крымскому от 26 августа 1898 г.: «Значительное влияние на мою жизнь, а значит, также на мое творчество, оказали отношения мои с женщинами. Еще в гимназии я влюбился в дочь одного украинского попа, Ольгу Рощкевич (она переводила кое-что из Золя и Гонкуров, собирала в Лолине свадебные песни, перевела роман Ланской «Обрусители»). Наша любовь тянулась 10 лет, родители сначала относились ко мне благосклонно, надеясь, что я сделаю блестящую карьеру, но после моего процесса 1878—1879 гг. запретили мне бывать в их доме, а в 1880 г. заставили дочь выйти за другого... Это был для меня тяжелый удар; следы его найдете в «На дне» и в стихах «Листок любви». Позднее я познакомился с двумя украинскими поэтессами Юлией Шнайдер и Климентией Попович, но ни одна из них не имела на меня продолжительного влияния. Больше впечатление произвело на меня знакомство с одной полькой, Иозефой Дзвонковской. Я хотел жениться на ней, но она, чувствуя, что заболевает чахоткой, отказала мне и через несколько лет, работая народной учительницей, умерла... Роковым для меня было то, что, уже переписываясь с моей теперешней женой, я издали познакомился с одной панночкой полькой и влюбился в нее. Эта любовь мучила меня дальнейших 10 лет; ее последствием были сочинения «Манипулянтка», «Увядшие листья», две пьесы в «Измарагде» и венапечатанная повесть «Lelut i polelut»... После этого Вам будет понятна песня «Любовь три раза мне была дана» в „Увядших листьях“ (Иван Франко. Твори в двадцяти томах, т. 20. К., 1956, стр. 580—581). *Сфінкс* — см. стр. 715.

X. «Подходит мрак. Боюсь я этой ночи...» Перевод стихотворения «Находить ніч. Боюсь я тої ночі...»

XI. «Бес нечистый, дух разлуки...» Перевод стихотворения «Чорте, демоне розлуки...»

XII. «И он пришел ко мне. Не призраком крылатым...» Перевод стихотворения «І він явивсь мені. Не як мара рогата...» *Были конфискабель* — т. е. были под угрозой изъятия.

XIII. «Матушка ты моя родненькая...» Перевод стихотворения «Матінко моя ріднесенька...»

XIV. «Песня подбитая, милая пташка...» Перевод стихотворения «Пісне моя, ти підстрелена пташко...» *Терцины* — трехстрочные строфы, связанные между собой определенной рифмовкой. *Октава* — строфа из восьми строк.

XV. «И ты прощай! Теперь тебя...» Перевод стихотворения «І ти прощай! Твого ім'я...»

XVI. «Что песни! Утратила она...» Перевод стихотворения «Даремно, пісне, шез твій чар...» *Нирвана* — см. ниже.

XVII. «Поклон тебе, Будда!..» Перевод стихотворения «Поклін тобі, Буддо...» *Сансара* (санскритск. — странствование, бытие, течение жизни). У брахманистов, буддистов и последователей некоторых других верований распространено учение о переселении душ, согласно которому душа вечно переходит из одной тленной формы в другую, причем всякое новое существование влечет за собой новые страдания. Источник этих страданий неизбывен, ибо в новом существовании наступает возмездие за проступки, неизбежно совершенные в предыдущем. *Нирвана* (санскритск. — угасание, исчезновение, искупление) — в буддийской религии последнее, высшее состояние человеческого души, достигаемое в результате полного прекращения процесса ее «перевоплощения». Только нирвана избавляет человека от страданий, неизбежно связанных, согласно догматам буддизма, с земным существованием.

XVIII. «Душа бессмертна! Жить ей бесконечно!..» Перевод стихотворения «Душа безсмертна! Жить віковічно їй...» *Лойола* Игнацио (1491—1556) — основатель ордена иезуитов, имя которого стало символом религиозного фанатизма и изуверства (см. у Франко в стихотворении «Страшный суд»: «Лойолы — изуверы»). *Торквеада* Томазо (1420—1498) — великий инквизитор Испании, фанатик, прославившийся чудовищной жестокостью. *Ягве* (Иегова) — бог иудеев. *Астарт* — богиня древних семитов.

XIX. «Самоубийство — трусость...» Перевод стихотворения «Самовбійство — се трусість...» *Авва* (древнеевр.) — отец.

XX. «Такой удобный инструмент...» Перевод стихотворения «Оцей маленький інструмент...»

Из книги «Мой Измарagd» (Мій Ізмараgd)

Впервые — отдельным изданием — Львов, 1897 (на титульном листе дата — 1898). В предисловии Франко подробно рассказал об истории возникновения книги, о происхождении ее названия: «Измарagdом назывался в старой Руси сборник рассказов и притч, частью

оригинальных, а частью заимствованных из греческих сочинений отцов церкви, подобранных так, чтоб целое составляло как бы полный курс практической христианской морали. Мне давно хотелось написать подобную книжку — тем языком, что на нынешнее поколение должен производить впечатление, во многом подобное тому, которое на старых русинов производил язык церковный, — то есть языком поэзии. В поэтической форме я и хотел дать современному украинскому читателю ряд рассказов, притч, раздумий и других проявлений чувства и фантазии, темы которых почерпнуты из разных источников, отечественных и чужих, восточных и западных, и которые, однако, связывались бы в органическое целое не какой-либо одной тенденцией, не одной догмой, религиозной или эстетической, а только общим диапазоном нравственного чувства и темперамента, через который они прошли, прежде чем вылились в эту форму. Блуждая по раздорожьям всемирной истории и литературы, я издавна собирал понемногу или намечал себе для дальнейшей обработки отдельные камешки, пригодные для моей постройки; самые ранние наброски, помещенные в этой книжке, созданы еще пятнадцать лет тому назад. Но только в последнее время тяжелая болезнь, сделавшая меня на несколько месяцев неспособным к другому труду, дала мне возможность написать большую часть того, что тут напечатано. Значительная часть помещенных здесь стихотворений, это подлинные *Schmerzenskinder* (дети страдания.— В. С.). Я писал их в темной комнате, с зажмуренными больными глазами. Может быть, это мое физическое и духовное состояние отразилось и на облике книжки. Во время болезни человек нуждается, чтоб с ним обходились мягко, ласково, да и сам становится мягким и ласковым и терпеливым. Его охватывает глубокое, нежное чувство, желание любить, быть благодарным кому-нибудь, прильнуть к кому-нибудь доверчиво, как ребенок к отцу. Не знаю, насколько ясно отразилось это чувство в книжке, но знаю, что я хотел сделать ее книжкой навстречу нравственной. Конечно, моя мораль значительно отличается от той катехизисной, догматической морали, что у нас выдается за единственно христианскую. Но я убежден, что в основе своей она гораздо ближе к морали всех тех великих учителей человечества, «ищущих царствия божия и правды его», чем коленопреклоненная, низкопоклонная, черствосердая мораль многих столпов церкви, призванных и непризванных защитников религии. Но я не хочу вступать с ними в споры. Храм моей Матери-Музы слишком свят, чтоб делать из него место торговли. А помещенные дальше произведения, вылившиеся из моего нравственного чувства,— подлинная поэзия должна быть всегда нравственной, ибо источник у них один,— пусть говорят сами за себя. Если они не сумеют достаточно ясно выразить того, что было у меня на душе, когда я слагал их, в таком случае, дорогой читатель, отбрось эту книжку, как нескладную, бесталанную писанину. Не сердце было пустым и черствым, когда они слагались, а только силы не хватило излить в словах то, что было на сердце. Не указываю источников, откуда взяты отдельные стихотворения. Почти ничего здесь нет, что можно было бы считать переводом. Кроме оригинального, есть тут немало и такого, где на чужую

основу я накладывал свои собственные узоры. А откуда взята эта основа и кому и где я «подражаю», это оставляю любопытству тех критиков нынешнего и будущего времени, у которых не найдется лучшего занятия, чем отыскивать «источники» вдохновения поэта. Что там! Эти источники сотни, тысячи лет открыты и доступны каждому, и здоровому глазу искать их недалеко. А тебе, дорогой брат или дорогая сестра, что будешь читать эти строки «не мудрствуя лукаво», желаю того душевного спокойствия, того мягкого, нежного, искреннего настроения, которое находил я, слагая средь боли и тяжелой муки те простые, часто скорбные, иногда, может быть, сухо-поучительные и морализаторские стихи. Если заронят они в твою душу хоть каплю доброты, кротости, терпимости не только к иным взглядам и верованиям, но даже к человеческим порокам и ошибкам и прегрешениям, то не напрасной будет моя работа. Древнерусский автор не без умысла назвал свой сборник «Измарагдом». Он, очевидно, верил в то, что говорится об этом камне в известном апокрифическом сказании: «Измарагд свѣтелъ есть, яко и лице челоувѣче видѣти в немъ яко в зеркалѣ». Этими простыми словами высказано и мое наивысшее стремление как писателя и поэта: чтоб мое слово было *ясным* и чтоб в нем, как в зеркале, виднелось человеческое, истинно человеческое лицо». Подражание древнерусскому образцу сказалось в распределении материала по разделам и в их наименованиях: 1. «Поклоны» 2. «Парнетикон» (от греч. — поучаю; сборник моральных наставлений); 3 «Притчи»; 4. «Легенды». Но даже там, где поэт использовал традиционные мотивы (как, например, в «Притчах» и «Легендах»), он оставался подлинно современным. Большинство же произведений, включенных в книгу, не имеет даже таких, внешних, связей с древним «Измарагдом». Это относится к пятому и шестому разделам («По селам» и «В Бразилию»), к «Поклонам», ко многим стихотворениям из «Парнетикона».

ИЗ РАЗДЕЛА «ПОКЛОНЫ» (ПОКЛОНЫ)

История первых пяти стихотворений цикла такова. В 1897 г., в виде предисловия к польскому изданию сборника своих рассказов «Obrazki galicyjskie» («Галицкие картинки»), Франко поместил автобиографическую заметку «Niemo ó sobie samym» («Нечто о себе самом»). В этой заметке Франко, в частности, писал: «Признаюсь в еще большем грехе: даже нашей Руси (тут, как и в других местах, Франко употреблял слово «Русь» в значении «Западная Украина». — В. С.) не люблю так и в такой мере, как это делают или притворяются, что делают, патентованные патриоты. Что в ней должен любить? Чтоб любить ее как географическое понятие, я слишком большой враг пустых фраз, достаточно много видел, чтоб утверждать, что нигде нет такой прекрасной природы, как на Руси. Чтоб любить ее историю, я достаточно хорошо ее знаю, слишком горячо люблю общечеловеческие идеалы справедливости, братства и свободы, чтоб не чувствовать, как мало в истории Руси примеров подлинной гражданственности, подлинной самоотверженности, подлинной любви. Нет, любить эту историю очень трудно, ибо почти на каждом шагу

нужно бы плакать над нею. Или, может быть, должен любить Русь как расу — эту расу отяжелевшую, нескладную, сентиментальную, лишенную закалки и силы воли, так мало приспособленную к политической жизни на собственной мусорной куче и такую плодovitую на оборотней самого различного сорта?» Лживым и лицемерным воздыханиям «патентованных патриотов» — буржуазных националистов Франко противопоставил искреннюю, действенную любовь сына народа к народу: «Как сын украинского крестьянина, вскормленный черным крестьянским хлебом, трудом твердых крестьянских рук, чувствую обязанность барщиной всей жизни отработать те гроши, которые дала крестьянская рука на то, чтоб мог вскарабкаться на вершину, где виден свет, где пахнет свободой, где сияют общечеловеческие идеалы. Мой украинский патриотизм — это не сентиментальность, не национальная гордость. Это тяжкое ярмо, возложенное на мои плечи. Я могу содрогаться, могу втихомолку проклинать судьбу, которая возложила мне на плечи это ярмо, но сбросить его не могу, другой отчизны искать не могу, ибо стал бы подлым в собственных глазах. И если что-нибудь облегчает мне несение этого ярма, так это то, что вижу, как украинский народ, угнетенный, лишенный света и деморализованный на протяжении долгих веков, и сегодня бедный, бессильный и беспомощный, все-таки понемногу поднимается, все более широкие массы его ощущают жажду света, правды и справедливости, и к ним он ищет путей. Значит, стоит работать для этого народа, и никакой труд не пропадет втуне» (Иван Франко. Твори в двадцати томах, т. 1. К., 1955, стр. 27—28). Выступление поэта-демократа против националистического лжепатриотизма вызвало бурю негодования в кругах националистически настроенной интеллигенции. Брань и угрозы по адресу Франко стали своего рода признаком «хорошего тона». Но сломить, запугать поэта не удалось. На клевету и инсинуации буржуазных националистов Франко ответил рядом стихотворений из цикла «Поклоны».

I. Поэт говорит. Перевод стихотворения «Поет мовить».

II. Украина говорит. Перевод стихотворения «Україна мовить».

III. Раздумье. Перевод стихотворения «Рефлексія».

IV. Седоглавному. Перевод стихотворения «Сідоглавому». Ответ на анонимную статью «Грустное явление» («Смутна поява» — «Діло», 1897, 13 мая, № 97), написанную одним из главарей буржуазных националистов Юлианом Романовичем. В этой статье Романович клеветнически утверждал, что Франко лишен чувства патристизма.

V. Когда бы... Перевод стихотворения «Якби...»

VI. Декадент. Перевод стихотворения «Декадент». Поводом для написания стихотворения послужила статья критика и либера-

гуроведа В. Г. Щурата (1871—1948) «Літературні портрети. I. Др. Іван Франко» («Зоря», 1896, № 2). Не поняв подлинного смысла «Первой горсти» «Увядших листьєв», Щурат упрекал Франко в упаднических настроениях, в апологии пессимизма и называл его поэтом-декадентом.

VII. Моей не моей. Перевод стихогворения «Мой не мой».

ИЗ РАЗДЕЛА «ПРИТЧИ» (ПРИТЧИ)

I. Притча о жизни. Перевод стихотворения «Притча про життя».

II. Притча о вере. Перевод стихотворения «Притча про віру». *Акафист* (греч.) — особые церковные службы, во время которых совершаются благодарственные моления в честь богородицы, Иисуса Христа и святых. Здесь употреблено в смысле «благодарственная молитва». *Горé* — к небу, ввысь.

III. Притча о любви. Перевод стихотворения «Притча про любов». *Иосиф* (библейск.) — сын патриарха Иакова. Любимец отца, он был ненавистен своим старшим братьям, которые хотели убить его, но потом, изменив решение, продали в рабство в Египет. Со временем Иосиф сделался верховным министром Египта. *Пентефрий* — египетский вельможа, жена которого пыталась соблазнить Иосифа; отвергнутая Иосифом, она оклеветала его.

IV. Притча о красоте. Перевод стихотворения «Притча про красу». *Аристотель* (384—322 до н. э.) — греческий философ; был воспитателем *Александра Македонского*.

V. Притча о дружбе. Перевод стихотворения «Притча про приязнь».

VI. Притча о благодарности. Перевод стихотворения «Притча про вдячність».

VIII. Притча об истинной ценности. Перевод стихотворения «Притча про правдиву вартість».

IX. Притча о глупости. Перевод стихотворения «Притча про нерозум».

ПО СЕЛАМ (ПО СЕЛАХ)

I. «На Подгорье в долах, по низинам...» Перевод стихотворения «На Підгір'ю села невеселі...» *Подгорье* — Прикарпатье. *Страшный суд, Никола да Варвара* — т. е. иконы, изображающие картину Страшного суда, святого Николая Чудотворца и

святую Варвару. *Матица* — потолочная балка. Акт *лицитационный* — акт о продаже имущества с аукциона.

II. «Шинок шумит, шинок гудит...» Перевод стихотворения «В шинку шумить, в шинку гуде...»

III. «То не пчелы, не шмели...» Перевод стихотворения «Вранці-рано по селі...»

IV. «Та побранилися...» Перевод стихотворения «Зразу сварилися...»

V. «Тем же утром, с криком, с шумом...» Перевод стихотворения «Того рана з криком, шумом...»

VI. Знахарка говорит. Перевод стихотворения «Ворожка мовить».

VII. «Вот идет Пазюк до дому...» Перевод стихотворения «Іде Пазюк від ворожки...»

VIII. «Ой-ой! На селе приключилась беда...» Перевод стихотворения «Ой-ой! Метушня і тривога в селі...»

IX. «Скоро месяц, как кум в каталажке сидит...» Перевод стихотворения «Три неділі вже кум у арешті сидів...»

X. В ночном. Перевод стихотворения «На пастівнику». *Из Седого конокрады*. «Седое — село в Самборском уезде, известное своими конокрадами». (Примечание И. Франко.) *Тремоло* — очень быстрое повторение одного или чередование нескольких звуков (муз. термин). *Цесарь* (от польск. *Cesarz* — император) — так галицкие крестьяне называли австрийского императора. *Кальвария* — так в Галиции назывались места, где были оборудованы живописностроенные Голгофы — панорамы, воспроизводившие сцену распятия Христа. Кальварии привлекали множество верующих, ходивших туда на богомолье. *Тогда на землю Илия придет*. Согласно Библии, пророк Илия должен явиться на землю перед вторым пришествием Христа. *Воз* (укр.) — созвездие Большой Медведицы. *Косари* (точнее — Косарь) (укр.) — созвездие Орион.

В В Р А З И Л И Ю (ДО В Р А З И Л І І)

С середины 80-х гг. Польшу охватила эмиграционная горячка, обусловленная рядом причин экономического и политического порядка. Только из западных польских земель за период с 1885 г. по 1905 г. эмигрировало около двух миллионов человек. Сотни тысяч поляков и украинцев покинули Галицию. Среди них были люди,

принадлежавшие к различным социальным слоям, но подавляющее большинство эмигрантов рекрутировалось из доведенного до крайней степени нужды и отчаяния крестьянства. Значительная часть переселенцев направлялась в Южную Америку, куда их всячески зазывали эмиграционные агенты, сновавшие по нищим галицким деревням. На поверку прелести «бразильского рая» оборачивались тропической лихорадкой, изнурительным трудом, полуголодным существованием. Многие тысячи жизней уносила дорога. Наиболее сильные и выносливые проходили ее дважды — разочаровавшись в «заморском счастье», разоренные дотла, возвращались они на родину. Эмиграция превратилась в национальное бедствие. Прогрессивная общественность гневно обличала злоупотребления и мошенничества эмиграционных агентов, старалась разъяснить широким массам трудящихся подлинные условия жизни в Бразилии. Эмиграция породила в Польше целую литературу — художественную и публицистическую (книги А. Дыгасинского, Г. Сенкевича, М. Конопницкой, З. Хелмицкого, Ю. Семирадского и др.). Потрясенная трагическими бедствиями эмигрантов, польская поэтесса-демократка Мария Конопницкая создала свое лучшее творение — поэму «Пан Бальцер в Бразилии». «По своей теме, по идейно-художественному значению поэма «Пан Бальцер в Бразилии», — писал М. Рыльский, — стоит в одном ряду с такими произведениями, как «Без языка» Короленко, как стихотворный цикл Ивана Франко „В Бразилию“» (М. Рыльский. Мария Конопницкая. В кн.: Мария Конопницкая. Сочинения, т. I. М., 1959, стр. 15). Это сопоставление не случайно. В своем отношении к эмиграции Франко был целиком солидарен с прогрессивными польскими литераторами. В ряде статей начала 90-х гг. он показал подлинные причины эмиграции, кроющиеся в безземелье и нищете крестьянства, разоблачив тем самым буржуазную ложь о «разыгравшихся аппетитах» переселенцев. Около 1895 г. Франко задумал и начал работу над драмой «В Бразилию». В основу одноименного цикла стихотворений легли обширные материалы, собранные писателем (часть этих материалов сохранилась в архиве Франко).

I. Письмо Стефани. Перевод стихотворения «Лист до Стефані». Публикуя три стихотворения из «бразильского» цикла в журнале «Літературно-науковий вісник» (1898, т. I, кн. 1), Франко сопроводил их таким примечанием: «Тем, кому это неизвестно, следует пояснить, что среди украинского населения в Галиции широко распространены рассказы о покойном эрцгерцоге Рудольфе, и ими не раз эмиграционные агенты обманывают людей, втягивая их в неимоверно пагубную эмиграцию; эмиграционный агент Джерголет несколько лет тому назад прошел всю восточную Галицию, выдавая себя за Рудольфа и зазывая людей в Бразилию». Эрцгерцог Рудольф (1858—1889) — единственный сын императора Франца-Иосифа. За «либеральные взгляды» отец отстранил его от всякого участия в государственном управлении. Благодаря этому популярность Рудольфа в оппозиционных кругах неожиданно возросла. Без каких-либо оснований в нем стали видеть поборника справедливого разрешения крайне назревшего в Австро-

Венгрии национального вопроса, чуть ли не «демократа». 30 января 1889 г. Рудольф был найден с простреленной головой и с разряженным револьвером в руке в своем охотничьем замке Мейерлинг. По одной версии, он покончил с собой, не желая выполнить распоряжение отца — порвать со своей возлюбленной, баронессой М. Вечерой (она была найдена в той же комнате отравленной); по другой — убит опекуном и дядей Вечеры Аристидом Валтацци. Официальные коммюнике сообщали о «внезапном ударе», постигшем эрцгерцога. Разноречивость сведений о кончине Рудольфа породила легенду о том, что он жив и бежал из Австрии. Воспользовавшись легендой, эмиграционные агенты распространили слух, что Рудольф хочет создать в Бразилии «мужицкое царство». Стефания (род. в 1864) — дочь бельгийского короля Леопольда II, в 1885 г. вышла замуж за эрцгерцога Рудольфа. Комментируя стихотворение «Письмо Стефании», Франко отмечал: «Писем, подобных этому, послано было много из разных мест Галиции».

«Когда услышишь, что в тиши ночной...»
Перевод стихотворения «Коли почувеш, як в тиші нічній...»

III. «Два панка пошли гулять...» Перевод стихотворения «Два панки йдуть попри них...» По предположению Г. Д. Вервеса, это стихотворение представляет собой своего рода отклик Франко на полемику вокруг книги А. Дыгасинского «На погибель» («Na zlamanie karku», 1893). Реакционные публицисты обвиняли Дыгасинского, нарисовавшего правдивые картины невыносимо тяжелого быта эмигрантов, в «сгущении красок», «преувеличениях» (см.: Г. Д. Вервес. Великий друг литературы польского народу. В сб. «Слово про Великого Каменяра», т. 1. К., 1956, стр. 470).

IV. «Ой, расплескалось ты, русское горе...» Перевод стихотворения «Гей, розіллялось ти, руське горе...» Любляна (Лайбах) — тогда: центр провинции Каринтия, входившей в состав Австро-Венгрии; ныне — город в Югославии. Река — сербское название порта Фиуме. Понтебба — железнодорожная станция на границе между Италией и Австрией. Кормона (Кормонс) — город в северной Италии. Парана, Спириту-Санто, Минас-Жераес — бразильские штаты.

V. Письмо из Бразилии. Перевод стихотворения «Лист із Бразилії». Как отметил Г. Д. Вервес, стихотворение это имеет много общего с первыми тремя разделами поэмы М. Конопницкой «Пан Бальцер в Бразилии» (вплоть до совпадения отдельных ситуаций). Франко высоко ценил творчество Конопницкой, называл ее «поэтессой польского народа, или, лучше сказать, польского крестьянства». Грац — тогда: центр австро-венгерской провинции Штирия; ныне — город в Австрии. Стрый, Мосты, Кут — городки в Галиции. «Авизы». Здесь имеются в виду разрешения на выезд из страны.

**Из книги «В дни печали»
Із днів журби**

Впервые — Львов, 1900. Кроме стихотворений, объединенных в циклы («В дни печали», «Воспоминания», «В плен-эре»), сборник включал также поэмы «Иван Вишенский» и «На Святоюрской горе».

**ИЗ РАЗДЕЛА «В ПЛЕН-ЭРЕ»
(В ПЛЕН-ЕРІ)**

I. «Мать природа!..» Перевод стихотворения «Мамо природо...» *Протозои* (правильно — протозеа) — личинки десятиногих ракообразных. *Эхинодермы* — ленточные черви. *Миксомицеты* — слизевики, слизистые грибы. *Sturm und Drang* (нем.— буря и натиск) — общественно-литературное движение в Германии в 70-х годах XVIII в., крупнейшими выразителями которого были Гердер, Гете, Шиллер. Здесь употреблено в переносном смысле. *Яде* — см. стр. 718.

II. «Из далеких врат восточных...» Перевод стихотворения «По коверці пурпуровім. . .»

III. «Ходят ветры по краю...» Перевод стихотворения «Ходить вітер по житі. . .» *До Петра продержаться*. Память апостола Петра отмечалась церковью 29 июня.

IV. «Ближе, ближе тучи с юга...» Перевод стихотворения «Суне, суне чорна хмара. . .»

V. «Внизу, у гор, село лежит...» Перевод стихотворения «У долині село лежить. . .»

VI. «Ой, идут, идут туманы...» Перевод стихотворения «Ой ідуть, ідуть тумани. . .»

VII. «Над широкою рекою...» Перевод стихотворения «Над великою рікою. . .»

VIII. «В дремоте села. За окном...» Перевод стихотворения «Дрімають села. Ясно ще. . .»

IX. «Ночь. Кругом мертво и тихо...» Перевод стихотворения «Ніч. Довкола тихо, мертво. . .»

X. Школа поэта. Перевод стихотворения «Школа поэта».

Из книги «Semper tiro»¹

Впервые — Львов, 1906. Ранее часть стихотворений была опубликована в периодической печати. Жизнеутверждающий пафос сборника свидетельствовал о неиссякаемой вере поэта в грядущее торжество сил прогресса. В незаконченной поэме «Лесная идиллия», опубликованной в сборнике, Франко поднял голос против эстетической программы одного из «столпов» украинского модернизма Микола Вороного:

... Не прилагай усилий,
 Чтоб нас поэты мглой укрыли,
 Идиллий розовым туманом
 И мистицизма океаном,
 Чтоб опий в пищу насыпали,
 Чтоб легкой песней развлекали!
 Пусть правде, правде, правде служат!

(Перевод Л. Длигача)

ИЗ РАЗДЕЛА «НА СТАРЫЕ ТЕМЫ» (НА СТАРІ ТЕМИ)

I. «Не пора ль начать нам, братья, слово...»
 Перевод стихотворения «Чи не добре б нам, брати, зачати...» Эпиграф — из «Слова о полку Игореве».

II. «Блажен тот муж, что на суде неправых...»
 Перевод стихотворения «Блаженный муж, що йде на суд неправих...» Эпиграф — из Евангелия. Стихотворение представляет собой воинствующее отрицание евангельского назидания.

III. «То было за три дня перед венчаньем...»
 Перевод стихотворения «Було се три дні перед моїм шлюбом...» Эпиграф — из Евангелия. *Глагол* — слово, речь.

V. «Полночный крик звучит среди степных раздолий...» Перевод стихотворения «Крик серед півночі в якійсь глухім околі...» Эпиграф — из «Слова о полку Игореве».

VI. «Где не лилися вы в нашей бывальщине...»
 Перевод стихотворения «Де не лилися ви в нашій бувальщині...» Эпиграф — из «Слова о полку Игореве».

VII. «И ныне нам снится...» Перевод стихотворения «І досі нам снится...» Эпиграф — из «Слова о полку Игореве». *Мономах*. Владимир Мономах (1053—1125), киевский князь, был грозным врагом половцев.

¹ Всегда ученик, новичок (лат.). — *Ред.*

VIII. Антошке П. (Аз покой). Перевод стихотворения «Антошкові П. (Аз покой)». Стихотворение адресовано Антону Петрушкевичу, автору статьи, указанной в авторском примечании. Как отметил И. Я. Айзеншток, выступления реакционного полякофильства против украинского языка и литературы особенно участились в галицкой печати в конце XIX—начале XX вв., когда при организации ряда научных съездов дебатировался вопрос о возможности докладов на украинском языке (см. примечания в кн. «Иван Франко. Стихотворения». «Библиотека поэта», Малая серия, Л., 1941, стр. 391). Эпиграф — из Евангелия.

IX. «Вышла в поле русских сила...» Перевод стихотворения «Вийшла в поле руська сила...» Эпиграф — из «Слова о полку Игореве».

X. «На реке вавилонской — и я там сидел...» Перевод стихотворения «На ріці вавілонській — і я там сидів...» Эпиграф — из Библии. В стихотворении, посвященном современной Франко украинской действительности, поэт использует темы и образы СХХХVI псалма, в котором говорится о вавилонском пленении иудеев. *Фавор* — гора в Палестине. *Сион* — гора в Иерусалиме, а также крепость и храм, построенные на ней. В Библии Сион означает часто иудейский народ или иудейскую религию.

ИЗ «КНИГИ КААФ»

(ИЗ «КНИГИ КААФ»)

«Книгой Кааф» назывался обращавшийся в древнерусской письменности сборник, в форме вопросов и ответов трактовавший отдельные места Библии. Сборник был, по-видимому, составлен древнерусскими книжниками на основании сочинений греческих отцов церкви (в первую очередь — Феодорита Кирского). «Книга Кааф» была обильно насыщена апокрифическим материалом (см., напр., в стихотворении «Как голова болит...»: «Пришел Матвей-святитель в город людоедов...»). Текст «Книги Кааф» был впервые издан по списку XV в. проф. В. М. Истриным в 1898 г. По обоснованному предположению И. Я. Айзенштока, Франко познакомился с книгой в процессе работы над сводом украинских апокрифов («Апокрифи і легенди з українських рукописів», тт. 1—5, 1896—1910).

I. «Во сне забрел в долину я: на диво...» Перевод стихотворения «У сні зайшов я в дивну долину...»

II. «Пойми, поэт, на жизненном пути ты...» Перевод стихотворения «Поете, тям, на шляху життєвому...» *Guarda e passa* — стих из «Божественной комедии» Данте.

III. «Гуманным будь, — любви источник чистый...» Перевод стихотворения «Гуманный будь, і хай твоя гуманність...»

IV. «Когда в общественном ты хочешь деле...»
Перевод стихотворения «Як трапитися тобі в громадськім ділі...»

V. «Одета с элегантною простотою...»
Перевод стихотворения «Ти йдеш у вишукано-скромнім строю...»

VI. Ф. Р. Перевод одноименного стихотворения. *Египтянка Мария*. По христианскому преданию, преподобная Мария Египетская до своего обращения в христианство была блудницей в Египте.

VII. «Уж полночь. Темень. Стужа. Ветер воеет...»
Перевод стихотворения «Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє...»

VIII. «Как голова болит!...»
Перевод стихотворения «Як голова болить...»

IX. «Когда б ты знал, как много значит слово...»
Перевод стихотворения «Якби ти знав, як много важить слово...»
Кто в бурю шел и т. д. — Христос.

Страшный суд. Перевод стихотворения «Страшный суд». *Оцет* — уксус. *Минерва* (римск. миф.) — богиня мудрости. *Давид* — см. стр. 738. Джоакино *Печчи* (1810—1903) был избран на папский престол в 1878 г. под именем *Льва XIII*. Яростный противник всех прогрессивных течений в политике, науке и искусстве. *Петр* — см. стр. 738. *Лойолы-изуверы* — см. стр. 718. *Канонисты* — сторонники канонического христианства. *Нирвана* — см. стр. 718.

Из книги «Старое и новое» (Давне і нове)

Впервые — отдельным изданием, Львов, 1911. В книгу вошли произведения, публиковавшиеся ранее в сборнике «Мой Изумруд», а также много новых стихотворений. Значительно расширены были разделы «Поклоны», «Парнетикон», «Притчи», «Легенды», введено три новых раздела («Вместо пролога», «На злобу дня», «Гимны и пародии»). В предисловии Франко отмечал, что цель «Старого и нового» та же, что и «Моего Изумрада», — «популяризация богатых сокровищ поэзии и жизненной мудрости, которые содержатся в нашей древней литературе, доселе столь мало известных не только широким народным массам, но также, а, может быть, даже в еще большей мере, образованным кругам нашего народа». Вместе с тем он подчеркивал особое значение разделов, посвященных современности: «Вторая характерная примета старого сборника, выраженная главным образом разделами «Поклоны», «По селам» и «В Бразилию», выступает в этом новом сборнике еще выразительней не только благодаря расширению раздела «Поклоны», но особенно благодаря разделам «На злобу дня» и «Гимны и пародии». Само собой разумеется, что разнородность содержания этих разделов отвечает хоть

немного разнородности тех явлений общественной и личной жизни, которые заполняли последнее тридцатилетие». Франко стремился сделать свою книгу действенным оружием в борьбе против безверия, аморализма декадентской литературы. Такую задачу он сформулировал в статье «Старое и новое», посвященной выходу из печати одноименного сборника (журнал «Неділя», 1911, № 19, стр. 1—2): «Этот сборник охватывает более чем тридцать лет моей жизни и может быть в какой-то мере показателем важнейших моментов и духовных течений этой жизни, которая при всех своих неприятностях не прошла впустую ни для меня, ни для нашей общественности. Разумеется, кое-что в нем имеет преходящее, так сказать, минутное значение, а кое-что, возможно, будет и непонятным молодому поколению. Но если я выпускаю сборник в свет, мне хочется высказать пожелание, чтоб ст него повеяло здоровым ветром национального сознания, трезвого, и притом насквозь поэтического понимания жизни, этого величайшего сокровища человека, веру в которое он никогда не должен терять. Волна неверия в жизнь поднимается теперь сильно и болезненно даже у наилучших представителей нашей литературы, и если б моя книжка могла хоть немного послужить средством против этой духовной болезни, она выполнила бы на сегодня свою задачу».

**ИЗ РАЗДЕЛА «ПОКЛОНЫ»
(ПОКЛОНИ)**

I. Неназванной Марии. Перевод стихотворения «Неназваній Маріі».

II. К музе. Перевод стихотворения «До музи».

**ИЗ РАЗДЕЛА «ПРИТЧЫ»
(ПРИТЧІ)**

Притча о жадности. Перевод стихотворения «Притча про захлапність».

**ИЗ РАЗДЕЛА «НА ЗЛОБУ ДНЯ»
(ІЗ ЗЛОБИ ДНЯ)**

O. Лунатику. Перевод стихотворения «O. Лунатикові». Ответ на клеветническое стихотворение «Иван Хромко. Без маски», написанное поэтом-декадентом Остапом Луцким (псевдоним — O. Лунатик).

***Из книги «Годы моей молодости»
(Із літ моєї молодості)***

Впервые — Львов, 1914. В сборник вошли поэтические произведения, написанные в 1874—1878 гг. и в большинстве своем опубликованные тогда же в журналах «Друг», «Друг общества» и в сборнике

«Баллады и рассказы» (1876). В предисловии к книге Франко писал: «Я не из тех писателей, что привыкли жаловаться на общественность и на читателей, и не из тех, что привыкли подлаживаться под господствующий вкус своей публики. Слишком высоко понимая призвание писателя, я не раз в критические минуты, не колеблясь, шел вразрез с господствующими направлениями и никогда не переставал выступать против бессмысленности, тупоумия и заскорузлости не только самой общественности, но также, и особенно, тех, кто берется вести и просвещать ее. Не могу сказать, что эти могущественные противники не платили мне щедро глухой ненавистью, ожесточенными нападками и клеветой, явной и тайной борьбой с моими стремлениями и моими трудами. Но, несмотря на это, я не жалею ни на своих противников, ни тем паче на общественность, в которой вижу и чувствую все больший рост духовной жизни, культуры, дружелюбности и готовности к жертвам, что создает красоту всякой жизни. Живу верой и надеждой, что эти высокие духовные приметы будут развиваться все краше в нашем народе и что я доживу еще до времен гораздо более счастливых и радостных, чем те, которые я прожил до сих пор. За свою уже почти сорокалетнюю литературную деятельность я прошел через различные этапы развития, занимаясь очень разнородной работой, служил разным направлениям и даже нациям, ибо довелось поработать немало не только на нашем украинском, но также на польском, немецком и русском языках. Но всегда и везде у меня была одна ведущая мысль — служить интересам моего родного народа и общечеловеческим прогрессивным, гуманным идеям. Этим двум путеводным звездам я, кажется, не изменил до сих пор никогда и не изменю, пока жив».

Две дороги. Перевод стихотворения «Дві дороги».

Товарищам из тюрьмы. Перевод стихотворения «Товаришам з тюрми». Написано в начале 1878 г. в львовской тюрьме и в том же году опубликовано в первом номере журнала «Друг общества». С некоторыми изменениями напечатано в сборнике «Старое и новое» под названием «На заре социалистической пропаганды». В сборнике «Годы моей молодости» напечатано под первоначальным заголовком.

Наука. Перевод одноименного стихотворения.

Из стихотворений, не вошедших в книги

Правдивая сказка. Перевод стихотворения «Правдива казка».

Шевченко и поклонники. Перевод стихотворения «Шевченко і поклонники».

Ты вновь оживаешь, надежда! Перевод стихотворения «Ти знов оживаєш, надіє!».

Смелей! Перевод стихотворения «Лиш сміло!»

Современная песня. Перевод стихотворения «Сучасна пісня».

Смерть убийцы. Перевод стихотворения «Смерть убійці».

Лесоруб. Перевод стихотворения «Рубач (Із переказів народних)».

«Когда разлука милых ждет...» Перевод стихотворения «Як двоє любляться, а ждуть...»

«Орудия ухали с ревом...» Перевод стихотворения «Ревіли, гриміли гармати...»

«Мне кажется ночной порою...» Перевод стихотворения «Не раз безсонному здається...»

В 23-ю годовщину смерти Тараса Шевченко. Перевод стихотворения «В XXIII-ті роковини смерті Тараса Шевченка».

Подгорье зимой. Перевод стихотворения «Підгір'я взимі».

«Взгляни, я победил, краса-девица...» Перевод стихотворения «Чи бач, на моїм стало, гарна крале...»

Майские элегии. Перевод стихотворения «Маєві елегії». *Беклин* Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник-символист. *Мейсонье* Жан-Луи-Эрнест (1815—1891) — французский художник, прославившийся изображением жанровых сцен, батальными и историческими картинами. *Икар* (греч. миф.) — на крыльях из перьев, скрепленных воском, поднялся высоко в небо, солнце растопило воск, и Икар рухнул в море. *Кефалоподы* — головоногие. *Георгий святой злого дракона сразил*. Согласно одному из распространенных преданий, святой Георгий победил могучего дракона.

Из книги пророка Иеремии. Перевод стихотворения «3 книги пророка Єремії». *Пророк Иеремия* — согласно библейскому преданию, жил в VII в. до н. э. Книга пророка Иеремии входит в состав Библии. *Иордан* — река в Палестине, впадающая в Мертвое море. *Крин* — лилия. *Вено* — приданое.

«Грусть проходит по голой горе...» Перевод стихотворения «Ходить туга по голій горі...»

«Не молчи, если ложь беззаконная...» Перевод стихотворения «Не мовчи, коли, гордо пишаючись...»

ПОЭМЫ

Панские забавы
(Панські жарти)

Впервые — «Вершины и низины», 1887. В предисловии к четвертому изданию (Львов, 1911) Франко рассказал о жизненной «первооснове» некоторых важных эпизодов поэмы. «Основой моего поэтического рассказа был факт, довольно необычный для истории панщины в Галиции, зафиксированный галицко-украинским поэтом Николаем Устияновичем в примечании к его повести «Мечь Верховинца», написанной в 1849 г., где было сказано, что в прежние годы (в первые годы XIX столетия) владелец горного села Ялинковатое, в Стрыйском округе, вместе с крестьянами велел выгнать на панщину также священника, но священник, выехав с волами в поле, бросил волов в ярме возле воза или плуга, а сам пошел пешком в Перемышль пожаловаться на помещика своим духовным властям, потому что у светских в Стрые не надеялся найти для себя законной защиты. Устиянович не мог сказать, как закончилось это дело и нашел ли украинский священник законную защиту у своих духовных властей, которые тогда, в условиях господства всесильной бюрократии, имели в таких делах очень малое влияние. Значительно позже... кажется в 1897 г., я получил в Тернополе от адвоката и бывшего судьи г. Гриневецкого рукописные воспоминания одного польского шляхтича о некоем польском пане в Галиции, который позволил себе еще в 1845 г. очень обидную шутку с украинским интеллигентным крестьянином и с немецким чиновником. Эти воспоминания будут опубликованы при случае с соответствующим аппаратом и послужат одним из многих доказательств, что мой поэтический рассказ не столь фантастичен и тенденциозен, как это кое-кому казалось». Историзм поэмы, столь очевидный при сопоставлении произведения Франко с трудами по истории этого времени, подчеркнут автором в так называемом «аналитическом содержании» — конспективном изложении, которым Франко завершал поэму (в дальнейшем этот «конспект» обычно разбивался на отдельные части и печатался — как и в данном издании — перед соответствующими главами). Здесь дана прямая датировка событий: «конец 1847 г.» (гл. X), «Новый год, 1848-й» (гл. XI), «пасхальная суббота 1848 г.» (гл. XV) и т. д. «Панские забавы» поэт посвятил памяти своего отца Якова Франко (1802—1865) — кузнеца из села Нагуевичи. «Как человек и ремесленник, он пользовался большим уважением не только в своем селе, но и далеко за его пределами», — вспоминал И. Франко. В цитированном выше предисловии к четвертому изданию Франко замечал, что от отца он, «правда, не слышал ничего о панщине, но слышал рассказ об украинском празднике, устроенном во Львове в 1849 г., в первую годовщину отмены панщины. Главной сенсацией этого праздника, запомнившейся моему отцу, кроме большого стечения украинских крестьян, было то, что на крестьянском возу, запряженном четырьмя черными волами с золочеными рогами, провезен был через весь город хлеб... который и был

передан губернатору как знак благодарности украинского земледельческого населения царю за отмену панщины». Стихотворное посвящение было впервые напечатано в отдельном оттиске из сборника «Вершины и низины» (1893).

Глава V. *Галицко-русский люд. Слово «русский»* Франко употреблял в значении «украинский». *А кто тогда не бунтовал?* — Речь идет об общепольском национально-освободительном восстании 1846 г., ознаменовавшем начало международного революционного движения конца 40-х гг. «Польша снова проявила инициативу, но эта Польша уже не феодальная, а демократическая Польша, и с этого момента ее освобождение становится вопросом чести для всех демократов Европы», — писал Маркс (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V, стр. 263). Феодально-крепостническая система тормозила развитие производительных сил, препятствовала национальному освобождению и воссоединению страны. Крайнее обострение классового антагонизма между помещиками и крестьянами привело к возникновению революционной ситуации. Но по мере развертывания событий стало очевидным, что национально-освободительное движение идейно противоречиво. Программа революционных демократов предусматривала полное уничтожение феодальных отношений, исходя из признания решающей силой революции крестьян и ремесленников. Политика буржуазно-шляхетских демократов, отражавшая «кризис верхов», объективно направлена была на ослабление революционного движения масс. Создавшуюся ситуацию буржуазно-шляхетские демократы хотели использовать лишь в своих классовых интересах. Эта недальновидная, своекорыстная политика явилась одной из важнейших причин того, что антифеодальное крестьянское восстание, вспыхнувшее в Западной Галиции в середине февраля 1846 г., обратилось против шляхетских повстанцев. Немалую роль сыграла тут и провокационная агитация австрийских чиновников. Используя извечную крестьянскую ненависть к помещикам и веру в добрые намерения императора, власти пытались натравить крестьян на повстанцев-шляхтичей. Во многих случаях им это удалось («Своих же братьев кровь пролил И ею край свой обагрил»). *Тарновский пожар*. В гор. Тарнове (Западная Галиция, ныне Краковское воеводство Польской Народной Республики) 19 февраля 1846 г. состоялось первое вооруженное выступление польских шляхетских демократов против правительственных войск. Исход выступления предreshило столкновение повстанцев с отрядом крестьян. Повстанцы были разоружены, арестованы и переданы в руки австрийских властей. Тарновские события как бы послужили сигналом для крестьянского восстания в Западной Галиции. *Ценглевич Каспер* (1807—1886) — видный участник польских тайных демократических организаций 30—40-х гг. и национально-освободительного восстания 1846 г. *Куфштайн* — город в австрийском Тироле, в котором находилась крепость-тюрьма Герольдсек. *Дембовский Эдвард* (1822—1846) — выдающийся польский революционный демократ, фактический руководитель Краковского восстания 1846 г., стремившийся привлечь к участию в нем широкие массы крестьян.

янства («Революция и народ — два неразрывных понятия», — говорил Дембовский). «Краковская революция, — указывал Маркс, — дала Европе славный пример, отождествив национальное дело с делом демократии и с освобождением угнетенного класса» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. V, стр. 263). 27 февраля 1846 года Дембовский пал в неравном бою с австрийскими войсками на берегу Вислы близ Кракова. *Гицлевская гора* — невысокая гора на окраине Львова, служившая местом казни до середины XIX в. *Вишнёвский* (правильнее — Виснёвский) Теофил (1806—1847) — руководитель отряда польских повстанцев, разбившего в феврале 1846 г. австрийских гусар под Нараевом, Бережанского округа. Схваченный позже австрийскими властями, был повешен во Львове 31 июля 1847 г. *Горожана* — приднестровское село (Самборский округ, ныне Дрогобычская область УССР), где в 1846 г. группа польских шляхетских повстанцев безуспешно пыталась поднять украинских крестьян на восстание против Австрии. В результате вооруженной стычки между крестьянами и повстанцами с каждой стороны было убито по несколько человек. Уцелевшие повстанцы были схвачены и переданы австрийским властям во Львове. *Мазуры* — крупная этнографическая группа поляков, населяющая северо-восточную часть Польши. В тексте речь идет об антифеодальном восстании польских крестьян — обитателей Мазурчины (Мазовии).

Глава VI. *В Холме или Луцке посвященных* — т. е. возведенных в священнический сан холмской или луцкой епархией (в тот период обе епархии были католическими). *Консистория* — совет при епархиальном архиерее, ведавший управлением и духовным судом в епархии.

Глава VII. *Лабет* — карточная игра.

Глава VIII. *Прелаты* — высшие иерархи католической церкви. *Контракты* — ежегодная ярмарка. *Сейм* — здесь: съезды польской шляхты Галиции, регулярно проводившиеся до 1848 г. (так наз. «сейм постулятивный»). Сейм обладал лишь совещательными правами. *Рапс* — растение, из семян которого добывается масло, применяемое главным образом в мыловаренном и кожевенном производстве.

Глава IX. *Филипповки начнутся скоро*. Филипповки (или Филипповский пост) — рождественский пост, начинающийся за сорок дней до Рождества. Название объясняется тем, что 14 ноября, в день начала поста, церковь праздновала память апостола Филиппа.

Глава XII. *Бюргеры* (нем.) — граждане. Здесь употреблено иронически. *Инвентарь* — здесь: установленной формы книга учета, в которой дается подробная опись земельных угодий и относящегося к ним основного движимого и недвижимого имущества.

Глава XV. *С вас царь панцину снимает*. Напуганное размахом революции, австрийское правительство с чрезвычайной поспешностью провело отмену крепостного права в Галиции. Первое официальное сообщение об этом было опубликовано 22 апреля, окончательный текст указа — 12 мая 1848 г. Эта половинчатая крестьянская реформа не затронула основы помещичьего землевладения, обрекла крестьян на малоземелье и безземелье и возложила на крестьянство новое тяжкое ярмо — громадные выкупные платежи. Но, в отличие от крестьянской реформы в Пруссии, она не повлекла за собой дальнейшего обезземеливания крестьянства — в условиях революции «отрезки» были невозможны.

Глава XVI. *Атентаты* (польск.) — участники покушения.

Глава XIX. *«Гвардия народов»* — легальная военная организация, созданная польскими буржуазными демократами в Галиции в 1848 г. Гвардия рекрутировалась исключительно из буржуазных и шляхетских кругов и была настолько «лояльна» по отношению к австрийцам, что командовавший ею полковник Выбрановский получил чин австрийского генерала. Не удивительно, что во время львовского восстания в первых числах ноября 1848 г. гвардия не только сохраняла «нейтралитет», но и оказывала прямую помощь австрийским войскам, противодействуя сооружению баррикад и разрушая их. Лишь незначительная часть гвардейцев (в первую очередь — студенты из «академического легиона») присоединилась к восставшей городской бедноте.

С м е р т ь К а и н а (Смерть Каїна)

Впервые — Львов, 1889 (серия «Літературно-наукова бібліотека», кн. 3). Еще в 1879 г. Франко издал свой перевод богоборческой драматической поэмы Байрона «Каин». Подобно Байрону, в «Смерти Каина» он отверг библейскую трактовку и дал самостоятельное, глубоко оригинальное истолкование этого образа. Каин, согласно библейской легенде, за убийство своего брата Авеля был обречен богом на вечные скитания. В поэме Франко в своих скитаниях он постигает высшую мудрость — мудрость любви к человеку. *Крин* — см. стр. 732.

С у р к а (Сурка)

Впервые — отдельным изданием, Львов, 1890 (под названием «Сурка, оповідання служниці»). В письме к М. П. Драгоманову от 15 сентября 1891 г. Франко рассказывает историю создания поэмы: «Написана она в тюрьме (летом 1889 г. Франко был арестован без предъявления обвинения и более двух месяцев просидел в львовской тюрьме.— В. С.) в самые тяжкие часы, когда мне казалось, что придется пропадать с тоски. Хотелось отдохнуть, вспоминая о детях,

и, собственно, эти воспоминания больше всего мучили, потому что виделись они брошенными и беспомощными, как оборвыши на снегу. Вот тут и подвернулся рассказ конокрада Герсона о Сурке, я взял его живьем, да и обработал стихами болгарских песен» (Иван Франко. Твори в двадцати томах, т. 20. К., 1956, стр. 429—430). В 1893 г. Франко включил «Сурку» во второе издание сборника «Вершины и низины» (цикл «Еврейские мелодии»).

Бедный Генрих (Бідний Генрих)

Впервые — «Буковинский православный календар на рік 1892» (Черновцы, 1891) под заголовком «Бідний Генрих. Поема Гартмана фон-Ауе. Вільно переробив із старонімецького Іван Франко». В кратком предисловии Франко охарактеризовал творчество Гартмана фон дер Ауэ (около 1170—1212) — швабского рыцаря, участника крестовых походов, одного из виднейших поэтов средневековой Германии. Подробно остановился Франко на поэме Гартмана «Бедный Генрих»: «В «Бедном Генрихе» рассказывает автор о страшной азиатской болезни, проказе, против которой тогда не знали (и теперь еще не знают) лекарства и думали, что ее может излечить только кровь человеческая. С этим поверьем весьма удачно сплетена старинная повесть о посвящении родителями своего ребенка для исцеления гостя или господина, но Гартман превратил этого ребенка во взрослую девушку, которая сама хочет посвятить себя спасению здоровья своего господина... Переводя повесть Гартмана со старонемецкого языка, мы не придерживались каждого слова, а пересказывали свободно, другим размером, сокращая кое-где растянутость старого рассказа и несколько выделяя те места, в которых талант автора проявляется наилучшим образом». Однако творческое «вторжение» Франко не ограничилось перечисленными им формальными моментами. Гуманистические идеи у Гартмана причудливо переплетаются с идеями религиозными. Самый мотив чудесного исцеления трактован им в духе религиозной легенды («И бог небес, людей скорбящих друг... избавил их обоих от страданья»). У Франко божественное вмешательство снято, чудодейственную силу обретает чистая, самоотверженная, героическая любовь. Создавая свою оригинальную версию, Франко использовал также одноименную переработку поэмы Гартмана, принадлежащую немецкому романтику А. Шамиссо. *Мунпасилля* — Монпелье. *Салерно* — город в Италии. В средние века славился своей медицинской школой, основанной в XI в.

Пьяница (П'яниця)

Впервые — «Вершины и низины», 1893. Посвящение Толстому носит полемический характер. Высоко ценя художественный талант Толстого, Франко отвергал его религиозно-философское учение.

Канвой поэмы послужила старинная переводная «Повесть о брашнике». *Сволок* — потолочная балка, матица. *Мясонуст* — день, в который по православному церковному уставу мясная пища запрещена. «*Общество*». Имеется в виду «Общество трезвости», основанное в Галиции в 60-х гг. XIX в. К его деятельности Франко всегда относился крайне иронически. *Апостол, райский ключник*. По евангельской легенде апостол Петр в решающий момент жизни Иисуса Христа отрекся от него, хотя незадолго перед тем клялся, что с радостью отдаст за него свою жизнь. Петр — хранитель ключей от райских врат. *Павел*. Апостол Павел, которого церковь именovala «величайшим проповедником христианства», в юности принадлежал к числу ревностных фарисеев, подвергал христиан жестоким гонениям, был одним из участников побивания камнями «первомученика» Стефана. До крещения Павел носил имя Савл (или Саул). *Давид, сынок Ессея* (библ.). Иудейский царь Давид Псалмопевец, «любимец господа», вопреки закону, запрещавшему «умножать себе жен», имел множество жен и наложниц. У военачальника Урии он отнял любимую жену — красавицу Вирсавию. *Соломон* (библ.) — царь иудейский, сын Давида, предавался необузданному сладострастию («и было у него 700 жен и 300 наложниц», — говорится в Библии). *Ной* (библ.) — праведник, спасенный богом от всемирного потопа, стал после потопа «прародителем» человечества. Герой поэмы намекает на следующие строки Библии: «Ной начал возделывать землю и посадил виноградник; и выпил он вина и опьянел. . .» (книга «Бытие»).

Сатни и Табубу (Сатні і Табубу)

Впервые — «Поэмы», Львов, 1899. В предисловии к сборнику Франко писал: «Поэма «Сатни и Табубу» может считаться прародительницей современной новеллы, несмотря на то что написана была лет за 200 или 250 до рождества Христова. Это один эпизод из большого целого — рассказа о царевиче Сатни-Хамоисе. . . Сила слепой любви мужчины и женской обольстительности вряд ли была когда-нибудь нарисована такими же простыми и сильными чертами, как в этом египетском произведении. И тут я даю по возможности верный перевод, не добавляя от себя ни слова, кроме двух заключительных строк, которые заняли место другого, сказочного окончания в оригинале, где Табубу в последнее мгновение оборачивается страшным чудовищем». Дополнительный комментарий Франко дал в краткой заметке, предварявшей поэму: «Рассказ о Сатни-Хамоисе, часть которого я даю здесь в стихотворном переводе, дошел до нас в одной неполной рукописи, составленной во времена Птолемея Филадельфа (284—246 гг. до рождества Христова). Был ли он тогда же и сложен или принадлежит к более раннему времени, неизвестно. Во всяком случае, автор относит событие, описанное в повести, к очень давним временам, когда еще египетские цари жили в Мемфисе. Для своего перевода я пользовался переводом проф. Масперо (P. Maspero, Les contes, 1889). Эпизод с Табубу был, наконец, не-

сколько раз напечатан отдельно по-французски в переводе Росни (Les textes originaux, стр. 223—224), пользовался им и я». Вопреки свидетельству поэта, слишком скромно оценившего свой труд, поэма «Сатни и Табубу» представляет собой не перевод, а свободную творческую переработку древнеегипетской легенды. *Бог Пта* — первоначально местное божество города Мемфиса, где он считался и богом-творцом, и богом мертвых. Постепенно культ Пта сделался общеегипетским. *Гебен* — эбен, черное дерево.

Поэма о белой сорочке (Поема про білу сорочку)

Впервые — «Литературно-науковий вісник», 1899, т. 6, кн. 5, стр. 117—140. В сб. «Поэмы» (Львов, 1899) произведению предпослана следующая вступительная заметка Франко: «Основу этой поэмы взял я из хорватской песни, найденной Франом Курелацем и помещенной в его сборнике хорватских песен (Fran Kurelac, Jačke ili narodne pěsni prostoga i neprostoga ruka hrvatskoga. Zahreb, 1871, стр. 138—147). Курелац предполагает, что опубликованный им хорватский текст, найденный им в двух рукописях XVII в., является переводом какой-то старонемецкой поэмы, сложенной, вероятно, в Вене. Ни об этом немецком оригинале, ни о том, кто и когда перевел эту поэму на хорватский язык (интересно, что перевел коломиечным размером, хоть и нерифмованными куплетами!), Курелац не мог дознаться. Он только предполагает, что поэмка, в хорватском варианте названная «Alexander», в немецком именовалась «Die Schöne Juliane». . . Я также не доискивался дальнейших источников этой поэмы и даю ее так, как написал под впечатлением хорватского текста осенью 1897 г.». Установить, к какому точно времени относятся описываемые в поэме события, о каком «Генрихе могучем» идет речь, не представляется возможным. *Буда* — венгерский город на Дунае. В XIX в. слившись с Пешто, образовал нынешнюю столицу Венгрии Будапешт. *Вифлеем* — город в Палестине, вблизи Иерусалима. Согласно евангельской легенде, здесь родился Иисус Христос. *Иерусалим*. Захват Иерусалима, в котором находились «священные реликвии» христианства («гроб господень» и т. д.), являлся одной из целей крестовых походов. *Никея* (ныне Изник) — город в Малой Азии. В XIII в. после захвата Константинополя крестоносцами стал столицей Никейской империи, крупнейшим центром эллинизма.

Похороны (Похорон)

Впервые — «Поэмы». Львов, 1899. Во вступительной заметке Франко писал: «Легенда о великом грешнике, которого обращает на путь истинный созерцание собственных похорон, часто встречается в житиях святых и слилась в Испании с рассказами о греховной жизни Дон-Жуана. . . Может быть, упрекнул меня в том, что я лишил эту легенду аскетически-религиозных мотивов и перенес ее на чисто

светскую почву, — но и это в значительной мере сделано уже в рассказе о Дон-Жуане. По этой старой канве я попробовал выткать новые узоры. Наше время великих классовых и национальных антагонизмов имеет во многом иное представление о великом грешнике, чем время Филиппа II и Торквемады. В этом одном пункте я позволил себе несколько модернизировать старую легенду, оставляя в целом ее основу неизменной со всеми ее аллегориями и символами. Может быть, ждет меня упрек, что все тут слишком непонятно и немотивированно. Что ж, такой упрек будет в чем-то и оправданным, но я думаю, что, сосредоточившись и прочитав поэму вторично, каждый увидит, что она не так-то уж непонятна. Наконец, кому не любо, пусть и не читает». *Синедрион* — высшее судилище древней Иудеи. *Ной* — см. стр. 738. *Сакраменты* — проклятия, богохульства. *Манлихер* — ружье системы немецкого инженера Фердинанда Манлихера. *Монтескье Шарль-Луи* (1689—1755) — французский просветитель, автор трактата «Дух законов». *Милль Джон Стюарт* (1806—1873) — английский буржуазный экономист и философ. *Уния* — здесь: союз. *За нашу и вашу свободу* — лозунг, выдвинутый польским историком и прогрессивным общественным деятелем, одним из руководителей польского освободительного восстания 1830—1831 гг., Иоахимом Лелевелем (1786—1861). Заслуги Лелевеля высоко ценил К. Маркс. Реакционные историки и публицисты всячески стремились вытравить из наследия Лелевеля революционное и демократическое начало. Такому своекорыстному извращению подвергалась и идея Лелевеля о революционном союзе польского народа с другими народами Европы: «За вашу и нашу свободу» (в речи барона местоположения поставлены в обратном порядке, и весьма характерно, что на первый план выдвинулась «наша свобода»). *Инвестиция* — долгосрочные вложения капитала в производственные предприятия с целью получения прибыли. *Когда при Саламине победили*. В 480 г. до н. э. греческий флот под началом Фемистокла одержал победу над персидским флотом близ острова Саламин. *Стол огнистый*. По Библии, бог, приняв вид огненного столба, предводительствовал евреями, уходящими из Египта. «Кто сюда вошел, надежду пусть оставит навсегда» — надпись на воротах ада в «Божественной комедии» Данте.

И в а н В и ш е н с к и й (Иван Вишенський)

Впервые — «В дни печали» («Із днів журби»), Львов, 1900. Издавая поэму в 1911 г. отдельной книжкой, Франко сопроводил ее переводом произведения Вишенского «Обличение дьявола...» и своей обширной статьей о Вишенском. *Иван Вишенский* (ок. 1550 г.—ок. 1621 г.) — украинский писатель, публицист и полемист, стойкий борец за освобождение украинского народа из-под польско-шляхетского гнета. Переселившись в конце 80-х или начале 90-х годов XVI в. на Афон и постригшись в монахи, Вишенский отнюдь не отрешился от «мирских забот». Напротив, именно в это время началась его литера-

турная деятельность. Лучшие его произведения написаны в 1597—1601 гг. Вишенский горячо защищал крестьянство, объявляя «неправедными» все виды феодальной эксплуатации. С гневом и сарказмом обличал он шляхту и магнатов, вина их во всех бедах и горестях украинского народа. «К панам, независимо от их национальности, Вишенский относился с нескрываемой ненавистью; пользуясь тем, что на далеком Афоне ему никто не сможет «затворить язык», он разоблачал светских и духовных¹ феодалов резко и прямолинейно, не щадя ни имен, ни репутаций; — пишет современный исследователь. — Одновременно Вишенский объявил непримиримую войну и господствующей в стране церкви — римско-католической. Он не сомневался, что Ватикан находится в теснейшем союзе с польскими панями и вместе с ними выжидает только случая, чтобы в корне истребить «русский» народ, разорить его веру и обычаи. Борьбу с Ватиканом, злейшим врагом украинского народа, Вишенский считал своим патриотическим долгом — обязанностью каждого «истинного христианина» (И. Еремин. Вишенский и его общественно-литературная деятельность. — Иван Вишенский. Сочинения. М.—Л., 1955, стр. 234, 241). Лишь однажды Вишенский вернулся на Украину, пробыв там около двух лет (1604—1606 гг.). Никаких сведений о жизни его на Афоне в последующие годы нет. Но его произведения свидетельствуют, что долго еще он сохранял свой боевой темперамент и полемический дар. Интерес Франко к личности и творчеству Вишенского был глубок и постоянен. Франко написал о нем несколько статей, брошюру и обширную монографию, до сих пор считающуюся непревзойденной по обилию фактического материала, по богатству историко-литературных ассоциаций. Вишенский привлекал Франко своим ярким демократизмом, заботой о труженике-крестьянине, страстным обличением общественного зла, нравственной цельностью и силой духа. «Затрагивая в своих сочинениях не только все важнейшие спорные вопросы между православными и католиками, но также все важнейшие вопросы моральной и культурной жизни тогдашней Руси,— писал Франко,— Вишенский, аскет и молчальник, сделался первым украинским публицистом большого стиля, и, хотя не все его утверждения могли быть приняты его земляками как руководство к действию, все они были плодотворны уже тем одним, что будили мысль, дискуссию, движение и вместе с тем вселяли отвагу и силу к дальнейшей борьбе» (цит. по статье И. Еремина, стр. 269). Данью любви и уважения Франко к памяти литератора-патриота и явилась поэма «Иван Вишенский». Франко не старался с фактографической точностью воспроизвести последний период жизни Вишенского (уже само отсутствие сколько-нибудь достоверных сведений делает такую задачу неосуществимой). Ему хотелось воссоздать светлый нравственный облик Вишенского. *Крымский Агафангел Ефимович* (1871—1941) — украинский ученый, ориенталист и славист, после революции — действительный член Академии наук УССР. Франко с ним связывала не только общность научных интересов, но и многолетняя личная дружба. *Афон* — узкий гористый полуостров, вдающийся в Эгейское море. Приблизительно в IV в. здесь возникли первые монастыри, со временем весь полуостров

превратился в «иноческое государство». Афон считался одним из «святых мест» восточного православного мира. Прот. Центром Афона и резиденцией монашеского управления являлась Карейская лавра, настоятель которой носил титул прота, т. е. первого. В просторечии протом именовался также собор Карейской лавры. *Ватопед, Эсфигмену, Ксеропотаму, Зографу, Павлю, Иверон* — афонские монастыри. *Фелонь* — монашеское одеяние. *Православные с Украины, ради братского совета собравшись в местечке Луцке, шлют моление и поклон.* «В 1621 г. православные украинцы, собравшиеся в Луцке, чтоб обсудить средства для поддержки православия, постановили, в частности, направить на Афон своих посланцев, чтоб привлечь оттуда ученых и известных святостью мужей украинского рода, особенно Ив. Вишенского, для поддержки и защиты православия. . . О его смерти тогда они еще не знали, но и ходили ли посланцы из Луцка на Афон, неизвестно» (Иван Франко. «Иван Вишенский, його час і лисьменська діяльність». Львов, 1911, стр. 19). *Мамона* — слово сирийского или халдейского происхождения, употреблявшееся в евангелиях в значении «богатство», «блага земные».

На Святоюрской горе (На Святоюрській горі)

Впервые — «В дни печали». Львов, 1900. В основу поэмы легли исторические факты. В результате энергичных действий казацких полков и русских войск к осени 1655 г. значительная часть западно-украинских земель была освобождена из-под польско-шляхетского владычества. В первых числах октября Хмельницкий начал осаду Львова. Напуганное быстрыми успехами противника, правительство Яна-Казимира решило во что бы то ни стало добиться перемирия. 30 октября состоялась встреча польского посольства с Хмельницким, воспроизведенная в поэме Франко. Сведения об этой встрече Франко почерпнул из монографии Н. Костомарова «Богдан Хмельницкий». Легенда о хозяине и уже, образно выражающая сущность взаимоотношений между польскими панями и украинским народом, по свидетельству Н. Костомарова, была приведена Хмельницким в беседе с польским послом (см.: Н. Костомаров. «Богдан Хмельницкий», т. 3. СПб, 1870, стр. 218—220). *Святоюрская гора* — гора во Львове, на которой находится собор св. Юра (Георгия). *Лысенко* Микола (Николай) Витальевич (1842—1912) — украинский композитор. И. Франко с ним связывала многолетняя творческая и личная дружба. Еще в 1881 г. Франко напечатал очерк о творчестве Лысенко, высоко оценив его вклад в музыкальную культуру Украины. Личное знакомство композитора и поэта состоялось в 1885 г., когда Франко впервые побывал в Киеве. Лысенко включал в свои сборники народных песен записи Франко, писал музыку к произведениям поэта. Среди композиций Лысенко на тексты Франко особенно замечательны проникновенный, трагически-взволнованный романс «Бескрайнее поле» и величественный гимн «Вечный революцио-

нер». *Выговский* Иван Остапович (ум. в 1664) — представитель части казацкой старшины, которая стремилась к союзу с шляхетской Польшей. Скрывая свои истинные намерения, сумел завоевать доверие Хмельницкого и был назначен генеральным войсковым писарем, а после смерти Хмельницкого избран гетманом Украины (1657). Предательская политика Выговского вызвала возмущение украинского народа, вылившееся в восстание под руководством сподвижника Хмельницкого И. Богуна (1659). Выговский был низложен, бежал в Польшу, в 1664 г. — казнен. *Ян-Казимир* (1609—1672) — польский король (1648—1668), безуспешно пытавшийся подавить освободительную войну украинского и белорусского народов против польско-шляхетского ига. *Любовицкий* Станислав — посол, направленный Яном-Казимиром к Хмельницкому с целью добиться перемирия. Исторически удостоверенное обращение к нему Хмельницкого «кум» объясняется тем, что Любовицкий ранее неоднократно приезжал на Украину и был хорошо знаком с гетманом. *Чигирин* — гетманская резиденция при Богдане Хмельницком, ныне — город Черкасской области УССР. *Грондзский* Самуил — польский шляхтич, включенный Любовицким в состав посольства. Записки Грондзского являются одним из источников, использованных Н. Костомаровым для воссоздания беседы с польским послом. *Прелаты* — см. стр. 735. *Уния* — объединение православной и католической церквей на условиях признания православной церковью главенства римского папы и сохранения ею своих обрядов и службы на родном языке. Уния была средством закабаления украинского народа католической церковью и польскими магнатами. Соглашение об унии, заключенное в 1596 г. в Бресте, вызвало гнев и возмущение широких масс украинского народа. Богдан Хмельницкий был последовательным противником унии и во всех договорах с польским правительством неизменно оговаривал: «Вера греческая, которую войско запорожское верует, в давних вольностях и по давным правам имеет быть». Официально Брестская уния была расторгнута в 1946 г. *Вышневецкие*, *Конецпольские*, *Калиновские* — крупнейшие магнатские фамилии, игравшие решающую роль в политике Речи Посполитой этого периода. Мятеж («рокош») одного из магнатов (Е. Любомирского) заставил Яна-Казимира в 1668 г. отречься от престола. Хмельницкий в своей речи прямо говорит о бессилии короля — послушной марионетки в руках магнатов. *Коссов Сильвестр* (ум. в 1657) — религиозный писатель и деятель, с 1647 г. — митрополит Киевский. Выступал против воссоединения Украины с Россией, тайно противодействуя политике Хмельницкого. *Завтра едешь к хану в Крым!* Как указывает Н. Костомаров, Любовицкий вместе с письмом к Хмельницкому, исполненным «самых лестных и униженных комплиментов», вез и другое послание Яна-Казимира — к татарскому хану Махмет-Гирею, в котором польский король возбуждал крымского повелителя против Хмельницкого.

Моисей
(Моисей)

Впервые — отдельным изданием. Львов, 1905. Второе издание (Львов, 1913) предварялось пространным предисловием автора. Оно и легло в основу предисловия к русскому переводу (Франко написал лишь новое введение и заключение). Перевод, осуществленный П. Дятловым, был опубликован уже после смерти поэта — в 1917 г. в Вене (серия «Библиотека пленника»). Предисловие Франко дает исчерпывающий источниковедческий и реальный комментарий к поэме. Поэтому приводим его здесь с незначительными сокращениями: «Вопрос о том, историческое явление Моисей или нет, не решен до сих пор за недостатком действительно исторических свидетельств, посторонних древнееврейскому преданию. Это предание, состоящее главным образом из пяти книг, приписываемых самому Моисею, служит с конца XVIII столетия и до сих пор предметом усиленной критической работы, которая не может окончательно решить даже вопроса, существовал ли действительно Моисей или не существовал, хотя и решила окончательно, что Моисей не был автором так называемого Пятикнижия. Несмотря на это, Моисей все-таки является самой грандиозной фигурой древней истории человечества, фигурой, обставленной таким множеством глубоко правдивых и часто удивительных подробностей, что если не для историка, то по крайней мере для человеческого воображения и для его поэтического воспроизведения представляет неисчерпаемый источник тем и вдохновений. Моисей, рожденный в рабстве и возвышенный в юности до пребывания в царском дворце; Моисей — убийца и изгнанник; Моисей — пастух, получающий божие откровение; Моисей — вопреки своей воле, народный вождь, увлекающий свой народ из плодоносной египетской земли в пустыню и вместе с тем из рабства на свободу; и, в конце концов, Моисей — непризнанный пророк, сорок лет кочующий со своим народом в пустыне и не могущий в продолжение этого времени пройти небольшое пространство между Египтом и Палестиной, которое даже тогдашние путешественники проходили в течение нескольких дней, — вот ряд удивительных сюжетов для поэта. Я воспользовался последней из этих тем и попытался в своей поэме представить Моисея на склоне лет, в глубокой старости, когда он уже близко подошел к обетованной стране, но тщетно старается склонить свой народ к вступлению в эту страну и в конце концов уходит от него, чтобы хотя самому дойти до границы обетованной отчины. Этот краткий, но высоко трагический момент я разработал отчасти на основании библейского предания, отчасти же на основании психологического анализа в двадцати песнях своей поэмы, представив в них обострение натянутых отношений между пророком и народом до полного разрыва и затем возвышения души пророка рядом искушений и откровений до непосредственного общения и единения с наивысшим существом, Иеговой. Понятно само собою, что кроме исторического и психологического интереса поэма имеет и символическое значение, а как произведение украинца не лишена также и национальной окраски, неизбежной всегда, когда междуна-

родный сюжет проходит сквозь призму индивидуального темперамента и обогащается при этом живыми впечатлениями и картинками его личного воображения. . . Основную тему поэмы я избрал смерть Моисея, как непризнанного своим народом пророка. Эта тема в таком виде не библейская, а моя собственная, хотя и основанная на библейском рассказе. Из ветхозаветных книг Библии о смерти Моисея повествует лишь одна книга Пятикнижия, по-гречески называемая Девтерономион, а по-церковнославянски — Второзаконие. . .» Изложив библейское повествование о смерти Моисея, Франко продолжает: «Из этого рассказа мы видим, что Моисей умер в немилости у израильского бога, который перед смертью пророка упрекнул его в том, что тот не почтил его должным образом перед сынами Израиля. В моей поэме это обстоятельство представлено совершенно иначе: смерть Моисея на вершине горы пред лицом бога мотивирована тем, что его оттолкнул его собственный народ, приведенный к неверию его сорокалетним руководством и печальным состоянием обетованной страны, которую надо было тяжелыми усилиями добывать у многочисленных ханаанских племен и которая, кроме того, как это показали новейшие исторические открытия, в ту эпоху, около 1480 г. до р. Хр., находилась под протекторатом египетских царей. Слова библейского рассказа о похоронах Моисея в тексте оригинала не совсем ясны, и позднейшие еврейские комментаторы дополняют их указанием, что бог умертвил его своими устами, целуя его, а ангелы погребли его тело в неизвестном месте, или — по иным преданиям — перенесли на небо, где оно сохраняется целым и невредимым, так же как тело пророка Илии. Я в своей поэме оставил момент смерти Моисея за поэтической завесой. То, что сказано в поэме об Авироне и Датане как главных противниках Моисея среди израильского народа, основывается на рассказе Книги Чисел (глава XVI), в котором, однако, позднейшая редакция соединила вместе два рассказа о событиях разных эпох и различного характера, а именно о бунте левита Кораха и его сторонников против Моисея и Аарона и о восстании Датана и Авирама из колена Рувимова против Моисея. . . Цель обоих рассказов укрепить верховенство вождей, удостоенных богом. Но в то время как в рассказе о Датане и Авираме говорится только об одном вожде — Моисее, в рассказе о Корахе левиты, т. е. каста духовных, бунтуют против первосвященника Аарона, добиваясь для всех левитов равенства с сословием жрецов. В то время как первый рассказ носит исключительно политический характер и направлен против Моисея как вождя народа за то, что он не исполнил своего обещания и не дал народу земельной собственности, второй рассказ сложен, очевидно, в интересах храмовых жрецов и для устрашения левитов, чтобы они не добивались равного с жрецами права. Если мы обратим внимание на исторические отношения, среди которых могли возникнуть оба эти рассказа, то нам сразу станет ясным, что рассказ о Датане и Авираме должен был возникнуть во времена племенной независимости еврейского племени, когда это племя, бедствуя в своем новом отечестве, в борьбе с хананеями, могло еще с сожалением вспоминать о своем пребывании в Египте. Второй же рассказ приводит нас к эпохе нового храма по

возвращении евреев из плена вавилонского, и притом к довольно ранней эпохе, когда преобладание жрецов над всеми левитами не было еще так укреплено, как во времена Христа. То, что я сказал в поэме о Датане и Авираме, шире развивает религиозный и политический мотив оппозиции всех израильтян против Моисея. Читая отдельно текст каждого из этих рассказов, можно заметить, что в рассказе о Датане и Авираме нет начала, где должно быть сказано, по какому поводу и каким образом появилось их оппозиционное движение против Моисея. Из текста рассказа мы узнаем только, что Моисей велел их позвать неизвестно куда—вероятно, на общее собрание старейшин израильского народа,— а когда они не пожелали прийти, он со старейшинами сам пошел к их палаткам и там господней силою совершил чудесное уничтожение их. Не считая нужным допускать чудесную катастрофу, я изобразил в своей поэме оппозиционную деятельность Датана и Авирона на собрании израильского народа и предоставил дело наказания их, предсказанного им Моисеем, стихийному взрыву народного сознания после смерти Моисея. Важную роль в моей поэме играет демон Азазель... Из текста ветхозаветной книги ясно видно, что Азазель является демоном, противником Иеговы, вероятно олицетворением пустыни и ее страшилищ. В библейском рассказе сам бог указывает Моисею Палестину; в своей поэме я нарочно предоставил это роли Азазеля, желая возможно сильнее отметить контраст между пророческими обещаниями и тем, что действительно ожидало евреев в Палестине. Я считал нужным усилить этот контраст не только указанием на географическое положение и разноплеменность Палестины, но, сверх того, еще и изображением ожидавшей евреев в этом краю участи. И я вложил это в уста Азазеля как сильнейшую часть демонского искушения, могущую поколебать веру даже самого сильного характера. Но не надо забывать, что эта роль Азазеля в моей поэме является лишь поэтическим объективированием собственной психологической реакции, которая должна была совершаться в душе пророка после того, как его оттолкнул его народ. Крайнее выражение этой психологической реакции, вырывающееся из души пророка в виде слов: «Обманул Иегова!», вовсе не является триумфом демона-искусителя, со смехом отступающего в этот миг от Моисея, а служит лишь обозначением предела человеческой силы, дойдя до которого Моисей слышит слова самого бога, раскрывающие ему гораздо более широкий кругозор, чем тот, который мог ему раскрыть Азазель, разъясняющие ему высокую мудрость управляющего судьбой народов провидения и дающие его душе и телу окончательное успокоение. Для изображения (в строфах 1—9 XIX песни) предшествовавших Иегове явлений я воспользовался библейским рассказом об явлении Иеговы пророку Илии... где читаем вот что: «Илия вошел в пещеру и провел там ночь. И он услышал голос бога, спросивший его: «Что делает Илия?» И он ответил: «Я усердно и пламенно потрудился для Вечного, бога звезд, ибо сыны Израиля оставили союз твой, разорили твои жертвенники и удалили твоих пророков. Только я один пережил их, и вот они посягают на мою жизнь, дабы отнять ее у меня». И голос сказал: «Изыди и взойди на гору перед лицо Вечного, ибо он придет сюда». И вот поднялся силь-

ный и ужасный, потрясающий гору и разбивающий камни, предшествующий Вечному ветру, но Вечного не было в том ветре. А после ветра наступило землетрясение, но его не было в землетрясении. После движения земли явился огонь, но и в огне не было Вечного. А после огня зашелестел легкий ветер, и в этом ветре явился Вечный. И, почувствовав это, Илия закрыл свое лицо мантией и остановился у входа пещеры...» Оставляю в стороне притчу о терне, вложенную в уста Моисея в V главе моей поэмы, так как не могу теперь найти ее оригинального текста. Она имеется в одной из ветхозаветных книг, но я довольно свободно переделал ее и прибавил к ней (глава VI), по моему мнению, достойное Моисея и соответствующее моменту, в какой он рассказывает детям Израиля эту притчу, пояснение». В заключение Франко писал: «Не могу предвидеть, как примет русская публика мою поэму, так непохожую на то, что предлагают ей обыкновенно почти все современные русские поэты. Но мне кажется, что она будет нелишней и привнесет кое-что новое в течение русской поэзии, а быть может, и успеет умалить господствующее до сих пор среди громадного большинства великорусского общества предубеждение против украинского слова и духа». По свидетельству дочери поэта А. Франко-Ключко, литературоведа М. Мочульского и других мемуаристов, непосредственным толчком к воссозданию образа Моисея послужил для Франко «Моисей» Микеланджело. Летом 1904 г. Франко совершил путешествие по Италии. «Необычайное впечатление произвела на отца там известная статуя „Моисей“,—вспоминала А. Франко-Ключко (Ганна Франко-Ключко. Останній поцілунок. «Іван Франко у спогадах сучасників», цит. изд., стр. 402). Репродукцию с «Моисея» Франко повесил у себя над кроватью. В ответ на просьбу художника И. Труша написать что-нибудь о своем путешествии для журнала «Художественный вестник» Франко пообещал дать статью о «Моисее». Но не Библия и не творение итальянского скульптора стали для Франко подлинным источником вдохновения. Идейный мир поэмы, ее цель и задачу предопределила современная поэту украинская действительность. Франко открыто заявил об этом в «Прологе». Но если бы «Пролога» и не существовало (по утверждению М. Мочульского, он был написан, когда поэма уже набиралась в типографии), было бы совершенно очевидно, что поэма обращена к соплеменникам поэта, что воплощены в ней вековые стремления украинского народа к свободе и счастью. Во время разгоравшейся в России революции Франко пытался осмыслить вопрос о движущих силах истории, о взаимоотношениях вождя и народных масс. Он сам говорил, что в «Моисее» хочет дать «философию политики» (См.: М. Мочульский. З останніх десяти літ життя Івана Франка. «Іван Франко у спогадах сучасників», цит. изд., стр. 437). Франко считал «Моисея» своим вершинным созданием. С особым вниманием следил он за всеми появившимися в печати откликами и раздраженно замечал, что критики, пытающиеся анализировать его поэму в ряду других произведений о Моисее и ограничивающиеся литературными параллелями, не поняли его замысла. В апреле 1905 г. Франко прочитал первые главы поэмы посетившему его М. М. Коцюбинскому. «В своей убогой

избе сидел он за столом босой и плел рыболовецкие сети, как бедный апостол. Плел сети и писал поэму «Моисей». Не знаю, попалась ли рыба в его сети, но душу мою он пленил своей поэмой», — емким и точным образом выразил Коцюбинский свое первое впечатление (М. М. Коцюбинский, Собр. соч., т. 3, стр. 33). В письме из Рима он благодарил Франко «за те приятные и незабываемые дни, которые мы провели вместе во Львове и в деревне. Пишу это сегодня, осмотрев «Моисея» Микеланджело, напомнившего мне Вашу чудесную поэму. Когда я стоял перед «Моисеем», мне слышались сильные, полные огня речи, раздававшиеся в вашем доме» (М. М. Коцюбинский. Собр. соч., т. 3, стр. 121). Прочитав полный текст поэмы, Коцюбинский восторженно отозвался о ее поэтической мощи, идейной глубине. Поэма быстро завоевала огромную популярность. Желая ознакомиться с ней как можно более широкие круги народа, Франко охотно читал ее в самых различных аудиториях. Даже будучи уже тяжело больным, поэт, откликаясь на предложения, выезжал с чтением «Моисея» во многие города Галиции (Дрогобыч, Тернополь, Золочев, Перемышль и др.), а также в Буковину (Черновцы). Сохранившиеся отзывы печати и рассказы современников свидетельствуют, что чтение Франко производило неизгладимое впечатление; выступления неизменно заканчивались чествованием великого поэта. Приведем рассказ очевидца о выступлении Франко в Коломии (1910 г.): «На вечер пришли старики и молодежь, рабочие, служащие, учителя. Пришли школьники, пришли крестьяне из окрестных сел. В немой, напряженной тишине слышно было каждое слово, хоть Франко, скованный тяжелой болезнью... читал негромко. Рядом с Иваном Франко стоял его сын Андрей и переворачивал страницу за страницей... И когда Иван Франко, утомленный долгим чтением, окончил и его утомленная рука потянулась к стакану с водой, в зале еще несколько минут царил неслыханная тишина, будто не было там ни одного человека. Потом, будто обрушилась вихревая гроза, все потонуло в бурных аплодисментах, криках «ура», «слава». Люди встали и, стоя, горячо приветствовали лучшего сына народа, который бросил в их сердца мужественные, пламенные слова, полные веры и надежды на лучшее будущее» («Иван Франко у спогадах сучасників», цит. изд., стр. 52). Естественно, совсем иначе была воспринята поэма в клерикальных кругах. Красноречивое свидетельство этого содержится в заметке известной украинской писательницы Ольги Кобылянської о выступлении Франко в Черновцах в 1913 г.: «Собралось много народа. Все радостно встретили Франко. Когда он читал поэму, у него дрожали руки. Вдруг я услышала такую реплику одного из присутствующих (это был поп): „Бог карает его за Моисея, поэтому у него и руки дрожат“». (Ольга Кобылянська. Мрії письменника здійснились. В сб. «Іван Франко у спогадах сучасників», цит. изд., стр. 526). Важно отметить, что Франко не начинал, а завершал чтение поэмы «Прологом», содержащим непосредственное обращение к украинскому народу. *Бескид* (или *Бескиды*) — так горцы-украинцы называли Карпаты.

Глава I. Моав (моавитяне) — родственное израильтянам семитическое племя, проживавшее на восточном берегу Мертвого моря.

Глава II. Ваал — главное божество семитов-язычников. Культ Ваала, олицетворявшего мужскую, активную силу, состоял в разнуданном сладострастии.

Глава III. Тяжелый ковчег. Согласно библейскому преданию, в ковчеге хранились «скрижали завета», т. е. божественные заповеди.

Глава IV. Ур (Хур) — древняя столица государства Халден, находившегося в южной части междуречья Тигра и Евфрата. *Гарран* — северо-западная часть Месопотамии. *Авраам* — согласно Библии, патриарх — родоначальник евреев. *Ханаан* — государство, представлявшее собой объединение мелких самостоятельных княжеств и занимавшее территорию к западу от реки Иордан. *Крипта* — место захоронений в катакомбах.

Глава VII. Астарта — богиня семитов-язычников, жена бога Ваала. *Синай* — пустынный полуостров к юго-западу от Палестины. *Сенаар* — древнее название плодородной равнины в междуречье Тигра и Евфрата, где впоследствии возникло государство Вавилон.

Глава X. Шаддая — одно из наименований Иеговы.

Глава XI. Когда тестя стада ты водил на вершинах Хорива. По библейскому преданию, Моисей, который пас овец своего тестя Иофора на горе Хорив, увидел терновый куст, горящий, но не сгорающий («неопалимую купину»). «И воззвал к нему бог из среды куста», и повелел, чтоб Моисей вывел евреев из Египта в землю, «где течет молоко и мед» (Книга «Исход», гл. III).

Глава XVI. Орион. По поводу включения в ткань поэмы сказания об Орионе Франко замечал в предисловии: «В одном случае я воспользовался и греческой мифологией, а именно там, где упоминается об Орионе (глава XVI). — Миф об Орионе, впрочем, не чужд также египетскому и еврейскому преданию; в пересказе греческого мифографа Аполлодора он излагается следующим образом: „Ориона убила Артемида на Делосе. Его считают гигантом, сыном земли (Геи); Ферекид утверждает, что он родился от Посейдона и Евриалии; по крайней мере Посейдон одарил его способностью ходить по морю. Этот Орион женился на Сиде, которую, однако, Гера ввергла в Гадес за то, что та считала себя красивее богини. Утратив первую жену, Орион отправился на остров Хиос и попросил руки Меропы, дочери туземного князя Ойнопиона (Винопийца). Ойнопион подпоил Ориона и, когда последний заснул, ослепил его и бросил в море. Орион не утонул в море, а пошел поверх воды и пришел на остров Лемнос в кузницу Гефеста. Здесь он схватил одного из слуг, посадил его себе на плечи и велел ему вести себя на восток, к Солнцу. Дойдя до жилища Солнца, он от лучей его вновь обрел свое зрение и тогда поспешил опять на Хиос, чтобы отомстить Ойнопиону“».

Глава XIX. *Теребинт* — степное растение.

Глава XX. *Номады* — кочевники.

Колючка в ноге
(Терен у нозі)

Впервые — Львов, 1927. Первый, незавершенный вариант был создан в 1907 г., спустя шесть лет Франко вернулся к поэме, переработал и завершил ее, посвятив памяти своей знакомой Зиновии Бурачинской. *Сучава* — город в Буковине; здесь имеется в виду находящийся недалеко от города монастырь Драгомирна, привлекавший много паломников.

СЛОВАРЬ

Быдло — скотина

Войт — сельский староста

Гай — роща

Домовина — гроб

Запaska — женская одежда, род шерстяного передника

Канчук — нагайка

Кийок, уменьшительное от «кий», — палка, трость

Криница — колодец, источник

Кунтуш — верхняя мужская одежда

Саламаха — крестьянское кушанье (чеснок, истолченный с фасолью и хлебом)

Толока — выгон

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. И. Франко. Фото 1890-х годов
2. *Между стр. 16 и 17* Могила И. Франко.
3. *Стр. 61*. Титульный лист сборника «Вершины и низины».
4. *Между стр. 368 и 369*. И. Франко. Портрет работы П. А. Белецкого. Масло.
5. *Между стр. 640 и 641*. И. Франко. Фото 1910-х годов.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- «А после разговоры здесь начнутся. . .» (Тюремные сонеты. XXIV. Разговоры) 90
Антошке П. (Аз покой). (На старые темы. VIII. «Диалект или язык? — На свете. . .») 257
«Апостол правды и науки. . .» (Шевченко и поклонники) 308
Арестантская песня (Тюремные сонеты. XXV. «Кто любит месяц, — я без солнца вяну. . .») 90
«Аристотель-мудрец Александра учил. . .» (Притчи. IV. Притча о красоте) 188
«Асока, царь премудрый, милосердный. . .» (Притчи. VIII. Притча об истинной ценности) 193
«„Ах, вы шуметь?“ — охрана закричала. . .» (Тюремные сонеты. VI) 80
«Ах ты, дубок, дубочек кудрявый. . .» (Увявшие листья. 2. VI) 141
- Батрак (Excelsior! I. «Склоненный над сохой, тоскливо напевая. . .») 51
Бедный Генрих 480
Беркут (Excelsior! II. «Из скрытого гнезда в горах, в глухой теснине. . .») 53
«Берут дыру, железом обкуют. . .» (Тюремные сонеты. XIV) 85
«Бес нечистый, дух разлуки. . .» (Увявшие листья. 3.XI) 162
«Бескрайнее поле, где снег пеленою. . .» (Увявшие листья. 1. X.) 127
«Блажен тот муж, что на суде неправых. . .» (На старые темы. II) 252
«Ближе, ближе тучи с юга. . .» (В плен-эре. IV) 238
«Будь ты, певец, словно в поле пшеница. . .» (Поэт. III. Певцу) 65
«Быстро исчезли снега, растопила оковы мороза. . .» (Майские элегии. IV) 328
- В Бразилию (I—V) 219
В вагоне (Увявшие листья. 2. X. «Как с испуга, без сознания. . .») 145
В 23-ю годовщину смерти Тараса Шевченко («Поклон тебе, певец народной доли. . .») 322
«В дремоте села. За окном. . .» (В плен-эре. VIII) 241
В лесу (Галицкие картинки. X. «Хорошо, в чаще леса блуждая. . .») 112
В ночном (По селам. X. «За Дил могучий солнце опустилось. . .») 208
В плен-эре (I—X) 231

- «В темнице жуткие мне снятся сны...» (Тюремные сонеты. Кровавые сны. XXXIX) 98
- В шинке (Галицкие картинки. I. «Сидел в шинке ипил хмельную...») 102
- «Вельможная, сиятельная пани...» (В Бразилию. I. Письмо Стефании) 219
- «Велят, чтобы в тюрьме мы не курили...» (Тюремные сонеты. XIX) 87
- «Веснянки (I—XV) 30
- «Вечный революционер...» (Гимн) 29
- «Взгляни на ключ, что из камней гробницы...» (Свободные сонеты. IV. Народная песня) 70
- «Взгляни, я победил, краса-девица!..» 325
- «Видел рисуночек я и забыл уже, где его видел...» (Майские элегии. II) 327
- «Вниз катится мой воз, как всё на свете...» (Поклоны. I. Поэт говорит) 177
- «Внизу, у гор, село лежит...» (В плен-эре. V) 239
- «Вновь ты зовешь меня, моя богиня...» (Поклоны. II. К музе) 286
- «Во сне забрел в долину я: на диво...» (Из «Книги Кааф». 1) 262
- «Вопреки теченью...» (Думы пролетария. III. Semper idem!) 45
- «Вот Гонта, почерневший от побоев...» (Тюремные сонеты. Кровавые сны. XLII) 99
- «Вот идет Пазюк до дому...» (По селам. VII) 206
- «Вот спит дитя, невинный ангел чистый...» (Свободные сонеты. XII) 75
- «Вот уж исчезла с горы снеговая блестящая шапка...» (Майские элегии. V) 329
- «Вошла особа. «Имя?» Отвечаю...» (Тюремные сонеты. XXII) 89
- «Впрямь, как скотину, всех тут описали...» (Тюремные сонеты. III) 79
- «Время весеннее, делось куда ты?..» (Веснянки. X) 37
- «Встаем с рассветом, лица умываем...» (Тюремные сонеты. XI) 83
- «Всюду преследуют правду...» (Думы пролетария. V) 46
- «Вьется та тропиночка...» (Увядшие листья. 2. XIII) 147
- «Вы плакали фальшивыми слезами...» (Думы пролетария. X) 50
- «Вышла в поле русских сила...» (На старые темы. IX) 258
- Галаган (Галицкие картинки. VI. «Мамочка! — зовет Иван...») 104
- Галицкие картинки (I, IV, VI—XI, XIII) 102
- «Где не лился вы в нашей бывальщине...» (На старые темы. VI) 255
- «Где Сан течет зеленый, в Перемышле...» (Увядшие листья. 2. I) 137
- Гимн («Вечный революционер...») 29
- «Гляжу кругом... Сады и вертограды...» (Из книги Пророка Иеремии) 330
- Голод (Галицкие картинки. XI. «Кровавый год сорок шестой...») 114
- «Голодный пес, продрогший от метели...» (Притчи. VI. Притча о благодарности) 192
- «Греет солнышко!..» (Веснянки. III) 31
- «Гремит! Благодатная ближе погода...» (Веснянки. II) 31
- «Грусть проходит по голой горе...» 331
- «Гуманным будь,— любви источник чистый...» (Из «Книги Кааф». III) 265

- «Да высшая, не думайте вы, власть . . .» (Тюремные сонеты. XV) 85
- «Да, умерла она. Бам-бам! Бам-бам! . . .» (Увядавшие листья. 3. II) 153
- «Да, я хотел себя убить . . .» (Увядавшие листья. 3. VIII) 158
- «Давно то было. Двое малых деток . . .» (Excelsior! VI. Идиллия) 59
- «Давным-давно, в одном почтенном доме . . .» (Тюремные сонеты. X) 82
- «Два белых окна с кружевной занавеской . . .» (Увядавшие листья. 3. V) 156
- «Два панка пошли гулять . . .» (В Бразилию. III) 222
- Две дороги («Нам жизнь предназначает два венца . . .») 301
- Декадент (Поклоны. VI. «Я декадент? Вот это вправду ново! . . .») 181
- «Диалект или язык? — На свете . . .» (На старые темы. VIII. Антошке П. (Аз покой)) 257
- «Добрый был мужик Михайла . . .» (Галицкие картинки. IV. Михайла) 103
- «Долой пустые словосочетанья . . .» (Свободные сонеты. XIV) 76
- Думы на меже (Галицкие картинки. VIII. 1—4) 107
- Думы над мужицкой пашней (Галицкие картинки. IX. 1—2) 111
- «Думы, песни мои . . .» (Веснянки. XIV) 40
- Думы пролетария (I—X) 42
- «Душа бессмертна! Жить ей бесконечно! . . .» (Увядавшие листья. 3. XVIII) 170
- «Едва лишь сон начнет смыкать нам очи . . .» (Тюремные сонеты, VIII) 81
- «Если ночью услышишь ты, что за окном . . .» (Увядавшие листья. 2. XVII) 151
- «Еще и нам ведь весны расцветают . . .» (Смелей!) 310
- «Жить не могу — не погибаю . . .» (Увядавшие листья. 3. VII) 157
- Журавли (Галицкие картинки. VII. «Журавли ключем летят . . .») 105
- «За Дил могучий солнце опустилось . . .» (По селам. X. В ночном) 208
- «За что ж нам бремя суждено такое? . . .» (Тюремные сонеты. Кровавые сны. XLI) 99
- «За что, красавица, я так тебя люблю . . .» (Увядавшие листья. 1. IV) 123
- «Замолкла песня. Не взмахнет крылами . . .» (Тюремные сонеты. XVII) 86
- «Зачем, мужик, ты к знатым затесался? . . .» (Свободные сонеты. II) 69
- «Зачем приходишь ты ко мне . . .» (Увядавшие листья. 2. XII) 146
- «Зачем ты совсем не смеешься? . . .» (Увядавшие листья. 2. IX) 144
- «Змея эта всюду, зеленая, жадная . . .» (Галицкие картинки. VIII. Думы на меже. I) 107
- «Знать бы чары лучше, что сгоняют тучи . . .» (Увядавшие листья. 2. XIV) 148
- «Знахарка говорит . . .» (По селам. VI) 205
- «Зря смеешься, девочка . . .» (Увядавшие листья. 1. XII) 129
- «И бог клеймом отметил грудь Пилата . . .» (Тюремные сонеты. Легенда о Пилате. XXXVII) 97
- «И вас от шумных сборищ оттолкнут . . .» (Думы пролетария. VII. Товарищам) 48

- «И довелось же мне узнать страданье!..» (Свободные сонеты. XVI)
77
- Идеалисты (Думы пролетария. IV. «Под пнем перегнившим, в разросшейся тине...») 46
- Идиллия (Excelsior! VI. «Давно то было. Двое малых деток...») 59
- «Из далеких врат восточных...» (В плен-эре. II) 235
- Из «Книги Кааф» (I—IX) 262
- Из книги пророка Иеремии (III. «Гляжу кругом... Сады и вертограды...») 330
- «И ныне нам снится...» (На старые темы. VII) 255
- «И он пришел ко мне. Не призраком крылатым...» (Увядавшие листья. 3. XII) 163
- «И первая сказала: „Я любовь...“» (Тюремные сонеты. XXX) 93
- «И ты прощай! Теперь тебя...» (Увядавшие листья. 3. XV.) 167
- Иван Вишенский 572
- «Из скрытого гнезда в горах, в глухой теснине...» (Excelsior! II. Беркут) 53
- «Иосифу в Египте раз...» (Притчи. III. Притча о любви) 187.
- «К легкому челну ласкаясь, плещет радостно волна...» (Excelsior! IV. Челн) 56
- К Музе (Поклоны. II. «Вновь ты зовешь меня, моя богиня...») 286
- «Как вол в ярме, вот так я, день за днем...» (Увядавшие листья. 2. XIX) 151
- «Как голова болит! По пожелтевшим...» (Из «Книги Кааф». VIII) 270
- «Как с испуга, без сознания...» (Увядавшие листья. 2. X. В вагоне) 145
- «Как тень, я шел порой ночью...» (Увядавшие листья. 3. IV) 155
- «Как ты могла сказать мне так спокойно...» (Увядавшие листья. 1. VIII. «Не надейся ни на что») 125
- «Как я вас ненавижу, вы — машины...» (Тюремные сонеты. XXXIV) 95
- Камнеомы (Excelsior! V. «Я видел дивный сон. Как будто предо мною...») 57
- Ключники и смотрители (Тюремные сонеты. XX. «Нет, вас забыть — то был бы грех великий...») 88
- «Когда б ты знал, как много значит слово...» (Из «Книги Кааф». IX) 272
- Когда бы... (Поклоны. V. «Когда бы лишь великое страданье...») 180
- «Когда в общественном ты хочешь деле...» (Из «Книги Кааф». IV) 266
- «Когда в сонетах Данте и Петрарка...» (Свободные сонеты. XVII) 77
- «Когда железо силою живою...» (Свободные сонеты. IX) 73
- «Когда как рыба, что попала в сети...» (Тюремные сонеты. XVI) 86
- «Когда он умер, труп его убогий...» (Тюремные сонеты. Легенда о Пилате. XXXVIII) 97
- «Когда разлука милых ждет...» 319
- «Когда услышишь, что в тиши ночной...» (В Бразилию. II) 221
- «Коль не вижу тебя...» (Увядавшие листья. 2. XVI) 150
- Колючка в ноге 675

- «Ко мне за советом пришел человек...» (Галицкие картинки. VIII. Думы на меже. 3) 109
 Котляревский (Свободные сонеты. III. «Орел могучий на вершине снежной...») 70
 «Красная калина, что ты долу гнешься...» (Увядшие листья. 2. V) 141
 Кровавые сны (Тюремные сонеты. XXXIX—XLIII) 98
 «Кровавый год сорок шестой...» (Галицкие картинки. XI. Голод) 114
 Кто ее сложил (Тюремные сонеты. XXVI. «Умна ведь,— молвил Герсон,— и пригожа...») 91
 «Кто любит месяц,— я без солнца вяну...» (Тюремные сонеты. XXV. Арестантская песня) 90
 «Кто смел сказать, что не богиня ты?..» (Свободные сонеты. XI. Сикстинская мадонна) 74

- Легенда о Пилате (Тюремные сонеты. XXXVI—XXXVIII) 96
 Лесоруб («По тропам жизни я блуждал немало...») 316
 «Лицо небес яснее стало...» (Веснянки. VIII) 36
 «Льдом студеным покрыта...» (Увядшие листья. 3. I) 153
 «Любовь три раза мне была дана...» (Увядшие листья. 3. IX) 159

Майские элегии (I—V) 326

- «Мальчонкой, когда-то, все мѣжи я знал...» (Галицкие картинки. VIII. Думы на меже. 2) 108
 «Мамочка! — зовет Иван...» (Галицкие картинки. VI. Галаган) 104
 «Матерь природа...» (В плен-эре. I) 231
 «Матушка ты моя родненькая...» (Увядшие листья. 3. XIII) 165
 «Меж стран Европы мертвое болото...» (Тюремные сонеты. XLIV) 100
 Милосердным (Думы пролетария. II. «Пусть это так, что, как червяк...») 44
 Михайла (Галицкие картинки. IV. «Добрый был мужик Михайла...») 103
 «Мне кажется ночной порою...» 321
 «Мне теперь навеки дела нет...» (Увядшие листья. 3. III) 154
 «Мне трудно...» (Увядшие листья. 2. II) 139
 Моей не моей (Поклоны. VII. «Поклон тебе, увянувшая ветка...») 182
 Моисей 622
 «Мой сын, ты б меньше суесловил...» (Поклоны. II. Украина говорит) 178
 Моя любовь (Украина. «Так хороша она и так...») 68
 «Мужик кончался. Что за диво?..» (Смерть убийцы) 312
 «Мы ищем в юности нетерпеливо...» (Свободные сонеты. VIII) 73

- «На благодном Цейлоне...» (Притчи. II. Притча о вере) 186
 «На кровле хатенки, под самой трубою...» (Правдивая сказка) 307
 «На Подгорье в долах, по низинам...» (По селам. I) 198
 «На реке вавилонской — и я там сидел...» (На старые темы. X) 259
 На Святоюрской горе 606
 «На смену тоске отупенья...» (Увядшие листья. 1. I) 121
 На старые темы (I—X) 251
 На суде (Думы пролетария. I. «Судите, судьи, вы меня...») 42
 «На тебя я не в обиде, доля...» (Увядшие листья. 1. XIX) 133

- «Над широкою рекою...» (В плен-эре. VII) 240
- «Нам жизнь предназначает два венца...» (Две дороги) 301
- «Народ наш видел беды... Весть худая...» (Тюремные сонеты. XXVII) 91
- Народная песня (Свободные сонеты. IV. «Взгляни на ключ, что из камней гробницы...») 70
- «Настанет час — стряхнешь ты, негодуя...» (Свободные сонеты. XIII. Песня будущего) 75
- Наука («Хоть злой тиран попрад ее права...») 303
- «Не боюсь я ни бога, ни беса...» (Увядавшие листья. 1. III) 122
- «Не долго я на свете жил...» (Думы пролетария. IX) 49
- «Не забудь, не забудь...» (Веснянки. VII) 34
- «Не люди нам враги, о нет...» (Думы пролетария. VIII) 49
- «Не молчи, если ложь незаконная...» 331
- «Не надейся ни на что» (Увядавшие листья. 1. VIII. «Как ты могла сказать мне так спокойно...») 125
- «Не пора ль начать нам, братья, слово...» (На старые темы. 1) 251
- Незванной Марии (Поклоны. I. «Хоть меня ты и забудешь...») 285
- «Нередко мне является во сне...» (Увядавшие листья. 1. XV) 130
- «Нет, боженята, уж вы в провожатые мне не годитесь...» (Майские элегии. III) 327
- «Нет, вас забыть — то был бы грех великий...» (Тюремные сонеты. XX. Ключники и смотрители) 88
- «Нет, вы не знали власти надо мною!...» (Тюремные сонеты. XXVIII) 92
- «Нет и пяти, а утренней порою...» (Тюремные сонеты. IX) 82
- «Нет, иногда тюремные порядки...» (Тюремные сонеты. XIII) 84
- «Нет, не любил доселе никогда я...» (Свободные сонеты. XV) 76
- «Нет, сынок мой, я не гений...» (На злобу дня. О. Лунатику) 297
- «Ни на что я не надеюсь...» (Увядавшие листья. 1. IX) 127
- «Никогда тебя не клял я...» (Увядавшие листья. 1. XVII) 131
- «Ночь. Камера уснула. Там и тут...» (Тюремные сонеты. VII) 81
- «Ночь. Кругом мертво и тихо...» (В плен-эре. IX) 243
- «Ночь холодна. За непроглядной далью...» (Увядавшие листья. 1. XX. Призрак) 133
- «Ну а вдруг все это правда...» (Из «Книги Кааф». Страшный Суд) 273
- «Ну что меня влечет к тебе до боли?..» (Увядавшие листья. 1. II) 121
- «О девушка, ты — камень драгоценный...» (Из «Книги Кааф». VI. Ф. Р.) 267
- О. Лунатику (На злобу дня. «Нет, сынок мой, я не гений...») 297
- «О, печаль моя, горе...» (Увядавшие листья. 2. VII) 142
- «О сердце женщины! Ты лед студеной...» (Свободные сонеты. VI) 72
- «Одета с элегантною простотою...» (Из «Книги Кааф». V) 266
- «Ой, идут, идут туманы...» (В плен-эре. VI) 239
- «Ой-ой! На селе приключилась беда...» (По селам. VIII) 206
- «Ой, поет в саду, щебечет соловей...» (Веснянки. IX) 36
- «Ой, расплескалось ты, русское горе...» (В Бразилию. IV) 223
- «Она не детская забава...» (Современная песня) 310
- «Орел могучий на вершине снежной...» (Свободные сонеты. III. Котляревский) 70

«Орудия ухали с ревом...» 320

Отрывок из поэмы «Новая жизнь» (Галицкие картинки. XIII. «Подгорья бесконечные долины...») 115

«Отчаяние! Что я считал...» (Увядшие листья. 3. VI) 157

«Ох, тяжело ярмо родного края...» (Поклоны. III. Раздумье) 179

Панские забавы 335

Певцу (Поэт. III. «Будь ты, певец, словно в поле пшеница...») 65

«Песни подбитая, милая пташка...» (Веснянки. XIII) 39

Песня будущего (Свободные сонеты. XIII. «Настанет час — стряхнешь ты, негодуя...») 75

«Песня — доля моя...» (Поэт. II. Чем песня жива?) 64

Песня и труд (Поэт. I. «Песня, подруга моя, ты больному...») 63

«Песня подбитая, милая пташка...» (Увядшие листья. 3. XIV) 166

«Песня, подруга моя, ты больному...» (Поэт. I. Песня и труд) 63

Письмо из Бразилии (В Бразилию. V. «Соседи наши! Пишет вам Олеся...») 224

Письмо Стефании (В Бразилию. I. «Вельможная, сиятельная пани...») 219

По селам (I—X) 198

«По тропам жизни я блуждал немало...» (Лесоруб) 316

«Повстречались мы с тобою...» (Увядшие листья. 1. V) 124

«Под крышкой металлического гроба...» (Увядшие листья. 1. XVI. Похороны пани А. Г.) 131

«Под пнем перегнившим, в разросшейся тине...» (Думы пролетария. IV. Идеалисты) 46

Подгорье зимой («Подгорье родное, любовь ты моя!...») 323

«Подгорья бесконечные долины...» (Галицкие картинки. XIII. Отрывок из поэмы «Новая жизнь») 115

«Подходит мрак. Боюсь я этой ночи...» (Увядшие листья. 3. X) 161

«Пойми, поэт, на жизненном пути ты...» (Из «Книги Кааф». II) 264

«Поклон тебе, Будда!...» (Увядшие листья. 3. XVII) 168

«Поклон тебе, певец народной доли...» (В 23-ю годовщину смерти Тараса Шевченко) 322

«Поклон тебе, увянувшая ветка...» (Поклоны. VII. Моей не моей) 182

Покой (Думы пролетария. VI. «Что ж, покой — святое дело...») 47

«Полночный крик звучит среди степных раздолий...» (На старые темы. V) 254

«Поняв, что смерти близится година...» (Притчи. V. Притча о дружбе) 189

«Попалась в сети птичка...» (Притчи. IX. Притча о глупости) 194

«Постепенно срываю оковы...» (Товарищам из тюрьмы) 301

Похороны 537

Похороны пани А. Г. (Увядшие листья. 1. XVI. «Под крышкой металлического гроба...») 131

Поэма о белой сорочке 514

Поэт (I—IV) 63

Поэт говорит (Поклоны. 1. «Вниз катится мой воз, как всё на свете...») 177

Правдивая сказка («На кровле хатенки, под самой трубою...») 307

«Преступник я. Чтоб заглушить...» (Увядшие листья. 1. XIII) 129

- Призрак (Увядашие листья. 1. XX. «Ночь холодна. За непроглядной далью...») 133
- Притча о благодарности (Притчи. VI. «Голодный пес, продрогший от метели...») 192
- Притча о вере (Притчи. II. «На благостном Цейлоне...») 186
- Притча о глупости. (Притчи. IX. «Попалась в сети птичка...») 194
- Притча о дружбе (Притчи. V. «Поняв, что смерти близится година...») 189
- Притча о жадности (Притчи. «С болотом топким жадность я сравню...») 287
- Притча о жизни (Притчи. I. «То было в Индии. Безлюдной степью...») 183
- Притча об истинной ценности (Притчи. VIII. «Асока, царь премудрый, милосердный...») 193
- Притча о красоте (Притчи. IV. «Аристотель-мудрец Александра учил...») 188
- Притча о любви (Притчи. III. «Иосифу в Египте раз...») 187
- Прогулка (Тюремные сонеты. XII. «Прогулка — не крестьянина на грядки...») 83
- «Прошло то время? Ложь! Забыт ли час...» (Тюремные сонеты. Кровавые сны. XLIII) 100
- «Пусть это так, что, как червяк...» (Думы пролетария. II. Милосердным) 44
- Пьяница 499
- «Рад бы, весна, я, порою отрадной...» (Веснянки. XI) 38
- «Раз мне во сне явились две богини...» (Тюремные сонеты. XXIX) 93
- Разговоры (Тюремные сонеты. XXIV. «А после разговоры здесь начнутся...») 90
- Раздумье (Поклоны. III. «Ох, тяжело ярмо родного края...») 179
- «Распускайся, развивайся...» (Веснянки. IV) 34
- Родное село (Поэт. IV. «Я вижу вновь тебя, село мое родное...») 66
- «Россия, край печали и терпенья...» (Тюремные сонеты. XXXIII) 95
- «С болотом топким жадность я сравню...» (Притчи. Притча о жадности) 287
- «Самоубийство — трусость...» (Увядашие листья. 3. XIX) 172
- Сатни и Табубу 507
- «Свет мой, Земля, ты всего нам роднее...» (Веснянки. V) 33
- Свободные сонеты (I—XVII) 69
- «Се дом печали, плача, вздыханья...» (Тюремные сонеты. I) 78
- Седоглавому (Поклоны. IV. «Ты, братец, любишь Русь...») 179
- «Сердце мое устремляется с плачем...» (Галицкие картинки. IX. Думы над мужицкой пашней. 2) 112
- «Сидел в шинке и пил хмельную...» (Галицкие картинки. I. В шинке) 102
- «Сидел пустынный старый возле скита...» (Тюремные сонеты. XXXII) 94
- «Сажу в тюрьме я, как стрелок в кустах...» (Тюремные сонеты. IV) 79
- Сикстинская мадонна (Свободные сонеты. XI. «Кто смел сказать, что не богиня ты?») 74

- «Сказал Пилат, предав Христа на муки...» (Тюремные сонеты. Легенда о Пилате. XXXVI) 96
- «Склоненный над сохой, тоскливо напевая...» (Excelsior! I. Батрак) 51
- «Скоро месяц, как кум в каталажке сидит...» (По селам. IX) 207
- «Слепцы клянут наш век напрасно, веря...» (Свободные сонеты. V) 71
- «Слышал ли ты, как вожаки...» (В плен-эре. X. Школа поэта) 246
- «Смейтесь, звезды, надо мною!...» (Увядающие листья. 2. XI) 145
- Смелей! («Еще и нам ведь весны расцветают...») 310
- Смерть Каина 445
- Смерть убийцы («Мужик кончался. Что за диво?») 312
- «Смешон мне этот мир. Еще смешней поэт...» (Свободные сонеты. X) 74
- «Снаружи, за тюремную стеною...» (Тюремные сонеты. XVIII. Hausordnung) 87
- Современная песня («Она не детская забава...») 310
- «Сонеты — как рабы. На них — оковы...» (Свободные сонеты. I) 69
- «Соседи наши! Пишет вам Олеся...» (В Бразилию. V. Письмо из Бразилии) 224
- «Среди поля у дороги...» (Excelsior! III. Христос и крест) 54
- «Стану на пашне, умытой зарею...» (Галицкие картинки. IX. Думы над мужичкой пашней. I) 111
- «Страшитесь вы той огненной стихии...» (Свободные сонеты. VII) 72
- Страшный суд. Из «Книги Кааф» («Ну а вдруг все это правда...») 273
- «Стройная девушка, меньше орешка...» (Увядающие листья. 2. IV) 140
- «Судите, судьи, вы меня...» (Думы пролетария. I. На суде) 42
- «Судьба — стена меж нами. Как волнами...» (Увядающие листья. 1. XIV) 130
- Сурка 470
- «Сыплет, сыплет, сыплет снег...» (Увядающие листья. 2. XX) 152
- «Так хороша она и так...» (Украина. Моя любовь) 68
- «Такой удобный инструмент...» (Увядающие листья. 3. XX) 173
- «Так побранился...» (По селам. IV) 203
- «Тем же утром, с криком, с шумом...» (По селам. V) 204
- «То было в Индии. Безлюдной степью...» (Притчи. I. Притча о жизни) 183
- «То было за три дня перед венчаньем...» (На старые темы. III) 252
- «То не пчелы, не шмели...» (По селам. III) 202
- Товарищам (Думы пролетария. VII. «И вас от шумных сборищ оттолкнут...») 48
- Товарищам из тюрьмы («Постепенно срывая оковы...») 301
- «Ты, братец, любишь Русь...» (Поклоны. IV. Седоголовому) 179
- «Ты в груди моей, весна...» (Веснянки. XV. Vivere tementol) 41
- Ты вновь оживаешь, надежда! 309
- «Ты меня мучишь, весна! Рассыпаешься блестками солнца...» (Майские элегии. I) 326
- «Ты на улице при встрече...» (Увядающие листья. 1. XI) 128
- «Ты плачешь. Частые слезинки...» (Увядающие листья. 1. XVIII) 132
- «Ты, только ты моя единая любовь!...» (Увядающие листья. 1. VI) 125

- «Ты, человече, худого не бойся!..» (По селам. VI. Знахарка говорит) 205
- Тюремная культура (Тюремные сонеты. XXIII. «Хоть всюду здесь решетки, стены хмуры...») 89
- Тюремные сонеты (I—XLVI) 78
- «Тюрьма народов, обручем из стали...» (Тюремные сонеты. XLV) 101
- Увядающие листья
- Первая горсть (I—XXI) 121
- Вторая горсть (I—XX) 137
- Третья горсть (I—XX) 153
- «Увядающие листья! умчитесь в туманы...» (Увядающие листья. I. Эпиграмм) 135
- «Удивлялась зима...» (Веснянки. I) 30
- «Уж полночь. Темень. Стужа. Ветер воет...» (Из «Книги Кааф». VII) 269
- «Уж солнышко вновь по лугам...» (Веснянки. IV) 33
- «Узка и тяжела к добру дорога...» (Тюремные сонеты. II) 78
- Украина (I) 68
- Украина говорит (Поклоны. II. «Мой сын, ты б меньше суесловил...») 178
- «Украинские милые поэты...» (Тюремные сонеты. Эпиграмм) 101
- «Умна ведь,— молвил Герсон,— и пригожа...» (Тюремные сонеты. XXVI. Кто ее сложил) 91
- Ф. Р. (Из «Книги Кааф». VI. «О девушка, ты — драгоценный...») 267
- «Ходят ветры по краю...» (В плен-эре. III) 237
- «Хорошо в чаще леса блуждая...» (Галицкие картинки. X. В лесу) 112
- «Хотите знать, как время мы проводим...» (Тюремные сонеты. V) 80
- «Хоть всюду здесь решетки, стены хмуры...» (Тюремные сонеты. XXIII. Тюремная культура) 89
- «Хоть злой тиран пограл ее права...» (Наука) 303
- «Хоть меня ты и забудешь...» (Поклоны. I. Неназванной Марии) 285
- «Хоть не цвести тебе в тиши полян...» (Увядающие листья. 2. XVIII) 151
- Христос и крест. (Excelsior! III. «Среди поля у дороги...») 54
- «Христос, исполосованный бичами...» (Тюремные сонеты. Кровавые сны. XL) 98
- Челн (Excelsior! IV. «К легкому челну ласкаясь, плещет радостно волна...») 56
- Чем песня жива? (Поэт. II. «Песня — доля моя...») 64
- «Что волк овцу ест — жалко, да не диво...» (Тюремные сонеты. XXXV) 96
- «Что ж, покой — святое дело...» (Думы пролетария. VI. Покой) 47
- «Что за дым клубится в поле?..» (Веснянки. XII) 38
- «Что мне шумит, что мне звенит, как в туче...» (Тюремные сонеты. XXI) 88
- «Что песни! Утратила она...» (Увядающие листья. 3. XVI) 167
- «Что счастье жизни? Лжи струя...» (Увядающие листья. 2. XV) 149

- Шевченко и поклонники («Апостол правды и науки...») 308
«Шиннок шумит, шиннок гудит...» (По селам. II) 200
Школа поэта (В плен-эре. X. «Слышал ли ты, как вожаки...») 246
- Эпилог (Увядавшие листья. I. «Увядавшие листья! умчитесь в туманы...») 135
- Эпилог (Тюремные сонеты. «Украинские милые поэты...») 101
«Эти очи — словно море...» (Увядавшие листья. I. VII) 125
- «Я видел дивный сон. Как будто предо мною...» (Excelsior! V. Камнеломы) 57
«Я вижу вновь тебя, село мое родное...» (Поэт. IV. Родное село) 66
«Я декадент? Вот это вправду ново!...» (Поклоны. VI. Декадент) 181
«Я думал о будущем братстве людей...» (Галицкие картинки. VIII. Думы на меже. 4) 110
«Я не тебя люблю, о нет...» (Увядавшие листья. 2. VIII.) 143
«„Я ненависть“, — другая говорила...» (Тюремные сонеты. XXXI) 94
«Явор зеленый, явор зеленый...» (Увядавшие листья. 2. III) 139
- Vivere memento! (Веснянки. XV. «Ты в груди моей, весна...») 41
Excelsior! (I—VI) 51
Semper idem! (Думы пролетария. III. «Вопреки течению...») 45
Hausordnung (Тюремные сонеты. XVIII. «Снаружи, за тюремною стеною...») 87

СОДЕРЖАНИЕ¹

Иван Франко — поэт, *Вступительная статья А. Белецкого* 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Из книги «Вершины и низины»

1898

DE PROFUNDIS

Гимн (Вместо пролога). *Перевод Н. Брауна* 29 701

Веснянки

- I. «Удивлялась зима. . .». *Перевод А. Островского* 30 701
II. «Гремит! Благодатная ближе погода. . .». *Перевод Н. Ушакова* 31 702
III. «Греет солнышко! . .». *Перевод С. Гордеева* 31 702
IV. «Уж солнышко вновь по лугам. . .». *Перевод Я. Городского* 33 702
V. «Свет мой, Земля, ты всего нам роднее. . .». *Перевод А. Прокофьева* 33 702
VI. «Распускайся, развивайся. . .». *Перевод Н. Брауна* 34 702
VII. «Не забудь, не забудь. . .». *Перевод А. Суркова* 34 702
VIII. «Лицо небес яснее стало. . .». *Перевод Н. Брауна* 36 702
IX. «Ой, поет в саду, щебечет соловей. . .». *Перевод М. Исаковского* 36 702
X. «Время весеннее, делось куда ты? . .». *Перевод В. Владимирова* 37 702
XI. «Рад бы, весна, я порою отрадной. . .». *Перевод Н. Брауна* 38 702

¹ Первая цифра указывает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

XII. «Что за дым клубится в поле?..». Перевод <i>Вс. Рождественского</i>	38	702
XIII. «Песни доли вешней...». Перевод <i>А. Прокофьева</i>	39	702
XIV. «Думы, песни мои...». Перевод <i>А. Гагова</i>	40	702
XV. «Vivere memento!». Перевод <i>Т. Форш</i>	41	702

Думы пролетария

I. На суде. Перевод <i>В. Цвелева</i>	42	702
II. Милосердным. Перевод <i>В. Владимирова</i>	44	702
III. Semper idem! Перевод <i>Н. Асанова</i>	45	702
IV. Идеалисты. Перевод <i>Д. Бродского</i>	46	703
V. «Всюду преследуют правду...». Перевод <i>Е. Нежинцева</i>	46	703
VI. Покой. Перевод <i>Н. Ушакова</i>	47	703
VII. Товарищам. Перевод <i>В. Цвелева</i>	48	703
VIII. «Не люди нам враги, о нет...». Перевод <i>Л. Длигача</i>	49	703
IX. «Не долго я на свете жил...». Перевод <i>Н. Брауна</i>	49	703
X. «Вы плакали фальшивыми слезами...». Перевод <i>Б. Турганова</i>	50	703

Excelsior!

I. Батрак. Перевод <i>Б. Турганова</i>	51	703
II. Беркут. Перевод <i>Н. Брауна</i>	53	703
III. Христос и крест. Перевод <i>М. Цветаевой</i>	54	703
IV. Челн. Перевод <i>Д. Бродского</i>	56	703
V. Камнеомы. Перевод <i>А. Прокофьева</i>	57	703
VI. Идиллия. Перевод <i>М. Комиссаровой</i>	59	703

ИЗ РАЗДЕЛА «ПРОФИЛИ И МАСКИ»

Из цикла «Поэт»

I. Песня и труд. Перевод <i>С. Обрадовича</i>	63	704
II. Чем песня жива? Перевод <i>А. Прокофьева</i>	64	704
III. Певцу. Перевод <i>М. Комиссаровой</i>	65	704
IV. Родное село. Перевод <i>А. Глобы</i>	66	704

Из цикла «Украина»

Моя любовь. Перевод <i>В. Звягинцевой</i>	68	704
-----------------------------------------------------	----	-----

СОНЕТЫ

Свободные сонеты (Перевод *А. Ахматовой*)

I. «Сонеты — как рабы. На них оковы...»	69	704
II. «Зачем, мужик, ты к знатным затесался?»	69	704
III. Котляревский	70	705
IV. Народная песня	70	705
V. «Слепцы клянут наш век напрасно, веря...»	71	705
VI. «О сердце женщины! Ты лед студеный...»	72	705

VII.	«Страшитесь вы той огненной стихии...»	72	705
VIII.	«Мы идем в юности нетерпеливо...»	73	705
IX.	«Когда железо силою живою...»	73	705
X.	«Смешон мне этот мир. Еще смешней поэт...»	74	705
XI.	Сикстинская мадонна	74	705
XII.	«Вот спит дитя, невинный ангел чистый...»	75	705
XIII.	Песня будущего	75	705
XIV.	«Долой пустые словосочетанья...»	76	705
XV.	«Нет, не любил доселе никогда я...»	76	705
XVI.	«И довелось же мне узнать страданье!...»	77	705
XVII.	«Когда в сонетах Данте и Петрарка...»	77	706

Тюремные сонеты:

I.	«Се дом печали, плача въздыханья...»	<i>Перевод Н. Ушакова</i>	78	706
II.	«Узка и тяжела к добру дорога...»	<i>Перевод А. Андреева</i>	78	706
III.	«Впрямь, как скотину, всех тут описали...»	<i>Перевод Д. Бродского</i>	79	706
IV.	«Сижу в тюрьме я, как стрелок в кустах...»	<i>Перевод Н. Ушакова</i>	79	706
V.	«Хотите знать, как время мы проводим...»	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	80	706
VI.	«„Ах, вы шуметь?“ — охрана закричала...»	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	80	706
VII.	«Ночь. Камера уснула. Там и тут...»	<i>Перевод Вс. Рождественского</i>	81	706
VIII.	«Едва лишь сон начнет смыкать нам очи...»	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	81	706
IX.	«Нет и пяти, а утренней порою...»	<i>Перевод А. Андреева</i>	82	706
X.	«Давным-давно, в одном почтенном доме...»	<i>Перевод В. Турганова</i>	82	706
XI.	«Встаем с рассветом, лица умываем...»	<i>Перевод А. Бондаревского</i>	83	707
XII.	Прогулка	<i>Перевод А. Андреева</i>	83	707
XIII.	«Нет, иногда тюремные порядки...»	<i>Перевод Д. Бродского</i>	84	707
XIV.	«Берут дыру, железом обкуют...»	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	85	707
XV.	«Да, высшая, не думайте вы, власть...»	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	85	707
XVI.	«Когда, как рыба, что попала в сети...»	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	86	707
XVII.	«Замолкла песня. Не взмахнет крылами...»	<i>Перевод Н. Ушакова</i>	86	707
XVIII.	Hausordnung	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	87	707
XIX.	«Велят, чтобы в тюрьме мы не курили...»	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	87	707
XX.	Ключники и зрители	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	88	707
XXI.	«Что мне шумит, что мне звенит, как в туче...»	<i>Перевод В. Державина</i>	88	707

XXII. «Вошла особа. «Имя?» Отвечаю...»	<i>Перевод В. Державина</i>	89	707
XXIII. Тюремная культура.	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	89	707
XXIV. Разговоры.	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	90	708
XXV. Арестантская песня.	<i>Перевод В. Звягинцевой</i>	90	708
XXVI. Кто ее сложил.	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	91	708
XXVII. «Народ наш видел беды... Весть худая...».	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	91	708
XXVIII. «Нет, вы не знали власти надо мною!...».	<i>Перевод В. Щепотева</i>	92	708
XXIX. «Раз мне во сне явились две богини...».	<i>Перевод В. Звягинцевой</i>	93	708
XXX. «И первая сказала: „Я — любовь!“».	<i>Перевод В. Звягинцевой</i>	93	708
XXXI. «„Я ненависть“, — другая говорила...»	<i>Перевод В. Звягинцевой</i>	94	708
XXXII. «Сидел пустынный старый возле скита...».	<i>Перевод В. Звягинцевой</i>	94	708
XXXIII. «Россия, край печали и терпенья...».	<i>Перевод В. Звягинцевой</i>	95	708
XXXIV. «Как я вас ненавижу, вы — машины...».	<i>Перевод С. Ботвинника</i>	95	708
XXXV. «Что волк овцу ест — жалко, да не диво...».	<i>Перевод В. Давиденковой</i>	96	708
XXXVI — XXXVIII. Легенда о Пилате.	<i>Перевод С. Ботвинника</i>		
«Сказал Пилат, предав Христа на муки...»		96	709
«И Бог клеймом отметил грудь Пилата...»		97	709
«Когда он умер, труп его убогий...»		97	709
XXXIX — XLIII. Кровавые сны.			
«В темнице жуткие мне снятся сны...».	<i>Перевод Д. Бродского</i>	98	709
«Христос, исполосованный бичами...».	<i>Перевод Д. Бродского</i>	98	709
«За что ж нам бремя суждено такое?...».	<i>Перевод Д. Бродского</i>	99	709
«Вот Гонта, почерневший от побоев...».	<i>Перевод А. Андреева</i>	99	709
«Прошло то время? Ложь! Забыт ли час...».	<i>Перевод Д. Бродского</i>	100	709
XLIV. «Меж стран Европы мертвое болото...».	<i>Перевод Н. Ушакова</i>	100	710
XLV. «Тюрьма народов, обручем из стали...».	<i>Перевод Н. Ушакова</i>	101	710
Эпиграмм. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>		101	710

ИЗ РАЗДЕЛА «ГАЛИЦЕНЕ КАРТИНКИ»

I. В шинке.	<i>Перевод М. Исаковского</i>	102	710
IV. Михайла.	<i>Перевод А. Твардовского</i>	103	710
VI. Галаган.	<i>Перевод Б. Турганова</i>	104	710
VII. Журавли.	<i>Перевод Вс. Рождественского</i>	105	711

VIII. Думы на меже. Перевод П. Семьинова	107	711
IX. Думы над мужицкой пашней. Перевод А. Глобы	111	711
X. В лесу. Перевод А. Суркова	112	711
XI. Голод (Отрывок из поэмы «Резуны»). Перевод Н. Ушакова	114	711
XIII. Отрывок из поэмы «Новая жизнь». Пролог. Перевод Б. Кежуна	115	711

Увядшие листья

Лирическая драма

1896

(Перевод А. Ахматовой)

ПЕРВАЯ ГОРСТЬ

(1886 — 1898)

I. «На смену тоске отупенья...»	121	714
II. «Ну что меня влечет к тебе до боли?...»	121	714
III. «Не боюсь я ни бога, ни беса...»	122	714
IV. «За что, красавица, я так тебя люблю...»	123	714
V. «Повстречались мы с тобою...»	124	714
VI. «Ты, только ты моя единая любовь!..»	125	714
VII. «Эти очи — словно море...»	125	714
VIII. «Не надейся ни на что...»	125	714
IX. «Ни на что я не надеюсь...»	127	714
X. «Бескрайнее поле, где снег пеленою...»	127	714
XI. «Ты на улице при встрече...»	128	714
XII. «Зря смеешься, девочка...»	129	714
XIII. «Преступник я. Чтоб заглушить...»	129	714
XIV. «Судьба — стена меж нами. Как волнами...»	130	714
XV. «Нередко мне является во сне...»	130	714
XVI. Похороны пани А. Г.	131	715
XVII. «Никогда тебя не клял я...»	131	715
XVIII. «Ты плачешь. Частые слезинки...»	132	715
XIX. «На тебя я не в обиде, доля...»	133	715
XX. Призрак	133	715
Эпилог	135	715

ВТОРАЯ ГОРСТЬ

(1896)

I. «Где Сан течет зеленый, в Перемышле...»	137	715
II. «Мне трудно...»	139	715
III. «Явор зеленый, явор зеленый...»	139	715
IV. «Стройная девушка, меньше орешка...»	140	715
V. «Красная калина, что ты долу гнешься...»	141	715
VI. «Ах ты, дубок, дубочек кудрявый...»	141	715
VII. «О, печаль моя, горе...»	142	715

VIII.	«Я не тебя люблю, о нет...»	143	715
IX.	«Зачем ты совсем не смеешься?»	144	715
X.	В вагоне	145	716
XI.	«Смейтесь, звезды, надо мною!»	145	716
XII.	«Зачем приходишь ты ко мне...»	146	716
XIII.	«Вьется та тропиночка...»	147	716
XIV.	«Знать бы чары лучше, что сгоняют тучи...»	148	716
XV.	«Что счастье жизни? Лжи струя...»	149	716
XVI.	«Коль не вижу тебя...»	150	716
XVII.	«Если ночью услышишь ты, что за окном...»	151	716
XVIII.	«Хоть не цвести тебе в тиши полян...»	151	716
XIX.	«Как вол в ярме, вот так я, день за днем...»	151	716
XX.	«Сыплет, сыплет, сыплет снег...»	152	716

ТРЕТЬЯ ГОРСТЬ

(1896)

I.	«Льдом студеным покрыта...»	153	716
II.	«Да, умерла она. Бам-бам! Бам-бам!»	153	716
III.	«Мне теперь навеки дела нет...»	154	716
IV.	«Как тень, я шел порой ночью...»	155	716
V.	«Два белых окна с кружевной занавеской...»	156	717
VI.	«Отчаянье! Что я считал...»	157	717
VII.	«Жить не могу — не погибаю...»	157	717
VIII.	«Да, я хотел себя убить...»	158	717
IX.	«Любовь три раза мне была дана...»	159	717
X.	«Подходит мрак. Боюсь я этой ночи...»	161	717
XI.	«Бес нечистый, дух разлуки...»	162	717
XII.	«И он пришел ко мне. Не призраком крылатым...»	163	717
XIII.	«Матушка ты моя родненькая...»	165	718
XIV.	«Песня подбитая, милая пташка...»	166	718
XV.	«И ты прощай! Теперь тебя...»	167	718
XVI.	«Что песни! Утратила она...»	167	718
XVII.	«Поклон тебе, Будда!»	168	718
XVIII.	«Душа бессмертна! Жить ей бесконечно!»	170	718
XIX.	«Самоубийство — трусость...»	172	718
XX.	«Такой удобный инструмент...»	173	718

Из книги «Мой измарagd»

(1898)

ИЗ РАЗДЕЛА «ПОКЛОНЫ»

I.	Поэт говорит. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	177	721
II.	Украина говорит. <i>Перевод С. Обрадовича</i>	178	721
III.	Раздумье. <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	179	721
IV.	Седоглавому. <i>Перевод Е. Нежинцева</i>	179	721
V.	Когда бы... <i>Перевод С. Обрадовича</i>	180	721
VI.	Декадент (В. Щурату). <i>Перевод Б. Турганова</i>	181	721
VII.	Моей не моей. <i>Перевод Л. Длигача</i>	182	722

ИЗ РАЗДЕЛА «ПРИТЧИ»

I. Притча о жизни. <i>Перевод А. Суркова</i>	183	722
II. Притча о вере. <i>Перевод Н. Ушакова</i>	186	722
III. Притча о любви. <i>Перевод А. Чачикова</i>	187	722
IV. Притча о красоте. <i>Перевод В. Владимирова</i>	188	722
V. Притча о дружбе. <i>Перевод В. Бугаевского</i>	189	722
VI. Притча о благодарности. <i>Перевод Н. Ушакова</i>	192	722
VIII. Притча об истинной ценности. <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	193	722
IX. Притча о глупости. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	194	722

ПО СЕЛАМ

I. «На Подгорье в долах, по низинам...». <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	198	722
II. «Шинок шумит, шинок гудит...». <i>Перевод А. Твардовского</i>	200	723
III. «То не пчелы, не шмели...». <i>Перевод А. Твардовского</i>	202	723
IV. «Так побранились...». <i>Перевод А. Твардовского</i>	203	723
V. «Тем же утром, с криком, с шумом...». <i>Перевод А. Твардовского</i>	204	723
VI. Знахарка говорит. <i>Перевод А. Твардовского</i>	205	723
VII. «Вот идет Пазюк до дому...». <i>Перевод А. Твардовского</i>	206	723
VIII. «Ой-ой! На селе приключилась беда...». <i>Перевод А. Твардовского</i>	206	723
IX. «Скоро месяц, как кум в каталажке сидит...». <i>Перевод А. Твардовского</i>	207	723
X. В ночном. <i>Перевод Б. Турганова</i>	208	723

В БРАЗИЛИЮ

I. Письмо Стефании. <i>Перевод С. Ботвинника</i>	219	724
II. «Когда услышишь, что в тиши ночной...». <i>Перевод Б. Турганова</i>	221	725
III. «Два панка пошли гулять...». <i>Перевод А. Суркова</i>	222	725
IV. «Ой, расплескалось ты, русское горе...». <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	223	725
V. Письмо из Бразилии. <i>Перевод М. Исаковского</i>	224	725

Из книги «В дни печали»

1900

ИЗ РАЗДЕЛА «В ПЛЕН-ЭРЕ»

I. «Мать-природа!..». <i>Перевод С. Гордеева</i>	231	726
II. «Из далеких врат восточных...». <i>Перевод П. Железнова</i>	235	726
III. «Ходят ветры по краю...». <i>Перевод Е. Нежинцева</i>	237	726

IV. «Ближе, ближе тучи с юга...». Перевод А. Островского	238	726
V. «Внизу, у гор, село лежит...». Перевод М. Исаковского	239	726
VI. «Ой, идут, идут туманы...». Перевод Д. Бродского	239	726
VII. «Над широкою рекою...». Перевод Л. Длигача	240	726
VIII. «В дремоте села. За окном...». Перевод Е. Нежинцева	241	726
IX. «Ночь. Кругом мертво и тихо...». Перевод Л. Успенского	243	726
X. Школа поэта. Перевод Вс. Рождественского	246	726

Из книги «Semper tiro»

(1906)

ИЗ РАЗДЕЛА «НА СТАРЫЕ ТЕМЫ»

I. «Не пора ль начать нам, братья, слово...». Перевод М. Зенкевича	251	727
II. «Блажен тот муж, что на суде неправых...». Перевод М. Зенкевича	252	727
III. «То было за три дня перед венчаньем...». Перевод Б. Соловьева	252	727
V. «Полночный крик звучит среди степных раздольий...». Перевод М. Зенкевича	254	727
VI. «Где не лились вы в нашей бывальщине...». Перевод М. Комиссаровой	255	727
VII. «И ныне нам снится...». Перевод М. Комиссаровой	255	727
VIII. Антошке П. (Аз покой). Перевод Б. Кежуна	257	728
IX. «Вышла в поле русских сила...». Перевод Н. Брауна	258	728
X. «На реке вавилонской — и я там сидел...». Перевод Н. Панова	259	728

ИЗ «КНИГИ КААФ»

I. «Во сне забрел в долину я: на диво...». Перевод В. Цвелева	262	728
II. «Пойми, поэт, на жизненном пути ты...». Перевод В. Цвелева	264	728
III. «Гуманным будь, — любви источник чистый...». Перевод В. Цвелева	265	728
IV. «Когда в общественном ты хочешь деле...». Перевод С. Ботвинника	266	729
V. «Одета с элегантною простотою...». Перевод В. Цвелева	266	729
VI. Ф. Р. («О, девушка, ты — камень драгоценный...»). Перевод В. Цвелева	267	729
VII. «Уж полночь. Темень. Стужа. Ветер воет...». Перевод Н. Брауна	269	729
VIII. «Как голова болит!...». Перевод М. Комиссаровой	270	729
IX. «Когда б ты знал, как много значит слово...». Перевод Н. Асанова	272	729
Страшный суд. Перевод М. Голодного	273	729

Из книги «Старое и новое»

(1911)

ИЗ РАЗДЕЛА «ПОКЛОНЫ»

- I. Неназванной Марии. Перевод М. Комиссаровой . . . 285 730
II. К музе. Перевод М. Комиссаровой 286 730

ИЗ РАЗДЕЛА «ПРИТЧИ»

- Притча о жадности. Перевод Н. Брауна 287 730

ИЗ РАЗДЕЛА «НА ЗЛОБУ ДНЯ»

- O. Лунатику. Перевод Арго 297 730

Из книги «Годы моей молодости»

(1914)

- Две дороги. Сонет. Перевод А. Ахматовой 301 731
Товарищам из тюрьмы. Перевод Б. Кежуна 301 731
Наука. Сонет. Перевод А. Ахматовой 303 731

Из стихотворений, не вошедших в книги

- Правдивая сказка. (Из галицких картинок). Перевод
А. Глобы 307 731
Шевченко и поклонники. Перевод Б. Турганова 308 731
«Ты вновь оживаешь, надежда...». Перевод П. Жура 309 731
Смелей! Перевод А. Прокофьева 310 732
Современная песня. Перевод Вс. Рождественского 310 732
Смерть убийцы. (Из галицких картинок). Перевод Б. Ири-
нина 312 732
Лесоруб. (Из народных преданий). Перевод А. Островского 316 732
«Когда разлука милых ждет...». Перевод В. Давиденковой 319 732
«Орудия ухали с ревом...». Перевод М. Комиссаровой 320 732
«Мне кажется ночной порою...». Перевод М. Комисса-
ровой 321 732
В 23-ю годовщину смерти Тараса Шевченко. Перевод
М. Комиссаровой 322 732
Подгорье зимой. Перевод Н. Брауна 323 732
«Взгляни, я победил, краса-девица!...». Перевод И. Нап-
пельбаум 325 732

Майские элегии

Перевод Н. Заболоцкого

- I. «Ты меня мучишь, весна! Рассыпаешься блестками
солнца...» 326 732
II. «Видел рисуночек я и забыл уже, где его видел...» 327 732

III. «Нет, боженята, уж вы в провожатые мне не годитесь...»	327	732
IV. «Быстро исчезли снега, растопила оковы мороза...»	328	732
V. «Вот уж исчезла с горы снеговая блестящая шапка...»	329	732

Из книги пророка Иеремии

Перевод В. Успенского

III. «Гляжу кругом... Сады и вертограды...»	330	732
-------------------------------------------------------	-----	-----

«Грусть проходит по голой горе...». <i>Перевод А. Прокофьева</i>	331	732
«Не молчи, если ложь беззаконная!...». <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	331	732

ПОЭМЫ

Панские забавы. <i>Перевод М. Комиссаровой</i>	335	733
Смерть Каина. <i>Легенда. Перевод Б. Турганова</i>	445	736
Сурка. <i>Перевод Я. Городского</i>	470	736
Бедный Генрих. <i>Перевод Н. Брауна</i>	480	737
Пьяница. <i>Перевод А. Островского</i>	499	737
Сатни и Табубу. <i>Перевод А. Прокофьева</i>	507	738
Поэма о белой сорочке. <i>Перевод Н. Брауна</i>	514	739
Похороны. <i>Перевод А. Андреева</i>	537	739
Иван Вишенский. <i>Перевод Б. Турганова</i>	572	740
На Святоюрской горе. 30 октября 1655. <i>Перевод В. Державина</i>	606	742
Моисей. <i>Перевод В. Азарова</i>	622	744
Колючка в ноге. <i>Перевод А. Прокофьева</i>	675	750
Примечания	699	
Словарь	750	
К иллюстрациям	750	
Алфавитный указатель произведений	751	

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор), М. О. Ауэзов,
В. Г. Базанов, Б. И. Бурсов, В. М. Жирмунский,
В. О. Перцов, А. А. Прокофьев, М. Ф. Рыльский,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
С. И. Чиковани, И. Г. Ямпольский (заместитель
главного редактора)*

Иван Франко

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Редакторы *А. А. Гозенпуд* и *К. К. Бухмейер*

Художник *И. С. Серов*. Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*. Корректор *Э. Н. Петрова*

Сдано в набор 19/VII 1960 г. Подписано в печать 3/XI 1960 г.
Бумага 84 × 108¹/₃₂. Печ. л. 24³/₈ (39,98). Уч.-изд. л. 38,01.
Тираж 4000. Зак. № 1402. Цена 13 р. 25 к. С 1/I 1961 г.— 1 р. 33 к.

Ленинградское отделение издательства «Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 4 УПП Ленсовнархоза
Ленинград. Социалистическая, 14.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Стро- ка	Напечатано	Следует читать
90 272 726	5 сн. 12 сн. 11 св.	Арестанская собственною ung	Арестантская собственной und

